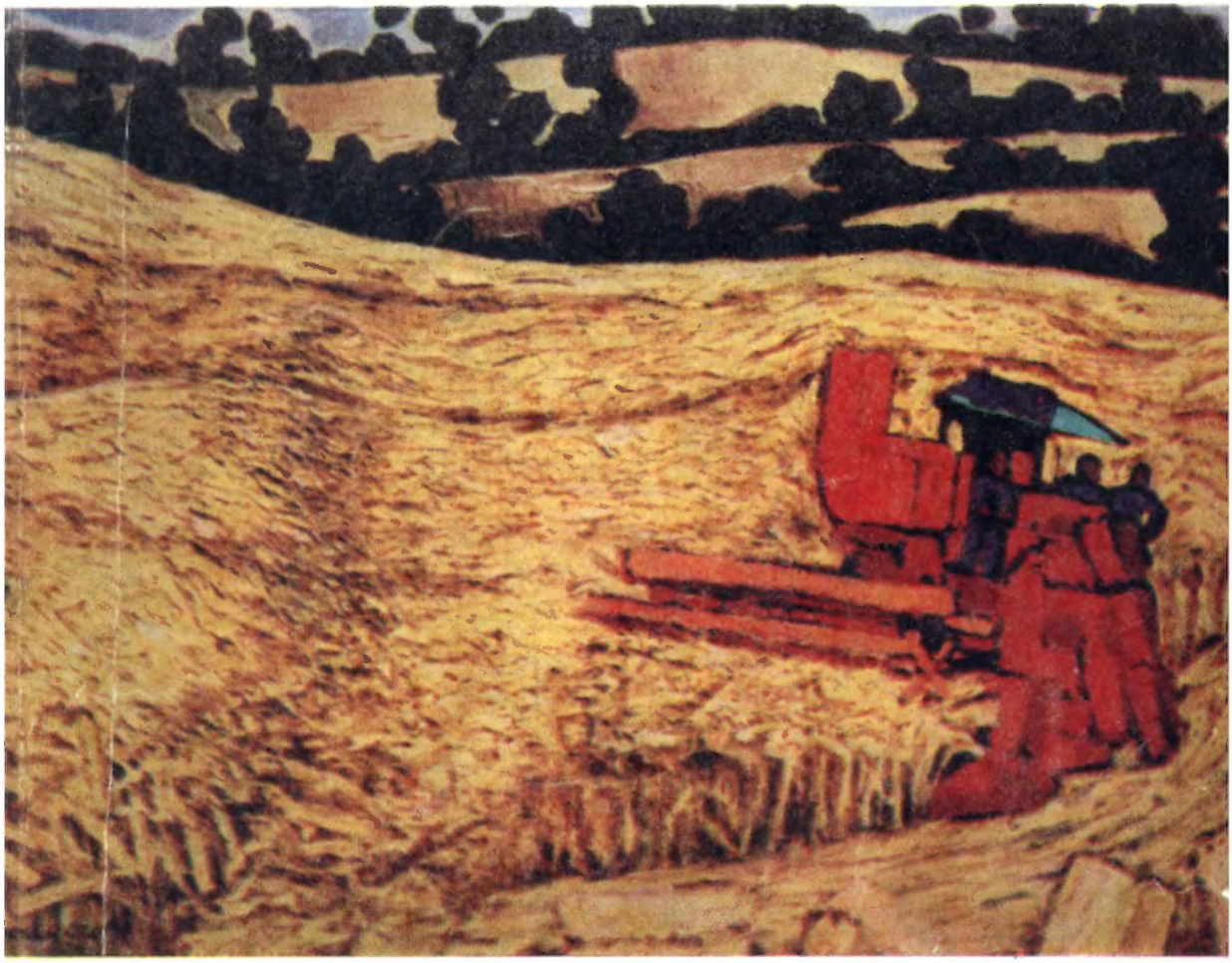

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

6

1970

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Иностранная литература

6

Издательство «Известия»
Москва

ИЮНЬ
1970

СОДЕРЖАНИЕ

НИКОЛАЙ ЗИДАРОВ — С Невою рядом *(Стихи)* 3
ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС — Сто лет одиночества *(Роман)* 5
ЧИТТАДХАР ХРИДАЙЯ — Стихи 70
БЕРНАР КЛАВЕЛЬ — Плоды зимы *(Роман. Окончание)* 76
АНДРЕЙ ПЛАВКА — Ветерок с востока *(Стихи)* 182
ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — Неотвоевавшиеся солдаты *(Рассказ)* 184

Критика

Д. ЗАТОНСКИЙ — Зеркала искусства (Ленинская теория отражения и некоторые аспекты современного литературного процесса) 201

Заметки писателя

РОБЕРТО ОБРЕГОН МОРАЛЕС — Человек выходит на первый план 212

Календарь «Иностранной литературы»

А. САХАЛТУЕВ — Лев Толстой читает Чарльза Диккенса 224

Публицистика

С. КОНДРАШОВ — Яростная Калифорния (Из американских впечатлений) 227

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

А. Карельский — Без прикрас 251

Изобразительное искусство за рубежом

ЛЮДМИЛА УРАЗОВА — Документ времени 255

Наши гости

РАДИЙ ФИШ — Времена меняются... (Орхан Кемаль в «Иностранной литературе») 259

Среди книг

Издано в СССР

М. Харитонов — Читая «Игру в бисер». ◇ Николай Котенко — «Иная, высшая повинность» 262

Издано за рубежом

Л. Долгошева — Миниатюры Василе Ребряну ◇ И. Тертерян — Всеобщая распродажа и бунт молодежи. ◇ И. Бернштейн — Фразы и штампы 266

Из месяца в месяц (Хроника) 273

Авторы этого номера 288

■

На обложке: картина французского художника АНДРЕ ФУЖЕРОНА «Уборка урожая».

НИКОЛАЙ ЗИДАРОВ

С Невою рядом

■

Перевод с болгарского ВАЛЕНТИНА КОРЧАГИНА

Как хорошо!..

Как хорошо у радости в плену,
с Невою рядом, белой ночью вешней!
Безмолвье.
Но куда я ни взгляну —
мне шепчет что-то каждый камень здешний.

Как влагу пьет тюльпан, так сердце пьет
очарованье набережной этой,
дворцов красу, фонтанов звон...
И вот —
вокзал Финляндский, светлой мглой одетый.

Смолк ветер.
И грядущие века
со мною вместе здесь вдыхают снова
впечатанное в сталь броневика
немолкнущее ленинское слово.

Ленинградский вечер

Золотистый шпиль сквозь вечер
проплывает на закате...
Я иду — река навстречу
звезды волн бесшумно катит.

На недолгий чуткий отдых
день прилег под крылья ночи —
и огни в высоких водах
отражаются все четче.

Явь ли, сон ли — где граница?..
Зданья, арки над водою
с отраженьем рады слиться,
как действительность — с мечтою.

Встреча

Сергею Орлову

Умыла перрон дождевая прохлада.
На старте экспресс, отряхнувший усталость.
...С утра позвонил мне: мол, выпить бы надо
за встречу, которая не состоялась!..

Осенний ли ветер нежданным порывом
сорвал, закружил то намеренье друга?
Нева ли радушьем своим говорливым
его зазвала — и не выйти из круга?

А может, под шрамами ожили боли —
и вот на часы он глядит теперь, мучась?
Я знаю, как в танке пылающем, в поле
переступал он смертную участь...

Но вдруг заслонились все шумы вокзала
знакомым лицом с бородой незнакомой —
и сердце под нею тот след распознало,
когтистый тот отзвук военного грома.

Сомкнулись улыбки расцветшие наши —
как током, пронизан я искрами чуда!
Ты две обливные болгарские чаши
извлек, запыхавшись, не помню откуда.

Иль ягод, иль зерен каких-то волшебных,
иль русской любви положил ты на донце?
Но с первым глотком из осеннего неба
плеснуло теплом ленинградское солнце.

И вот, хоть составу уж трогаться скоро,
нас крепко стена обнимает живая...
Светился и пел гордый северный город,
в объятьях далекий мой край согревая.

■

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС

Сто лет одиночества

РОМАН

Перевод с испанского
Н. БУТЫРИНОЙ и В. СТОЛБОВА

Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед. Макондо было тогда небольшим селением с двумя десятками хижин, выстроенных из глины и бамбука на берегу реки, которая мчала свои прозрачные воды по ложу из белых отполированных камней, огромных, как доисторические яйца. Мир был еще таким новым, что многие вещи не имели названия и на них приходилось показывать пальцем. Каждый год в марте у околицы селения раскидывало свои шатры оборванное цыганское племя и под визг свистулек и звон тамбуринов знакомило жителей Макондо с последними изобретениями ученых. Сначала цыгане принесли магнит. Дородный цыган с дремучей бородой и худыми пальцами, скрюченными, словно воробьиная лапка, назвавший себя Мелькиадесом, с блеском продемонстрировал почтенной публике это, как он выразился, восьмое чудо света, созданное алхимиками Македонии. Держа в руках два железных бруска, он переходил от хижины к хижине, и охваченные ужасом люди видели, как тазы, котелки, щипцы и жаровни поднимаются со своих мест, а гвозди и винты отчаянно стараются вырваться из потрескивающих от напряжения досок. Предметы, уже давно и безнадежно потерянные, вдруг появлялись именно там, где их больше всего искали, и беспорядочной толпой устремлялись за волшебными брусками Мелькиадеса. «Вещи, они тоже живые,— провозглашал цыган с резким акцентом,— надо только уметь разбудить их душу». Хосе Аркадио Буэндиа, чья могучая фантазия всегда опережала его природный ум, решил, что бесполезное пока чудо науки можно было бы приспособить для извлечения золота из недр земли.

Мелькиадес — он был честным человеком — предупредил: «Для этого магнит не годится». Но в ту пору Хосе Аркадио Буэндиа еще не верил в честность цыган и потому обменял на магнитные бруски своего мула и нескольких козлят. Напрасно его жена — Урсула Игуаран, собиравшаяся за счет этих животных подправить расстроенные дела семьи, пробовала помешать ему. «Скоро я завалю тебя золотом — класть некуда будет»,— отвечал ей муж. В течение нескольких месяцев Хосе Аркадио Буэндиа упрямо старался выполнить свое обещание.

Пядь за пядью исследовал он всю окружающую местность — даже речное дно,— таская с собою два железных бруска и громким голосом повторяя заклятие, которому научил его Мелькиадес. Но единственное, что ему удалось извлечь на белый свет, были покрытые ржавчиной доспехи пятнадцатого века — при ударе они гудели, как большая тыква, набитая камнями. Когда Хосе Аркадио Буэндиа и четыре односельчанина, сопровождавшие его в походах, разобрали доспехи на части, они нашли внутри обызвествленный скелет, на шейных позвонках которого лежал медальон с прядкой женских волос.

В марте цыгане появились снова. Теперь они принесли с собой подзорную трубу и лупу, величиной с хороший барабан, и объявили, что это самые новейшие изобретения амстердамских евреев. Трубу установили возле шатра, а в дальнем конце улицы посадили цыганку. Уплатив пять реалов, вы заглядывали в трубу и видели эту цыганку так близко, словно до нее было рукой подать. «Наука уничтожила расстояния,— возвещал Мелькиадес.— Скоро человек сможет, не выходя из своего дома, видеть все, что происходит в любом уголке света». В один из жарких полдней цыгане устроили необыкновенное представление с помощью гигантской лупы: посредине улицы они положили охапку сухой травы, навели на нее солнечные лучи — и трава вспыхнула. У Хосе Аркадио Буэндиа, не успевшего еще утешиться после неудачи с магнитами, тут же родилась мысль превратить лупу в боевое оружие. Мелькиадес, как и в прошлый раз, попытался было отговорить его. Но в конце концов согласился взять в обмен на лупу два магнитных бруска и три золотые монеты. Урсула даже заплакала с горя. Эти монеты пришлось достать из сундучка со старинными золотыми, которые ее отец скопил за всю свою жизнь, отказывая себе в самом необходимом, а она хранила под кроватью в ожидании, пока не подвернется дело, стоящее того, чтобы вложить в него деньги. Хосе Аркадио Буэндиа и не подумал утешать жену, он с головой погрузился в свои опыты и проводил их с самоотречением настоящего ученого и даже с риском для жизни. Стараясь доказать, что лупу можно с пользой применить против неприятельских войск, он подверг воздействию сосредоточенных солнечных лучей свое тело — ожоги превратились в язвы и долго не заживали. Он уже готов был поджечь и собственный дом, да жена решительно воспротивилась столь опасной затее. Много часов провел Хосе Аркадио Буэндиа у себя в комнате за обдумыванием стратегических возможностей новейшего оружия и даже составил руководство по его применению, отличавшееся поразительной ясностью изложения и непреодолимой силой доводов. Это руководство вместе с приложенными к нему свидетельскими показаниями о проведенных опытах и несколькими листами пояснительных чертежей было отослано властям с гонцом, который перевалил через горный хребет, плутал по непроходимым болотам, плыл по бурным рекам, подвергался опасности быть растерзанным дикими зверями, умереть от тоски, погибнуть от чумы, пока, наконец, не вышел к почтовому тракту. Хотя добраться до города было в те времена почти невозможно, Хосе Аркадио Буэндиа обещал приехать по первому зову властей и показать военным начальникам, как действует его изобретение, и даже лично обучить их сложному искусству солнечной войны. Несколько лет он все ждал ответа. Наконец, устав ждать, пожаловался Мелькиадесу на новую неудачу, и тогда цыган самым убедительным образом доказал ему свое благородство: он забрал лупу, возвратил дублоны и даже подарил Хосе Аркадио Буэндиа несколько португальских мореходных карт и разные навигационные приборы. Мелькиадес собственноручно написал сжатое изложение трудов монаха Хермана и оставил записи Хосе Аркадио Буэндиа, чтобы тот знал, как пользоваться астролябией, буссолью и секстантом. Нескончаемые месяцы дождли-

вого сезона Хосе Аркадио Буэндиа просидел, запершись в комнатушке, которую он оборудовал в глубине дома, где никто не мог помешать его опытам. Он совершенно забросил свои домашние обязанности, все ночи проводил во дворе, наблюдая движение звезд, а как-то днем чуть не схватил солнечный удар, пытаясь найти точный способ определения зенита. Когда он в совершенстве освоил приборы, ему удалось составить себе такое точное понятие о пространстве, что отныне мог плавать по незнакомым морям, исследовать необитаемые земли и завязывать отношения с чудесными существами, не выходя из стен своего кабинета. Именно в эту пору у него появилась привычка говорить с самим собой, разгуливая по дому и ни на кого не обращая внимания, в то время как Урсула и дети гнули спины в поле, ухаживая за бананами и малангой, маниокой и ямсом, ауйямой[1] и баклажанами. Но вскоре кипучая деятельность Хосе Аркадио Буэндиа внезапно прекратилась и уступила место какому-то странному состоянию. Несколько дней он бродил словно околдованный, бормоча себе под нос разные потрясающие догадки и сам себе не веря. Наконец, в один декабрьский вторник за обедом он вдруг разом выпалил мучившую его мысль. Дети до конца своей жизни будут помнить, как их отец, трясущийся будто в ознобе, измученный долгими бдениями и лихорадочной работой воспаленного воображения, уселся во главе стола и с торжественным, даже величественным видом поделился с ними своим открытием:

— Земля кругла, как апельсин.

Урсула вышла из себя. «Если ты собираешься рехнуться, так бог с тобой,— закричала она.— А детям нечего вдалбливать проклятые цыганские бредни». Хосе Аркадио Буэндиа не шелохнулся — ярость жены, которая в порыве гнева швырнула на пол астролябию, не испугала его. Он смастерил другую астролябию, собрал в своей комнатушке мужчин селения и открыл им, опираясь на ученые выкладки, которые никто из присутствующих не понял, что если плыть все время на восток, то можно вернуться обратно в точку отправления. В селении думали, что Хосе Аркадио Буэндиа рехнулся, но тут появился Мелькиадес и все поставил на свое место. Он во всеуслышание восславил разум человека, сделавшего с помощью одних лишь астрономических наблюдений открытие, уже давно подтвержденное практикой, хотя и неведомое еще жителям Макондо, и как свидетельство своего восхищения преподнес Хосе Аркадио Буэндиа подарок, которому суждено было оказать решающее влияние на судьбы селения: оборудование алхимической лаборатории.

Как раз тогда Мелькиадес удивительно быстро одряхлел. Когда он впервые появился в селении, он выглядел ровесником Хосе Аркадио Буэндиа. Но последний все еще сохранял свою необыкновенную силу — ему ничего не стоило повалить лошадь, схватив ее за уши,— а цыгана как будто подтачивал непонятный, но упорный недуг. На самом деле одряхление Мелькиадеса было следствием не одной, а очень многих и редких болезней, заполученных им в бесчисленных скитаниях вокруг света. Помогая Хосе Аркадио Буэндиа оборудовать лабораторию, он рассказал, что смерть повсюду следует за ним, наступает ему на пятки, однако все еще не решается прихлопнуть его окончательно. Ему удавалось выходить невредимым из всех бедствий и катастроф, которые обрушивались на человечество. Он остался живым, хотя болел пеллагрой в Персии, цингой на Малайском архипелаге, проказой в Александрии, бери-бери в Японии, бубонной чумой на Мадагаскаре, попал в землетрясение на острове Сицилия и в кораблекрушение в Магеллановом

[1] Маланга, маниока и ямс — корнеплодные культурные растения; ауйяма — индейское название тыквы.

проливе, стоившее жизни множеству людей. Это необыкновенное существо, утверждавшее, что ему известны секреты Нострадамуса[2], имело облик мрачного мужчины, обремененного горькой славой, его азиатские глаза, казалось, видели другую сторону вещей. Он носил большую шляпу, широкие черные поля которой напоминали распростертые крылья ворона, и жилет, покрытый патиной вековой плесени. Однако, несмотря на свою безграничную мудрость и ореол таинственности, он был человеком во плоти, вес ее притягивал Мелькиадеса к земле, делая его подвластным неприятностям и заботам повседневной жизни. Он жаловался на старческие немочи, страдал от мелких денежных невзгод и давным-давно перестал смеяться: от цинги растерял все зубы. По убеждению Хосе Аркадио Буэндиа, именно тот душный полдень, когда Мелькиадес поделился с ним своими тайнами, положил начало их большой дружбе. Детей поразили фантастические рассказы цыгана. Аурелиано, которому тогда было не более пяти лет, на всю жизнь запомнит, как Мелькиадес сидел перед ними возле отсвечивающего металлическим блеском окна, низкий, похожий на звуки органа голос цыгана проникал в самые темные уголки воображения, а по вискам гостя струился пот, словно жир, растопленный зноем. Хосе Аркадио, старший брат Аурелиано, передаст этот чудесный образ всем своим потомкам как наследственное воспоминание. Что касается Урсулы, то она, напротив, сохранила о посещении цыгана самое неприятное впечатление, потому что вошла в комнату как раз в тот момент, когда Мелькиадес нечаянно разбил пузырек с хлорной ртутью.

— Это запах дьявола,— сказала она.

— Совсем нет,— возразил Мелькиадес.— Установлено, что дьволу присущи серные запахи, а тут всего лишь чуточку сулемы.

И тем же поучающим тоном он прочел целую лекцию о дьявольских свойствах киновари. Урсула не проявила к его словам никакого интереса и увела детей молиться. Отныне этот резкий запах всегда будет напоминать ей о Мелькиадесе.

Примитивная лаборатория состояла, если не считать многочисленных кастрюль, воронок, реторт, сита и фильтров, из простого горна, имитации *философского яйца* — стеклянной колбы с длинной, тонкой шеей — и дистиллятора, сооруженного самими цыганами по новейшим описаниям перегонного куба с тремя отводами, которым некогда пользовалась Иудейская Мария[3]. Кроме всего этого, Мелькиадес дал еще Хосе Аркадио Буэндиа образцы семи металлов, соответствующих семи планетам, формулы Моисея и Зосимы для удвоения количества золота, заметки и чертежи, относящиеся к области Великого магистериума[4], с помощью которых тот, кто сумеет в них разобраться, может изготовить философский камень. Соблазненный простотой формул по удвоению золота, Хосе Аркадио Буэндиа несколько недель обхаживал Урсулу, выманивая у нее разрешение достать из заветного сундучка старинные монеты и увеличить их во столько раз, на сколько частей удастся разделить ртуть. Урсула, как обычно, уступила перед непоколебимой настойчивостью мужа. Хосе Аркадио Буэндиа бросил тридцать дублонов в кастрюлю и расплавил их вместе с аурипигментом, медной стружкой, ртутью и свинцом. Потом вылил все это в котелок с касторовым маслом и кипятил на сильном огне до тех пор, пока не получился густой зловонный сироп, напоминающий обыкновенную патоку, а не чудесное золото. После отчаянных и рискованных попыток дистилляции, переплавления с семью планетарными металлами, обработки герметической ртутью

[2] Нострадамус Мишель (1503—1566) — французский астролог и врач, автор знаменитых в свое время предсказаний о будущем человечества.

[3] Иудейская Мария (конец III в. н. э.) — женщина-алхимик.

[4] В алхимии препарат для превращения металлов в золото.

и купоросом, повторного кипячения в свином сале — за неимением редечного масла — драгоценное наследство Урсулы превратилось в подгорелые шкварки, которые невозможно было отодрать от дна котелка.

К тому времени, когда возвратились цыгане, Урсула настроила против них всех жителей селения. Но любопытство одержало верх над страхом — цыгане прошлись по улице под оглушительный шум самых разнообразных музыкальных инструментов, а их зазывала объявил, что будет показано невероятнейшее открытие назианзцев[5]. И все отправились к цыганскому шатру, где, уплатив за вход по одному сентаво, обнаружили омоложенного Мелькиадеса — здорового, без морщин, с новыми блестящими зубами. Те, кто помнил его голые после цинги десны, ввалившиеся щеки, сморщенные губы, в ужасе содрогнулись, увидев последнее доказательство сверхъестественного могущества цыгана. Ужас вылился в панику, когда Мелькиадес вынул изо рта зубы, все до единого целые и здоровые, показал их публике, вновь превратившись на короткий миг в того дряхлого старика, каким его знавали прежде, потом опять вставил зубы и улыбнулся — снова в полном цвету возрожденной молодости. Даже сам Хосе Аркадио Буэндиа усомнился, не преступили ли познания Мелькиадеса границы дозволенного человеку, но когда цыган наедине объяснил ему устройство фальшивых зубов, у него отлегло от сердца, и он разразился веселым смехом. Все это показалось Хосе Аркадио Буэндиа таким простым и в то же время таким необыкновенным, что уже на следующий день он утратил всякий интерес к алхимии, впал в уныние, ел когда вздумается и с утра до вечера бесцельно слонялся по дому. «В мире происходят невероятные вещи,— жаловался он Урсуле.— Вон там, по ту сторону реки, есть множество всяких волшебных аппаратов, а мы тут все продолжаем жить будто скоты». Те, кто знал его во времена основания Макондо, удивлялись, насколько же он изменился под влиянием Мелькиадеса.

Раньше Хосе Аркадио Буэндиа напоминал молодого патриарха: он давал советы, как сеять, как воспитывать детей и выращивать скот, и помогал всем, не гнушаясь и физической работой, чтобы жизнь общины шла хорошо. Дом семьи Буэндиа был самым лучшим в селении, и другие старались устроить свое жилье по его подобию. Там были большая, светлая гостиная, терраса-столовая с яркими цветами, две спальни, во дворе рос гигантский каштан, за домом простиралось тщательно обработанное поле да высился загон для скота, в котором мирно уживались козы, свиньи и куры. И лишь бойцовых петухов запрещено было держать в этом доме, впрочем, не только в этом, а и во всем селении.

Трудолюбие Урсулы было под стать трудолюбию ее мужа. Эта деятельная, серьезная, маленькая женщина со стальными нервами, которая, наверно, ни разу в жизни не запела, обладала редким даром с самого рассвета до поздней ночи оказываться сразу во всех местах, повсюду ее сопровождало легкое шуршание накрахмаленных юбок из голландского полотна. Благодаря Урсуле глинобитные полы, небеленые глиняные стены, грубая самодельная мебель сверкали чистотой, а от старых ларей, где хранилась одежда, исходил слабый аромат альбааки.

Хосе Аркадио Буэндиа, самый толковый человек в селении, сумел так расположить дома Макондо, что никому не приходилось затрачивать больше усилий, чем всем другим соседям, чтобы ходить к реке за водой; он так разумно наметил улицы, что в жаркие часы дня на каждое жилье попадало равное количество солнечных лучей. Уже через несколько лет после своего основания Макондо стало самым чистым и

[5] Жители древнего города Назианз в Малой Азии.

благоустроенным селением из всех тех, в которых случалось бывать его тремстам обитателям. Это было по-настоящему счастливое селение, где никому еще не перевалило за тридцать и где пока никто не умирал.

Уже в дни основания Макондо Хосе Аркадио Буэндиа начал мастерить силки и клетки. Вскоре он наполнил иволгами, канарейками, пчелоедами и малиновками не только свой собственный, но и все остальные дома селения. Постоянные концерты такого множества разнообразных птиц оказались весьма оглушительными, и, боясь потерять рассудок, Урсула залепила себе уши воском. Когда в первый раз появилось племя Мелькиадеса и стало продавать стеклянные шарики от головной боли, жители Макондо были очень удивлены, как это цыгане сумели разыскать затерянное в просторах обширной долины селение, и те признались, что шли на пение птиц.

Но интерес к деятельности на пользу общества вскоре был вытеснен из души Хосе Аркадио Буэндиа магнитной лихорадкой, астрономическими изысканиями, мечтами о добывании золота и желанием познать чудеса света. Некогда энергичный, опрятный Хосе Аркадио Буэндиа постепенно приобрел вид завзятого лодыря в грязной одежде и с запущенной бородой, которую Урсуле с великим трудом, да и то изредка, удавалось обкорнать острым кухонным ножом. Многие в селении считали, что Хосе Аркадио Буэндиа пал жертвой какого-то колдовства. Но даже те, кто был твердо убежден в его безумии, оставили дела и семьи свои и последовали за ним, когда он, перекинув через плечо мешок с лопатой и мотыгой, попросил, чтобы ему помогли проложить тропу, которая соединит Макондо с великими открытиями.

Хосе Аркадио Буэндиа совершенно не знал географии округи. Ему было известно лишь только, что на востоке возвышается непреодолимый горный хребет, а за ним находится старинный город Риоача, где в давние времена — по рассказам его деда, первого Аурелиано Буэндиа — сэр Фрэнсис Дрейк [6] развлекался стрельбой из пушек по кайманам; убитых животных по его приказанию латали, набивали соломой и отправляли королеве Елизавете. В молодости Хосе Аркадио Буэндиа и другие мужчины — все со своими женами, детьми, домашними животными и разной утварью — пересекли этот хребет, надеясь выйти к морю, но, проблуждав в поисках моря два года и два месяца, отказались от своего намерения и, не желая возвращаться назад, основали селение Макондо. Поэтому дорога на восток его не интересовала — она могла привести только назад, к прошлому. На юге лежали болота, затянутые вечной растительной пленкой, и большая долина — целый мир, который, по свидетельству цыган, не имел ни конца ни краю. На западе долина переходила в необъятное водное пространство — там, говорят, обитали китообразные существа с нежной кожей, с головой и торсом женщины, чарами своих чудовищных грудей они губили мореплавателей. Цыганам пришлось плыть почти полгода, прежде чем они добрались до полоски твердой земли, где проходили почтовые мулы. По убеждению Хосе Аркадио Буэндиа, вступить в соприкосновение с цивилизованным миром можно было, только двигаясь на север. И вот он снабдил лопатами, мотыгами и охотничьим оружием тех мужчин, которые вместе с ним основали Макондо, бросил в котомку свои навигационные приборы и карты и отправился в рискованный поход.

В первые дни им не встретилось особых трудностей. Они спустились по каменистому берегу реки до того места, где несколько лет тому назад обнаружили старинные доспехи, и вступили в лес по тропинке между дикими апельсиновыми деревьями. К концу первой недели им

---

[6] Фрэнсис Дрейк (1541—1596) — английский моряк, адмирал, совершал пиратские набеги у берегов Южной Америки, сражался с испанцами.

посчастливилось убить оленя, они изжарили его, но решили съесть только половину, а остальное засолить и оставить про запас. Этой предосторожностью они пытались отдалить от себя тот день, когда придется питаться попугаями, синее мясо которых сильно отдает мускусом. В течение следующих десяти дней они совсем не видели солнечного света. Почва под ногами стала мягкой и влажной, как вулканический пепел; заросли с каждым шагом приобретали все более коварный вид, крики птиц и перебранка обезьян доносились теперь откуда-то издалека — казалось, мир навеки утратил свою радость. В этом царстве сырости и безмолвия, похожем на рай до свершения первородного греха, сапоги проваливались в глубокие ямы, наполненные чем-то маслянистым и дымящимся, мачете разрубали золотых саламандр и кроваво-пурпурные ирисы; людей мучили давным-давно уже забытые воспоминания. Целую неделю, почти не разговаривая, они брели как сомнамбулы все вперед по мрачному миру скорби, озаряемые только мигающими огоньками светлячков, задыхаясь от удушливого запаха собственной крови, застоявшейся в легких. Пути обратно не было, потому что тропа, которую они прорубали, тут же исчезала под свежей зеленью, выраставшей почти у них на глазах. «Ничего,— говорил Хосе Аркадио Буэндиа.— Главное — не потерять направления». Неотрывно следя за стрелкой компаса, он продолжал вести людей к невидимому северу, пока они, наконец, не вышли из заколдованного края. Их окружала темная, беззвездная ночь, но эта тьма была насыщена новым — чистым воздухом. Измотанные долгим переходом люди подвесили гамаки и впервые за две недели заснули глубоким, спокойным сном. Они проснулись, когда солнце поднялось уже высоко, и оцепенели от удивления. Прямо перед ними, среди папоротников и пальм, белый, под покровом пыли, в тихом утреннем свете высился огромный испанский галион. Он слегка накренился на правый борт; с совершенно целых мачт между украшенных орхидеями снастей свисали грязные лохмотья парусов, корпус, покрытый гладкой броней из окаменевших ракушек и нежным мхом, прочно врезался в твердую почву. Казалось, что это сооружение находится в каком-то своем, отграниченном пространстве — в заповеднике одиночества и забвения, куда не имеют доступа ни время с его разрушительной силой, ни птицы с их гомоном и суетой. Путники, сдерживая пылкое нетерпение, обследовали галион внутри и не обнаружили ничего, кроме густого леса цветов.

Находка галиона — свидетельство близости моря — подорвала боевой дух Хосе Аркадио Буэндиа. Он расценил как издевательскую шутку со стороны своей неугомонной судьбы то, что не нашел моря, когда искал его, претерпевая бесчисленные лишения и муки, и обнаружил теперь, когда и не думал искать: оно лежало прямо у него на пути непреодолимым препятствием. Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, в свою очередь, окажется в этих краях, где к тому времени уже будет проложен почтовый тракт, на месте галиона он увидит только обугленный остов среди целого поля маков. И лишь тогда, убедившись, что вся эта история не была плодом воображения его отца, он задаст себе вопрос: каким образом мог галион очутиться так далеко на суше? Но Хосе Аркадио Буэндиа не беспокоил себя подобными размышлениями, когда после четырех дней пути в двенадцати километрах от галиона увидел море. Его мечты угасли возле этого моря, пенного, грязного, серого, как зола, недостойного тех страданий и опасностей, которым он подверг себя и своих спутников.

— Проклятие! — воскликнул Хосе Аркадио Буэндиа.— Макондо со всех сторон окружено водой.

Идея о полуостровном расположении Макондо господствовала в течение длительного времени благодаря весьма произвольной карте, ко-

торую составил Хосе Аркадио Буэндиа, вернувшись из похода. Он вычерчивал ее с яростью, намеренно преувеличивая трудности сообщения с внешним миром, как будто желая наказать себя за то, что так безрассудно выбрал место для селения. «Мы никогда никуда отсюда не доберемся,— горько жаловался он Урсуле.— Сгнием тут заживо, так и не изведав благ науки». Эта мысль, которую он несколько месяцев пережевывал, как жвачку, в своей комнатушке-лаборатории, натолкнула его на проект перенести Макондо в более подходящие края. Но тут жена решительно воспротивилась его бредовым планам. Действуя незаметно и упорно, подобно муравью, она настроила женщин селения против легкомыслия мужчин, уже начавших было готовиться к переезду. Хосе Аркадио Буэндиа не мог бы сказать, когда и благодаря каким враждебным силам его планы запутались в непроходимой чаще предлогов, помех, отговорок и в конце концов превратились в бесплодную мечту. Урсула с простодушным видом наблюдала за мужем и даже немножко пожалела его, увидев однажды утром, что он укладывает в ящики свою лабораторию, бормоча себе под нос бредни о переезде. Она предоставила ему возможность кончить эту работу. Пока он заколачивал ящики и, макая кисточку для бритья в чернила, писал на ящиках свои инициалы, она не высказала ему ни одного упрека, хотя поняла (из его глухого монолога), что он знает — мужчины деревни не поддержат его затеи. Только когда Хосе Аркадио Буэндиа начал снимать с петель дверь комнаты, Урсула решилась спросить, зачем он это делает, и он ответил ей с некоторой горечью: «Раз никто не хочет уходить, мы уйдем одни». Урсула сохранила полное спокойствие.

— Нет, мы не уйдем,— сказала она.— Мы останемся здесь, потому что здесь родился наш сын.

— Но у нас тут пока еще никто не умер,— ответил Хосе Аркадио Буэндиа.— Человек не связан с землей, если в ней не лежит его покойник.

Урсула возразила мягко, но решительно:

— Если мне надо будет умереть, чтобы мы остались здесь, я умру

Хосе Аркадио Буэндиа не поверил, что его жена может быть такой непреклонной. Он пытался околдовать ее чарами своей фантазии, обещанием чудесного мира, где стóит только обрызгать землю волшебными составами, и деревья, послушные воле человека, начинают приносить плоды, где за бесценок можно купить самые разнообразные аппараты для лечения болезней. Но Урсулу не трогали его прорицания.

— Вместо того чтобы думать целые дни о своих сумасбродных затеях, лучше занялся бы детьми,— отвечала она.— Ты только погляди на них, ведь они брошены на произвол судьбы, словно щенята какие.

Хосе Аркадио Буэндиа воспринял слова жены буквально. Он посмотрел в окно и увидел в залитом солнцем поле двух босых ребятишек, ему показалось, что они возникли из небытия в эту самую минуту, призванные заклятием Урсулы. Тогда что-то важное и таинственное произошло внутри него, вырвало его с корнем из того времени, в котором он жил, и увлекло в плаванье по неисследованным водам воспоминаний. Пока Урсула подметала пол в доме, который — она знала это — не покинет теперь до конца дней своих, Хосе Аркадио Буэндиа продолжал удивленно разглядывать своих сыновей; наконец, глаза его увлажнились, он провел по ним тыльной стороной руки и издал глубокий вздох отречения.

— Ладно. Скажи им, пусть помогут мне вытащить вещи из ящиков.

Старшему, Хосе Аркадио, минуло четырнадцать лет. У него была квадратная голова, лохматая шевелюра и своевольный характер отца. Но хотя он отличался такой же физической силой и обещал вырасти таким же большим, как его родитель, уже было очевидно, что он лишен

отцовского воображения. Он был зачат и появился на свет во время трудного перехода через горы, перед основанием Макондо, и родители вознесли хвалу господу, убедившись, что у ребенка нет никаких признаков животного. Аурелиано, первому человеческому существу, родившемуся в Макондо, должно было в марте исполниться шесть лет. Мальчик был молчалив и замкнут. В животе у матери он плакал, и родился с открытыми глазами. Пока перерезали пуповину, он вертел головой из стороны в сторону, как бы изучая предметы в комнате, и разглядывал лица окружающих с любопытством и без всякого страха. Потом, уже не проявляя интереса к тем, кто подходил познакомиться с ним, он сосредоточил все свое внимание на крыше из пальмовых листьев, которая каждую минуту грозила обрушиться под потоками низвергавшегося на нее ливня. Урсула вспомнила этот напряженный взгляд в тот день, когда трехлетний малыш Аурелиано вошел в кухню, где она как раз снимала с плиты и переносила на стол горшок с кипящим супом. Ребенок, в нерешительности помявшись у порога, сказал: «Сейчас упадет». Горшок твердо стоял на самой середине стола, но как только мальчик произнес эти слова, горшок начал неудержимо перемещаться к краю, будто подталкиваемый внутренней силой, затем упал на пол и разлетелся вдребезги. Встревоженная Урсула сообщила о происшествии мужу, однако тот не усмотрел в нем ничего особенного. Так случалось всегда — Хосе Аркадио Буэндиа не интересовался жизнью своих сыновей, отчасти потому, что считал детство периодом умственной недоразвитости, отчасти потому, что с головой был погружен в свои вздорные увлечения.

Но с того вечера, когда он позвал детей, чтобы они помогли ему распаковывать приборы лаборатории, Хосе Аркадио Буэндиа стал отдавать сыновьям свои лучшие часы. В уединенной каморке, стены которой чем дальше, тем больше покрывались невероятными картами и фантастическими чертежами, он учил детей чтению, письму, счету и рассказывал им о чудесах мира, опираясь не только на те познания, которыми располагал, но и широко используя безграничные возможности своего воображения. С его слов дети узнали, что на южной оконечности Африки живут умные и миролюбивые люди, они только и делают, что сидят и размышляют, а Эгейское море можно пересечь пешком, прыгая с острова на остров до самого порта Салоники. Эти вечерние беседы, полные разных небылиц, так прочно запечатлелись в памяти детей, что много лет спустя, за секунду до того, как офицер правительственных войск скомандует солдатам «Пли!», полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены, снова переживет в душе тот теплый мартовский вечер, когда его отец прервал урок физики да так и замер с поднятой вверх рукой и остановившимся взглядом, заслышав вдали флейты, барабаны и тамбурины цыганского табора, который снова прибыл в селение, оповещая всех о последнем потрясающем открытии мудрецов Мемфиса.

Это были уже новые цыгане. Молодые мужчины и женщины, говорящие только на своем языке,— великолепные представители цыганского племени с умащенной маслами кожей и ловкими руками; они наполнили улицы шумным, беспорядочным весельем, музыкой и танцами, принесли с собой разноцветных попугаев, распевающих итальянские романсы, курицу, которая под звуки бубна несла золотые яйца (не меньше сотни каждый раз), ученую обезьянку, которая угадывала мысли, сложную машину, предназначенную как для пришивания пуговиц, так и для понижения жара у больных, аппарат для забвения неприятных воспоминаний, пластырь, помогающий скоротать время, и еще тысячи других выдумок, таких искусных и необычайных, что Хосе Аркадио Буэндиа пришлось бы изобрести машину памяти, чтобы все их удержать в голове. В одно мгновение облик селения совершенно изменился. Оглушенные ярмарочным столпотворением, жители Макондо рисковали

теперь заблудиться на своих собственных улицах. Держа за руки детей, чтобы не потерять их в давке, беспрестанно наталкиваясь то на шарлатана-лекаря с зубами, покрытыми золотой броней, то на шестирукого фокусника, задыхаясь от смешанного запаха навоза и сандала, исходящего от толпы, Хосе Аркадио Буэндиа метался как безумный, разыскивая повсюду Мелькиадеса, чтобы тот посвятил его в бесчисленные тайны этого сказочного сновидения. Он спрашивал о Мелькиадесе у цыган, но они не понимали его языка. Наконец он добрался до того места, где Мелькиадес обычно раскидывал свой шатер; теперь там сидел грустного вида армянский цыган и повторял по-испански заклятие, делающее человека невидимым. Цыган только что выпил залпом стакан неизвестного напитка янтарного цвета, когда Хосе Аркадио Буэндиа протолкался через толпу зрителей, восхищенно взиравших на происходящее, и получил возможность задать вопрос. Цыган обволок его удивленным взглядом и тут же превратился в зловонную, дымящуюся лужицу смолы, на поверхности которой плавал ответ: «Мелькиадес умер». Ошеломленный этой новостью, Хосе Аркадио Буэндиа застыл на месте и стоял, пытаясь совладать со своим горем, пока привлеченные другими фокусами зрители не разошлись, а лужица грустного армянского цыгана не улетучилась до последней капли. Потом уже кто-то из цыган подтвердил, что Мелькиадес скончался от малярии в болотах Сингапура, и тело его было сброшено в море около Явы на самой большой глубине. Детей это известие не заинтересовало. Они тянули отца к одному из шатров поглядеть на чудесное открытие мудрецов Мемфиса, которое, как было объявлено, принадлежало раньше царю Соломону. Мальчики так приставали, что Хосе Аркадио Буэндиа заплатил тридцать реалов и вошел с ними в шатер, где бритоголовый великан с обросшим шерстью телом, медным кольцом в ноздре и тяжелой железной цепью на щиколотке сторожил сундук, похожий на те, в которых пираты хранят свои сокровища. Когда великан поднял крышку, из сундука потянуло пронизывающим холодом. Внутри не было ничего, кроме огромной прозрачной глыбы, набитой несчетным числом белых иголок; упав на них, вечерний свет разлетелся на тысячи разноцветных звезд.

Хосе Аркадио Буэндиа был озадачен, но зная, что дети ждут от него немедленного объяснения, он решился и пробормотал:

— Это самый большой в мире бриллиант.

— Нет,— поправил его великан.— Это лед.

Ничего не понявший Хосе Аркадио Буэндиа протянул руку к глыбе, великан отстранил его. «Еще пять реалов, и тогда трогайте»,— сказал он. Хосе Аркадио Буэндиа заплатил пять реалов, положил ладонь на лед и держал ее так несколько минут; соприкоснувшись с тайной, сердце его сжалось от страха и восторга. Не зная, как объяснить это необыкновенное чувство детям, он заплатил еще десять реалов, чтобы они сами его испытали. Маленький Хосе Аркадио отказался трогать. Аурелиано, напротив, смело нагнулся и положил руку на лед, но сразу же отдернул ее. «Это кипит», — испуганно воскликнул он. Отец даже не обратил на него внимания. Опьяненный очевидностью чуда, он забыл в ту минуту и о крушении своих бредовых затей, и о брошенном на съедение кальмарам трупе Мелькиадеса. Заплатив еще пять реалов, Хосе Аркадио Буэндиа торжественно возложил руку на глыбу — как свидетель, дающий показания в суде, кладет ее на Библию — и воскликнул:

— Это величайшее изобретение нашего времени!

■

Когда в XVI веке пират Фрэнсис Дрейк осадил Риоачу, прабабка Урсулы Игуаран была так напугана тревожным звоном колоколов и громом пушечных выстрелов, что не совладала со своими нервами и села на очаг с огнем. При этом прабабка получила столь сильные ожоги, что

навсегда сделалась непригодной для супружеской жизни. Она могла сидеть лишь одной половинкой и только на мягких подушках, да и с походкой у нее, очевидно, было неладно — в присутствии посторонних она больше не решалась ходить.

Одержимая мыслью, что от нее пахнет паленым, она отказалась от всякого общения с людьми. Каждую ночь до самой зари сидела она во дворе, не осмеливаясь пойти в комнату и лечь спать,— ей все чудилось, что англичане со своими свирепыми собаками залезут в окно и подвергнут ее постыдным пыткам раскаленным железом. Ее муж, арагонский купец, от которого она родила двоих сыновей, извел половину своего состояния на врачей и лекарства, стараясь хоть как-нибудь облегчить муки жены. В конце концов он продал свою лавку и увез семью подальше от моря, в селение мирных индейцев, расположенное на одном из отрогов горного хребта, там он построил для супруги спальню без окон, чтобы пираты ее ночных кошмаров не могли к ней проникнуть.

В этом заброшенном селении жил с давних пор один креол, звали его Хосе Аркадио Буэндиа, он занимался разведением табака; вместе с ним прадед Урсулы организовал такое прибыльное предприятие, что за короткий срок оба они сколотили себе хорошее состояние. Несколько столетий спустя праправнук креола женился на праправнучке арагонца. Каждый раз, когда очередное сумасбродство мужа выводило Урсулу из себя, она перескакивала одним махом через триста лет, наполненных разными происшествиями, и принималась проклинать тот час, в который Фрэнсис Дрейк осадил Риоачу. Впрочем, делала она это, просто чтобы отвести душу, на самом деле ее всю жизнь связывали с мужем узы более прочные, чем любовь: общие угрызения совести. Урсула и ее муж были двоюродными братом и сестрой и выросли вместе в старом селении, которое благодаря трудолюбию и добронравию их предков превратилось в одно из лучших во всей округе. Хотя брак между ними был предсказан как только они появились на свет, тем не менее когда они выразили желание пожениться, родители запротестовали. Они боялись, что здоровые отпрыски двух родов, скрещивающихся в течение столетий, могут осрамиться и произвести на свет игуан. Один такой страшный случай уже был. Тетка Урсулы вышла замуж за дядю Хосе Аркадио Буэндиа и родила сына; всю свою жизнь он носил вместо узких брюк шаровары и умер от потери крови, после того как прожил на свете сорок два года в состоянии полнейшего целомудрия, ибо родился и рос с хвостом — хрящеватым, завивающимся крючком и с кисточкой на конце. С настоящим поросячьим хвостиком, который он не дал увидеть ни одной женщине и который стоил ему в конце концов жизни, когда приятель мясник, по его просьбе, отрубил эту закорючку топором для разделки туш. Хосе Аркадио Буэндиа, со всей беспечностью своих девятнадцати лет, положил конец спорам одной-единственной фразой: «А по мне, пусть хоть поросята родятся, лишь бы говорить умели». Свадьбу сыграли, гуляние с музыкой и пальбой продолжалось три дня. И жили бы молодые после этого счастливо, не запугай мать Урсулы свою дочку разными мрачными пророчествами насчет будущего потомства, да так, что Урсула наотрез отказалась завершить бракосочетание тем, чем должно оно увенчаться. Опасаясь, что муж — человек могучий и с характером — возьмет ее силой, она, прежде чем лечь в постель, надевала нечто вроде панталон, которые мать соорудила ей из толстой парусины. Панталоны были укреплены целой системой перекрещивающихся ремешков, застегнутых спереди толстой железной пряжкой. Так супруги прожили много месяцев. Днем он обихаживал своих бойцовых петухов, а она вышивала на пяльцах вместе со своею матушкой. Ночью молодые проводили целые часы в томительной и жестокой борьбе, которая уже стала постепенно заменять им любовный акт. Но тут догадливые соседи учуяли неладное, и по

селению прошел слух, что Урсула, после года супружества, все еще остается девственницей по вине своего мужа. Последним узнал об этом сам Хосе Аркадио Буэндиа.

— Слышишь, Урсула, что в народе говорят,— спокойно сказал он жене.

— Пусть болтают,— ответила она.— Ведь мы-то знаем, что это неправда.

И таким образом жизнь их шла по-прежнему еще полгода, до того трагического воскресного дня, когда петух Хосе Аркадио Буэндиа одержал победу над петухом Пруденсио Агиляра. Взбешенный проигрышем и возбужденный видом крови, Пруденсио Агиляр нарочно отошел подальше от Хосе Аркадио Буэндиа, чтобы все, кто находился в помещении, услышали его слова.

— Поздравляю тебя,— крикнул он.— Может, этот петух осчастливит, наконец, твою жену. Поглядим!

Хосе Аркадио Буэндиа с невозмутимым видом поднял с земли своего петуха. «Я сейчас приду»,— сказал он, обращаясь ко всем. Потом повернулся к Пруденсио Агиляру:

— А ты иди домой и возьми оружие, я собираюсь тебя убить.

Через десять минут он возвратился с толстым копьем, принадлежавшим еще его деду. В дверях сарая для петушиных боев, где собралось почти полселения, стоял Пруденсио Агиляр. Он не успел защититься. Копье Хосе Аркадио Буэндиа, брошенное с чудовищной силой и с той безукоризненной меткостью, благодаря которой первый Аурелиано Буэндиа в свое время истребил всех ягуаров в округе, пронзило ему горло. Ночью, пока в сарае для петушиных боев родные бодрствовали у гроба покойника, Хосе Аркадио Буэндиа вошел в спальню и увидел, что жена его надевает, как обычно, свои панталоны целомудрия. Потрясая копьем, он приказал: «Сними это». Урсула не стала испытывать решимость мужа. «Если что случится, отвечаешь ты»,— предупредила она. Хосе Аркадио Буэндиа вонзил копье в земляной пол.

— Коли тебе суждено родить игуан, что ж, станем растить игуан,— сказал он.— Но в этом селении никто больше не будет убит по твоей вине.

Была прекрасная июньская ночь, лунная и прохладная. Они не спали и до самого рассвета сотрясали постель, безразличные к ветру, который пролетал через спальню, нагруженный причитаниями родичей Пруденсио Агиляра.

В народе это событие истолковали как поединок чести, но в душах обоих супругов остались угрызения совести. Однажды ночью Урсуле не спалось, она захотела попить воды и во дворе около большого глиняного кувшина увидела Пруденсио Агиляра. Смертельно бледный и очень печальный, он пытался заткнуть куском пакли кровавую рану в горле. При виде мертвеца Урсула почувствовала не страх, а жалость. Она вернулась в комнату, чтобы рассказать мужу о случившемся, но тот не придал ее словам никакого значения. «Мертвые не выходят из могил,— сказал он.— Все дело в том, что нас мучит совесть». Две ночи спустя Урсула встретила Пруденсио Агиляра в купальне — он смывал паклей запекшуюся на шее кровь. В другую ночь она обнаружила, что он разгуливает под дождем. Хосе Аркадио Буэндиа, которому надоели видения жены, взял копье и вышел во двор. Мертвец стоял там со своим всегдашним печальным видом.

— Убирайся к черту! — закричал ему Хосе Аркадио Буэндиа.— Сколько бы ты ни возвращался, каждый раз я буду убивать тебя снова.

Пруденсио Агиляр не ушел, а Хосе Аркадио Буэндиа не осмелился метнуть в него копье. И с этого времени он уже не мог спать спокойно.

Его мучило воспоминание о безграничном отчаянии, с которым мертвец смотрел на него сквозь дождь, о глубокой тоске по живым, светившейся в его глазах, о том беспокойстве, с каким Пруденсио Агиляр оглядывался вокруг в поисках воды, чтобы смочить свой кусок пакли. «Должно быть, ему очень тяжело,— сказал Хосе Аркадио Буэндиа жене.— Видно, он ужасно одинок». Урсула прониклась к мертвецу таким состраданием, что, заметив при следующей встрече, как он заглядывает во все котлы на плите, и сообразив, чего он ищет, она с тех пор оставляла для него миски с водой в разных местах дома. В ту ночь, когда Хосе Аркадио Буэндиа увидел, что мертвец обмывает свои раны в его собственной спальне, он сдался.

— Ладно, Пруденсио,— сказал он.— Мы уйдем из этой деревни как можно дальше и никогда сюда не вернемся. А теперь ступай себе с миром.

Вот так и случилось, что они затеяли поход через горный хребет к морю. Несколько друзей Хосе Аркадио Буэндиа, такие же молодые, как и он, охваченные жаждой приключений, покинули свои дома и отправились с женами и детьми искать землю... необетованную. Прежде чем уйти из селения, Хосе Аркадио Буэндиа зарыл во дворе копье и одного за другим обезглавил всех своих великолепных бойцовых петухов, думая, что этой жертвой он принесет какое-то успокоение Пруденсио Агиляру. Урсула взяла с собою только сундук с подвенечным нарядом, кое-что из домашней утвари и сундучок с отцовским наследством — золотыми монетами. Никто не позаботился обдумать заранее, какими путями лучше двигаться. Просто решили идти в направлении, противоположном тому, где находится Риоача, чтобы не встретить никого из знакомых и бесследно исчезнуть. Более нелепого путешествия не знал мир. Через год и два месяца, окончательно испортив себе желудок обезьяньим мясом и супом из змей, Урсула произвела на свет сына, все части тела у которого были вполне человеческими. Из-за того, что ноги у нее опухли, а вены на них вздулись, как пузыри, ей пришлось пролежать добрую половину пути в гамаке, подвешенном к палке, которую двое мужчин несли на плечах. Ребятишки переносили все тяготы пути лучше, чем их родители, и большую часть времени беспечно резвились, хотя вид у них был жалкий — впалые глаза, вспученные животы. Однажды утром, после почти двухлетних скитаний, путникам довелось стать первыми смертными, увидевшими западный склон горного хребта. С покрытой облаками вершины они созерцали необъятное, изрезанное реками пространство — огромную долину, расстилавшуюся до другого края света. Но к морю они так и не вышли. Проблуждав несколько месяцев по болотам, уже давным-давно не встречая на своем пути ни одной живой души, они как-то ночью расположились лагерем на берегу каменистой реки, вода в которой была похожа на застывший поток жидкого стекла. Много лет спустя, во время второй гражданской войны, полковник Аурелиано Буэндиа, собираясь захватить врасплох гарнизон Риоачи, пытался пройти той же дорогой и через шесть дней пути понял, что его попытка — чистейшее безумие. В ту ночь, когда был раскинут лагерь у реки, войско его отца смахивало на потерпевших кораблекрушение, однако за время перехода оно увеличилось в числе, и все его солдаты намеревались жить до глубокой старости (что им и удалось осуществить). Ночью Хосе Аркадио Буэндиа приснилось, будто на месте лагеря поднялся шумный город и стены его домов сделаны из чего-то прозрачного. Он спросил, что это за город, и услышал в ответ незнакомое и довольно бессмысленное название, но во сне оно приобрело сверхъестественную звучность: Макондо. На следующий день он убедил своих людей, что им никогда не удастся выйти к морю. Приказал валить деревья и расчистить в самом прохладном месте возле реки поляну, тут они и основали селение.

Хосе Аркадио Буэндиа не удавалось разгадать сон о домах со стенами из чего-то прозрачного до тех пор, пока он не увидел лед. Тут он решил, что постиг глубокий смысл пророческого сновидения: в ближайшем будущем можно наладить производство ледяных кирпичей из такого доступного материала, как вода, и построить всем новые жилища. Тогда Макондо из раскаленного горнила, где от жары перекашиваются щеколды и оконные петли, превратится в город вечной прохлады. И если Хосе Аркадио Буэндиа не упорствовал в своем намерении создать завод льда, то лишь потому, что в то время был поглощен воспитанием своих сыновей, особенно Аурелиано, проявившего с первого же дня редкие способности к алхимии. В лаборатории снова закипела работа. Перечитывая заметки Мелькиадеса, теперь уже спокойно, без того возбуждения, которое вызывает новизна, отец и сын настойчиво и терпеливо пытались выделить золото Урсулы из пригоревшей ко дну котелка массы. Младший Хосе Аркадио почти не принимал участия в этой работе. Пока его отец предавался душой и телом своим занятиям у горна, его своенравный первенец — и прежде очень крупный, не по годам — уже превратился в рослого юношу. Голос у него огрубел. Подбородок и щеки покрылись молодым пушком. Однажды Урсула, войдя в комнату, когда он раздевался перед сном, ощутила смешанное чувство стыда и жалости: после мужа сын оказался первым мужчиной, которого ей довелось видеть обнаженным, и он был так хорошо снаряжен для жизни, что она даже испугалась. В Урсуле, беременной уже третьим ребенком, снова ожили страхи, некогда мучавшие новобрачную.

В ту пору дом Буэндиа часто навещала одна женщина — веселая, задорная, бойкая на язык, она помогала Урсуле по хозяйству и умела гадать на картах. Урсула поделилась с ней своей тревогой. Необычайное развитие сына казалось ей чем-то столь же неестественным, как поросячий хвост ее родственника. Женщина залилась неудержимым смехом, зазвеневшим по всему дому точно хрустальный колокольчик. «Как раз наоборот,— сказала она.— Он будет счастливым». Через несколько дней, чтобы подтвердить правильность своего предсказания, она принесла колоду карт и заперлась с Хосе Аркадио в кладовой рядом с кухней. Неторопливо раскладывая карты на старом верстаке, она болтала о том о сем, пока парень стоял рядом, не столько всем этим заинтересованный, сколько утомленный. Вдруг гадалка протянула руку и коснулась его. «Ух ты!» — воскликнула она с неподдельным испугом и больше не смогла произнести ни слова. Хосе Аркадио почувствовал, что кости у него становятся мягкими, как губка, его охватил изнуряющий страх, он с трудом сдерживал слезы. Женщина ничем его не поощрила. Но он всю ночь искал ее, всю ночь чудился ему запах дыма, который исходил от ее подмышек; этот запах, казалось, впитался в его тело. Ему хотелось быть все время с нею, и чтобы они никогда не выходили из кладовой, и чтобы она говорила ему «Ух ты!», и снова трогала его, и снова говорила «Ух ты!». Наступил день, когда он не смог больше выносить этого мучения и отправился к ней домой. Визит был очень официальный и непонятный — за все время Хосе Аркадио ни разу не открыл рта. Сейчас он ее не желал. Она казалась ему совсем непохожей на тот образ, который вызывал в нем ее запах,— словно то была не она, а кто-то другой. Он выпил кофе и, совершенно подавленный, ушел от нее. Ночью, терзаясь бессонницей, он снова испытал страстное и грубое томление, но теперь он желал не ту, что была с ним в кладовой, а ту, которая вечером сидела перед ним.

Через несколько дней женщина неожиданно позвала Хосе Аркадио к себе, она была вдвоем с матерью, и под предлогом, что хочет научить юношу одному карточному фокусу, увела его в спальню. Здесь она с такой бесцеремонностью прикоснулась к нему, что он содрогнулся всем телом, но почувствовал разочарование и страх, а не наслаждение. Потом

сказала, чтобы он пришел к ней ночью. Хосе Аркадио обещал, просто желая поскорее вырваться от нее — он знал, что не в силах будет прийти. Однако ночью в своей жаркой постели он понял, что должен пойти к ней, несмотря на то что не в силах это сделать. Ощупью одеваясь, он слышал в темноте ровное дыхание брата, сухой кашель отца в соседней комнате, задыхающееся кудахтанье кур во дворе, жужжание москитов, барабанный бой своего сердца — весь этот беспорядочный шум мира, раньше не привлекавший его внимания. Потом вышел на спящую улицу. Он желал всем сердцем, чтобы дверь оказалась запертой на щеколду, а не просто прикрытой, как ему обещали. Но она была не заперта. Он толкнул ее кончиками пальцев, и петли издали громкий заунывный стон, который ледяным эхом отозвался у него внутри. Боком, стараясь не шуметь, он вошел в дом и сразу почувствовал тот запах. Хосе Аркадио находился еще в первой комнате, где братья женщины подвешивали для сна свои гамаки — в каких местах висели эти гамаки, он не знал и не мог определить в темноте, поэтому ему предстояло ощупью добраться до двери в спальню, открыть ее и взять верное направление, чтобы не ошибиться постелью. Он двинулся вперед и в то же мгновение налетел на изголовье гамака, который висел ниже, чем он предполагал. Человек, до сих пор спокойно храпевший, перевернулся во сне на другой бок и сказал с некоторым разочарованием в голосе: «Была среда». Когда Хосе Аркадио открыл дверь в спальню, дверь заскребла по неровному полу, и он ничего с этим не мог поделать. Очутившись в беспросветном мраке, охваченный тоской и смятением, он понял, что окончательно заблудился. В тесном помещении спали — мать, ее вторая дочь с мужем и двумя детьми и женщина, которая, видимо, и не ждала его вовсе. Он мог бы искать ее по запаху, но запах был повсюду, такой же неуловимый и в то же время определенный, как тот, что теперь он постоянно носил в своем теле. Хосе Аркадио долго стоял неподвижно, в ужасе спрашивая себя, как он оказался в этой пропасти беспомощности, как вдруг чья-то рука с вытянутыми пальцами, ощупывающими тьму, наткнулась на его лицо. Он не удивился, потому что, сам того не ведая, ждал этого прикосновения, вверился руке и, в состоянии полнейшего изнеможения, позволил ей довести себя до невидимой постели, где его раздели и стали встряхивать, как мешок с картошкой, ворочать налево и направо в непроницаемой темноте, в которой он обнаружил у себя лишние руки и где пахло уже не женщиной, а аммиаком; он смутно ощущал, что делает то, что ему уже давно хотелось делать, хотя он никогда не думал, что сумеет это делать, он сам не знал, как это делает, не знал, где у него голова, где руки, где ноги, чья это голова, чьи ноги, и чувствовал, что больше не может, и испытывал страстное, оглушающее желание убежать и в то же время остаться навсегда в этой отчаянной тишине, в этом пугающем одиночестве.

Ее звали Пилар Тернера. По воле своих родителей она приняла участие в великом исходе, завершившемся основанием Макондо: родители хотели разлучить свою дочь с человеком, который, когда ей было четырнадцать лет, лишил ее невинности и все еще продолжал жить с нею, когда ей исполнилось двадцать два года, но никак не мог решиться узаконить этот союз, потому что был не из ее селения. Он поклялся, что последует за ней на край света, но только попозже, когда уладит свои дела, с тех пор она все ждала его и уже потеряла надежду на встречу, хотя карты то и дело сулили ей мужчин, самых разных мужчин: высоких и низких, белокурых и темноволосых, которые должны были прибыть к ней — то сушей, то морем, то через три дня, то через три месяца, то через три года. В ожидании она постепенно утратила крепость бедер, упругость грудей, отвыкла от мужских ласк, но сохранила неприкосновенным безумие своего сердца. Восхищенный новой чудесной игрушкой, Хосе Аркадио теперь каждую ночь отправлялся искать ее в лабиринте

комнаты. Как-то раз он нашел дверь запертой и принялся стучать, зная, что, уж если у него достало смелости стукнуть в первый раз, надо стучать до конца... После бесконечного ожидания дверь открылась. Днем, валясь с ног от недосыпания, он втайне наслаждался воспоминаниями о прошедшей ночи. Но когда Пилар Тернера появлялась в доме, веселая, безразличная, насмешливая, ему не приходилось делать никакого усилия, чтобы скрыть свое волнение, потому что эта женщина, чей звонкий смех вспугивал бродивших по двору голубей, не имела ничего общего с той невидимой силой, которая научила его затаивать дыхание и считать удары своего сердца и позволила ему понять, отчего мужчины боятся смерти. Он был так занят своими переживаниями, что даже не сообразил, чему все радуются, когда его отец и брат потрясли дом сообщением, что им удалось, наконец, расплавить неуязвимые металлические шкварки и извлечь из них золото Урсулы.

Они добились этого после трех дней упорного труда. Урсула была счастлива и даже возблагодарила бога за то, что он изобрел алхимию, а жители деревни набились в лабораторию, где их угощали лепешками с вареньем из гуайявы[7], чтобы отпраздновать свершившееся чудо, в то время как Хосе Аркадио Буэндиа показывал им тигель с освобожденным золотом, и вид у него был такой, будто он сам только что это золото изобрел. Переходя от одного к другому, он очутился возле своего старшего сына, который последнее время почти не появлялся в лаборатории. Он поднес к его глазам желтоватую сухую золу и спросил: «Ну, как это выглядит?» Хосе Аркадио правдиво ответил:

— Как собачье дерьмо.

Отец ударил его по губам тыльной стороной руки, да так сильно, что изо рта Хосе Аркадио потекла кровь, а из глаз — слезы. Ночью, ощупью находя в темноте пузырек с лекарством и вату, Пилар Тернера приложила к опухоли компресс из арники и сделала все, чего хотелось Хосе Аркадио, не причинив ему никаких неудобств, ухитрившись любить и не ушибить. Они достигли такой степени близости, что минуту спустя, сами того не заметив, впервые стали тихо разговаривать.

— Я хочу быть только вдвоем с тобой,— шептал он.— На днях я всем все расскажу и покончу с этими прятками.

Пилар Тернера не пыталась отговорить его.

— Да, хорошо бы,— согласилась она.— Если мы будем одни, мы зажжем лампу, чтобы видеть друг друга, я смогу кричать, что вздумается, и никому до этого не будет дела, а ты сможешь болтать мне на ухо всякие глупости, которые тебе в голову взбредут.

Этот разговор, едкая злоба против отца и уверенность в том, что уж незаконная-то любовь ему останется во всех случаях, внушили Хосе Аркадио спокойное мужество. Без какой-либо подготовки он рассказал все брату.

В похождениях Хосе Аркадио маленький Аурелиано сначала увидел только грозившую брату страшную опасность — он не понял, какая сила того притягивает. Но постепенно мучительное волнение Хосе Аркадио передалось и ему. Он заставлял брата рассказывать мельчайшие подробности, приобщался к его страданиям и наслаждениям, чувствовал себя испуганным и счастливым. Теперь он ждал возвращения Хосе Аркадио и до рассвета не смыкал глаз, ворочаясь на своей одинокой постели, как на ложе из раскаленных углей; потом братья разговаривали до того часа, когда уже надо было вставать, и скоро оба впали в какое-то полудремотное состояние, прониклись одинаковым отвращением и к алхимии и к отцовской учености и замкнулись в одиночестве. «Дети бродят как очумелые,— говорила Урсула.— Наверное, у них глисты». Она приготовила им

[7] Плоды тропического фруктового дерева.

отталкивающего вида настой из растертого в порошок паико[8], оба выпили это пойло с неожиданной отвагой. Аурелиано не только понимал треволнения брата, но и переживал их вместе с ним, как свои собственные. Однажды, когда тот подробно описывал ему механизм любви, он остановил его вопросом: «А что тогда чувствуешь?» Хосе Аркадио не замедлил с ответом:

— Это как землетрясение.

В один из январских четвергов в два часа ночи родилась Амаранта. Прежде чем впустить кого-нибудь в комнату, Урсула тщательно осмотрела ребенка. Девочка была легкая и вертлявая, словно ящерица, но все у нее было человеческое. Аурелиано узнал о событии, только когда заметил, что в доме собралось много народу. Воспользовавшись сутолокой, он отправился искать брата, постель которого пустовала с одиннадцати часов ночи; он принял это решение так неожиданно, что даже не успел сообразить, как же извлечет Хосе Аркадио из спальни Пилар Тернеры. Несколько часов бродил Аурелиано вокруг ее дома, издавая условный свист, пока, наконец, близость рассвета не вынудила его вернуться восвояси. В комнате матери он увидел Хосе Аркадио, тот с невинным лицом забавлял новорожденную сестренку.

Не прошло еще и сорока дней после родов, как снова появились цыгане. Это были те же самые скоморохи и жонглеры, которые приносили лед. Очень скоро стало ясно, что в отличие от племени Мелькиадеса они не глашатаи прогресса, а просто торговцы зрелищами. Даже тогда, когда они принесли лед, они показывали его не как нечто такое, из чего люди могут извлечь пользу, а просто как цирковой аттракцион. На этот раз среди многих других чудес они притащили с собой летающую циновку. Но в ней они видели не существенный вклад в дело развития средств сообщения, а просто-напросто забаву. Народ, конечно, вытряс свои последние золотые монеты за удовольствие полетать над крышами деревни. Под защитой восхитительной безнаказанности, порожденной всеобщим беспорядком, Хосе Аркадио и Пилар упивались полной свободой. Чувствуя себя счастливыми женихом и невестой, затерянными в толпе, они даже начали подозревать, что любовь может быть более глубокой и спокойной, чем необузданное, но скоропреходящее блаженство тайных ночей. Однако Пилар нарушила очарование. Подогретая восторгом, который вызывало у Хосе Аркадио ее общество, она приняла видимость за сущность и с размаху обрушила на его голову вселенную. «Теперь ты действительно мужчина»,— заявила она. И так как он не понял, что она хочет этим сказать, объяснила ему по слогам:

— У тебя будет сын.

Несколько дней Хосе Аркадио не осмеливался выходить из дому. Достаточно было ему услышать заливчатый смех Пилар на кухне, как он тут же скрывался в лабораторию, где с благословения Урсулы снова закипела работа. Хосе Аркадио Буэндиа шумно приветствовал возвращение блудного сына и посвятил его в тайну поисков философского камня, к которым он, наконец, приступил.

Однажды вечером братьев привела в восторг летающая циновка, она промчалась мимо окна лаборатории с цыганом-кучером и несколькими деревенскими мальчишками, помахавшими братьям рукой, но Хосе Аркадио Буэндиа даже не повернулся к окну. «Пусть себе забавляются,— сказал он.— Мы будем летать более научным способом, а не на этой жалкой подстилке». Несмотря на свой притворный интерес к философскому яйцу, Хосе Аркадио так никогда и не уразумел, какой мощью оно обладает, и в душе считал, что это просто неудачно отлитая бутылка. Работа

[8] Индейское название растения тропиков, обладающего целебными, главным образом противоглистными, свойствами.

в лаборатории не спасла его от гнетущих мыслей. Он потерял аппетит и сон и захандрил, как это случалось с его отцом после провала очередной затеи; подавленное состояние сына так бросалось в глаза, что Хосе Аркадио Буэндиа освободил его от обязанностей по лаборатории, решив, что он принимает алхимию слишком близко к сердцу. Аурелиано, не в пример отцу, понял, что горе брата не связано с поисками философского камня, однако ему не удалось вырвать у Хосе Аркадио никаких признаний. Брат утратил свою былую искренность. Его всегдашние дружелюбие и общительность уступили место замкнутости и враждебности. Терзаемый жаждой одиночества, отравленный ядовитой злобой ко всему миру, он однажды ночью снова покинул свою постель, но отправился не к дому Пилар Тернеры, а смешался с толпившимися вокруг цыганских шатров зеваками. Побродив возле разных хитроумных аттракционов и ни одним из них не заинтересовавшись, он обратил внимание на то, что не было выставлено для обозрения,— на молоденькую цыганку, почти девочку, сгибавшуюся под тяжестью своих стеклянных бус, красивее ее Хосе Аркадио за всю свою жизнь никого не видел. Девушка стояла в толпе, созерцавшей печальную картину — человека, который ослушался своих родителей и был за это превращен в змею.

Хосе Аркадио даже не посмотрел на беднягу. Пока толпа вопрошала человека-змею о грустных подробностях его истории, Хосе Аркадио протолкался в первый ряд к цыганке и встал за ней. Потом он прижался к ее спине. Девушка попыталась отодвинуться, но Хосе Аркадио еще сильнее прижался к ее спине. Тогда она почувствовала его. Застыла на месте, дрожа от удивления и испуга, не веря своим ощущениям, наконец, обернулась и с робкой улыбкой взглянула на Хосе Аркадио. В эту минуту двое цыган сунули человека-змею в клетку и отнесли в шатер. Цыган-зазывала объявил:

— А теперь, дамы и господа, мы покажем вам страшный номер — женщину, которой сто пятьдесят лет подряд, каждую ночь и в этот самый час, отрубают голову в наказание за то, что она видела то, чего не должна была видеть.

Хосе Аркадио и девушка не присутствовали при обезглавливании. Они были уже в шатре и целовались с мучительным волнением, одновременно сбрасывая с себя одежду. Цыганка освободилась от своих, одетых один на другой корсажей, многочисленных юбок из пожелтевшего кружева, совсем ненужного ей проволочного корсета, груза стеклянных бус и превратилась практически в ничто. Этот чахлый лягушонок с неразвитой грудью и такими худыми ногами, что они были тоньше, чем руки Хосе Аркадио, обладал, однако, решительностью и пылом, которые с лихвой возмещали его хрупкость. К сожалению, Хосе Аркадио не мог ответить такой же страстностью, потому что в шатер то и дело входили цыгане с разным имуществом, занимались тут своими делами и даже устраивались на полу возле кровати, чтобы перекинуться в кости. Посередине шатра на шесте висела лампа и освещала каждый уголок. В коротком промежутке между ласками голый Хосе Аркадио беспомощно вытянулся на постели, не зная, что же ему делать, а девушка снова и снова пыталась вдохновить его. Немного погодя в шатер вошла пышнотелая цыганка в сопровождении человека, который не принадлежал к ее племени, но и был не из местных,— оба начали раздеваться прямо около кровати. Женщина случайно взглянула на Хосе Аркадио и пришла в полный восторг, увидев его спящего зверя.

— Мальчик,— воскликнула она,— да сохранит его тебе бог!

Подружка Хосе Аркадио изъявила желание, чтобы их оставили в покое, и новая пара улеглась на землю, рядышком с кроватью. Чужая страсть пробудила наконец желание в Хосе Аркадио. При первой его

атаке кости девушки, казалось, рассыпались в разные стороны с беспорядочным стуком, как груда фишек домино, кожа растворилась в бесцветном поту, глаза наполнились слезами, а все тело издало тоскливый стон, и от него смутно запахло тиной. Но цыганка перенесла натиск с твердостью и мужеством, достойными восхищения. Хосе Аркадио почувствовал, что он возносится в какие-то райские заоблачные выси, из его переполненного сердца хлынули фонтаном нежнейшие непристойности, они вливались в девушку через уши и выливались у нее изо рта, переведенные на ее язык. Это было в четверг. А в ночь на субботу Хосе Аркадио повязал себе голову красной тряпкой и ушел из Макондо вместе с цыганами.

Заметив исчезновение сына, Урсула кинулась искать его по всему селению. На покинутом цыганами пустыре она нашла только валяющийся повсюду мусор и еще дымящуюся золу от погашенных костров. Кто-то из жителей селения, бродивших среди отбросов в надежде обнаружить стеклянные бусы, сказал Урсуле, что накануне ночью видел ее сына с комедиантами — Хосе Аркадио толкал тележку с клеткой человека-змеи. «Он стал цыганом!» — крикнула Урсула мужу, который не проявлял ни малейшего беспокойства по поводу пропажи первенца.

— Это было бы неплохо,— сказал Хосе Аркадио Буэндиа, продолжая растирать какое-то вещество, уже сто раз толченое-перетолченное и гретое-перегретое и теперь снова очутившееся в ступке.— Он станет мужчиной.

Урсула разузнала, в каком направлении пошли цыгане. Она отправилась по той же дороге, учиняя допрос каждому встречному и надеясь догнать табор, и все удалялась да удалялась от селения, пока, наконец, не обнаружила, что зашла так далеко, что не стоит и возвращаться обратно. Хосе Аркадио Буэндиа обратил внимание на отсутствие жены только в восемь часов вечера, когда, оставив вещество согреваться на подстилке из навоза, он зашел поглядеть, что происходит с маленькой Амарантой, которая к тому времени уже охрипла от плача. Долго не раздумывая, он собрал отряд из хорошо вооруженных односельчан, передал Амаранту в руки женщине, предложившей себя в кормилицы, и затерялся на нехоженых тропах в поисках Урсулы. Аурелиано он взял с собой. На рассвете рыбаки-индейцы, говорившие на непонятном языке, знаками объяснили им, что тут никто не проходил. После трехдневных безуспешных розысков они возвратились в селение.

Хосе Аркадио Буэндиа тосковал. Он ходил, как мать, за маленькой Амарантой. Купал ее, перепеленывал, носил четыре раза в день к кормилице, а вечером даже пел ей песни, чего Урсула не умела делать. Однажды Пилар Тернера предложила взять на себя заботы о хозяйстве до возвращения Урсулы. Когда Аурелиано, чья таинственная интуиция обострилась в беде, увидел, что Пилар Тернера входит в дом, его словно озарило. Он понял: это она каким-то необъяснимым образом повинна в бегстве его брата и последующем исчезновении матери — и встретил ее с такой молчаливой и непреклонной враждебностью, что женщина больше не появлялась.

Время поставило все на свои места. Хосе Аркадио Буэндиа и его сын, сами не заметив, как и когда это случилось, снова очутились в лаборатории, смахнули пыль, раздули огонь в горне и опять увлеклись кропотливыми манипуляциями с веществом, которое несколько месяцев протомилось на подстилке из навоза. Лежа в корзине из ивовых прутьев в комнате, где воздух был пропитан испарениями ртути, Амаранта с любопытством наблюдала за тем, что делают отец и брат. Через месяц после исчезновения Урсулы в лаборатории начали происходить странные явления. Пустая бутылка, давно валявшаяся в шкафу, вдруг сделалась такой

тяжелой, что невозможно было сдвинуть ее с места. Вода в кастрюле, поставленной на рабочий стол, закипела сама по себе, без помощи огня, и бурлила целые полчаса, пока не испарилась до последней капли. Хосе Аркадио Буэндиа и его сын шумно радовались этим чудесам, они не знали, чем их объяснить, но истолковывали как предвестие появления новой субстанции. В один прекрасный день корзина с Амарантой, без всякого постороннего воздействия, внезапно поднялась в воздух и описала круг по комнате на глазах у пораженного Аурелиано, который поспешил задержать ее. Но Хосе Аркадио Буэндиа нимало не встревожился. Он водворил корзину на прежнее место и привязал к ножке стола. Поведение корзины окончательно убедило его в том, что их надежды близки к свершению. Именно тогда он и сказал Аурелиано:

— Если ты не боишься бога, бойся металлов.

Почти через пять месяцев после своего исчезновения возвратилась Урсула. Она явилась возбужденная, помолодевшая, в новых нарядах, каких в селении никто не носил. Хосе Аркадио Буэндиа чуть с ума не сошел от радости. «Вот оно! Так и случилось, как я думал!» — закричал он. И это была правда, ведь во время своих длительных затворничеств в лаборатории, занимаясь опытами с веществом, он в глубине души молил бога, чтобы ожидаемое чудо было не открытием философского камня, не изобретением способа превратить в золото все замки и оконные петли в доме, а именно тем, что и произошло,— возвращением Урсулы. Но жена не разделила его бурной радости. Она одарила мужа обычным поцелуем, как будто они виделись не более часа тому назад, и сказала:

— Выйди-ка на крыльцо.

Хосе Аркадио Буэндиа понадобилось немало времени, чтобы прийти в себя от замешательства, которое он испытал, обнаружив на улице перед своим домом толпу людей. Это были не цыгане, а обыкновенные мужчины и женщины, похожие на тех, кто жили в Макондо, говорящие на том же языке и жалующиеся на те же немочи. Возле них стояли мулы, нагруженные всякой провизией, запряженные волами повозки с мебелью и домашней утварью — целомудренными и бесхитростными принадлежностями земного существования, словно выставленными на продажу торговцами повседневной действительностью.

Эти люди пришли с другого края долины, туда можно было добраться всего за два дня, но там были города, где получали почту каждый месяц и пользовались машинами, облегчающими жизнь. Урсула не догнала цыган, но зато нашла ту дорогу, которую не сумел разыскать ее муж в своей безуспешной погоне за великими открытиями.

■

Сына Пилар Тернеры принесли в дом его деда и бабки спустя две недели после того, как он появился на свет. Урсула, хоть и неохотно, но приняла младенца, еще раз побежденная упорством своего мужа, который не мог допустить и мысли, что отпрыск рода Буэндиа окажется брошенным на произвол судьбы. Однако она поставила условие, чтобы ребенок никогда не узнал о своем истинном происхождении. Мальчика нарекли Хосе Аркадио, но во избежание путаницы все постепенно стали звать его просто Аркадио. В то время жители Макондо усиленно занимались предпринимательством и в доме Буэндиа царила такая суета, что было не до детей. Их поручили заботам Виситасьон, индианки из племени гуахиро, которая попала в Макондо вместе со своим братом, спасаясь от губительной и заразной болезни — бессонницы, уже несколько лет свирепствовавшей на их родине. Брат и сестра были людьми услужливыми и работящими, поэтому Урсула наняла их себе

в помощь по дому. Вот так и вышло, что Аркадио и Амаранта стали говорить на языке гуахиро раньше, чем по-испански, и научились есть суп из ящериц и паучьи яйца, а Урсула этого даже и не заметила, потому что была всецело поглощена весьма многообещающей торговлей зверушками и пичужками из леденца. Макондо совсем изменилось. Люди, которых привела Урсула, так расхвалили повсюду выгоды его расположения и плодородие окрестных земель, что очень скоро скромное селение преобразовалось в оживленный городок с лавками, мастерскими ремесленников и бойким торговым путем, по этому пути и пришли сюда первые арабы в туфлях без задников и с кольцами в мочках ушей и начали менять ожерелья из стеклянных бус на попугаев. У Хосе Аркадио Буэндиа не было ни минутки отдыха. Зачарованный окружающей реальной жизнью, казавшейся ему тогда фантастичнее всего обширного мира его воображения, он потерял всякий интерес к алхимической лаборатории, предоставил отдых веществу, истощенному долгими месяцами разных трансформаций, и опять сделался тем толковым, энергичным человеком, который некогда решал, где прокладывать улицы и где строить новые дома так, чтобы никто не имел преимущества по сравнению с остальными обитателями Макондо. Новые поселенцы питали к нему огромное уважение и без его совета не закладывали ни одного фундамента, не ставили ни одного забора, даже доверили ему руководство размежеванием земли. Когда вернулись цыганескоморохи со своей передвижной ярмаркой, превратившейся теперь в огромное заведение для азартных игр, их встретили шумным ликованием, так как надеялись, что с ними появится и Хосе Аркадио. Но Хосе Аркадио не вернулся, не было с комедиантами и человека-змеи, единственного, по мнению Урсулы, живого существа, знавшего, где искать ее сына, поэтому цыганам не разрешили остановиться в Макондо и даже предупредили, чтобы и впредь ноги их тут не было — теперь цыган посчитали за носителей алчности и порока. Однако Хосе Аркадио высказался в том смысле, что старое племя Мелькиадеса, которое своей тысячелетней мудростью и чудесными изобретениями так сильно способствовало возвышению Макондо, всегда будет принято здесь с распростертыми объятиями. Но, судя по словам разных странников и бродяг, заглядывавших в Макондо, племя Мелькиадеса было стерто с лица земли за то, что посмело преступить границы дозволенных человеку познаний.

Освободившись, во всяком случае временно, из мучительного плена своего воображения, Хосе Аркадио Буэндиа в короткий срок наладил во всем городе размеренную трудовую жизнь; установившийся порядок был нарушен лишь однажды — самим Хосе Аркадио Буэндиа, когда он выпустил на волю птиц, которые со дня основания Макондо отмечали время своим звонкоголосым пением, и вместо них установил в каждом доме часы с музыкой. Это были красивые часы из резного дерева, выменянные у арабов на попугаев, и Хосе Аркадио Буэндиа наладил их ход с такой точностью, что через каждые полчаса они радовали город несколькими аккордами из одного и того же вальса, а ровно в полдень дружно и без единой фальшивой ноты исполняли весь вальс целиком. Хосе Аркадио Буэндиа принадлежала также идея высадить на улицах миндальные деревья вместо акаций, и он же изобрел способ, тайну которого унес с собой в могилу, как сделать эти деревья вечными. Много лет спустя, когда Макондо застроилось деревянными домами с крышами из цинка, на самых старых его улицах все еще продолжали расти пыльные миндальные деревья с обломаннымн ветками, но никто уже не помнил, чья рука их посадила.

Пока его отец приводил в порядок город, а мать укрепляла благосостояние семьи с помощью производства восхитительных леденцовых

петушков и рыбок, которых насаживали на палочки из дерева бальсы и дважды в день выносили из дому для продажи, Аурелиано проводил бесконечные часы в заброшенной лаборатории, из чистой любознательности осваивая ювелирное дело. Он так вытянулся, что скоро одежда, оставшаяся от брата, перестала ему годиться, и он начал пользоваться отцовскими вещами, правда, Виситасьон приходилось ушивать рубашки и сужать брюки, потому что Аурелиано еще не догнал отца и брата по дородности.

Со вступлением в отроческий возраст у него огрубел голос, Аурелиано стал молчаливым, окончательно замкнулся в своем одиночестве, а взгляд его снова приобрел то напряженное выражение, которое поразило Урсулу в день появления сына на свет. Аурелиано был так поглощен ювелирным делом, что почти не выходил из лаборатории, разве только чтобы поесть. Обеспокоенный его нелюдимостью, Хосе Аркадио Буэндиа дал ему ключи от входной двери и немного денег, рассудив, что сыну, быть может, нужна женщина. Аурелиано потратил деньги на соляную кислоту для приготовления царской водки, а ключи покрыл позолотой. Но чудачества Аурелиано бледнели перед странностями Аркадио и Амаранты — у тех уже молочные зубы начали выпадать, а они все еще целые дни ходили по пятам за индейцами, уцепившись за полы их одежды, и упорствовали в своем решении говорить на гуахиро, а не по-испански. «Тебе некого винить,— сказала Урсула мужу.— Дети наследуют безумие родителей». И убежденная, что нелепые привычки ее потомков ничуть не лучше поросячьего хвостика, она стала было жаловаться на свою несчастную судьбу, но тут Аурелиано вдруг устремил на нее взгляд, который поверг ее в смятение.

— К нам кто-то придет,— сказал он.

Урсула попыталась обескуражить сына своей доморощенной логикой, как это случалось всегда, когда он что-нибудь предсказывал. Ничего особенного, если кто и придет. Через Макондо каждый божий день проходят десятки чужестранцев, и никого это не беспокоит, и никто не считает нужным предсказывать их появление. Однако Аурелиано, вопреки всякой логике, настаивал на своем.

— Не знаю, кто придет,— твердил он,— но этот человек уже в пути.

И действительно, в воскресенье появилась Ребека. Ей было не больше одиннадцати лет. Она проделала тяжелый путь от Манауре с торговцами кожей, которым поручили доставить девочку вместе с письмом в дом Хосе Аркадио Буэндиа, хотя они так и не могли объяснить толком, что за человек попросил их об этом одолжении. Весь багаж вновь прибывшей состоял из сундучка с платьем, маленького деревянного кресла-качалки, разрисованного яркими цветами, и парусинового мешка, из него все время слышалось «клок-клок-клок» — там лежали кости ее родителей. Письмо, адресованное Хосе Аркадио Буэндиа, было составлено в чрезвычайно любезных выражениях кем-то, кто, несмотря на время и расстояние, продолжал его горячо любить и чувствовал себя обязанным, во имя простой человечности, совершить сей акт милосердия — отправить к нему бедную, беззащитную сиротку, кузину Урсулы и, следовательно, также родственницу Хосе Аркадио Буэндиа, хотя и более дальнюю, поскольку она являлась родной дочерью его незабвенного друга Никанора Ульоа и Ребеки Монтиэль, достойной супруги последнего, коих господь бог взял в свое царствие небесное и чьи кости прилагаются к письму, дабы их могли предать земле по христианскому обряду. Оба имени и подпись в конце письма были написаны вполне разборчиво, тем не менее ни Хосе Аркадио Буэндиа, ни Урсула не могли припомнить таких родственников, а равно и знакомого, который носил бы фамилию отправителя и проживал в далеком селении Манауре. Получить какие-либо дополнительные сведения от девочки

оказалось совершенно невозможным. Войдя в дом, она тут же уселась в свою качалку и стала сосать палец, глядя на всех большими испуганными глазами и не подавая никаких признаков, что она понимает, о чем ее спрашивают. На ней было поношенное черное платье из диагонали и потрескавшиеся лаковые туфельки. Волосы, собранные за ушами в два пучка, были завязаны черными бантиками. На шее висела ладанка с расплывшимися от пота изображениями, а на правом запястье — клык какого-то хищного зверя на медной цепочке, амулет против дурного глаза. Ее зеленоватая кожа и вздувшийся, твердый, как барабан, живот свидетельствовали о плохом здоровье и извечном недоедании. Тем не менее, когда принесли еду, она продолжала сидеть неподвижно и даже не прикоснулась к поставленной ей на колени тарелке. Все уже пришли к мысли, что она глухонемая, но тут индейцы спросили ее на своем языке, не хочет ли она пить, и девочка повела глазами, словно признала их, и утвердительно кивнула головой.

Ее оставили в доме, ведь другого выхода все равно не было. Окрестить ее решили Ребекой — так же, как звали, если верить письму, ее мать, потому что, хотя Аурелиано не поленился прочитать перед ней все святцы, она не откликнулась ни на одно из имен. Поскольку в те времена кладбища в Макондо не было, ведь здесь никто еще не успел умереть, мешок с костями спрятали до тех пор, пока не появится достойное место для захоронения, и еще долго он попадался под руку в самых разных местах, там, где его меньше всего предполагали обнаружить, и всегда со своим «клок-клок-клок», похожим на кудахтанье сидящей на яйцах курицы. Утекло немало воды, прежде чем Ребека вошла в жизнь семьи. Сначала она имела обыкновение пристраиваться на своей качалке в самом укромном уголке дома и сосать палец. Ничто не привлекало ее внимания, и только когда через каждые тридцать минут начинали играть часы, она всякий раз испуганно озиралась вокруг, словно надеялась обнаружить звуки где-то в воздухе. Долго ее не могли заставить есть. Никто не мог понять, почему она не умирает с голоду, пока индейцы, знавшие все, потому что они беспрестанно ходили неслышным шагом взад и вперед по дому, не открыли, что Ребеке по вкусу только влажная земля да кусочки известки, которые она отдирает ногтями от стен. Очевидно, родители или те, кто ее растил, наказывали девочку за эту дурную привычку, потому что она ела землю и известку тайком, с сознанием вины, и старалась делать запасы, чтобы полакомиться на свободе, когда никого не будет рядом. За Ребекой установили неусыпный надзор. Землю во дворе поливали коровьей желчью, а стены дома натирали жгучим индийским перцем, рассчитывая этим путем излечить девочку от порочной наклонности, но она проявила столько хитрости и изобретательности, добывая себе пищу, что Урсула была вынуждена прибегнуть к самым сильнодействующим средствам. Она выставила на всю ночь под холодную росу кастрюлю с апельсиновым соком и ревенем, а поутру, до завтрака, дала Ребеке это снадобье. Хотя никто никогда не рекомендовал Урсуле такую смесь как лекарство против нездорового пристрастия к земле, она рассудила, что любая горькая жидкость, попав в пустой желудок, вызовет колики в печени. Несмотря на свой хилый вид, Ребека оказалась весьма воинственной и сильной: чтобы заставить ее проглотить лекарство, пришлось к ней подступаться как к бодливой телке — она билась в судорогах, царапалась, кусалась, плевалась и выкрикивала разные непонятные слова, которые, по уверению возмущенных индейцев, были ругательствами, самыми грубыми ругательствами, какие только возможны в языке гуахиро. Узнав об этом, Урсула тут же дополнила лечение ударами ремня. Так никогда и не было установлено, что же в конце концов определило успех — ревень, ремень или то и другое, известно лишь одно: через не-

сколько недель у Ребеки появились первые признаки выздоровления. Теперь она играла вместе с Аркадио и Амарантой, относившимися к ней как к старшей сестре, и с аппетитом ела, умело пользуясь вилкой и ножом. Позже обнаружилось, что она говорит по-испански так же бегло, как на языке индейцев, что у нее незаурядные способности к рукоделью и что она поет вальс часов на очень милые слова собственного сочинения. Вскоре Ребека стала как бы новым членом семьи. С Урсулой она была ласковее, чем родные дети, Амаранту звала сестричкой, Аркадио — братиком, Аурелиано — дядей, а Хосе Аркадио Буэндиа — дедулей. Таким образом Ребека не меньше, чем все остальные, заслужила право называться Буэндиа — эта фамилия была единственной, которую она с достоинством носила до самой смерти.

Однажды ночью, уже после того как Ребека излечилась от порочного пристрастия к земле и ее переселили в комнату Амаранты и Аркадио, индианка, спавшая вместе с детьми, случайно проснулась и услышала странный, прерывистый звук, исходивший из угла. Встревоженная, она вскочила с постели, опасаясь, не забралось ли в комнату какое-нибудь животное, и увидела, что Ребека сидит в качалке и держит палец во рту, а глаза у нее светятся в темноте, как у кошки. Оцепенев от ужаса, Виситасьон прочла в этих глазах признаки той самой болезни, угроза которой заставила ее и брата навеки покинуть древнее индейское королевство, где они были наследниками престола. В доме появилась бессонница.

Индеец Катауре ушел из Макондо, не дожидаясь рассвета. Сестра его осталась, сердце фаталистки подсказывало ей, что смертельный недуг все равно будет преследовать ее, в каком бы далеком уголке земли она ни скрывалась. Никто не понял тревоги Виситасьон. «Не будем спать? Ну что ж, тем лучше,— с удовлетворением говорил Хосе Аркадио Буэндиа.— Так мы успеем больше взять от жизни». Но индианка объяснила, что самое страшное в заболевании не утрата способности спать — от этой бессонницы тело не испытывает какой-либо усталости,— а неизбежное наступление второй, более тяжелой стадии болезни — забывчивости. Когда больной свыкается с состоянием бодрствования, в его памяти начинают стираться сначала воспоминания детства, потом названия и назначение предметов, затем он перестает узнавать людей и даже утрачивает сознание своей собственной личности и, лишенный всякой связи с прошлым, погружается в некое подобие идиотизма. Хосе Аркадио Буэндиа, умирая со смеху, пришел к заключению, что речь идет об одной из бесчисленных напастей, выдуманных суеверными индейцами. Но осторожная Урсула на всякий случай отделила Ребеку от остальных детей.

Через некоторое время, когда испуг Виситасьон, казалось, миновал, Хосе Аркадио Буэндиа внезапно обнаружил среди ночи, что вертится в постели с боку на бок и не может сомкнуть глаз. Урсуле тоже не спалось, она спросила, что с ним, и он ответил: «Я снова думаю о Пруденсио Агиляре». Они не вздремнули ни минутки, но утром встали совсем бодрыми и сразу позабыли о дурной ночи.

За завтраком Аурелиано высказал удивление, что чувствует себя превосходно, хотя всю ночь просидел в лаборатории, где покрывал золотом брошку в подарок Урсуле ко дню рождения. Но никто не придавал значения этим странностям, пока через два дня, в тот час, когда Буэндиа обычно укладывались в постели, все не заметили, что сна у них ни в одном глазу, и, поразмыслив, не сообразили, что не спят уже более пятидесяти часов.

— Дети тоже не спят. Раз эта чума вошла в дом, никто от нее не спасется,— заметила индианка с присущим ей фатализмом.

И в самом деле — семья заболела бессонницей. Урсула, научившаяся от матери разбираться в лечебных свойствах трав, приготовила питье из аконита и напоила домочадцев, но и после этого заснуть никому не удалось, зато целый день все грезили наяву. В странном состоянии полубодрствования они видели не только образы собственных грез, но и те образы, что грезились другим. Казалось, весь дом наполнился гостями. Сидя в своей качалке в углу кухни, Ребека грезила, что человек, очень похожий на нее, в одежде из белого полотна и с золотой запонкой на воротнике рубашки, преподносит ей букет роз. Рядом с ним стоит женщина с нежными руками, она берет одну розу и прикрепляет ее к волосам Ребеки. Урсула поняла, что мужчина и женщина были родителями девочки, но как ни старалась, так и не узнала их, а лишь окончательно убедилась, что никогда прежде их не видела. Тем временем, по недосмотру, который Хосе Аркадио Буэндиа не мог себе простить, изготовлявшиеся в доме леденцовые фигурки попрежнему выносили в город на продажу. Дети и взрослые с наслаждением сосали чудесных зеленых петушков бессонницы, изысканных розовых рыбок бессонницы, нежных желтых лошадок бессонницы, и когда в понедельник встала заря, не спал уже весь город. Сначала никто не обеспокоился. Многие даже радовались — ведь в Макондо дел тогда было невпроворот и времени не хватало. Люди так прилежно взялись за работу, что в короткий срок все переделали и теперь, в три часа утра, сидели сложа руки и подсчитывали, сколько нот в вальсе часов. Те, кто хотел заснуть, — не от усталости, а соскучившись по снам,— прибегали к самым разнообразным способам, чтобы довести себя до изнурения. Они собирались вместе и болтали без умолку, повторяли целыми часами одни и те же анекдоты, рассказывали сказку про белого каплуна, все усложняя ее, до тех пор, пока не приходили в отчаяние. Это была игра из тех, что никогда не кончаются: ведущий спрашивал остальных, хотят ли они послушать сказку про белого каплуна, и если ему отвечали «да», он говорил, что не просил говорить «да», а просил ответить, рассказать ли им сказку про белого каплуна, если ему отвечали «нет», он говорил, что не просил говорить «нет», а просил ответить, рассказать ли им сказку про белого каплуна, если все молчали, ведущий говорил, что не просил молчать, а просил ответить, рассказать ли им сказку про белого каплуна, и никто не мог уйти, потому что ведущий говорил, что он не просил их уходить, а просил ответить, рассказать ли им сказку про белого каплуна. И так без конца, по замкнутому кругу, целые ночи напролет.

Когда Хосе Аркадио Буэндиа понял, что зараза охватила весь город, он собрал глав семейств, для того чтобы поделиться с ними своими знаниями об этой болезни и придумать, как помешать распространению эпидемии на соседние города и деревни. Вот тогда-то и сняли с козлов колокольчики, что получены были от арабов в обмен на попугаев, и повесили их у входа в Макондо для тех, кто, пренебрегая советами и мольбами караульных, настаивал на желании войти в город. Все пришлые, появившиеся в те дни на улицах Макондо, были обязаны звонить в колокольчик, чтобы больные знали, что идет здоровый. Пока они находились в городе, им не разрешалось ни есть, ни пить, ибо не было никакого сомнения в том, что болезнь передается только через рот, а вся пища и все питье в Макондо заражены бессонницей. С помощью этих мер эпидемия была ограничена пределами города. Карантин соблюдался очень строго, и со временем все свыклись с чрезвычайным положением: жизнь снова наладилась, работа пошла как прежде, и никто больше не огорчался из-за того, что утратил бесполезную привычку спать.

Средство, которое в течение нескольких месяцев помогало всем бороться с провалами в памяти, изобрел Аурелиано. Открыл он его случайно. Больной с огромным опытом, ведь он был одной из первых жертв бессонницы, Аурелиано в совершенстве освоил ювелирное ремесло. Однажды ему понадобилась маленькая наковальня для расплющивания металлов, и он не мог вспомнить, как она называется. Отец подсказал: «Наковальня». Аурелиано записал слово на бумажке и приклеил ее к основанию инструмента. Теперь он был уверен, что больше этого слова не забудет. Ему и в голову не пришло, что случившееся было лишь первым проявлением забывчивости. Уже через несколько дней он заметил, что с трудом припоминает названия почти всех вещей в лаборатории. Тогда он приклеил к ним соответствующие ярлыки, и теперь достаточно было прочесть надпись, чтобы определить, с чем имеешь дело. Когда отец с беспокойством пожаловался, что забывает даже самые волнующие впечатления детства, Аурелиано объяснил ему свой способ, и Хосе Аркадио Буэндиа ввел его в употребление сначала у себя в семье, а потом и в городе. Обмакнув в чернила кисточку для бритья, он подписал каждый предмет в доме: *«стол», «стул», «часы», «дверь», «стена», «кровать», «кастрюля»*. Потом отправился в загон для скота и в поле и пометил там животных, птиц и растения: *«корова», «козел», «свинья», «курица», «маниока», «маланга», «банан»*. Мало-помалу изучая бесконечное многообразие забывчивости, люди поняли, что может наступить такой день, когда они, узнав предмет по надписи, будут не в силах вспомнить его назначение. Тогда все усложнилось. Наглядным примером того, как жители Макондо пытались бороться с забывчивостью, служит объявление, повешенное на шею коровы: *«Это корова, ее нужно доить каждое утро, чтобы получить молоко, а молоко надо кипятить, чтобы смешать с кофе и получить кофе с молоком»*. Вот так они и жили в постоянно ускользающей от них действительности, с помощью слова им удавалось задержать ее на короткое мгновение, но она должна была неизбежно и окончательно исчезнуть, как только забудется значение букв.

У входа в город водрузили объявление *«Макондо»*, другое, побольше, установили на центральной улице, оно гласило: *«Бог есть»*. На всех домах были начертаны разные условные знаки, которым надлежало воскрешать в памяти предметы и чувства. Однако подобная система требовала неослабного внимания и огромной моральной силы, почему многие и поддались чарам воображаемой действительности, придуманной ими же самими,— это было не так практично, но зато успокаивало. Распространению упомянутого самообмана больше всех способствовала Пилар Тернера, наловчившаяся читать по картам прошлое, как прежде читала будущее. Благодаря ее хитроумной выдумке, бессонные жители Макондо очутились в мире, созданном из неопределенных и противоречивых предположений карт, в этом мире с трудом вспоминали вашего отца как темноволосого мужчину, прибывшего в апреле, а мать — как смуглую женщину с золотым кольцом на левой руке, дата же вашего рождения представала перед вами как последний вторник, в который на лавре пел жаворонок. Разбитый наголову этим обрядом утешения, Хосе Аркадио Буэндиа решил построить в противовес ему машину памяти; он надеялся, что она поможет вспомнить, кроме всего прочего, и замечательные изобретения цыган. Действие ее должно было основываться на принципе ежедневного повторения всей суммы полученных в жизни знаний. Хосе Аркадио Буэндиа представлял себе этот механизм в виде вращающегося словаря, которым человек, находящийся на оси вращения, управляет с помощью рукоятки, таким образом перед его глазами могут за короткое время

пройти все сведения, необходимые для жизни. Изобретателю удалось уже заполнить около четырнадцати тысяч карточек, когда на дороге из долины, позвякивая печальным колокольчиком тех, кто не утратил сна, показался необычного вида старик, обремененный пузатым, перевязанным веревками чемоданом и тачкой, покрытой черными тряпками. Он направился прямо к дому Хосе Аркадио Буэндиа.

Виситасьон, открывшая старику дверь, не узнала его и приняла за торговца, который еще не слышал, что в городе, безнадежно погрузившемся в пучину забывчивости, невозможно ничего продать. Пришелец был совсем дряхлым. Хотя его голос дрожал от неуверенности, а руки, казалось, сомневались в существовании вещей, было совершенно очевидно, что он явился из того мира, где люди умеют спать и не потеряли память. Когда Хосе Аркадио Буэндиа вышел к старику, тот сидел в гостиной, обмахиваясь потрепанной черной шляпой, и внимательно, даже сочувственно читал надписи, приклеенные к стенам. Хосе Аркадио Буэндиа приветствовал его с глубочайшим почтением, опасаясь, что, быть может, знал этого человека раньше, а теперь запамятовал. Но гость разгадал хитрость. Он почувствовал, что его забыли, но не преходящим забвением сердца, а другим, более жестоким и окончательным, которое ему было хорошо известно, потому что это было забвение смерти. Тогда он все понял. Открыл чемодан, набитый неподдающимися определению предметами, и извлек из их груды маленький чемоданчик с многочисленными пузырьками. Потом протянул хозяину дома флакон с жидкостью приятного цвета, тот выпил, и свет озарил его память. Глаза Хосе Аркадио Буэндиа наполнились слезами печали еще прежде, чем он увидел себя в нелепой комнате, где все вещи были подписаны, еще прежде, чем он со стыдом прочел высокопарные глупости на стенах, и даже прежде, чем, почти ослепленный яркой вспышкой радости, он узнал гостя. Это был Мелькиадес.

В то время как Макондо праздновало возвращение памяти, Хосе Аркадио Буэндиа и Мелькиадес отерли пыль со своей старой дружбы. Цыган намеревался остаться в городе. Он действительно побывал на том свете, но не смог вынести одиночества и возвратился назад. Отвергнутый своим племенем, лишенный в наказание за излишнюю привязанность к жизни своей колдовской силы, он решил обрести тихое пристанище в этом, еще не открытом смертью уголке земли и посвятить себя дагерротипии. Хосе Аркадио Буэндиа ничего не слышал о таком изобретении. Но когда он увидел себя и всех своих домочадцев запечатленными на вечные времена на отливающей разными цветами металлической пластинке, он онемел от изумления; к той поре и относится заржавленный дагерротип, на котором изображен Хосе Аркадио Буэндиа — у него взъерошенные волосы пепельного оттенка, рубашка с крахмальным воротничком, застегнутым медной запонкой, и торжественно удивленное выражение лица. Урсула, помирая со смеху, утверждала, что он похож на «перепуганного генерала». По правде говоря, в то прозрачное декабрьское утро, когда Мелькиадес сделал дагерротип, Хосе Аркадио Буэндиа действительно был напуган: он боялся, что по мере того, как изображение человека переходит на металлические пластинки, человек постепенно расходуется. Как ни забавно, но на сей раз за науку вступилась Урсула и выбила вздорную идею из головы мужа. Она же, забыв все старые счеты, решила, что Мелькиадес останется жить у них в доме. Однако сама Урсула так никогда и не позволила сделать с нее дагерротип, поскольку (по ее собственному буквальному выражению) не хотела оставаться на посмешище внукам. В утро, о котором идет речь, она одела детей в лучшее платье, напудрила им лица и заставила каждого выпить по ложке бульона из мозговых костей, дабы они сумели простоять совершенно неподвижно в течение почти двух

минут перед великолепной камерой Мелькиадеса. На этом семейном снимке, единственном, который когда-либо существовал, Аурелиано в черном бархатном костюме стоит между Амарантой и Ребекой. У него тот же утомленный вид и ясновидящий взгляд, с какими много лет спустя он будет стоять у стены в ожидании расстрела. Но юноша на снимке еще не услышал зова своей судьбы. Он был только лишь умелым ювелиром, которого во всех городах и селах долины уважали за искусную и тонкую работу. В мастерской, служившей одновременно и лабораторией для Мелькиадеса, Аурелиано почти не было слышно. Казалось, он витает где-то совсем в ином мире, пока его отец и цыган громко спорят, истолковывая предсказания Нострадамуса под звяканье пузырьков и стук кюветок, среди потока бедствий: пролитых кислот или загубленного в этой толчее бромистого серебра. Аурелиано самозабвенно отдавался работе и умел соблюсти свою выгоду, поэтому вскоре он стал зарабатывать больше, чем выручала Урсула от продажи самодельной леденцовой фауны. Всех удивляло одно — почему он, уже вполне созревший мужчина, до сих пор не познал женщины. И в самом деле, женщины у него еще не было.

Через несколько месяцев в Макондо снова появился Франсиско Человек, старый бродяга, которому было уже около двухсот лет. Он часто навещал город, принося с собой песни собственного сочинения. В них излагались с мельчайшими подробностями события, совершившиеся в селениях, лежавших на пути певца, от Манауре до пределов долины, и тот, кто хотел передать весточку знакомым или оповестить мир о каком-нибудь семейном происшествии, платил два сентаво, чтобы Франсиско Человек включил это в свой репертуар. Однажды вечером Урсула, слушая певца в надежде проведать что-либо о сыне, совершенно случайно узнала о смерти своей матери. Франсиско Человек, прозванный так за то, что он победил дьявола в состязании по складыванию песен, и чье настоящее имя никому не было известно, исчез из Макондо во время эпидемии бессонницы и вот теперь неожиданно вновь объявился в заведении Катарино. Все отправились послушать его и узнать, что нового случилось на свете. Ныне с Франсиско Человеком явились женщина — такая толстая, что ее несли в качалке четыре индейца — и молоденькая мулатка беззащитного вида, державшая над женщиной зонтик, закрывая ее от солнца. В этот раз Аурелиано тоже отправился к Катарино. Посредине круга любопытных восседал Франсиско Человек, похожий на огромного хамелеона. Он пел дребезжащим стариковским голосом, аккомпанируя себе все на том же древнем аккордеоне, который ему, как утверждали, подарил в Гуайяне еще сэр Уолтер Рэлей [9], и отбивал такт большими ступнями завзятого пешехода, потрескавшимися от морской соли. В глубине виднелась дверь в другую комнату, куда то и дело по очереди скрывались мужчины, у двери сидела толстая матрона, та, которую принесли в качалке, и молча обмахивалась веером. Катарино с искусственной розой за ухом торговала тростниковым вином и пользовалась любым предлогом, чтобы подойти к мужчинам поближе и положить руку куда не следует. К полуночи жара стала невыносимой. Аурелиано прослушал все новости до конца, но не обнаружил ничего интересного для своей семьи. Он собирался уже уходить, когда матрона поманила его рукой.

— Войди и ты,— сказала она.— Это стоит всего двадцать сентаво.

Аурелиано бросил монету в кружку, стоявшую на коленях толстухи, и открыл дверь, сам не зная, что его ждет. В постели лежала голая девушка-мулатка, груди ее напоминали собачьи сосцы. До Аурелиано здесь

---

[9] Уолтер Рэлей (1552—1618) — английский мореплаватель, руководитель нескольких экспедиций, искавших золото в Северной и Южной Америке.

побывало шестьдесят три мужчины. Воздух, пропущенный через столько пар легких и насыщенный запахом пота и вздохами, стал густым, как грязь. Девушка сняла намокшую простыню и попросила Аурелиано взять один ее конец. Простыня была тяжелой, словно мокрая парусина. Они выжимали ее, крутя за концы, пока она не обрела свой нормальный вес. Потом они встряхнули циновку, и из нее тоже закапал пот. Аурелиано страстно желал, чтобы все это продолжалось бесконечно. Теоретическая механика любви была ему известна, но колени у него дрожали, и он едва держался на ногах. Когда девушка кончила убирать постель и приказала ему раздеваться, Аурелиано пустился в сбивчивые объяснения: «Меня заставили войти. Велели бросить двадцать сентаво в кружку, просили не задерживаться». Девушка поняла его состояние. «Если ты бросишь еще двадцать у выхода, можешь задержаться немного дольше»,— тихо сказала она. Аурелиано, мучимый стыдливостью, скинул с себя одежду, ему не давала покоя мысль, что нагота его не выдерживает сравнения с наготой брата. Несмотря на все старания девушки, он с каждой минутой чувствовал себя все более безразличным и страшно одиноким. «Я брошу еще двадцать сентаво»,— пробормотал он в полном отчаянии. Девушка молча выразила ему свою признательность. Кожа у нее плотно обтягивала ребра. Спина была стерта до крови. Дыхание — тяжелое и прерывистое из-за глубокого изнеможения. Два года тому назад, очень далеко от Макондо, она заснула, не погасив свечу, а когда проснулась, вокруг полыхало пламя. Дом, в котором она жила вместе с воспитывавшей ее бабкой, сгорел дотла. С тех пор бабка водила ее по городам и селениям и за двадцать сентаво укладывала в постель с мужчинами, чтобы возместить стоимость дома. По мнению девушки, ей предстояло жить так еще около десяти лет, принимая по семьдесят мужчин за ночь, ведь кроме выплаты долга надо было еще оплачивать дорожные издержки, питание, а также индейцев-носильщиков. Когда матрона постучала в дверь во второй раз, Аурелиано вышел из комнаты, так ничего и не свершив, с трудом сдерживая слезы. Ночью он не мог заснуть и со смешанным чувством жалости и желания думал о девушке. Он испытывал непреодолимое стремление любить и защищать ее. Наутро, измученный бессонницей и лихорадкой, он принял твердое решение жениться на этой девушке, чтобы освободить ее от самовластия бабки и самому получать каждую ночь все наслаждения, которые она доставляла семидесяти мужчинам. Но когда в десять часов утра он пришел в заведение Катарино, девушки уже не было в Макондо. Время несколько остудило пылкие и легкомысленные замыслы юноши, но зато усилило в нем чувство горечи от несбывшихся надежд. Он искал спасения в работе. И смирился с тем, что ему придется остаться на всю жизнь мужчиной без женщины, чтобы скрыть позор своей непригодности. Тем временем Мелькиадес запечатлел на своих пластинках все, что было в Макондо достойного запечатления, и предоставил свою лабораторию дагерротипии в распоряжение Хосе Аркадио Буэндиа и его бредовых затей; последний решил добыть с помощью дагерротипии научное доказательство существования бога. Он был уверен, что посредством многоступенчатого процесса наслоения снимков, сделанных в нескольких местах дома, он рано или поздно обязательно получит дагерротипное изображение господа бога, если тот существует, либо положит раз навсегда конец всем домыслам о его существовании. Что касается Мелькиадеса, то он углубился в изучение Нострадамуса. Сидел допоздна, задыхаясь в своем выцветшем бархатном жилете, и царапал на бумаге какие-то закорючки своей маленькой воробьиной лапкой, кольца на которой уже утратили былой блеск. Однажды вечером ему показалось, что он наткнулся на пророчество, касающееся будущности Макондо. Макондо превратится в великолепный город с большими домами из прозрачного стекла, и в этом городе

не останется даже следов рода Буэндиа. «Что за чушь,— возмутился Хосе Аркадио Буэндиа.— Не из стекла, а изо льда, как я во сне видел, и всегда тут будет кто-нибудь из Буэндиа до скончания веков». Урсула отчаянно старалась внести хоть немного здравого смысла в этот дом сумасшедших. В дополнение к производству фигурок из леденца она завела большую печь, которая каждую ночь выпекала целые корзины хлеба и огромное количество разнообразных пудингов, пирожных и бисквитов,— все это за несколько часов исчезало на дорогах, ведущих в долину. Хотя Урсула уже вступила в тот возраст, когда человек имеет право отдохнуть, она с каждым годом становилась все более деятельной. Она была так занята своим процветающим предприятием, что однажды вечером, рассеянно глянув в окно, пока индианка засыпала сахар в котел, с удивлением увидела во дворе двух незнакомых девушек, молодых и прекрасных, вышивающих на пяльцах в мягком свете сумерек. Это были Ребека и Амаранта. Они только что сняли траур, который носили по бабушке в течение трех лет, и цветные платья совсем преобразили их. Ребека, вопреки всем ожиданиям, выросла красавицей. У нее были прозрачная кожа, огромные спокойные глаза и волшебные руки, казалось, они вышивают канву на пяльцах невидимыми нитями. Амаранте, младшей, недоставало изящества, но она унаследовала от покойной бабушки врожденное благородство и чувство собственного достоинства. Рядом с ними Аркадио, несмотря на то, что в нем уже чувствовалась физическая мощь отца, выглядел ребенком. Он занимался ювелирным делом под руководством Аурелиано, который, кроме того, научил его читать и писать. Урсула поняла, что дом ее наполнился взрослыми людьми, что дети ее скоро поженятся, заведут своих детей и семье придется разделиться, ибо под этой крышей места для всех не хватит. Тогда она достала деньги, скопленные за долгие годы тяжелого труда, договорилась с мастерами и занялась расширением дома. Распорядилась пристроить одну большую парадную залу — для гостей, а другую — более удобную и прохладную — для своей семьи, столовую со столом на двенадцать мест, девять спален с окнами во двор и длинную галерею, хорошо защищенную от яркого полуденного солнца, с подставками для горшков и вазонов с папоротниками и бегониями. Решила также расширить кухню, чтобы поставить в ней две печки, сломать кладовую, в которой Пилар Тернера предсказала Хосе Аркадио его будущее, и построить другую, в два раза больше, чтобы в доме всегда был достаточный запас продуктов. Во дворе, в тени огромного каштана, Урсула приказала соорудить две купальни — одну для женщин, другую для мужчин, а за домом просторную конюшню, курятник, обнесенный проволочной сеткой, хлев для дойки скота и клетку, открытую на все четыре стороны, чтобы бесприютные птицы могли устраиваться там в свое удовольствие. Сопровождаемая несколькими десятками каменщиков и плотников, охваченная таким вдохновением, будто она заразилась от своего мужа лихорадкой воображения, Урсула решала, как должен падать свет и откуда должно идти тепло, и распределяла пространство, совершенно не считаясь с его пределами. Скромное жилище, сооруженное при основании Макондо, наполнилось инструментами, строительными материалами и рабочими, которые то и дело просили не путаться у них под ногами, не задумываясь над тем, что это они сами у всех под ногами путаются; им повсюду попадался мешок с костями и доводил их до бешенства своим глухим пощелкиванием. Никто не мог взять в толк, каким образом среди подобного столпотворения, среди паров негашеной извести и кипящего вара из недр земли возник дом, не только самый большой из всех, какие когда-либо строились в Макондо, но и самый гостеприимный и прохладный в округе. Меньше чем кто-либо другой способен был понять это Хосе Аркадио Буэндиа, даже в разгар строительного катаклизма не оставлявший своих по-

пыток захватить врасплох Божественное Провидение. Новый дом был почти готов, когда Урсула извлекла мужа из царства химер и довела до его сведения, что получила приказ красить фасад в голубой цвет, а не в белый, как они задумали. Она показала официальное, написанное на бумаге распоряжение. Хосе Аркадио Буэндиа, не уразумев сразу, о чем толкует его супруга, прежде всего изучил подпись.

— Кто этот тип? — спросил он.

— Коррехидор,— ответила убитая горем Урсула.— Говорят, что это начальник и его прислало правительство.

Дон Аполинар Москоте — коррехидор, прибыл в Макондо без всякого шума. Остановился на постоялом дворе, известном под названием «Отель Хакоба» и основанном одним из первых арабов, которые приезжали сюда обменивать безделушки на попугаев, а на следующий же день снял комнатку с дверью прямо на улицу, в двух кварталах от дома Буэндиа. Он поставил в ней стол и стул, купленные у Хакоба, прибил к стене привезенный с собой герб республики и вывел на дверях надпись: «Коррехидор». Первым его распоряжением был приказ покрасить все дома в голубой цвет в честь годовщины национальной независимости.

Хосе Аркадио Буэндиа, явившись с копией приказа в руке к коррехидору, застал его за послеобеденным сном в гамаке, подвешенном тут же в непритязательной конторе. «Вы писали эту бумагу?» — спросил Хосе Аркадио Буэндиа. Дон Аполинар Москоте, человек уже в летах, сангвинической комплекции, довольно робкий на вид, ответил утвердительно. «По какому праву?» — снова задал вопрос Хосе Аркадио Буэндиа.

Дон Аполинар Москоте разыскал в ящике стола бумажку и протянул ему: «Посылается в упомянутый город для исправления обязанностей коррехидора». Хосе Аркадио Буэндиа даже не поглядел на документ.

— В этом городе распоряжаются не бумаги,— возразил он спокойно.— И запомните раз навсегда: нам никто не нужен для исправления, у нас здесь нечего исправлять.

По-прежнему не возвышая голоса, он подробно рассказал сохранявшему невозмутимый вид дону Аполинару Москоте, как они основали селение, как размежевали землю, проложили дорогу, сделали все, что надо было, и не беспокоили при этом никакого правительства, их тоже никто не беспокоил. «Мы мирный народ, у нас и своей-то смертью никто не умирал,— сказал Хосе Аркадио Буэндиа.— Вы же видите, в Макондо до сих пор нет кладбища». Он не жалуется на правительство, напротив, он рад, что им не мешали спокойно расти, и надеется, что так оно будет и впредь,— не для того они основали Макондо, чтобы теперь первый встречный чужак приказывал, как им поступать. Дон Аполинар Москоте надел куртку из грубой хлопчатобумажной ткани, такую же белую, как его брюки, ни на мгновение не забывая о хороших манерах.

— Так что, если вы хотите остаться здесь как обыкновенный, простой житель города, добро пожаловать,— закончил Хосе Аркадио Буэндиа.— Но если вы явились насаждать беспорядок, заставляя людей красить дома в голубой цвет, то собирайте-ка свое барахло и отправляйтесь туда, откуда пришли. Что же касается моего дома, то он будет белым, как голубка.

Дон Аполинар Москоте побледнел. Подался назад, стиснул челюсти и сказал с некоторым волнением:

— Должен предупредить вас, что я вооружен.

Хосе Аркадио Буэндиа даже не заметил, в какое мгновение руки его снова налились той молодой силой, благодаря которой он прежде валил на землю коня. Он схватил дона Аполинара Москоте за лацканы и поднял его до уровня своих глаз.

— Я делаю это,— сказал он,— потому, что считаю за лучшее протащить несколько минут живого, чем весь остаток жизни таскать за собой мертвеца.

И он пронес висящего на лацканах дона Аполинара Москоте посредине улицы и поставил его обеими ногами на дорогу из Макондо в долину. Через неделю тот вернулся с шестью босыми оборванными солдатами, вооруженными винтовками, и с повозкой, запряженной волами, в которой сидели его жена и семь дочерей. Позже прибыли еще две повозки с мебелью, сундуками и домашней утварью. Коррехидор временно поселил семью в «Отеле Хакоба», до тех пор пока не найдет себе дом, и снова открыл контору, поставив перед дверью двух часовых. Старожилы Макондо твердо решили изгнать непрошеных пришельцев и отправились вместе со своими старшими сыновьями к Хосе Аркадио Буэндиа, рассчитывая, что он примет на себя командование. Но Хосе Аркадио Буэндиа воспротивился их намерениям, потому что, как он объяснил, дон Аполинар Москоте вернулся вместе с женой и дочерьми и не пристало мужчинам позорить человека перед его собственной семьей. Надо уладить дело миром.

Аурелиано вызвался сопровождать отца. К этому времени он уже начал носить черные усы с закрученными и намазанными клеем кончиками и приобрел тот внушительный голос, который будет отличать его на войне. Безоружные, не обращая внимания на часовых, они вошли в контору коррехидора. Дон Аполинар Москоте не проявил ни малейшего замешательства. Он представил их двум своим дочерям, случайно оказавшимся в конторе: шестнадцатилетней Ампаро, темноволосой, как ее мать, и Ремедиос, которой едва исполнилось девять лет, прелестной девочке с лилейной кожей и зелеными глазами. Обе были изящны и хорошо воспитаны. Как только Буэндиа вошли, девушки сразу же, прежде чем отец успел назвать им вновь прибывших, пододвинули им стулья. Мужчины, однако, не пожелали сесть.

— Ладно, приятель,— сказал Хосе Аркадио Буэндиа.— Мы разрешаем вам остаться здесь, но не потому, что у дверей торчат эти разбойники с мушкетами, а из уважения к вашей супруге и к вашим дочерям.

Дон Аполинар Москоте замялся, но Хосе Аркадио Буэндиа не дал ему возразить.

— Однако мы ставим вам два условия,— прибавил он.— Первое: каждый красит свой дом в тот цвет, в который ему вздумается. Второе: солдаты сейчас же уходят из Макондо. За порядок в городе отвечаем мы.

Коррехидор поднял вверх правую руку с вытянутыми пальцами.

— Слово чести?

— Слово врага,— сказал Хосе Аркадио Буэндиа. И добавил с горечью: — Я хочу сказать вам одну вещь: вы и я — мы остаемся врагами.

В тот же вечер солдаты покинули город. Через несколько дней Хосе Аркадио Буэндиа нашел для семьи коррехидора дом. И все успокоились, кроме Аурелиано. Образ Ремедиос, младшей дочери коррехидора, которой Аурелиано по возрасту годился в отцы, остался где-то в его сердце, причиняя постоянную боль. Это было физическое ощущение, почти мешавшее ему ходить, словно камешек, попавший в ботинок.

■

Рождение обновленного, белого, как голубка, дома было отмечено балом. Мысль устроить его пришла в голову Урсуле в тот вечер, когда она обнаружила, что Ребека и Амаранта стали взрослыми девушками. Собственно говоря, желание создать достойное помещение для этого бала и явилось главной причиной затеянного строительства. Дабы ничто не мешало претворить ее идею в жизнь с полным блеском, Урсула тру-

дилась, словно каторжная, все то время, пока осуществлялись преобразования, и еще до окончания их собрала на продаже сластей и хлеба столько денег, что смогла заказать много интересного и дорогого для украшения и благоустройства дома и среди прочего — чудесное изобретение, которому предстояло поразить весь город и вызвать бурное ликование молодежи: пианолу. Ее привезли в разобранном виде в нескольких ящиках и выгрузили вместе с венской мебелью, богемским хрусталем, дорогой столовой посудой, простынями из голландского полотна и несметным количеством разнообразных ламп, подсвечников, цветочных ваз, покрывал и ковров. Поставивший все это торговый дом прислал за свой счет итальянского мастера Пьетро Креспи, который должен был собрать и настроить пианолу, а также обучить клиентов обращению с нею и танцам под модную музыку, записанную дырочками на шести картонных цилиндрах.

Пьетро Креспи был молод и белокур, такого красивого и воспитанного мужчины в Макондо еще не видели. Он так заботился о своей внешности, что в самую изнуряющую жару работал не снимая тисненного серебром кожаного жилета и куртки из темного сукна. Обливаясь потом и тщательно сохраняя приличествующую дистанцию по отношению к хозяевам дома, он заперся на несколько недель в гостиной и углубился в работу с одержимостью, напоминающей ту, с которой Аурелиано отдавал себя ювелирному делу. В одно прекрасное утро, не отворив дверей гостиной и не призвав никого в свидетели чуда, Пьетро Креспи вставил в пианолу первый цилиндр, и надоедливый стук молотков, несмолкающий грохот падающих досок вдруг замерли и уступили место тишине, исполненной удивления перед гармонией и чистотой музыки. Все сбежались в гостиную. Хосе Аркадио Буэндиа застыл, пораженный, но не красотой мелодии, а видом клавиш, которые поднимались и опускались сами по себе. Он даже установил в комнате камеру Мелькиадеса, рассчитывая сделать снимок невидимого исполнителя. В то утро итальянец завтракал со всей семьей. Ребека и Амаранта, подававшие на стол, робели при виде удивительной плавности, с которой бледные, не украшенные кольцами руки этого ангелоподобного человека управляли ножом и вилкой. В соседней с гостиной зале Пьетро Креспи стал давать им уроки танцев. Не прикасаясь к девушкам и отбивая такт метрономом, он показывал различные па; все это проделывалось под вежливым надзором Урсулы, которая ни на минуту не покидала комнаты, пока ее дочери разучивали танцы. В эти дни Пьетро Креспи надевал бальные туфли и особые брюки — очень узкие и эластичные. «Напрасно ты так беспокоишься,— говорил Хосе Аркадио Буэндиа своей жене.— Ведь он же и не мужчина вовсе». Но Урсула покинула свой пост лишь после того, как обучение было закончено и итальянец уехал из Макондо. Тогда началась подготовка к празднику. Урсула составила весьма ограниченный список приглашенных, в него вошли только потомки основателей Макондо — все, за исключением лишь семейства Пилар Тернеры, успевшей к этому времени родить еще двух сыновей от неизвестных отцов. Отбор, по существу, был кастовый, хотя и обусловленный дружескими чувствами — ведь удостоенные приглашения считались друзьями семьи Буэндиа еще до начала похода, завершившегося основанием Макондо, их сыновья и внуки с детских лет были товарищами Аурелиано и Аркадио, а дочери — единственными подругами, которых допускали к Ребеке и Амаранте для совместных занятий вышиванием. Власть дона Аполинара Москоте, кроткого правителя Макондо, имела чисто декоративный характер, и деятельность его ограничивалась содержанием на скудные личные средства двух вооруженных деревянными жезлами полицейских. Чтобы свести концы с концами, его дочерям пришлось открыть швейную мастерскую, где

изготовляли также искусственные цветы, сласти из гуайявы, а по особому заказу и любовные записки. Несмотря на то что девушки отличались скромностью и услужливостью, были самыми красивыми в городе и лучше всех танцевали новые танцы, им не удалось попасть в число приглашенных на бал.

Пока Урсула, Амаранта и Ребека распаковывали мебель, чистили серебро и развешивали повсюду картины с изображением девиц в нагруженных розами лодках, оживляя пустые пространства возведенных каменщиками стен, Хосе Аркадио Буэндиа отказался от преследования господа бога, придя к твердому заключению, что его не существует, и выпотрошил пианолу, пытаясь найти разгадку ее волшебного секрета. За два дня до празднества, заваленный лавиной неизвестно откуда взявшихся лишних болтов и молоточков, судорожно мечась среди путаницы струн, которые, стоило распрямить их с одного конца, тут же снова сворачивались в кольцо с другого, он кое-как собрал инструмент. Никогда еще в жилище Буэндиа не было такой суеты и переполоха, однако новые керосиновые лампы были зажжены точно в назначенный день и час. Дом, еще пахнущий смолой и непросохшей штукатуркой, раскрыл свои двери, и дети и внуки старожилов Макондо ознакомились с галереей, уставленной папоротниками, бегониями, с жилыми комнатами, где пока царила тишина, садом, наполненным благоуханием роз, а затем собрались в гостиной вокруг неведомого чуда, спрятанного под белой простыней. Те, кому уже случалось видеть пианино, довольно распространенное в других городах долины, почувствовали себя несколько разочарованными, но самым горьким было разочарование Урсулы, когда она поставила первый цилиндр, чтобы Ребека и Амаранта открыли бал, а механизм не пришел в действие. Мелькиадес, уже почти совсем слепой и разваливающийся на части от дряхлости, попытался вспомнить свое былое колдовское мастерство и починить пианолу. Наконец Хосе Аркадио Буэндиа чисто случайно сдвинул застрявшую деталь, из инструмента вырвалась музыка; сначала это было какое-то клокотание, затем хлынул целый поток перепутавшихся нот. Колотя по струнам, натянутым как бог на душу положит и настроенным с завидной отвагой, молоточки срывались со своих болтов. Но упрямые потомки двадцати двух бесстрашных, одолевших в поисках моря неприступный горный хребет, успешно обходили подводные камни беспорядочного музыкального потока, и бал продолжался до рассвета.

Пьетро Креспи возвратился в Макондо, чтобы починить пианолу. Ребека и Амаранта помогали ему приводить в порядок струны и вместе с ним потешались над перепутанными нотами вальсов. Итальянец был так приветлив и держался с таким достоинством, что на этот раз Урсула отказалась от надзора. Перед отъездом Пьетро Креспи ему устроили непредусмотренный прощальный бал под музыку отремонтированной пианолы — итальянец в паре с Ребекой продемонстрировал высокое искусство современного танца. Аркадио и Амаранта не уступали им в изяществе и ловкости. Но показательное исполнение танцев пришлось прервать, так как Пилар Тернера, стоявшая в дверях вместе с другими любопытными, вцепилась в волосы женщине, которая осмелилась заметить, что у молодого Аркадио женские ягодицы. Была уже полночь. Пьетро Креспи произнес чувствительную прощальную речь и обещал скоро возвратиться. Ребека проводила его до порога, а когда двери были заперты и лампы погашены, отправилась в свою комнату и залилась горючими слезами. Этот безутешный плач длился несколько дней, и никто не знал его причины, даже Амаранта. Скрытность Ребеки не удивила домашних. Общительная и приветливая на вид, Ребека на самом деле обладала замкнутым характером и непроницаемым сердцем. Хотя она уже стала красивой, крепкой и длинноногой девушкой, но по-

прежнему любила сидеть в качалке, с которой пришла в дом Буэндиа,— качалку, кстати, уже не раз чинили, у нее не хватало подлокотников. Никто не подозревал, что Ребека даже и в этом возрасте сохранила свою привычку сосать палец. Потому-то она при всяком удобном случае закрывалась в купальне и приучила себя спать лицом к стене. В дождливые вечера, вышивая в обществе подруг в галерее с бегониями, она вдруг теряла нить разговора, и горький привкус неизбывной тоски ощущался во рту при виде мокрых дорожек сада и холмиков из грязи, воздвигнутых дождевыми червями. Дело в том, что с тех пор как она начала плакать, дурные склонности, излеченные в свое время при помощи апельсинового сока и ревеня, вновь пробудились в ней с непреодолимой силой. Ребека снова стала есть землю. В первый раз она сделала это скорее из любопытства, уверенная, что неприятный вкус будет лучшим лекарством против соблазна. И действительно, она тут же все выплюнула. Но побежденная растущей тоской, продолжала свои попытки и мало-помалу вернула себе первобытное пристрастие к первичным минералам. Она насыпáла в свои карманы землю и тайком по щепоткам, с неясным чувством счастья и страданья, съедала ее всю, пока обучала подруг самым трудным стежкам и беседовала с ними о разных мужчинах, не заслуживавших того, чтобы ради них ели землю. Эти щепотки земли, казалось, делали более реальным, приближали к ней единственного мужчину, достойного такого унижения, как если бы через землю, по которой он ступал своими изящными шевровыми сапожками на другом конце света, передавались Ребеке тяжесть и тепло его крови, она угадывала их в минеральном привкусе земли, оставлявшем сильный жар во рту и успокаивающем осадок в сердце. Однажды вечером Ампаро Москоте попросила разрешения осмотреть новый дом. Амаранта и Ребека, смущенные неожиданным визитом, встретили старшую дочь коррехидора холодно и церемонно. Они показали ей перестроенное здание, включили для нее пианолу, угостили лимонадом и печеньем. Ампаро преподала девушкам такой урок достоинства, личного обаяния, хороших манер, что успела произвести впечатление на Урсулу, хотя последняя зашла в комнату всего на несколько минут. Через два часа, когда разговор уже начал иссякать, Ампаро воспользовалась тем, что Амаранта на мгновение отвлеклась, и передала Ребеке письмо. Та успела заметить на конверте имя уважаемой доньи Ребеки Буэндиа, написанное теми же аккуратными буквами и теми же зелеными чернилами, с тем же красивым расположением слов, что и руководство к пианоле, сложила письмо кончиками пальцев и спрятала его за корсаж, глядя на Ампаро Москоте взором, в котором светились благодарность без конца и края и молчаливое обещание теснейшего сообщничества до самой смерти.

Внезапно возникшая дружба между Ампаро Москоте и Ребекой Буэндиа заронила надежду в душу Аурелиано. Его не переставало мучать воспоминание о маленькой Ремедиос, но случая увидеть ее все не выпадало. Прогуливаясь по городу со своими ближайшими друзьями Магнифико Висбалем и Херинельдо Маркесом — сыновьями основателей Макондо, носивших те же имена,— он искал ее алчущим взором в швейной мастерской, однако находил только старших сестер. Появление Ампаро Москоте в доме было как знамение. «Она должна прийти с ней,— шептал себе Аурелиано.— Должна». Столько раз и с такой убежденностью он повторял эти слова, что однажды вечером, трудясь в мастерской над золотой рыбкой, вдруг почувствовал уверенность, что Ремедиос ответила на его призыв. И действительно, немного погодя он услышал детский голосок, поднял глаза, и сердце его заледенело от испуга, когда он увидел в дверях девочку в платье из розового органди и белых туфельках.

— Туда нельзя, Ремедиос,— крикнула Ампаро Москоте из галереи.— Там работают.

Но Аурелиано не дал девочке осознать значение этих слов. Он поднял в воздух золотую рыбку, подвешенную на цепочке, и сказал:

— Входи.

Ремедиос вошла и что-то спросила о рыбке, но Аурелиано, охваченный внезапным приступом удушья, не смог ответить на ее вопрос. Ему хотелось быть всегда возле этой лилейной кожи, около этих изумрудных глаз, вблизи этого голоса, который к каждому вопросу добавлял слово «сеньор» с таким уважением, будто обращался к родному отцу. В углу за столом сидел Мелькиадес, выводя какие-то недоступные прочтению каракули. Аурелиано его возненавидел. Он только и успел, что предложить Ремедиос взять рыбку на память, девочка испугалась и поспешила уйти из мастерской. В этот вечер Аурелиано навсегда утратил скрытое терпение, с которым до сих пор ждал встречи с нею. Он забросил работу. Много раз делал он отчаянные усилия сосредоточиться и снова вызвать Ремедиос, но та не повиновалась. Он искал ее в мастерской сестер, за опущенными занавесками окон ее дома, в конторе ее отца, но встречал только в своем сердце, и образ этот скрашивал его страшное одиночество. Аурелиано проводил целые часы в гостиной, слушая вместе с Ребекой вальсы пианолы. Она слушала их, потому что под эту музыку Пьетро Креспи учил ее танцевать, Аурелиано — по той простой причине, что все, даже музыка, напоминало ему о прекрасной Ремедиос.

Дом наполнился любовью. Аурелиано изливал ее в стихах, не имевших ни начала, ни конца. Он писал их на жестком пергаменте, подаренном ему Мелькиадесом, на стенах купальни, на коже собственных рук, и во всех этих стихах присутствовала преображенная Ремедиос· Ремедиос в сонном воздухе полудня, Ремедиос в тихом дыхании роз, Ремедиос в утреннем запахе теплого хлеба — Ремедиос всегда и повсюду. Ребека поджидала свою любовь каждый день в четыре часа, сидя с вышиванием возле окна. Ей было прекрасно известно, что мул, который возит почту, приходит в Макондо только два раза в месяц, но тем не менее она ждала изо дня в день, убежденная, что по ошибке мул ранее может прибыть. Случилось как раз наоборот: однажды мул в положенный день не явился. Обезумев от горя, Ребека поднялась среди ночи и торопливо, с жадностью самоубийцы стала поглощать землю в саду, горсть за горстью, плача от горя и ярости, раня десны осколками раковин улиток. Ее рвало до самого рассвета. Она впала в состояние какой-то лихорадочной прострации, потеряла сознание, и в бреду сердце ее бесстыдно раскрыло свою тайну. Возмущенная Урсула взломала замок сундука и нашла на дне шестнадцать надушенных писем, перевязанных розовой лентой, останки листьев и лепестков, хранимые между страницами старых книг, и засушенных бабочек, при первом же прикосновении обратившихся в пыль.

Только Аурелиано способен был понять всю глубину отчаяния Ребеки. В тот вечер, когда Урсула пыталась извлечь ее из пучины бреда, он отправился с Магнифико Висбалем и Херинельдо Маркесом в заведение Катарино. К нему теперь была пристроена галерея, разгороженная досками на клетушки, где обитали одинокие женщины, от которых пахло умершими цветами. Ансамбль из аккордеона и барабанов исполнял песни Франсиско Человека, уже несколько лет не появлявшегося в Макондо. Трое друзей заказали себе тростникового вина. Магнифико и Херинельдо, ровесники Аурелиано, но более, чем он, искушенные в житейских делах, неторопливо пили с женщинами, которые сидели у них на коленях. Одна из женщин, увядшая, золотозубая, попыталась приласкать Аурелиано. Но тот ее оттолкнул. Он обнаружил, что чем больше

пьет, тем чаще вспоминает о Ремедиос, однако выносить муку воспоминаний становится легче. Потом Аурелиано вдруг поплыл, в какое мгновение это началось, он и сам не заметил. Только вскоре обнаружил, что его друзья и женщины тоже плывут в тускло светящемся мареве — бесформенные, невесомые фигуры — и произносят слова, которые слетают не с их губ, и делают таинственные знаки, не совпадающие с их жестами. Катарино положила ему на плечо руку и сказала: «Скоро одиннадцать». Аурелиано обернулся, увидел огромное расплывшееся пятно лица, искусственный цветок за ухом, а затем потерял память, как во времена эпидемии забывчивости, и обрел ее вновь лишь на другое утро и в комнате, совершенно ему незнакомой,— перед ним стояла Пилар Тернера, в одной рубашке, босая, растрепанная, она освещала его лампой и не верила своим глазам.

— Аурелиано!

Аурелиано утвердился на ногах и поднял голову. Он не знал, как сюда попал, но хорошо помнил, с каким намерением, потому что еще с детских лет хранил это намерение в неприкосновенном тайнике своего сердца.

— Я пришел, чтобы спать с вами,— сказал он.

Одежда Аурелиано была измазана грязью и рвотой. Пилар Тернера — она в то время жила только со своими двумя младшими сыновьями — ни о чем не спросила. Повела к постели. Обтерла мокрой тряпкой лицо, раздела, потом сама разделась догола и опустила полог от москитов, чтобы сыновья не увидели, если проснутся. Она устала ждать мужчину, с которым ее разлучили в ее родной деревне, мужчин, которые уехали, пообещав вернуться, бесчисленных мужчин, которые не нашли дороги к ее дому, сбитые с толку неопределенностью карточных предсказаний. Пока она ждала их, кожа ее покрылась морщинами, груди обвисли, жар сердца угас. Пилар Тернера нашла в темноте Аурелиано, положила руку ему на живот и с материнской нежностью поцеловала в шею. «Мой бедный малыш»,— прошептала она. Аурелиано задрожал. Спокойно и уверенно, не мешкая, он отчалил от скалистых берегов печали и встретил Ремедиос, обратившуюся в бескрайнюю топь, пахнущую грубым животным и свежевыглаженным бельем. Отправляясь в путь, он плакал. Сначала это были непроизвольные, прерывистые всхлипывания. Потом слезы хлынули неудержимым потоком, и он почувствовал, как что-то распухшее и болезненное лопнуло внутри его. Перебирая его волосы кончиками пальцев, женщина подождала, пока его тело не освободилось от того темного, что мешало ему жить. Тогда Пилар Тернера спросила: «Кто она?» И Аурелиано сказал ей. Она засмеялась; смех, при звуках которого в былые времена испуганно взлетали в воздух голуби, теперь даже не разбудил ее мальчиков. «Тебе придется сначала донянчить невесту»,— пошутила она. Но за шуткой Аурелиано разглядел глубокое сочувствие. Когда он вышел из комнаты, оставив там не только неуверенность в своих мужских достоинствах, но также и горький груз, в течение стольких месяцев обременявший его сердце, Пилар Тернера неожиданно пообещала ему:

— Я поговорю с девочкой и поднесу ее тебе на блюде, вот увидишь.

Обещание свое она выполнила. Но момент был неподходящий, потому что дом Буэндиа утратил былое спокойствие. Когда обнаружилась страстная любовь Ребеки, а скрыть эту любовь было невозможно, так как Ребека громко кричала о ней в бреду, Амаранта вдруг заболела горячкой. И она тоже была уязвлена шипом неразделенной любви. Запершись в купальне, она изливала муки безнадежной страсти в пламенных письмах, но не отправляла эти послания, а довольствовалась тем, что прятала их на дне своего сундука. Урсула разрывалась на части, ухаживая за обеими больными. Несмотря на длительные и хитроумные

допросы, ей не удалось выяснить причины угнетенного состояния Амаранты. Наконец, ее снова осенило: она взломала замок сундука и нашла повязанные розовой лентой, переложенные свежими белыми лилиями, еще влажные от слез письма, адресованные Пьетро Креспи и так ему и не отосланные. Плача от бешенства, Урсула прокляла день и час, когда ей взбрело в голову купить пианолу, запретила уроки вышивания и объявила нечто вроде траура без покойника — траур должен был продолжаться до тех пор, пока ее дочери не откажутся от своих надежд. Вмешательство Хосе Аркадио Буэндиа, который изменил свое первоначальное мнение о Пьетро Креспи и восхищался теперь его мастерством в обращении с музыкальными машинами, ни к чему не привело. Поэтому, когда Пилар Тернера сообщила Аурелиано о согласии Ремедиос выйти за него замуж, он понял, что эта новость лишь усилит горе его родителей, однако решил встретить свою судьбу лицом к лицу. Призванные в гостиную для официальных переговоров Хосе Аркадио Буэндиа и Урсула стойко выслушали заявление своего сына. Но, узнав имя невесты, Хосе Аркадио Буэндиа побагровел от негодования. «Очумел ты, что ли, от своей любви? — загремел он.— Вокруг столько красивых и приличных девушек, а ты не находишь ничего другого, как жениться на дочери нашего врага». Урсула выбор одобрила. Она призналась, что все семь сестер Москоте нравятся ей своей красотой, трудолюбием, скромностью, воспитанностью, и похвалила сына за благоразумие. Обезоруженный восторженными похвалами жены Хосе Аркадио Буэндиа поставил лишь одно условие: Ребека, на любовь которой отвечают взаимностью, выйдет замуж за Пьетро Креспи. Когда Урсула сможет выделить время, она повезет Амаранту в главный город провинции, чтобы путешествие и перемена общества помогли девушке справиться с разочарованием. Как только Ребека узнала об этом соглашении, она тут же выздоровела, написала жениху ликующее письмо, предъявила его на утверждение родителям и, не прибегая к услугам посредниц, сама отнесла на почту. Амаранта сделала вид, что покоряется решению старших, и мало-помалу оправилась от лихорадки, но в глубине души дала себе клятву, что Ребека выйдет замуж только через ее труп.

В следующую субботу Хосе Аркадио Буэндиа надел костюм из темного сукна, целлулоидный воротничок и замшевые сапоги, те самые, которые обновил в день бала, и пошел просить руки Ремедиос Москоте. Коррехидор и его супруга были польщены неожиданным визитом и в то же время обеспокоены, так как не знали его причины; узнав ее, они решили, что Хосе Аркадио Буэндиа спутал имя своей будущей невесты. Чтобы рассеять заблуждение, мать подняла с постели Ремедиос и принесла ее на руках в гостиную девочка еще не проснулась окончательно. Ее спросили, действительно ли она решила идти замуж, и она прохныкала, что хочет только одного: пусть ей не мешают спать. Хосе Аркадио Буэндиа понял основательность сомнений супругов Москоте и отправился за разъяснениями к Аурелиано. Когда он возвратился, супруги уже успели переодеться в приличествующее случаю платье, сделали небольшую перестановку мебели в гостиной, наполнили вазы свежими цветами и ждали его в обществе своих старших дочерей. Удрученный неловкостью своего положения и страданиями, которые причинял ему жесткий воротничок, Хосе Аркадио Буэндиа подтвердил, что избранницей действительно является Ремедиос. «Но ведь это против всякого здравого смысла,— сказал приунывший дон Аполинар Москоте.— У нас, кроме нее, еще шесть дочерей, все они девицы на выданье, и каждая с радостью согласилась бы стать женой такого серьезного и трудолюбивого кабальеро, как ваш сын, а Аурелито останавливает свой выбор на той единственной, которая еще писает в постель». Сеньора Москоте, хорошо сохранившаяся дама с печальными глазами и неторопливыми

движениями, упрекнула мужа в грубости. После того как был выпит фруктовый сок, супруги, тронутые непреклонностью Аурелиано, дали свое согласие. Сеньора Москоте попросила лишь оказать ей одну милость — предоставить возможность побеседовать с Урсулой наедине. Урсула разворчалась, зачем ее впутывают в мужские дела, но на самом деле была заинтригована и на следующий день, волнуясь и немного робея от этого, явилась в дом Москоте. Через полчаса она вернулась с сообщением, что Ремедиос еще не достигла зрелости. Аурелиано не счел это важным препятствием. Он ждал так долго, что теперь готов был ждать сколько угодно, пока невеста не вступит в тот возраст, когда она сможет зачать.

Восстановленное мирное течение жизни было нарушено только смертью Мелькиадеса. Само событие можно было предвидеть, но обстоятельства, при которых оно произошло, оказались неожиданными. Через несколько месяцев после возвращения Мелькиадеса в нем стали замечаться признаки одряхления, оно развивалось так быстро и необратимо, что очень скоро цыган превратился в одного из тех никому ненужных дедов, что бродят, как тени, по комнатам, волоча ноги и громко рассуждая о лучших временах, никто этими стариками не занимается, о них даже не вспоминают, пока не найдут однажды утром мертвыми в постели. Сначала Хосе Аркадио Буэндиа, восхищенный дагерротипией и пророчествами Нострадамуса, помогал Мелькиадесу в его делах. Но потом он все чаще стал оставлять цыгана в одиночестве: общаться с ним было все труднее и труднее. Мелькиадес слеп и глох, казалось, он путает собеседников с людьми, которых знал в давно миновавшие исторические эпохи, на вопросы он отвечал какой-то непонятной мешаниной из разных языков. Бродя по дому, он всегда ощупывал воздух перед собой, хотя и двигался среди вещей с необъяснимой ловкостью, как будто был одарен инстинктом ориентации, основанным на близких предчувствиях. Однажды он забыл вставить искусственные зубы, положенные на ночь в стакан с водой возле кровати, и с тех пор больше уже не носил их. Задумав расширить дом, Урсула приказала выстроить для Мелькиадеса отдельное помещение возле мастерской Аурелиано, подальше от домашней толчеи и шума,— комнату с большим светлым окном и этажеркой, на которой она собственноручно разместила запыленные и изъеденные молью книги старика, ломкие листы бумаги, покрытые непонятными знаками, и стакан с искусственными зубами — в нем уже пустили корни какие-то водяные растения с малюсенькими желтыми цветочками. Новое место, видимо, пришлось Мелькиадесу по душе, потому что он перестал появляться даже в столовой. Его можно было встретить только в мастерской Аурелиано, он проводил там целые часы, исписывая своими таинственными сочинениями привезенные с собой пергаменты, они, казалось, были сделаны из чего-то твердого и сухого и расщеплялись, как слоеное тесто. В мастерской он съедал и пищу, ее приносила дважды в день Виситасьон,— впрочем, в последнее время у него пропал аппетит, и ел он только овощи, отчего вскоре приобрел свойственный вегетарианцам беспомощный вид. Кожа его покрылась нежной плесенью, похожей на ту, что произрастала на допотопном жилете, который он никогда не снимал, дыхание стало смрадным, как у спящего животного. Аурелиано, погруженный в отделку своих стихов, в конце концов перестал замечать присутствие цыгана, но однажды в бормотании Мелькиадеса ему почудилось нечто доступное пониманию. Аурелиано прислушался. Единственное, что он смог выделить в запутанных, темных речах, было настойчиво, как стук молотка, повторяющееся слово «равноденствие», «равноденствие», «равноденствие», да еще имя — Александр фон Гумбольдт. Более близкого общения со стариком сумел добиться Аркадио, когда стал помогать Аурелиано в ювелир-

ном деле. Мелькиадес шел навстречу его попыткам завязать разговор и произносил иногда отдельные фразы по-испански, однако фразы эти не имели никакого отношения к окружающей действительности. Но в один из вечеров цыгана вдруг охватило внезапное волнение. Пройдет много лет, и, стоя у стены в ожидании расстрела, Аркадио вспомнит, как, весь дрожа, Мелькиадес прочел ему несколько страниц своих непостижимых писаний, Аркадио, конечно, их не понял, но прочитанные вслух, нараспев, они показались ему переложенными на музыку энцикликами [10]. Кончив чтение, Мелькиадес улыбнулся, впервые за долгое время, и произнес по-испански: «Когда я умру, пусть в моей комнате три дня жгут ртуть». Аркадио передал эти слова Хосе Аркадио Буэндиа, тот пытался получить у старика дополнительные разъяснения, но добился лишь краткого ответа: «Я достиг бессмертия». Когда дыхание Мелькиадеса стало зловонным, Аркадио начал каждый четверг по утру водить его к речке купаться. Мелькиадес раздевался и шел в воду вместе с мальчишками, таинственное чувство ориентации помогало ему обходить глубокие и опасные места. «Все мы из воды возникли»,— изрек он однажды. Время шло, старика будто в доме и не было, его видели лишь в ту ночь, когда он с трогательным усердием пытался починить пианолу, да по четвергам, когда он отправлялся с Аркадио на речку, неся под мышкой высушенную тыкву и кусок пальмового мыла, завернутые в полотенце. В один из четвергов, перед тем как Аркадио позвал Мелькиадеса купаться, Аурелиано услышал, что старик бормочет: «Я умер от малярии в болотах Сингапура». На этот раз, входя в воду, Мелькиадес ступил не туда, куда надо, и его нашли лишь на следующее утро несколькими километрами ниже по течению: он лежал на мели в светлой заводи, а к животу его прилип кусочек куриного помета. Несмотря на возражения возмущенной Урсулы, оплакивавшей цыгана горше, чем своего родного отца, Хосе Аркадио Буэндиа запретил хоронить тело. «Мелькиадес бессмертен и сам открыл формулу воскрешения из мертвых»,— сказал он. Раздул заброшенный горн и поставил на него котелок с ртутью, чтобы она кипела возле трупа, постепенно покрывавшегося синими пузырями. Дон Аполинар Москоте осмелился напомнить Хосе Аркадио Буэндиа, что непогребенный утопленник представляет опасность для общественного здоровья. «Ничего подобного, ведь он живой»,— возразил Хосе Аркадио Буэндиа и продолжал окуривание парами ртути ровно семьдесят два часа, к этому времени труп уже стал лопаться, как иссиня-белая почка, издавая тонкий свист и пропитывая дом тлетворным духом. Только тогда Хосе Аркадио Буэндиа разрешил предать его земле, но не кое-как, а со всеми почестями, подобающими величайшему благодетелю Макондо. Это были первые и самые многолюдные похороны в городе, их превзойдет, и то с трудом, лишь погребальный карнавал, которым столетие спустя почтят смерть Мама-Гранде [11]. Цыгана опустили в могилу, вырытую посреди луга, отведенного под кладбище, на каменной плите написали единственное, что о нем было известно,— его имя «Мелькиадес». Потом, как положено, девять ночей длилось бдение. Воспользовавшись толчеей, царившей все это время во дворе, где собирались соседи попить кофе, обменяться анекдотами, сыграть в карты, Амаранта улучила момент и призналась в любви Пьетро Креспи, за несколько недель до того он огласил свою помолвку с Ребекой и теперь занимался устройством магазина музыкальных инструментов и заводных игрушек там, где когда-то арабы меняли безделушки на попугаев, ныне это место в народе называли улицей Турков.

---

[10] Папские послания.

[11] Мама-Гранде — персонаж из сборника рассказов Габриэля Гарсиа Маркеса «Похороны Мама-Гранде» (1962), действие которых происходит там же, в Макондо.

Итальянец, чьи блестящие, будто лакированные, кудри вызывали у женщин непреодолимое желание вздохнуть, отнесся к Амаранте словно к избалованной девочке, которую не стоит принимать слишком всерьез.

— У меня есть младший брат,— сказал он ей.— Он приедет помогать мне в магазине.

Амаранта почувствовала себя униженной и с язвительной злобой ответила ему, что решила во что бы то ни стало помешать свадьбе сестры, даже если придется для этого положить у входа в дом свой собственный труп. Итальянец, пораженный этой угрозой, не удержался от соблазна рассказать о ней Ребеке. Вот так и получилось, что поездка Амаранты, все время откладывавшаяся по причине занятости Урсулы, была подготовлена меньше чем за неделю. Амаранта не сопротивлялась, но, прощаясь с Ребекой, шепнула ей на ухо:

— Не надейся понапрасну. Пусть меня хоть на край света увезут, все равно я сумею расстроить твою свадьбу. Я не остановлюсь и перед тем, чтобы убить тебя.

Из-за отсутствия Урсулы и невидимого присутствия Мелькиадеса, продолжавшего свои таинственные прогулки по комнатам, дом казался огромным и пустым. Ребеке было поручено следить за хозяйством, а индианка занималась пекарней. Вечером, когда появлялся Пьетро Креспи, предшествуемый свежим ароматом лаванды и обязательно с подарком — какой-нибудь заводной игрушкой — в руках, невеста принимала его в главной гостиной, настежь распахнув все двери и окна, чтобы не дать никому повода для пересудов. Предосторожности были излишними — итальянец вел себя так почтительно, что не смел прикоснуться даже к руке той девушки, которая меньше чем через год должна была стать его супругой. Постепенно дом наполнился чудесными безделушками. Заводные танцовщицы, мартышки-акробаты, паяцы-барабанщики, скачущие лошадки — вся эта богатая механическая фауна, принесенная Пьетро Креспи, развеяла печаль, терзавшую Хосе Аркадио Буэндиа со дня смерти Мелькиадеса, и вернула его снова к тем временам, когда он занимался алхимией. Он поселился в раю из выпотрошенных зверушек, разобранных на части механизмов и пытался усовершенствовать их, сообщив им вечное движение, основанное на принципе маятника. Что касается Аурелиано, то он забросил мастерскую и принялся обучать малютку Ремедиос чтению и письму. Первое время девочка предпочитала своих кукол этому чужому мужчине, который приходил каждый вечер и из-за которого ее отрывали от игрушек, мыли, наряжали и усаживали в гостиной. Но терпение и преданность Аурелиано в конце концов покорили ее до такой степени, что с ним она проводила долгие часы, изучая буквы и рисуя в тетрадке цветными карандашами домики, коров в загонах и утыканные желтыми лучами круглые солнца, садившиеся за холмы.

Несчастной чувствовала себя одна Ребека: она не могла забыть угроз сестры. Ребека знала характер Амаранты, ее надменный дух и боялась злобной мести. Часами сидела она в купальне, сосала палец и отчаянным усилием воли боролась с желанием снова начать есть землю. В поисках спасения от своих тревог она позвала Пилар Тернеру, чтобы та прочла ей по картам будущее. После целой вереницы обычных неопределенных фраз Пилар Тернера предсказала:

— Не видать тебе счастья до тех пор, пока твои родители не погребены.

Ребеку охватила дрожь. Будто припоминая давний сон, она увидела себя маленькой девочкой, входящей в дом Буэндиа с сундучком, деревянной качалкой и мешком — что в нем было, она так никогда и не узнала. Она вспомнила лысого господина, одетого в полотняный костюм и с золотой запонкой на воротнике рубашки, он ничем не походил на короля

червей. Вспомнила очень молодую и очень красивую женщину с теплыми, душистыми руками — они не имели ничего общего с ревматическими пальцами дамы червей,— и как эта женщина украшала ей волосы цветами, чтобы повести на прогулку по зеленым улицам вечернего города.

— Не понимаю,— сказала Ребека.

Пилар Тернера смутилась:

— Я тоже, но именно это говорят карты.

Ребека была так обеспокоена неясным пророчеством, что рассказала о нем Хосе Аркадио Буэндиа, тот побранил ее за веру в карты, но тут же незаметно принялся рыться в сундуках и шкафах, передвигать мебель, приподнимать доски пола в поисках мешка с костями. Насколько он помнил, мешок не попадался ему на глаза со времен перестройки дома. Тайком от всех Хосе Аркадио Буэндиа позвал каменщиков, и один из них признался, что замуровал мешок в стену какой-то спальни, чтобы не мешал работать. Несколько дней подряд они только тем и занимались, что прикладывали ухо к стенам и тщательно прослушивали каждую, пока, наконец, не уловили далекое «клок-клок». Пробили стену — мешок с костями лежал там целый и невредимый. В тот же день его похоронили в могиле без надгробья неподалеку от Мелькиадеса, и Хосе Аркадио Буэндиа вернулся домой, освободившись от груза, который обременял его совесть, хотя и недолго, но так же тяжело, как воспоминание о Пруденсио Агиляре. Проходя через кухню, он поцеловал Ребеку в лоб.

— Выбрось эту дурь из головы,— сказал он ей.— Ты будешь счастлива.

Дружба с Ребекой распахнула перед Пилар Тернерой двери дома, закрытые для нее Урсулой после рождения Аркадио. Пилар Тернера, как стадо коз, приходила в любое время и разряжала свою лихорадочную жажду деятельности, хватаясь за самую тяжелую домашнюю работу. Иногда она наведывалась в мастерскую и помогала Аркадио обрабатывать пластинки дагерротипов с таким прилежанием и нежностью, что в конце концов юноша стал смущаться. От этой женщины голова у него шла кругом. Ее жаркая кожа, исходивший от нее запах дыма, громкий смех, совсем неуместный в темной комнате, отвлекали внимание и заставляли совершать промах за промахом.

Однажды Пилар Тернера увидела в мастерской занятого своими рыбками Аурелиано, она облокотилась о его стол, восхищенно наблюдая за терпеливой и точной работой. И тут это случилось. Аурелиано удостоверился, что Аркадио находится в другой комнате, и только потом поднял глаза на Пилар Тернеру и встретился с ее взглядом, в котором мысль читалась так ясно, словно освещенная полуденным солнцем.

— Ну,— спросил Аурелиано.— В чем дело?

Пилар Тернера прикусила губу и грустно улыбнулась.

— Ты создан для войны,— ответила она.— Куда метишь, туда и попадаешь.

Аурелиано с облегчением убедился, что предчувствие его подтвердилось. Он снова склонился над столом, как будто ничего не произошло, голос его прозвучал спокойно и твердо.

— Я признаю его,— сказал он.— Он будет носить мое имя.

Хосе Аркадио Буэндиа, наконец, достиг того, к чему стремился: присоединил к одной из танцовщиц пружину от часового механизма, и игрушка плясала три дня без остановки под свою собственную музыку. Это изобретение взволновало Хосе Аркадио Буэндиа гораздо больше, чем любая из его прежних нелепых затей. Он перестал есть. Перестал спать. И, лишенный опеки и надзора Урсулы, позволил воображению ввергнуть себя в пучину неизлечимого безумия. Целые ночи напролет он шагал по комнате из угла в угол, думая вслух, изыскивая способы применить принцип маятника к телеге, к плугу, ко всему, что, дви-

гаясь, служит на пользу людям. Бессонница совершенно измотала Хосе Аркадио Буэндиа, и когда однажды утром к нему в спальню вошел старец с белой, как снег, головой и неуверенными движениями, он не узнал его. То был Пруденсио Агиляр. Установив, наконец, личность гостя и пораженный открытием, что мертвые тоже стареют, Хосе Аркадио Буэндиа почувствовал себя во власти глубокой печали. «Пруденсио,— воскликнул он.— Как ты сюда добрался?» За долгие годы пребывания в стране мертвых тоска по живым стала такой сильной, необходимость в чьем-то обществе такой неотложной, а близость еще одной смерти, существующей внутри смерти,— такой ужасной, что Пруденсио Агиляр возлюбил злейшего своего врага. Он давно уже искал его. Спрашивал о нем у мертвецов, прибывавших из Риоачи, у покойников, которые являлись из Валье-де-Упар и долины, но никто не мог ему помочь — ведь Макондо было неизвестно умершим до тех пор, пока оттуда не прибыл Мелькиадес и не отметил его черной точечкой на пестрых картах смерти. Хосе Аркадио Буэндиа беседовал с Пруденсио Агиляром до рассвета. Через несколько часов, обессилевший от длительного бодрствования, он вошел в мастерскую Аурелиано и спросил: «Какой сегодня день?» Аурелиано ответил ему, что вторник. «Я тоже так думал,— сказал Хосе Аркадио Буэндиа,— но потом заметил, что все еще продолжается понедельник, который был вчера. Погляди на небо, погляди на стены, погляди на бегонии. Сегодня опять понедельник». Привыкший к его чудачествам, Аурелиано не обратил на эти слова внимания. На следующий день, в среду, Хосе Аркадио Буэндиа снова появился в мастерской. «Просто несчастье какое-то,— сказал он.— Погляди на воздух, послушай, как звенит солнце, все в точности, как вчера и позавчера. Сегодня опять понедельник». Вечером Пьетро Креспи встретил его в галерее: Хосе Аркадио Буэндиа заливался слезами, некрасиво, по-стариковски хныча, он оплакивал Пруденсио Агиляра, Мелькиадеса, родителей Ребеки, своего папу, свою маму — всех, кого он мог припомнить и кто находился к тому времени в одиночестве смерти. Пьетро Креспи подарил ему заводного медведя, расхаживавшего по проволоке на двух лапах, но не сумел отвлечь Хосе Аркадио Буэндиа от навязчивых мыслей. Тогда он спросил, как обстоит дело с проектом, о котором тот ему недавно рассказывал: с машиной-маятником для полетов человека в воздухе, а Хосе Аркадио Буэндиа ответил, что сделать такую машину невозможно, потому что маятник способен поднять в воздух любую вещь, но не себя самого. В четверг Хосе Аркадио Буэндиа снова пришел в мастерскую, лицо его выражало полное отчаяние. «Машина времени испортилась,— почти рыдая, сказал он,— а Урсула и Амаранта так далеко». Аурелиано побранил его как ребенка, и он покорно затих. В течение шести часов он внимательно разглядывал предметы, пытаясь определить, не отличается ли их вид от того, какой они имели днем раньше, и упорно искал изменений — доказательства движения времени. Всю ночь он лежал с открытыми глазами, призывая Пруденсио Агиляра, Мелькиадеса и всех умерших разделить его тревогу. Но никто к нему не пришел. Утром в пятницу, когда дом еще спал, он снова принялся изучать облик окружающего мира, пока у него не осталось ни малейшего сомнения в том, что все еще продолжается понедельник. Тогда он сорвал с одной из дверей железный засов и с диким ожесточением, пустив в ход всю свою необычайную силу, превратил в порошок алхимические приборы, разгромил лабораторию дагерротипии и ювелирную мастерскую, при этом он, как одержимый бесом, кричал что-то на звучном и торжественном, но совершенно непонятном языке. Он намеревался покончить и со всем остальным домом, но тут Аурелиано призвал на помощь соседей. Понадобилось десять человек, чтобы повалить Хосе Аркадио Буэндиа, четырнадцать, чтобы связать его, двадцать, чтобы оттащить во двор к большому каштану, где его и оставили

прикрученного веревками к стволу—он ругался на своем странном наречии и извергал изо рта зеленую пену. Когда возвратились Урсула и Амаранта, он все еще был привязан за руки и за ноги, весь мокрый от дождя, но уже совсем тихий и неопасный. Урсула освободила растертые в кровь запястья и щиколотки и сохранила веревки только вокруг пояса. Позже ему выстроили пальмовый навес, чтобы защитить от солнца и дождя.

■

Аурелиано Буэндиа и Ремедиос обвенчались в одно из воскресений марта перед алтарем, сооруженным по распоряжению падре Никанора Рейны в гостиной. В доме Москоте этот день явился завершением целого месяца волнений и тревог, вызванных тем, что маленькая Ремедиос достигла зрелости раньше, чем успела расстаться со своими детскими привычками. Мать своевременно посвятила ее в те перемены, которые приносит вступление в девичий возраст, но несмотря на это как-то февральским вечером Ремедиос с испуганным криком ворвалась в гостиную, где ее сестры беседовали с Аурелиано, и показала им свои панталоны, измазанные чем-то темным. Назначили месяц свадьбы. Невесту едва успели приучить самостоятельно мыться и одеваться и решать самые простые вопросы домашнего очага. Чтобы она отвыкла делать в постель, ее заставляли мочиться на горячие кирпичи. Немало труда стоило убедить Ремедиос в неприкосновенности тайн супружеского ложа, ибо, когда ее посвятили в подробности первой ночи, она так поразилась и вместе с тем пришла в такой восторг, что готова была поделиться своими познаниями с каждым встречным. С ней пришлось помучиться, но зато к назначенному для церемонии дню девочка разбиралась в житейских делах не хуже любой из ее сестер. Дон Аполинар Москоте взял дочь за руку и повел вдоль украшенной цветами и гирляндами улицы, под громкое хлопанье ракет и музыку нескольких оркестров. Ремедиос махала рукой и улыбкой благодарила соседей, которые из окон своих домов желали ей счастья. Аурелиано — в костюме из черного сукна и лаковых ботинках с металлическими застежками, тех самых, что будут на нем через несколько лет, когда он станет у стены в ожидании расстрела,— встретил невесту перед входом в дом и повел к алтарю, жених был бледен, горло ему свела судорога. Ремедиос держалась естественно и скромно и не изменила своему самообладанию, даже когда Аурелиано, пытаясь надеть ей кольцо, уронил его на пол. Это вызвало замешательство у присутствовавших, вокруг зашептались, но Ремедиос продолжала спокойно ждать, приподняв руку в кружевной митенке и вытянув безымянный палец, пока ее жених не задержал катившееся к двери кольцо, наступив на него ногой, и не вернулся, весь красный, к алтарю. Мать и сестры Ремедиос до того боялись, как бы она не сделала ошибки во время церемонии, что в конце концов, совершенно измученные, сами допустили оплошность, подсказав ей первой поцеловать жениха. Именно с этого дня обнаружились у Ремедиос чувство ответственности, врожденная приветливость, умение владеть собой, которые всегда будут присущи ей в трудных обстоятельствах. По собственному почину она отложила лучший кусок от свадебного пирога и вместе с вилкой отнесла его на тарелке Хосе Аркадио Буэндиа. Скорчившийся на деревянной скамеечке под пальмовым навесом, уже выцветшим от солнца и дождей, старый великан, привязанный к стволу каштана, благодарно улыбнулся, взял руками пирог и стал жевать, бормоча себе под нос какую-то невнятную молитву. Единственным несчастным человеком на шумном пиру, продолжавшемся до утра понедельника, была Ребека Буэндиа. Ее праздник был сорван. По разрешению Урсулы Ребека должна была обвенчаться в этот же

день, но в пятницу Пьетро Креспи вручили письмо, извещавшее, что его мать при смерти. Свадьбу отложили. Через час после получения письма Пьетро Креспи уехал в главный город провинции и по дороге разминулся со своей матерью, которая прибыла в Макондо без всякого опоздания в ночь на субботу и спела на свадьбе Аурелиано печальную песню, предназначавшуюся для бракосочетания сына. Пьетро Креспи возвратился ночью в воскресенье — к шапочному разбору, после того как загнал пять лошадей, пытаясь поспеть на свою свадьбу. Так никому и не удалось узнать, кто же написал злосчастное письмо. Урсула мучила Амаранту допросами до тех пор, пока та не расплакалась от возмущения и не поклялась в своей невиновности перед алтарем, еще не разобранным плотниками.

Для свершения бракосочетания дон Аполинар Москоте привез из соседнего городка падре Никанора Рейну, старика, ожесточенного своей неблагодарной профессией. У него была болезненного цвета кожа, натянутая почти прямо на кости, и заметно выступающий круглый живот, а в лице его, как в лице одряхлевшего ангела, читалось больше простодушия, чем доброты. Он собирался возвратиться после свадьбы к своей пастве, но пришел в ужас от беспечности жителей Макондо, процветавших, живя в грехе: они подчинялись только законам природы, не крестили детей, не признавали церковных праздников. Рассудив, что эта почва настоятельно нуждается в пахаре, он решил остаться в Макондо еще на неделю, чтобы окрестить обрезанных и язычников, узаконить незаконные сожительства и причастить умирающих. Но никто и слушать его не хотел. Ему отвечали, что много лет прекрасно обходятся без священника и улаживают все вопросы спасения души непосредственно с самим богом, да и смертных грехов не совершают.

Утомившись проповедовать в пустыне, падре Никанор Рейна решил обратить свои силы на строительство самого большого в мире храма со статуями святых в натуральную величину и цветистыми витражами, для того чтобы люди приезжали в Макондо даже из Рима поклоняться богу в самом очаге безбожия. Он ходил повсюду с медной тарелочкой и собирал пожертвования. Ему щедро подавали, но он требовал больше, потому что храм должен иметь такой колокол, от звона которого всплывали бы из воды утопленники. Он так умолял всех, что даже потерял голос, а кости у него гудели от усталости.

В одну из суббот, прикинув, что собранного не хватит даже на двери храма, он позволил отчаянию смутить себя. Соорудил на городской площади алтарь и в воскресенье с колокольчиком в руке, как ходили во времена эпидемии, обежал все улицы, созывая народ на полевую мессу. Многие пришли из любопытства. Другие — от нечего делать. Третьи — опасаясь, как бы бог не счел пренебрежение к своему посреднику за личную обиду. Таким образом, к восьми часам утра половина обитателей города собралась на площади, где падре Никанор читал Евангелие голосом, надорванным мольбами о деньгах. К концу мессы, когда присутствующие уже стали расходиться, он поднял руки, требуя внимания.

— Минутку,— сказал он.— Сейчас вы получите неоспоримое доказательство беспредельного могущества господа бога.

Мальчик, помогавший падре Никанору во время мессы, принес чашку густого дымящегося шоколада. Священник одним духом проглотил весь напиток. Потом извлек из рукава сутаны платок, вытер губы, простер обе руки перед собой и закрыл глаза. И тогда падре Никанор поднялся на двенадцать сантиметров над землей. Довод оказался весьма убедительным. В течение нескольких дней священник ходил по городу, повторяя при помощи горячего шоколада свой трюк с вознесением, и служка набрал в мешок столько денег, что не прошло и месяца, а строительство храма уже было начато. Никто не усомнился в божественном

происхождении чуда, явленного падре Никанором, — никто, кроме Хосе Аркадио Буэндиа. Когда однажды утром неподалеку от каштана собралась толпа, чтобы присутствовать при очередном вознесении, он один сохранил полную невозмутимость, только распрямился слегка на своей скамеечке и пожал плечами, увидев, как падре Никанор поднимается над землей вместе со стулом, на котором сидел.

— Hoc est simplicissimum,— сказал Хосе Аркадио Буэндиа.— Homo iste statum quartum materiae invenit [12].

Падре Никанор поднял руку, и все четыре ножки стула стали на землю в одно и то же время.

— Nego,— возразил он.— Factum hoc existentiam Dei probat sine dubio [13].

Вот так и узнали, что дьявольская тарабарщина Хосе Аркадио Буэндиа на самом деле была латынью. Наконец-то появился человек, который имел возможность объясняться с ним, и падре Никанор решил использовать это счастливое обстоятельство, чтобы озарить светом веры сей повредившийся разум. Каждый вечер он усаживался рядом с каштаном и читал на латыни проповеди, однако Хосе Аркадио Буэндиа упорно не желал принимать ни его риторических тонкостей, ни шоколадных вознесений и требовал в качестве единственно неоспоримого доказательства — дагерротипный снимок господа бога. Тогда падре Никанор принес ему образки и гравюры и даже копию платка Вероники, но Хосе Аркадио Буэндиа отверг все это как плоды кустарного ремесла, лишенного научной основы. Он выказал такое упрямство, что падре Никанор отступился от своих миссионерских замыслов и продолжал посещать старика во имя простого человеколюбия. Но тут Хосе Аркадио Буэндиа взял инициативу в свои руки и коварными рационалистическими доводами пытался поколебать веру священника. Как-то раз падре Никанор принес с собой коробку с шашками и игральную доску и предложил Хосе Аркадио Буэндиа сыграть с ним, тот отказался, потому, как он объяснил, что не видит смысла в борьбе между двумя противниками, которые в принципиальных вопросах согласны между собой. Падре Никанор, никогда до тех пор не рассматривавший игру в шашки с этой точки зрения, так и не смог его переубедить. Все более поражаясь уму Хосе Аркадио Буэндиа, он спросил, как могло случиться, что его привязали к дереву.

— Hoc est simplicissimum,— ответил тот,— привязали потому, что я сумасшедший.

После этого, опасаясь за свой собственный рассудок, священник перестал навещать его и всецело отдался строительству храма. Ребека почувствовала, как в ней возрождается надежда. С завершением храма было связано ее будущее,— с того самого воскресенья, когда падре Никанор, обедая у них в доме, стал за столом при всей семье рассказывать, с каким великолепием будут совершаться службы после возведения храма. «Больше всего повезло Ребеке»,— заметила Амаранта. И так как Ребека не поняла, что она хочет этим сказать, Амаранта пояснила с невинной улыбкой:

— Ведь ты откроешь церковь своей свадьбой.

Ребека пыталась не допустить обсуждения этой возможности. Строительство идет очень медленно, и храм закончат не раньше чем через десять лет. Падре Никанор не согласился с ней: все возрастающая щедрость верующих позволяет делать более оптимистические расчеты. При молчаливом возмущении Ребеки, которая даже не смогла доесть свой обед, Урсула одобрила идею Амаранты и пообещала внести солидную лепту на ускорение работ. Падре Никанор заявил — еще одно такое

---

[12] Это очень просто. Этот человек открыл четвертое состояние материи *(лат.)*.

[13] Отрицаю. Этот факт неопровержимо доказывает бытие божие *(лат.)*.

пожертвование, и храм будет готов через три года. С того дня Ребека не обменялась с Амарантой ни единым словом, ибо, по ее убеждению, выходка сестры была не столь уж невинной, как пыталась представить Амаранта. «Скажи спасибо, что я чего-нибудь похуже не сделала,— заявила Амаранта во время ожесточенного спора, который возник между ними вечером.— Так мне, по крайней мере, в ближайшие три года не придется убивать тебя». Ребека приняла вызов.

Узнав о новой отсрочке, Пьетро Креспи впал в отчаяние, и тут невеста дала ему последнее доказательство своей преданности. «Мы убежим отсюда, когда ты захочешь»,— сказала она. Но Пьетро Креспи был не склонен к авантюрам. Он не обладал порывистым характером своей суженой и считал уважение к данному слову капиталом, который не следует расточать налево и направо. Тогда Ребека прибегла к менее решительным способам. Непонятно откуда взявшийся ветер стал гасить лампы в гостиной, и Урсула то и дело заставала жениха и невесту целующимися в темноте. Пьетро Креспи несколько сбивчиво жаловался ей на плохое качество новых керосиновых ламп и даже помог установить в гостиной более надежную систему освещения. Но в следующий раз в лампах кончался керосин или засорялись горелки, и Урсула снова обнаруживала Ребеку на коленях у жениха. В конце концов Урсула отказалась принимать какие бы то ни было объяснения. Возложила на индианку всю ответственность за хлебопекарню, а сама уселась в качалку — наблюдать за помолвленными, твердо решив, что не даст себя одурачить плутнями, устаревшими еще в годы ее молодости. «Бедная мама,— говорила Ребека с издевкой и возмущением, видя, как Урсула зевает во время чинных, нагоняющих сон визитов.— Когда она умрет, то будет отбывать свое наказание за грехи в этой качалке». Через три месяца такой поднадзорной любви Пьетро Креспи, каждый день проверявший состояние работ и измученный медлительностью, с которой возводился храм, решил дать падре Никанору недостающие деньги, чтобы тот мог довести дело до конца. Амаранту эта новость ничуть не взволновала. Болтая с подругами, собиравшимися каждый вечер на галерее ткать или вышивать, она тем временем измышляла все новые и новые козни. Ошибка в расчетах погубила один ее замысел, по мнению Амаранты, самый верный, он заключался в том, чтобы вынуть нафталинные шарики из комода в спальне, где Ребека хранила свое подвенечное платье. Амаранта сделала это за два месяца до окончания строительства храма. Но близость свадьбы наполнила Ребеку таким нетерпением, что она захотела подготовить свой туалет намного раньше, чем рассчитывала Амаранта. Ребека выдвинула ящик комода, развернула сначала бумагу, потом холст, в которых лежал наряд, и обнаружила, что атласная ткань платья, кружево фаты и даже венок из флердоранжа изъедены молью и превратились в порошок. Хотя она великолепно помнила, как насыпала под обертку две горсти нафталинных шариков, несчастье все же выглядело таким случайным, что она не осмелилась обвинить в нем Амаранту. До свадьбы оставалось меньше месяца, но Ампаро Москоте взялась сшить новое платье за неделю. Когда дождливым днем дочь коррехидора, едва видная за ворохом белопенных кружев, вошла в дом, чтобы сделать Ребеке последнюю примерку, Амаранта чуть не упала в обморок. Она лишилась языка, струйка ледяного пота пробежала по ложбинке вдоль позвоночника. Долгие месяцы трепетала Амаранта от страха в ожидании этого часа, потому что твердо знала — если ей не удастся придумать какого-нибудь окончательного препятствия для свадьбы, то в последнюю минуту, как только иссякнут все запасы ее фантазии, она найдет в себе смелость отравить Ребеку. Пока Ребека задыхалась от жары в броне из атласа, которую Ампаро Москоте с помощью тысячи булавок и бесконечного терпения сооружала на ее теле, Амаранта несколько раз ошиб-

лась, считая петли своего вязания, и уколола себе палец спицей, однако с ужасающим хладнокровием решила: день — последняя пятница перед свадьбой, способ — порция экстракта опия в чашке с кофе.

Но иное препятствие, столь же неодолимое, как и непредвиденное, заставило снова отложить свадьбу на неопределенное время. За семь дней до числа, назначенного для бракосочетания Ребеки и Пьетро Креспи, маленькая Ремедиос проснулась среди ночи вся мокрая от какой-то горячей жижи, извергнувшейся из ее внутренностей со звуком, похожим на громкую отрыжку, и через три дня после этого умерла, отравленная своей собственной кровью — двойня застряла у нее поперек живота. Амаранта пережила приступ угрызений совести. Она горячо молила бога ниспослать какое-нибудь бедствие, чтобы ей не пришлось давать яд Ребеке, и теперь чувствовала себя виноватой в смерти Ремедиос. Не о таком бедствии она молила. Ремедиос принесла в дом дыхание радости. Она поселилась с мужем в спальне возле мастерской и украсила всю комнату куклами и игрушками своего совсем недавнего детства, но ее кипучая жизнерадостность вырывалась из четырех стен спальни и, как благотворный ветер, проносилась по галерее с бегониями. Ремедиос начинала петь с восходом солнца. Она была единственным человеком в доме, который решался вмешиваться в раздоры между Ребекой и Амарантой. Она же взяла на себя нелегкий труд ухаживать за Хосе Аркадио Буэндиа. Носила ему пищу, обмывала его намыленной мочалкой, следила, чтобы у него в волосах и бороде не заводились вши и гниды, поддерживала в хорошем состоянии навес и во время грозы набрасывала поверх пальмовых листьев непромокаемый брезент. Последние месяцы своей жизни она научилась объясняться с Хосе Аркадио Буэндиа на примитивной латыни. Когда ребенок Аурелиано и Пилар Тернеры родился на свет, был принесен в дом и окрещен в тесном семейном кругу именем Аурелиано Хосе, Ремедиос решила считать его своим старшим сыном. Ее материнский инстинкт поразил Урсулу. Что касается Аурелиано, то он нашел в Ремедиос недоставшее ему оправдание собственному существованию. Целый день он работал в мастерской, а Ремедиос носила ему туда черный кофе без сахара. Вечером они вдвоем отправлялись в дом Москоте. Аурелиано разыгрывал бесконечные партии в домино со своим тестем, пока Ремедиос болтала с сестрами или обсуждала с матерью дела взрослых. Родственная связь с семейством Буэндиа укрепила авторитет дона Аполинара Москоте в Макондо. Во время своих частых поездок в главный город провинции он сумел убедить власти выстроить в Макондо школу, преподавать в ней должен был Аркадио, унаследовавший педагогические таланты деда. Путем убеждения дон Аполинар Москоте добился того, что ко дню национальной независимости большую часть домов покрасили в голубой цвет. По настоянию падре Никанора он распорядился переселить заведение Катарино в глухую улицу и прикрыть несколько злачных мест, процветавших в самом центре города. Когда однажды дон Аполинар Москоте вернулся из главного города провинции с шестью полицейскими, вооруженными винтовками, и возложил на них поддержание порядка, никто даже не вспомнил о первоначальном соглашении не держать в Макондо вооруженных людей. Аурелиано нравилась энергия тестя. «Ты станешь таким же толстым, как он»,— говорили ему друзья. Но от постоянного сидения в мастерской у него только резче выступили скулы да сильнее заблестели глаза, а вес не изменился, как не переменился и сдержанный характер, напротив, в очертаниях рта заметнее выявилась прямая линия — знак одиноких размышлений и непреклонной решимости. Аурелиано и его жена сумели вызвать к себе в обеих семьях глубокую любовь, и когда Ремедиос сообщила, что она ждет ребенка, даже Амаранта и Ребека заключили между собой перемирие и усиленно принялись вязать прида-

ное из шерсти двух цветов — голубой, на случай, если родится мальчик, и розовой, на тот случай, если на свет появится девочка. Ремедиос будет последней, о ком подумает через несколько лет Аркадио, стоя у стены в ожидании расстрела.

Урсула объявила строгий траур, закрыла все окна и двери, без крайней необходимости никому не разрешалось ни входить в дом, ни выходить из него; она запретила на целый год громкие разговоры и повесила на стену, возле которой в день похорон стоял гроб с телом Ремедиос, дагерротип покойной, увитый черной лентой, а под ним негасимую лампаду.

Последующие поколения Буэндиа, неизменно поддерживавшие в лампаде огонь, испытывали известное замешательство перед портретом этой девочки в плиссированных юбках, белых сапожках и с бантом из органди на голове: им никак не удавалось совместить ее с традиционным представлением о прабабушке. Амаранта взяла Аурелиано Хосе на свое попечение. Она надеялась обрести в нем сына, который разделит с ней одиночество и смягчит страдания, терзавшие ее: вопреки ее желанию, но по вине ее безрассудных молитв экстракт опия попал в кофе Ремедиос. По вечерам в дом на цыпочках входил Пьетро Креспи с черной лентой на шляпе, чтобы нанести молчаливый визит некоему подобию Ребеки — в своем черном платье с длинными, до запястий рукавами она казалась совершенно обескровленной. Сама мысль о назначении нового дня свадьбы выглядела бы теперь святотатством, и помолвка превратилась в вечные узы, в наскучившую, никого уже не интересующую любовь, словно те влюбленные, что портили лампы и целовались в темноте, давно стали добычей смерти. Потеряв надежду, Ребека совершенно пала духом и снова принялась есть землю.

И как-то вдруг — с начала траура уже прошло немало времени, и в галерее возобновились заседания вышивальщиц крестиком — среди мертвенной тишины знойного дня, ровно в два часа, кто-то с такой силой толкнул парадную дверь, что весь дом ходуном заходил; Амаранте и ее подругам, сидевшим в галерее, Ребеке, сосавшей палец в своей комнате, Урсуле на кухне, Аурелиано в мастерской и даже Хосе Аркадио Буэндиа под одиноким каштаном — всем показалось, будто здание разваливается от начавшегося землетрясения. На пороге возник человек необыкновенного вида. Его квадратные плечи едва умещались в дверном проеме. На бычьей шее висел образок Девы Исцелительницы, руки и грудь были сплошь покрыты загадочной татуировкой, а правое запястье плотно сжато медным браслетом-талисманом. Кожа выдублена солеными ветрами непогоды, волосы короткие и торчащие, как грива мула, челюсти решительные, взгляд печальный. На пришельце был пояс в два раза толще лошадиной подпруги, высокие сапоги со шпорами и подкованными железом каблуками, от его поступи все вздрагивало, как во время сейсмических толчков. Он быстро прошел через гостиную и залу, неся на руке изрядно потрепанную переметную суму, и, подобно удару грома, ворвался в тишину галереи с бегониями, где Амаранта и ее подруги так и застыли с иголками в воздухе. «Добрый день»,— сказал он усталым голосом, швырнул свою ношу на стол перед ними и двинулся дальше в глубь дома. «Добрый день»,— сказал он Ребеке, испуганно выглянувшей из своей спальни. «Добрый день»,— сказал он Аурелиано, все пять чувств которого были прикованы в этот момент к работе. Человек нигде не задерживался. Направился прямо в кухню и только там остановился, завершая путешествие, начатое на противоположном краю света. «Добрый день»,— сказал он. На одну долю секунды Урсула оцепенела с открытым ртом, затем посмотрела пришельцу в глаза, ахнула и повисла у него на шее, крича и плача от радости. Это был Хосе Аркадио. Он вернулся таким же нищим, каким ушел, Урсуле пришлось даже выдать ему два пе-

со, чтобы он смог заплатить за нанятую лошадь. Говорил он на испанском языке, обильно нашпигованном морским жаргоном. Его спросили, где он был, он ответил: «Там». Подвесил гамак в отведенной ему комнате и заснул на три дня. Проснувшись, уничтожил шестнадцать крутых яиц и пошел прямо в заведение Катарино, где его огромная мощная фигура вызвала среди женщин панику, смешанную с любопытством. Он заказал на свой счет музыку и спиртного для присутствующих и побился об заклад с пятью мужчинами, что все они вместе не сумеют пригнуть его руку к столу. «Это невозможно,— говорили они, убедившись, что им даже не пошевелить ее.— Ведь на нем заговоренный браслет». Катарино, не верившая в силовые аттракционы, поспорила с Хосе Аркадио на двенадцать песо, что ему не удастся сдвинуть с места стойку. Он оторвал стойку от пола, поднял в воздух над головой и вынес на улицу. Чтобы втащить ее обратно, понадобилось одиннадцать мужчин. С семьей Хосе Аркадио почти не общался. Днем он спал, а ночи проводил в квартале домов терпимости. В тех редких случаях, когда матери удавалось водворить его за семейный стол, он привлекал всеобщее внимание, особенно если начинал рассказывать про свои приключения в далеких странах. Он попал в кораблекрушение и две недели болтался на шлюпке в Японском море, питаясь телом своего товарища, сраженного солнечным ударом,— мясо, хорошо просоленное и поджаренное на солнце, имело приятный, нежный вкус. В один безоблачный полдень экипаж корабля, на котором он плыл по Бенгальскому заливу, убил морского дракона, в животе чудовища оказались шлем, пряжки и оружие крестоносца. В Карибском море он видел призрак пиратского корабля Виктора Юга [14], паруса его были разодраны в клочья ветрами смерти, реи и мачты источены морскими тараканами, корабль все стремился вернуться на Гвадалупу, но был обречен вечно сбиваться с курса. Урсула плакала тут же за столом, как будто перечитывала те долгожданные, но никогда не приходившие письма, в которых Хосе Аркадио сообщал о своих подвигах и приключениях. «А здесь у нас такой огромный дом, сынок,— вздыхала она.— И столько еды мы выбрасывали свиньям!» Но ей никак не удавалось осознать, что мальчик, уведенный цыганами, и есть этот самый дикарь, съедающий за обедом полпоросенка и испускающий ветры такой силы, что от них цветы вянут. Нечто подобное испытывали и остальные. Амаранта не могла скрыть отвращения, которое вызывала у нее его привычка рыгать за столом. Аркадио, так никогда и не узнавший тайны своего происхождения, едва раскрывал рот, чтобы ответить на вопросы Хосе Аркадио, явно старавшегося завоевать расположение юноши. Аурелиано попытался оживить в памяти брата те времена, когда они спали в одной комнате, восстановить близость детских лет, но Хосе Аркадио забыл обо всем — морская жизнь перегрузила его память своими бесчисленными событиями. Одна лишь Ребека была сражена наповал с первого взгляда. В тот вечер, когда Хосе Аркадио прошел мимо дверей ее спальни, она решила, что Пьетро Креспи — всего-навсего расфранченный заморыш рядом с этим сверхсамцом, чье вулканическое дыхание слышно в любом уголке дома. Под разными предлогами она искала встречи с ним. Как-то раз Хосе Аркадио с бесстыдным вниманием оглядел ее тело и сказал: «Ты стала совсем женщиной, сестренка». Ребека потеряла всякую власть над собой. Стала есть землю и известку с такой же ненасытностью, как в былые дни, и так усердно сосала палец, что на нем образовалась мозоль. Ночами она не спала, дрожа словно в лихорадке, сопротивляясь безумию, и ждала рассвета и той минуты, когда дом затрясется, возвещая о приходе Хосе Аркадио. Однажды во время сьесты Ребека не вы-

[14] Виктор Юг — комиссар французского Конвента на о. Гваделупа (1793). Вел корсарскую войну с англичанами.

держала и вошла к нему в комнату. Он лежал с открытыми глазами в одних кальсонах, вытянувшись в гамаке, подвешенном к балкам на толстых канатах, которыми привязывают лодки. Ее поразило это огромное обнаженное тело, и она почувствовала желание отступить. «Простите,— извинилась она.— Я не знала, что вы здесь». Но сказала это тихим голосом, стараясь никого не разбудить. «Иди сюда»,— позвал он. Ребека повиновалась. Ей пришлось сделать над собой сверхъестественное усилие, чтобы не умереть, когда некая мощная сила, подобная урагану, но удивительно целенаправленная, подняла ее за талию, в три взмаха сорвала с нее одежду и расплющила, как маленькую пичужку.

Три дня спустя они обвенчались во время вечерней мессы. Накануне Хосе Аркадио отправился в магазин Пьетро Креспи. Итальянец давал урок игры на цитре, и Хосе Аркадио даже не отозвал его в сторону, чтобы сделать ему сообщение. «Я женюсь на Ребеке»,— сказал он. Пьетро Креспи побледнел, передал цитру одному из учеников и объявил, что урок окончен. Когда они остались одни в помещении, набитом музыкальными инструментами и заводными игрушками, Пьетро Креспи сказал:

— Она ваша сестра.

— Не важно,— ответил Хосе Аркадио.

Пьетро Креспи вытер лоб надушенным лавандой платком.

— Это противно природе,— пояснил он,— и, кроме того, запрещено законом.

Хосе Аркадио был раздражен не столько доводами Пьетро Креспи, сколько его бледностью.

— Плевал я на природу,— заявил он.— Я рассказал вам все, чтобы вы не беспокоили себя и не спрашивали ничего у Ребеки.

Но его грубость исчезла, когда он заметил слезы на глазах Пьетро Креспи.

— Ну, ну,— сказал он совсем другим тоном,— если все дело в том, что вам семья полюбилась, так на вашу долю еще остается Амаранта.

Хотя в своей воскресной проповеди падре Никанор объявил всем, что Хосе Аркадио и Ребека не являются братом и сестрой, Урсула никогда не простила им этого брака. Она расценила его как недопустимое отсутствие уважения и в тот же день, когда новобрачные вернулись из церкви, запретила им переступать порог ее дома. Для нее они все равно что умерли. Тогда молодожены сняли домик напротив кладбища и обосновались в нем, захватив с собою гамак Хосе Аркадио, на первых порах заменивший им всю мебель. В брачную ночь молодую укусил скорпион, притаившийся в ее туфле. У Ребеки отнялся язык, но это не помешало супругам провести потрясающий медовый месяц. Соседи пугались криков, которые будили весь квартал до восьми раз за ночь и до трех раз за время сьесты, и молились, чтобы такая необузданная страсть не нарушила покой мертвых.

Один только Аурелиано проявил заботу о молодых супругах. Он купил им кое-какую мебель и давал деньги до тех пор, пока Хосе Аркадио не обрел вновь сознание реальной действительности и не занялся обработкой прилегающих к его дому пустошей. Что касается Амаранты, то она так и не смогла подавить в себе злое чувство к Ребеке, хотя жизнь подарила ей удовлетворение, о котором она и не мечтала: по желанию Урсулы, не знавшей, как загладить случившийся позор, Пьетро Креспи продолжал обедать в их доме каждый вторник, со спокойным достоинством перенося свое несчастье. В знак уважения к семье он сохранил черную ленту на шляпе и находил удовольствие в том, чтобы выказывать свою привязанность Урсуле, принося ей разные экзотические подарки: португальские сардины, турецкое варенье из розовых лепестков, а однажды он преподнес ей красивую манильскую шаль. Амаранта ухаживала за ним с ласковым старанием. Угадывала его вкусы, срезала

отпоровшиеся ниточки с манжет его рубашек, а ко дню его рождения вышила его инициалы на дюжине носовых платков. По вторникам после обеда, когда она занималась рукоделием в галерее, он составлял ей веселую компанию. Эта девушка, к которой Пьетро Креспи привык относиться, как к ребенку, была для него откровением. Ей недоставало изящества, но зато она обладала редкой тонкостью чувств и скрытой нежностью. Никто уже не сомневался, что Пьетро Креспи сделает Амаранте предложение, и действительно, однажды во вторник он попросил ее выйти за него замуж. Она не прервала своей работы. Дождалась, пока перестали гореть уши, и придала своему голосу спокойную, уверенную, как у зрелого человека, интонацию.

— Разумеется выйду, Креспи,— сказала она,— но когда мы получше узнаем друг друга. Спешка к добру не приводит.

Урсула совсем запуталась. Несмотря на свое уважение к Пьетро Креспи, она никак не могла установить, хорошо или дурно его решение с точки зрения морали, после длительной, закончившейся так скандально помолвки с Ребекой. В конце концов она приняла его сватовство как свершившийся факт — без всякой оценки, потому что никто не разделил с нею ее сомнений. Глава семьи Аурелиано лишь увеличил ее смятение своим загадочным и категорическим высказыванием:

— Сейчас не время думать о свадьбах.

Эти слова — смысл их дошел до Урсулы лишь несколько месяцев спустя — были единственным искренним мнением, которое мог высказать Аурелиано в тот момент не только в отношении свадьбы, но и по поводу любого другого события, кроме войны. Стоя у стены в ожидании расстрела, он и сам не сможет четко объяснить себе, как была выкована та цепь незаметных, но неотвратимых случайностей, что привела его сюда. Смерть Ремедиос потрясла его меньше, чем он опасался. Она оставила в нем чувство глухого бешенства, постепенно растворившееся в пассивном тоскливом ощущении обманутых надежд, подобном тому, что он испытал, когда решил отказаться от женщин. Он снова погрузился в свою работу, сохранив привычку играть с тестем в домино. Вечерние беседы в доме, погруженном в безмолвие траура, укрепили дружбу мужчин. «Женись снова, Аурелиано,— говорил ему дон Аполинар Москоте.— У меня еще шесть дочерей, бери любую». Как-то, незадолго до выборов, коррехидор Макондо возвратился из своей очередной поездки, серьезно озабоченный политическим положением в стране. Либералы готовились развязать войну. Поскольку в ту пору Аурелиано имел весьма туманное представление о том, кто такие консерваторы и либералы, тесть в общих словах изложил ему, в чем состоит разница между этими партиями. Либералы, говорил он, это масоны, скверные люди, они стоят за то, чтобы отправить священников на виселицу, ввести гражданский брак и развод, признать равенство прав законных и незаконных детей и, низложив верховное правительство, раздробить страну, объявить ее федерацией. В противоположность им консерваторы — это те, кто получил бразды правления непосредственно из рук бога, ратует за устойчивый общественный порядок и семейную мораль, защищает Христа, принцип власти и не хочет допустить, чтобы страна была раскромсана. Чувство человечности заставляло Аурелиано симпатизировать либералам во всем, что касалось прав незаконнорожденных детей, но он не мог понять таких крайностей, как развязывание войны из-за чего-то, что нельзя потрогать руками. Ему показалось чрезмерным усердие тестя, затребовавшего на время выборов в лишенный всяких политических страстей городок шесть вооруженных винтовками солдат с сержантом во главе. Солдаты не только прибыли сюда, но и обошли все дома и конфисковали охотничьи ружья, мачете, даже большие кухонные ножи, а затем раздали мужчинам старше двадцати одного года голубые листки с именами

кандидатов-консерваторов и розовые — с именами кандидатов-либералов. В субботу, накануне выборов, дон Аполинар Москоте лично огласил декрет, запрещавший начиная с полуночи и в течение сорока восьми часов продавать спиртные напитки и собираться группами числом более трех человек, если это не члены одной семьи. Выборы прошли спокойно. В воскресенье в восемь часов утра на площади установили деревянную урну под охраной шести солдат. Голосование было совершенно свободным, в чем мог убедиться сам Аурелиано, который почти весь день простоял рядом с тестем, следя, чтобы никто не проголосовал больше одного раза. В четыре часа дня барабанная дробь возвестила о конце голосования, и дон Аполинар Москоте опечатал урну ярлыком со своей подписью. Вечером, сидя за партией в домино с Аурелиано, он приказал сержанту сорвать ярлык и подсчитать голоса. Розовых бумажек было почти столько же, сколько голубых, но сержант, оставив только десять розовых, пополнил голубыми. Потом урну опечатали новым ярлыком, а на следующий день должны были чуть свет отвезти в главный город провинции. «Либералы начнут войну»,— сказал Аурелиано. Дон Аполинар даже не поднял взгляда от своих фишек. «Если ты думаешь, что из-за подмены бюллетеней, то нет,— сказал он.— Ведь немного розовых в урне осталось, чтобы они не смогли жаловаться». Аурелиано уяснил себе все невыгоды положения оппозиции. «Если бы я был либералом,— заметил он,— я бы начал войну из-за этой истории с бумажками». Тесть поглядел на него поверх очков.

— Ах, Аурелито,— сказал он,— если бы ты был либералом, ты бы не увидел, как меняют бумажки, будь ты хоть сто раз моим зятем.

Возмущение в городе вызвали не результаты выборов, а отказ солдат вернуть отобранные ножи и охотничьи ружья. Женщины попросили Аурелиано добиться через тестя возвращения хотя бы кухонных ножей. Дон Аполинар Москоте объяснил ему, под большим секретом, что солдаты увезли конфискованное оружие как вещественное доказательство подготовки либералов к войне. Цинизм этого заявления неприятно поразил Аурелиано. Он не сказал ничего, но когда однажды вечером Херинельдо Маркес и Магнифико Висбаль, обсуждая в кругу друзей историю с кухонными ножами, спросили, кто он — либерал или консерватор, Аурелиано не колебался ни минуты:

— Если обязательно надо быть кем-то, то я лучше буду либералом, потому что консерваторы мошенники.

На следующий день, по настоянию друзей, он зашел к доктору Алирио Ногере, чтобы тот полечил ему несуществующую болезнь печени. Он еще не имел никакого представления о том, для чего нужна эта ложь. Доктор Алирио Ногера прибыл в Макондо несколько лет назад с запасом безвкусных пилюль и медицинским девизом, казавшимся всем довольно невразумительным: *«Клин клином вышибают»*. На самом деле Ногера только разыгрывал роль доктора. Под невинным обличьем врача-неудачника скрывался террорист. Его высокие гамаши прятали шрамы, оставленные на щиколотках кандалами за пять лет каторги. Когда его схватили после первого мятежа федералистов, ему удалось бежать в Кюрасао, одевшись в сутану — самое ненавистное для него одеяние. К концу своего затянувшегося изгнания, вдохновленный радостными сообщениями, которые привозили в Кюрасао политические эмигранты со всех островов Карибского моря, он сел на контрабандистскую шхуну и появился в Риоаче с пузырьками, наполненными пилюлями, состоявшими всего лишь из чистого сахара, и с дипломом Лейпцигского университета, подделанным им собственноручно. В Риоаче он даже заплакал от разочарования. Туманные предвыборные надежды охладили пыл федералистов, хотя эмигранты изображали их готовым взорваться пороховым складом. Опечаленный неудачей и мечтая обрести надежное место, где бы можно

было спокойно дожидаться старости, мнимый гомеопат укрылся в Макондо. Он уже несколько лет занимал узкую, набитую пустыми пузырьками комнатушку в доме возле городской площади и жил за счет безнадежных больных: испробовав все средства, они искали утешения в шариках из сахара. Пока дон Аполинар Москоте был чисто декоративной властью, агитаторские наклонности доктора оставались без применения. Все свое время он тратил на воспоминания и борьбу с астмой. Приближающиеся выборы стали для него ариаднининой нитью, которая помогла ему вновь обрести клубок ниспровержения основ. Он наладил связи с молодежью города, слабо разбиравшейся в политике, и развернул тайную и упорную подстрекательскую кампанию. Многочисленные розовые бумажки, появившиеся в урне и приписанные доном Аполинаром Москоте легкомыслию, свойственному молодежи, были частью плана Ногеры, он заставил своих учеников проголосовать: пусть они сами убедятся, что выборы — всего лишь фарс. «Действенно только насилие»,— говорил он им. Большая часть друзей Аурелиано горела идеей уничтожения консервативного строя, но они не решались посвятить Аурелиано в свои планы, опасаясь не только его родственных связей с коррехидором, но и замкнутого, уклончивого характера. К тому же было известно, что Аурелиано, по указанию тестя, голосовал голубым бюллетенем. Таким образом лишь простая случайность открыла его политические симпатии, и только из чистого любопытства сделал он этот сумасбродный шаг — пошел к доктору лечиться от болезни, которой у него не было. В грязной, как свинарник, комнатушке, пропахшей паутиной и камфарой, он увидел некое подобие одряхлевшей игуаны, легкие этого существа при дыхании издавали свистящий звук. Ни о чем не спросив, доктор подвел Аурелиано к окну и исследовал внутреннюю сторону его нижнего века. «Не там»,— сказал Аурелиано, как ему велели. Потом нажал кончиками пальцев на печень и прибавил: «Вот здесь я испытываю боль, она не дает мне спать». Тогда доктор Ногера закрыл окно под тем предлогом, что в комнате слишком много солнца, и простыми словами объяснил ему, почему долг патриота — убивать консерваторов. В течение нескольких дней Аурелиано носил в кармане рубашки пузырек. Каждые два часа он доставал его, вытряхивал на ладонь три горошины, забрасывал их все разом в рот и затем медленно растворял на языке. Дон Аполинар Москоте подтрунивал над его верой в гомеопатию, но участники заговора признали в нем своего. А в заговор были втянуты почти все сыновья старожилов Макондо, хотя никто из них толком не знал, в чем, собственно, будут выражаться предстоящие действия. Однако когда доктор посвятил в свою тайну Аурелиано, тот сразу вышел из заговора. Хотя Аурелиано был тогда убежден в необходимости уничтожения режима консерваторов, замыслы доктора привели его в содрогание. Алирио Ногера был сторонником индивидуального террора. Его план сводился к согласованному проведению ряда индивидуальных покушений, которые, слившись в единый общенационального масштаба удар, должны уничтожить всех правительственных чиновников с их соответствующими семьями, и в особенности их детей мужского пола, чтобы таким образом стереть с лица земли самое семя консерватизма. Дон Аполинар Москоте, его супруга и шесть дочерей были, разумеется, включены в список.

— Никакой вы не либерал,— сказал ему Аурелиано, даже не изменившись в лице.— Вы просто мясник.

— В таком случае,— ответил доктор так же спокойно,— возврати мне пузырек. Он больше тебе не нужен.

Только через полгода Аурелиано стало известно, что доктор признал его безнадежно непригодным к борьбе, сентиментальным несчастливцем с пассивным характером и вполне определившейся склонностью к одиночеству. Друзья пытались припугнуть Аурелиано, опасаясь, как бы

тот не выдал заговора. Аурелиано успокоил их: он никому не скажет ни слова, но в ту ночь, когда они отправятся убивать семью Москоте, он встретит их на пороге и будет защищать вход в дом. Его решимость произвела на заговорщиков такое впечатление, что исполнение плана отложили на неопределенный срок. Именно тогда Урсула зашла посоветоваться с сыном о женитьбе Пьетро Креспи и Амаранты, и тот ответил ей, что сейчас не время об этом думать. Уже целую неделю Аурелиано носил за пазухой допотопного вида пистолет. Он следил за своими друзьями. Пообедав, он теперь шел пить кофе с Хосе Аркадио и Ребекой, которые уже начали понемногу приводить в порядок свой дом, а после шести вечера играл с тестем в домино. Утром, во время завтрака, беседовал с Аркадио, превратившимся в рослого парня, и обнаружил, что тот с каждым днем приходит все в больший восторг из-за очевидной неизбежности войны. У себя в школе, где рядом с детьми, едва начавшими говорить, сидели великовозрастные верзилы, годами старше самого учителя, Аркадио заразился лихорадкой либерализма. Он разглагольствовал о том, что надо поставить к стенке падре Никанора, превратить церковь в школу, провозгласить свободу любви. Аурелиано старался умерить его порывы. Советовал ему быть поблагоразумнее и поосторожнее. Но Аркадио был глух к спокойным доводам и здравому смыслу Аурелиано и при всем честном народе обвинил его в слабости характера. Аурелиано ждал. Наконец в первых числах декабря в мастерскую ворвалась охваченная тревогой Урсула.

— Началась война!

На самом деле война длилась три месяца. По всей стране было введено военное положение. Только один человек в Макондо узнал об этом своевременно — дон Аполинар Москоте, но он поостерегся делиться новостью даже со своей женой, пока не прибудет военный отряд, получивший приказ вступить в город внезапно. Солдаты вошли без всякого шума, еще до рассвета, с двумя легкими артиллерийскими орудиями, в которые были впряжены мулы, и заняли школу под казарму. Шесть часов вечера объявили комендантским часом. В каждом доме была проведена реквизиция, более решительная, чем первая,— на этот раз забрали даже земледельческий инвентарь. Доктора Ногеру волоком вытащили из дома, привязали к дереву на городской площади и расстреляли без суда и следствия. Падре Никанор пытался повлиять на военных своим чудом вознесения, но один из солдат стукнул его прикладом по голове. Либеральные веяния исчезли, воцарился молчаливый ужас. Аурелиано, бледный, замкнувшийся в себе, продолжал играть в домино с тестем. Он понял, что дон Аполинар Москоте, несмотря на присвоенный ему титул гражданского и военного правителя города, снова превратился в декоративную власть. Все решения принимал командовавший гарнизоном капитан, каждое утро он взыскивал с населения какой-нибудь дополнительный побор на нужды защитников общественного порядка. Четыре его солдата вырвали укушенную бешеной собакой женщину из рук семьи и забили ее насмерть прикладами прямо посреди улицы. В воскресенье, через две недели после оккупации города, Аурелиано вошел в дом Херинельдо Маркеса и с присущей ему осторожностью попросил чашку кофе без сахара. Когда они остались вдвоем в кухне, Аурелиано придал своему голосу властность, которой за ним раньше никогда не замечали. «Готовь ребят,— сказал он.— Мы пойдем на войну». Херинельдо Маркес не поверил ему.

— С каким оружием? — спросил он.

— С ихним,— ответил Аурелиано.

Во вторник ночью была проведена безрассудно смелая операция: двадцать один человек, все моложе тридцати лет, под командой Аурелиано Буэндиа, вооруженные столовыми ножами и наточенными желез-

ками, захватили врасплох гарнизон, завладели винтовками и расстреляли на площади капитана и тех четырех солдат, что убили женщину.

В эту же ночь, когда с площади еще доносились залпы, Аркадио был назначен гражданским и военным правителем крепости Макондо. Те из повстанцев, кто был женат, едва успели проститься со своими женами, прежде чем покинуть их на волю судьбы. С рассветом, приветствуемый освобожденным от террора населением, отряд Аурелиано ушел из Макондо, чтобы соединиться с войсками революционного генерала Викторио Мединьі, двигавшегося, по последним сообщениям, на Манауре. Перед уходом Аурелиано извлек дона Аполинара Москоте из шкафа. «Не волнуйтесь, тесть,— сказал он.— Новая власть гарантирует своим честным словом личную неприкосновенность вам и вашей семье». Дон Аполинар Москоте с превеликим трудом разобрался, что мятежник в высоких сапогах, с винтовкой за плечами и его зять, с которым он играл в домино до девяти часов вечера,— одно и то же лицо.

— Аурелито, это безрассудство! — воскликнул он.

— Это не безрассудство,— сказал Аурелиано.— Это война. И не называйте меня больше Аурелито, отныне я полковник Аурелиано Буэндиа.

■

Полковник Аурелиано Буэндиа поднял тридцать два вооруженных восстания и все тридцать два проиграл. Он имел семнадцать детей мужского пола от семнадцати разных женщин, и все его сыновья были убиты один за другим в одну-единственную ночь, прежде чем старшему из них исполнилось тридцать пять лет. Сам он уцелел после четырнадцати покушений на его жизнь, семидесяти трех засад, расстрела и чашки кофе с такой порцией стрихнина, которая могла бы убить лошадь. Он отказался от ордена Почета, пожалованного ему президентом республики. Он стал верховным главнокомандующим революционных сил, облеченным судебной и военной властью, простиравшейся от одной границы страны до другой, и человеком, которого больше всего боялось правительство, но он ни разу не разрешил сделать с себя фотографического снимка. Он отклонил пожизненную пенсию, предложенную ему после войны, и до глубокой старости жил на доход от золотых рыбок, изготовляя их в своей мастерской в Макондо. Несмотря на то что он всегда сражался впереди своих солдат, единственная полученная им рана была нанесена ему его же собственной рукой после подписания Неерландской капитуляции, положившей конец гражданским войнам, длившимся почти двадцать лет. Он выстрелил себе в грудь из пистолета, и пуля вышла через спину, не задев жизненных центров. От всего этого осталась только названная его именем улица в Макондо. Но, как сам он признался незадолго до смерти, ничего подобного он не ожидал в то утро, когда во главе отряда из двадцати одного человека покинул Макондо, чтобы примкнуть к войскам генерала Викторио Мединьі.

— Мы оставляем город на тебя,— вот все, что он сказал Аркадио уходя.— Оставляем в порядке, смотри, к нашему возвращению здесь должно быть еще лучше.

Аркадио истолковал его наказ весьма своеобразно. Вдохновляясь цветными вкладками одной из книг Мелькиадеса, он придумал себе мундир с маршальскими галунами и эполетами и подвесил к поясу саблю с золотыми кистями, принадлежавшую расстрелянному капитану. Затем установил оба артиллерийских орудия у въезда в город, одел в военную форму своих бывших учеников, распаленных его зажигательными воззваниями, вооружил их и отправил бродить по улицам, чтобы создать у человека со стороны впечатление неприступности города. Хитрость его оказалась палкой о двух концах: действительно, правительство почти целый

год не осмеливалось отдать приказ атаковать крепость Макондо, но когда наконец решилось, то обрушило на город столь значительные силы, что сопротивление было сломлено за полчаса. С самого начала своего правления Аркадио обнаружил большую любовь к декретам. Иногда он оглашал до четырех декретов в день, приказывая все, что взбредет в голову. Он ввел обязательную воинскую повинность с восемнадцати лет; объявил, что животные, оказавшиеся на улице после шести вечера, рассматриваются как общественное достояние; обязал мужчин пожилого возраста носить на рукаве красную повязку. Заточил падре Никанора в его доме, воспретив выходить под страхом расстрела, и позволял служить мессы и бить в колокола только в тех случаях, когда праздновали победу либералов. Чтобы всем было ясно, что шутить он не намерен, Аркадио приказал отделению солдат тренироваться на городской площади, расстреливая чучело. Сначала никто не принимал этого всерьез. В конце концов Аркадио и его солдаты были всего лишь мальчики, школьники, играющие во взрослых. Но однажды ночью, когда Аркадио вошел в заведение Катарино, трубач оркестра рассмешил общество, встретив новоиспеченного начальника сигналом фанфары. Аркадио велел расстрелять трубача за неуважение к властям. Тех, кто осмелился протестовать, он посадил в колодки в одной из комнат школы, распорядившись держать их на хлебе и воде. «Ты убийца,— каждый раз кричала ему Урсула, услышав об очередном его самоуправстве.— Когда Аурелиано узнает, он расстреляет тебя, и я первая обрадуюсь». Но все было напрасно. Аркадио продолжал сильнее и сильнее закручивать гайки своей ненужной жестокости и, наконец, превратился в самого бесчеловечного из правителей, каких видело Макондо. «Теперь они почувствовали разницу,— сказал как-то дон Аполинар Москоте.— Вот он — их либеральный рай». Аркадио передали эти слова. Во главе солдатского патруля он взял штурмом дом дона Аполинара Москоте, разнес в щепки мебель, высек его дочерей, а самого бывшего коррехидора поволок по улице в казарму. Узнав о случившемся, Урсула бросилась бежать через весь город, вопя от стыда и яростно потрясая просмоленной плетью; когда она ворвалась во двор казармы, отделение уже выстроилось для расстрела дона Аполинара Москоте и Аркадио собирался лично скомандовать «пли».

— Посмей только, ублюдок! — крикнула Урсула.

Прежде чем Аркадио успел опомниться, она обрушила на него первый удар тяжелой плети из бычьих жил. «Посмей только, убийца,— кричала она.— И меня тоже убей, шлюхин ты сын. По крайней мере мне не придется плакать от стыда, что я вырастила такое чудовище». Она безжалостно хлестала Аркадио плетью и преследовала его до тех пор, пока он не забился в самый дальний угол двора, свернувшись как улитка. Дон Аполинар Москоте, привязанный к столбу, на котором до этого висело изрешеченное пулями чучело, был без сознания. Парни из отделения разбежались, опасаясь, как бы Урсула не излила остаток своего возмущения на них. Но она даже не поглядела в их сторону. Бросив растерзанного Аркадио, рычащего от боли и бешенства, она отвязала дона Аполинара Москоте и увела домой. Прежде чем покинуть казарму, она выпустила на волю всех колодников.

С этого времени управлять городом стала Урсула. Она восстановила воскресную мессу, отменила ношение красных нарукавных повязок и объявила недействительными строгие декреты Аркадио. И все же, несмотря на проявленное мужество, Урсула втайне оплакивала свою судьбу. Она чувствовала себя настолько одинокой, что стала искать спасения в обществе забытого под каштаном мужа. «Смотри, до чего мы дожили,— говорила она ему под шум июньского дождя, грозившего размыть навес из пальмовых листьев.— Дом наш опустел, сыновья разбрелись кто куда, и опять мы с тобой одни». Но Хосе Аркадио Буэндиа, погруженный в

пучину безумия, был глух к ее жалобам. Он сидел на своей скамеечке, а Урсула мыла его и рассказывала о семейных делах. «Аурелиано вот уже больше четырех месяцев, как ушел на войну, и мы о нем ничего не знаем,— говорила она, растирая мужу спину намыленной тряпкой.— Хосе Аркадио вернулся, он выше тебя ростом и весь расшит крестиком, да только от него нашему дому ничего, кроме стыда, нет». Ей показалось, что плохие новости огорчают мужа. И тогда она начала обманывать его. «Наболтала я тут, не верь ты мне,— говорила она, посыпая золой его экскременты и собирая их затем на лопату.— Богу было угодно, чтобы Хосе Аркадио и Ребека поженились, и теперь они очень счастливы». Она научилась лгать совсем правдоподобно и в конце концов сама стала находить утешение в своих вымыслах. «Аркадио — уже серьезный и очень смелый мужчина,— говорила она.— И такой бравый в своем мундире, да еще при сабле». Это было все равно что беседовать с мертвецом, ведь Хосе Аркадио Буэндиа уже ничто не радовало и не печалило. Но Урсула продолжала говорить с мужем. Видя, какой он кроткий, ко всему безразличный, она решила отвязать его. Освобожденный от веревок, он даже не сдвинулся со своей скамеечки. Продолжал сидеть под солнцем и дождем, будто веревки не имели никакого значения, будто сила, более могущественная, чем любые видимые глазу путы, держала его привязанным к стволу каштана. В августе, когда всем уже начинало казаться, что зима будет тянуться вечно, Урсула смогла наконец сообщить мужу известие, которое считала правдой.

— Счастье за нами так по пятам и ходит,— сказала она.— Амаранта и итальянец, тот, что с пианолой возился, скоро поженятся.

Дружеские отношения между Амарантой и Пьетро Креспи действительно очень продвинулись вперед, поощряемые доверием Урсулы, которая на этот раз не сочла нужным присутствовать во время визитов итальянца. Жениховство было окрашено в цвета сумерек. Пьетро Креспи являлся по вечерам с гарденией в петлице и переводил Амаранте сонеты Петрарки. Они сидели в наполненной запахами орегана и роз душной галерее до тех пор, пока москиты не вынуждали их искать спасения в гостиной: он читал, она плела кружево на коклюшках, и оба были глубоко безразличны к неожиданностям и превратностям войны. Чувствительность Амаранты, ее сдержанная, но обволакивающая нежность словно паутина оплетали жениха, и всякий раз в восемь часов, поднимаясь, чтобы уйти, он должен был буквально отдирать от себя эти невидимые нити. Вместе с Амарантой он составил замечательный альбом из открыток, полученных с родины. На каждой такой открытке была изображена влюбленная пара в укромном уголке среди зелени и виньетка в виде сердца, пронзенного стрелой, или позолоченной ленты, концы которой держали в клювах два голубка. «Я знаю этот парк во Флоренции,— говорил Пьетро Креспи, перебирая открытки.— Стоит вытянуть руку, и птицы уже летят за крошками». Иногда при виде какой-нибудь акварели Венеции тоска по родине превращала в его памяти запах тины и гнилых морских ракушек, исходящий от каналов, в легкий аромат цветов. Амаранта вздыхала, смеялась и мечтала об этой стране красивых мужчин и женщин, говорящих на языке детей, о старинных городах, от былого величия которых остались лишь кошки, роющиеся в мусоре. Наконец-то Пьетро Креспи обрел любовь, обрел после того, как в погоне за ней пересек океан, после того, как спутал ее со страстью во время торопливых и пылких поцелуев с Ребекой. Счастье принесло с собою процветание. Магазин Пьетро Креспи занимал уже почти целый квартал и стал настоящей оранжереей фантазии — в нем можно было увидеть и точную копию флорентийской колокольни, отмечающую время боем курантов, и музыкальные шкатулки из Сорренто, и китайские пудреницы, которые, когда откроешь крышку, играют мелодию из пяти нот, и все музыкальные

инструменты, какие только можно вообразить, и все заводные устройства, какие только можно придумать. Во главе магазина стоял Бруно Креспи — младший брат, не обладавший талантами, необходимыми для ведения музыкальной школы. Благодаря ему улица Турков со своей ослепительной выставкой разных безделушек превратилась в волшебный заповедник, там люди забывали и о произволе Аркадио, и о далеком кошмаре войны. Когда по приказу Урсулы возобновилась воскресная месса, Пьетро Креспи подарил храму немецкую фисгармонию, организовал детский хор и разучил с ним грегорианский репертуар. Это придало некоторый блеск скромным службам падре Никанора. Все были уверены, что Амаранта скоро станет счастливой супругой итальянца. Не подгоняя своих чувств, отдавшись на волю их плавного, естественного течения, они в конце концов достигли того рубежа, где оставалось только назначить дату свадьбы. Никто не собирался чинить им препятствия. Урсула, в глубине души винившая себя в том, что бесконечными откладываниями свадьбы изуродовала жизнь Ребеки, не хотела умножать свои угрызения совести. Строгий траур по Ремедиос был отодвинут на задний план бедствиями войны, отсутствием Аурелиано, жестокостью Аркадио, изгнанием Хосе Аркадио и Ребеки. Уверившись в том, что свадьба обязательно состоится, Пьетро Креспи даже намекнул о своем желании считать Аурелиано Хосе, к которому он проникся почти отцовской любовью, своим старшим сыном. Все заставляло думать, что Амаранта уже подплывает к тихой гавани безоблачного счастья. Но в противоположность Ребеке она не выказывала ни малейшего волнения. С тем же спокойствием, с каким она покрывала узорами скатерти, ткала чудеснейшие позументы и вышивала крестиком королевских павлинов, Амаранта ждала, когда Пьетро Креспи не сможет больше противиться требованиям своего сердца. Ее час пришел вместе с бурными октябрьскими дождями. Пьетро Креспи убрал с колен Амаранты корзиночку с вышиванием и сжал ее руку своими ладонями. «Я не в силах больше ждать,— сказал он.— Мы поженимся в этом месяце». Она даже не вздрогнула, почувствовав прикосновение его ледяных пальцев. Рука ее, как непокорный зверек, высвободилась из плена и снова взялась за работу.

— Не будь наивным, Креспи,— сказала Амаранта с улыбкой,— я скорее умру, чем пойду за тебя.

Пьетро Креспи потерял власть над собой. Он рыдал без всякого стыда и чуть не сломал себе пальцы в отчаянии, но не смог поколебать ее решения. «Не теряй напрасно времени,— отвечала ему Амаранта.— Если ты действительно так меня любишь, не переступай больше порога этого дома». Урсула готова была сквозь землю провалиться от стыда. Пьетро Креспи исчерпал все возможные мольбы. Он дошел до немыслимых унижений. Целый вечер плакал в подол Урсулы, которая охотно заложила бы свою душу, лишь бы утешить его. Дождливыми ночами видели, как он под шелковым зонтиком бродит вокруг дома, высматривая, нет ли света в окне Амаранты. Никогда Пьетро Креспи не одевался более изысканно, чем в эти дни. Его царственная голова замученного императора обрела неимоверно величественный вид. Он надоедал подругам Амаранты, приходившим вышивать с ней в галерее, заклиная их переубедить ее. Он забросил все свои дела. Целые дни проводил в задней комнате магазина, где сочинял сумасбродные письма, вкладывал в них цветочные лепестки и засушенных бабочек и отправлял Амаранте — письма возвращались к нему нераспечатанными. Запершись, он целыми часами играл на цитре. Однажды ночью он запел. Макондо проснулось в крайнем изумлении, завороженное волшебными звуками цитры, которые не могли принадлежать этому миру, и голосом, исполненным любви, сильнее которой и представить себе на земле было невозможно. И тогда Пьетро Креспи увидел свет во всех окнах города, кроме одного — окна Амаранты. Второ-

го ноября, в день поминовения усопших, его брат отпер двери магазина и обнаружил, что все лампы зажжены, все музыкальные шкатулки открыты и играют, все часы, не останавливаясь, бьют, и под звуки этого нелепого концерта он нашел в задней комнате Пьетро Креспи — вены на его запястьях были перерезаны ножом, и обе руки опущены в умывальный таз, наполненный росным ладаном.

Урсула распорядилась, чтобы гроб с телом поставили в ее доме. Падре Никанор возражал против отправления религиозного обряда и погребения самоубийцы в освященной земле. Урсула вступила с ним в спор. «Этот человек стал святым,— заявила она.— Как это вышло и почему, ни вам, ни мне не понять. И вопреки вашей воле, я положу его рядом с Мелькиадесом». Так она и сделала после пышной похоронной церемонии и при единодушном одобрении всего города. Во время похорон Амаранта не выходила из спальни. Со своей кровати она слышала рыдания Урсулы, шаги и тихие голоса столпившихся в доме людей, причитания плакальщиц, а потом глубокую, пропитанную запахом растоптанных цветов тишину. Еще очень долго чудился Амаранте по вечерам аромат лаванды, но она нашла в себе силы не поддаться безумию. Урсула ее покинула. Даже не подняла глаз, чтобы пожалеть ее в тот вечер, когда Амаранта вошла в кухню, сунула руку в угли очага и держала там до тех пор пока боль не стала такой сильной, что Амаранта уже ощущала не ее, а только тлетворный запах своего собственного паленого мяса. Это было сильнодействующее средство против угрызений совести. Несколько дней Амаранта ходила по дому, опустив руку в миску с яичными желтками и мало-помалу ожоги зажили, а вместе с ними зарубцевались, словно тоже под благотворным воздействием яичных желтков, и раны ее сердца. Единственным видимым следом пережитой трагедии останется повязка из черного крепа, Амаранта будет носить ее на обожженной руке до самой смерти.

Аркадио проявил неожиданное великодушие, издав декрет об официальном трауре по случаю смерти Пьетро Креспи. Урсула расценила это как возвращение заблудшей овцы в стадо. Но она ошиблась. Аркадио был для нее потерян, и даже не с того дня, когда надел военную форму — он никогда и не принадлежал Урсуле. Она считала, что воспитывала его, как собственного ребенка,— так же, как Ребеку, ни в чем не отдавая ему предпочтения, но ни в чем и не обделяя. И все же Аркадио рос замкнутым, пугливым мальчиком, ведь детство его проходило среди эпидемии бессонницы, строительной лихорадки Урсулы, безумия Хосе Аркадио Буэндиа, затворничества Аурелиано, смертельного соперничества между Амарантой и Ребекой. Аурелиано учил его читать и писать, думая совсем о другом, как это сделал бы посторонний. Он дарил Аркадио свою одежду, чтобы Виситасьон перешила ее по росту мальчика, но дарил, когда вещи приходили уже в полную негодность. Аркадио страдал из-за большой, не по ноге обуви, из-за латок на брюках, из-за своих женских ягодиц. Разговаривал он больше с Виситасьон и Катауре, на их языке. Единственным человеком, действительно проявлявшим к нему интерес, был Мелькиадес, он читал Аркадио свои непонятные записи и обучал его искусству дагерротипии. Никто и не догадывался, как оплакивал Аркадио смерть старика, скрывая ото всех свое горе, как отчаянно искал способ воскресить цыгана, безуспешно изучая его писания. Школа, где все уважали и слушались Аркадио, а затем власть с ее решительными декретами и великолепным мундиром освободили его от постоянного гнетущего чувства горечи. Однажды вечером в заведении Катарино кто-то осмелился бросить ему: «Ты недостоин фамилии, которую носишь». Вопреки всем ожиданиям, Аркадио не расстрелял дерзкого.

— К моей чести,— сказал он,— я не Буэндиа.

Знавшие тайну его усыновления решили после этого ответа, что и ему

все известно, но в действительности Аркадио навсегда остался в неведении, кто его родители. К Пилар Тернере, своей матери, он испытывал то же непреодолимое влечение, что было у Хосе Аркадио и Аурелиано: когда она входила в темную комнату, где он занимался дагерротипией,— кровь закипала у него в жилах. Хотя Пилар Тернера уже утратила свои чары и великолепие своего смеха, он искал и находил ее по горькому запаху дыма. Незадолго до войны в один из полдней она пришла в школу за своим младшим сыном несколько позже, чем всегда. Аркадио поджидал ее в комнате, где обычно проводил сьесту и где потом приказал поставить колодки. Пока ребенок играл во дворе, он дрожал от нетерпения в своем гамаке, зная, что Пилар Тернера обязательно пройдет через эту комнату. Она пришла. Аркадио схватил ее за руку и пытался втащить в гамак. «Не могу, не могу,— с ужасом сказала Пилар Тернера.— Ты даже не знаешь, как мне хотелось бы доставить тебе удовольствие, но, бог свидетель, не могу». С наследственной могучей силой Буэндиа Аркадио сгреб ее за талию, и от прикосновения к ее телу в глазах у него стало темно. «Не прикидывайся святой,— сказал он.— Все знают, что ты шлюха». Пилар подавила приступ отвращения к своей несчастной судьбе.

— Дети увидят,— прошептала она.— Лучше не запирай сегодня дверь на ночь.

Ночью Аркадио ждал ее в гамаке, отбивая лихорадочную дробь зубами. Он не смыкал глаз, прислушивался, как без умолку поют цикады, верещат сверчки и в положенные часы, словно по расписанию, кричат выпи, и с каждой минутой все больше убеждался, что его обманули. Когда его волнение готово было перерасти в бешенство, дверь вдруг отворилась. Через несколько месяцев, стоя у стены в ожидании расстрела, Аркадио вновь переживет эти мгновения: сначала послышались чьи-то робкие шаги, заблудившиеся в темноте соседнего класса, стук скамьи, на которую наткнулся кто-то, а потом мрак комнаты сгустился, принял форму человеческого тела, воздух задрожал от частых ударов сердца, и это было не то сердце, что колотилось в груди Аркадио. Он протянул руку и встретил другую руку с двумя кольцами на одном из пальцев, встретил как раз вовремя, чтобы спасти из пучины тьмы, уже собиравшейся поглотить ее. Он ощутил прожилки вен, испуганный трепет пульса, влажную ладонь с линией жизни, рассеченной у основания большого пальца косой смерти. Тогда он понял, что это не та женщина, которую он ждал,— от нее пахло не горечью дыма, а цветочным бриолином, у нее были твердые груди с плоскими, как у мужчин, сосками, и беспорядочная нежность возбужденной неопытности. Она была девушкой, и звали ее совершенно невероятным именем — Санта София де ла Пьедад. Пилар Тернера заплатила ей пятьдесят песо — половину всех своих сбережений,— чтобы она сделала то, что делала сейчас. Аркадио не раз видел, как эта девушка помогает в продуктовой лавчонке своим родителям, и никогда не обращал на нее внимания, потому что она обладала редким достоинством не существовать до тех пор, пока в ней не появится необходимость. Но с этой ночи она свернулась клубком, как кошка, в тепле у него под рукой. Она приходила в школу во время сьесты, с согласия родителей, которым Пилар Тернера отдала вторую половину своих сбережений. Позже правительственные войска выселили Аркадио и Санта Софию де ла Пьедад из школьного помещения, и они стали заниматься любовью среди ящиков со сливочным маслом и мешков кукурузы в задней комнате лавки. К тому времени, когда Аркадио был назначен военным и гражданским правителем, у них родилась дочь.

Единственными родственниками, узнавшими об этом, были Хосе Аркадио и Ребека, с которыми Аркадио поддерживал в то время близкие отношения, основанные не столько на родственных чувствах, сколько на

сообщничестве. Хосе Аркадио склонил шею под тяжестью брачного ярма. Твердый характер Ребеки, ненасытность ее лона, ее упрямое честолюбие обуздали неукротимый нрав мужа — из лентяя и бабника он превратился в большую рабочую скотину. В доме у них царили чистота и порядок. Поутру Ребека открывала настежь окна, и ветер с могил влетал в комнаты и улетал через двери во двор, оставляя на стенах и мебели тонкий слой праха. Желание есть землю, пощелкивание костей отца и матери, жаркий голос ее крови и вялая томность Пьетро Креспи — все это было заброшено на чердаки памяти. Весь день Ребека вышивала возле окна, чуждая тревогам войны. И когда глиняные горшки на полке начинали дрожать, она поднималась, чтобы разогреть обед, прежде чем появятся измазанные грязью охотничьи собаки, а за ними колосс с двустволкой и в сапогах со шпорами; иной раз у него на плече был олень, но чаще всего он приносил связку кроликов или диких уток. Однажды вечером в начале своего правления Аркадио неожиданно зашел навестить Ребеку и ее мужа. Он не виделся с ними с тех пор, как они ушли из дому, но держался так дружелюбно, по-родственному, что его пригласили отведать жаркое.

Только за кофе Аркадио открыл истинную цель своего посещения: он получил донос на Хосе Аркадио. Жаловались, что после того как Хосе Аркадио распахал свой двор, он двинулся на соседние поля — с помощью своих волов он валил изгороди и сравнивал с землей строения, пока не присвоил все лучшие земли в окрестности. Тех крестьян, которых он не ограбил, потому что ему не нужны были их земли, он обложил налогом и каждую субботу приходил с двустволкой за плечами и сворой собак взимать его. Хосе Аркадио не отпирался. Он основывал свое право на том, что захваченные им земли были распределены Хосе Аркадио Буэндиа во времена основания Макондо, а он готов доказать, что отец его уже тогда был сумасшедшим, так как отдал в чужие руки участки, принадлежавшие на самом деле семье Буэндиа. В этих объяснениях не было никакой необходимости — Аркадио пришел вовсе не затем, чтобы вершить правосудие. Он предложил создать регистрационное бюро: оно узаконит права Хосе Аркадио на захваченное при условии, что Хосе Аркадио позволит местным властям взимать налоги. Так и договорились. Несколько лет спустя, когда полковник Аурелиано Буэндиа станет пересматривать права на землю, он обнаружит, что на имя брата записаны все земельные участки, включая кладбище, какие только можно было охватить взглядом с холма, где находился его двор, и что за одиннадцать месяцев своего правления Аркадио набил себе карманы не только деньгами от налогов, но также и теми, которые он брал за разрешение хоронить покойников во владениях Хосе Аркадио.

Прошло несколько месяцев, прежде чем Урсула заметила то, что уже знали все и что от нее скрывали, не желая умножать ее страдания. Сначала у нее зародились подозрения. «Аркадио строит себе дом»,— с притворной гордостью сообщила она мужу, пытаясь влить ему в рот ложку тыквенного сиропа. И, однако, не могла удержать вздоха: «Не знаю отчего, но не по душе мне все это». Позже, когда ей стало известно, что Аркадио не только достроил дом, но даже выписал себе венскую мебель, она уже не сомневалась в том, что он тратит общественные средства. Однажды, возвращаясь после воскресной мессы, она увидела, как он в новом доме играет в карты со своими офицерами. «Ты — позор нашей семьи»,— крикнула она ему. Аркадио не обратил на нее внимания. Лишь тогда Урсула узнала, что у него есть шестимесячная дочь и что Санта София де ла Пьедад, с которой он живет не обвенчавшись, снова беременна. Урсула решила написать полковнику Аурелиано Буэндиа, где бы тот ни находился, и посвятить его во все происходящее, однако события, развернувшиеся в следующие дни, не только помешали

ей выполнить свое намерение, но даже заставили пожалеть о том, что она собиралась сделать. Война, бывшая до тех пор для жителей Макондо не более как словом, сочетанием звуков, обозначающим что-то смутное и далекое, стала драматической реальностью. В конце февраля у околицы города появилась серая от пыли старуха на осле, груженном вениками. Вид у нее был совершенно безобидный, и часовые пропустили ее, не задавая лишних вопросов, они решили, что перед ними простая торговка, прибывшая из долины. Старуха направилась прямо в казарму. Аркадио принял ее в бывшей классной комнате, превратившейся теперь в подобие тылового лагеря: там и сям виднелись свернутые или подвешенные за кольца гамаки, все углы были завалены грудами циновок, на полу в беспорядке лежали винтовки, карабины и даже охотничьи ружья. Старуха вытянулась по стойке «смирно», отдала честь и представилась:

— Полковник Грегорио Стивенсон.

Он принес плохие вести. Последние очаги сопротивления либералов, по его словам, были подавлены. Полковник Аурелиано Буэндиа, отступавший с боями в окрестностях Риоачи, послал его с поручением к Аркадио. Макондо нужно сдать без сопротивления, при условии, если будет гарантирована честным словом сохранность жизни и имущества либералов. Аркадио с презрительным сочувствием оглядел странного вестника, которого так нетрудно было спутать с жалкой старухой.

— У вас, разумеется, есть какой-нибудь письменный приказ,— сказал он.

— Разумеется,— ответил посланец,— у меня его нет. Каждому ясно, что в подобных обстоятельствах нельзя иметь при себе ничего компрометирующего.

Он вынул из-за корсажа и положил на стол золотую рыбку. «Считаю, этого достаточно»,— сказал он. Аркадио подтвердил, что это действительно одна из рыбок, сделанных полковником Аурелиано Буэндиа. Но ведь кто-нибудь мог купить ее еще до войны, и поэтому, как мандат, она не годится. Чтобы удостоверить свою личность, гонец пошел даже на нарушение военной тайны. Он пробирается в Кюрасао с важной миссией — завербовать там изгнанников с островов Карибского моря, достать оружие, снаряжение и в конце года сделать попытку высадиться на побережье. Полковник Аурелиано Буэндиа убежден в успехе этого плана и считает, что не следует приносить бесполезные жертвы в данный момент. Но Аркадио был непреклонен. Он приказал держать посланца под стражей до тех пор, пока не будет установлена его личность,— и решил оборонять крепость Макондо не на жизнь, а на смерть.

Ждать пришлось недолго. Известия о поражении либералов становились с каждым разом все более достоверными. Однажды ночью в конце марта, когда не по сезону начавшийся дождь поливал улицы Макондо, напряженное спокойствие предыдущих недель внезапно было нарушено отчаянным сигналом трубы, вслед за ним прогремел пушечный выстрел, разрушивший церковную колокольню. Решение сопротивляться и в самом деле оказалось чистым безумием. Аркадио имел в своем распоряжении всего пятьдесят человек, плохо вооруженных и с запасом патронов не более двадцати штук на душу. Правда, среди этих людей были ученики из его школы, воспламененные его высокопарными призывами и готовые пожертвовать своей шкурой для гиблого дела. Земля содрогалась от орудийной пальбы, слышался беспорядочный треск выстрелов, топот сапог, противоречивые команды и бессмысленные сигналы трубы, когда человек, называвший себя полковником Стивенсоном, добился наконец разговора с Аркадио. «Избавьте меня от недостойной смерти в колодках и с этим бабьим тряпьем на теле,— сказал он.— Если я должен умереть, пусть я умру сражаясь». Его слова убедили Аркадио. Он приказал вы-

дать арестанту оружие и двадцать патронов и оставил его с пятью людьми защищать казарму, а сам ушел вместе со своим штабом, чтобы возглавить оборону. Аркадио не успел выйти на дорогу к долине. Баррикады у въезда в Макондо были разрушены, защитники города сражались уже на улицах, перебегая от дома к дому; сначала, пока не кончились патроны, они стреляли из винтовок, потом против винтовок врага были пущены в ход пистолеты, и наконец — завязалась рукопашная. При виде надвигающегося поражения многие женщины бросились на улицу, вооружившись кухонными ножами. В этой сумятице Аркадио увидел разыскивающую его Амаранту — в ночной рубашке, со старыми пистолетами Хосе Аркадио Буэндиа в руках она была похожа на безумную. Аркадио отдал свою винтовку обезоруженному в бою офицеру и бросился с Амарантой в переулок, чтобы отвести ее домой. Урсула стояла в дверях и ждала, не обращая внимания на свист снарядов, один из которых пробил брешь в фасаде соседнего дома. Дождь кончился, но улицы были скользкими и мягкими, как раскисшее мыло, в ночной тьме идти пришлось наугад. Аркадио оставил Амаранту Урсуле, повернулся и выстрелил в двух солдат, открывших по нему огонь из-за соседнего угла. Пистолеты, долго провалявшиеся в шкафу, дали осечку. Урсула заслонила Аркадио своим телом и попыталась втолкнуть его в дом.

— Пойдем, ради бога,— кричала она.— Хватит уже глупостей!

Солдаты прицелились в них.

— Отпустите этого человека, сеньора,— крикнул один,— иначе мы ни за что не отвечаем!

Аркадио отстранил Урсулу и сдался. Немного погодя выстрелы стихли и зазвонили колокола. Сопротивление было подавлено всего за полчаса. Ни один из людей Аркадио не остался в живых, но прежде чем умереть, они храбро бились против трех сотен солдат. Последним их оплотом стала казарма. Когда правительственные войска уже собирались броситься на решительный штурм, человек, называвший себя полковником Грегорио Стивенсоном, выпустил заключенных и приказал своим людям покинуть казарму и идти сражаться на улицу. Необычайная подвижность, благодаря которой он успевал вести огонь из нескольких окон, безошибочная меткость, с которой он расстрелял все свои двадцать патронов, создали впечатление, что казарму защищают крупные силы, и нападающие разрушили ее пушечными выстрелами. Руководивший операцией капитан был поражен, обнаружив, что в развалинах нет никого, кроме мертвого человека в одних кальсонах, его оторванная снарядом рука сжимала винтовку с пустой обоймой. У мертвеца были густые и длинные, как у женщины, волосы, подколотые на затылке гребнем, на шее висела ладанка с золотой рыбкой. Перевернув труп носком сапога, чтобы взглянуть на лицо, капитан застыл в удивлении. «Что за черт!» Подошли другие офицеры.

— Глядите-ка, где он объявился,— сказал им капитан.— Ведь это Грегорио Стивенсон.

На рассвете по приговору военно-полевого суда Аркадио был расстрелян у кладбищенской стены. В последние два часа жизни он так и не успел разобраться, почему исчез страх, мучивший его с самого детства. Совершенно спокойно, но вовсе не потому, что хотел показать свое недавно родившееся мужество, слушал он бесконечные пункты обвинения. Он думал об Урсуле — она в это время, наверное, пьет кофе под каштаном вместе с Хосе Аркадио Буэндиа. Думал о своей восьмимесячной дочке, которой еще не успели дать имя, и о том ребенке, что должен родиться в августе. Думал о Санта Софии де ла Пьедад, вспомнил, что вчера вечером, когда он уходил воевать, она присаливала оленину для субботнего обеда; вспомнил и затосковал о темном потоке ее волос, низвергающемся на плечи, о ресницах, таких длинных и густых, что они

казались ненастоящими. В его мыслях о близких не было сентиментальности — он сурово подводил итоги своей жизни, начиная понимать, как сильно любил в действительности тех людей, которых больше всего ненавидел. Председатель военно-полевого суда начал свою заключительную речь, а Аркадио все еще не заметил, что прошло уже два часа. «Даже в том случае, если бы перечисленные обвинения не были подтверждены такими, более чем многочисленными уликами,— говорил председатель,— безответственная и преступная дерзость обвиняемого, пославшего своих подчиненных на бесполезную гибель, была бы достаточным основанием для вынесения ему смертного приговора». Здесь в разгромленной школе, где он в первый раз испытал уверенность в себе, приходящую с властью, в нескольких метрах от комнаты, где он познал неуверенность, порождаемую любовью, формальности, сопутствующие смерти, показались Аркадио нелепыми. По правде говоря, смерть для него не имела значения, ему важна была жизнь, и поэтому, услышав приговор, он почувствовал не страх, а тоску. Он не произнес ни слова до тех пор, пока его не спросили о последнем желании.

— Скажите моей жене,— ответил он звучным голосом,— пусть назовет дочку Урсулой.— И, помолчав, подтвердил: — Урсулой, как бабушку. И скажите ей также, что если ребенок, который должен родиться, родится мальчиком, то пусть ему дадут имя Хосе Аркадио, но не в честь дяди, а в честь деда.

Перед тем как Аркадио отвели к стене, падре Никанор попытался исповедовать его. «Мне не в чем каяться»,— сказал Аркадио и, выпив кружку черного кофе, отдал себя в распоряжение солдат. Командовать расстрелом назначили капитана, которого отнюдь не случайно звали Роке Мясник — он был специалистом по массовым казням. Шагая к кладбищу под упорно моросящим дождем, Аркадио увидел, что на горизонте занимается лучезарное утро среды. Вслед за ночным туманом рассеялась и его тоска, оставив вместо себя безграничное любопытство. Аркадио приказали стать спиной к стене, и только тогда он заметил Ребеку — с мокрыми волосами, одетая в платье из какой-то ткани в розовых цветочках, она распахивала настежь окна дома. Аркадио сосредоточил всю свою волю, чтобы привлечь ее внимание. Ребека и в самом деле вдруг бросила беглый взгляд на стену, застыла, пораженная ужасом, потом сделала над собой усилие и махнула ему на прощание рукой. Аркадио ответил ей тем же. В это самое мгновение на него нацелились закопченные дула винтовок, и он услышал слово за словом пропетые энциклики Мелькиадеса, и уловил шаги Санта Софии де ла Пьедад, заплутавшиеся в классной комнате, и ощутил, как его нос обретает ту ледяную твердость, что поразила его, когда он глядел на лицо мертвой Ремедиос. «А, черт,— еще успел он подумать,— ведь я забыл сказать: если родится девочка, пусть назовут ее Ремедиос». И тогда одним сокрушительным ударом на него снова обрушился весь тот страх, который мучал его всю жизнь. Капитан дал приказ стрелять. Аркадио едва успел расправить грудь и поднять голову, не понимая, откуда течет горячая жидкость, обжигающая его ляжки.

— Сволочи! — крикнул он.— Да здравствует партия либералов!

(Продолжение следует)

ИЗ НЕПАЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

ЧИТТАДХАР ХРИДАЙЯ

■

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Не хочу быть богатым

Милая, я не хочу быть богатым,
Чтобы людей попирать ногами.
Лучше слыть бедняком ничтожным,
Чем нести это бремя власти.
Нет, не проси меня стать богатым!

Богатство можно сравнить с болезнью,
Богатство также подобно пьянству —
Чем больше болезнь, тем меньше здоровья,
Чем больше пьешь, тем сильнее жажда.
Нет, не проси меня стать богатым!

Сколько раз может есть богатый?
В сколько одежд облачиться может?
Зачем быть бельмом на глазу у света
И слышать шепот: «Богач, богач...»?
Нет, не проси меня стать богатым!

Ты ведь скромница, дорогая,
Ты можешь тоже услышать шепот,
Можешь увидеть косые взгляды —
Разве ты хочешь быть с богачами?
Нет, не проси меня стать богатым!

Конечно, денег нам не хватает,
Каждая рупия на учете —
Но жизнь человека устроена так,
Чтобы познать и добро, и зло.
Нет, не проси меня стать богатым!

Богатый, могучий, сильный здоровьем
Хвастает день-другой в этом мире.
За ним вдогонку летит молва.
Зачем мне вступать на эту дорогу?
Нет, не проси меня стать богатым!

Вспомни, кто из великих предков,
Кто из великих древних творцов
Песен, музыки, изваяний
Знал при жизни власть и богатство?
Нет, не проси меня стать богатым!

Бхарави пас у отчима скот,
Калидаса был жалким слугой,
Мадхусудан скончался в нужде,
И Сидхидаса богатым не был.
Нет, не проси меня стать богатым!

Из поколения в поколение
Все мы не обладали ничем.
Помнишь, Будда сказал однажды:
«Так это принято в нашем семействе».
Нет, не проси меня стать богатым!

Река

Никто не хотел просыпаться,
Когда я проснулась и вышла в путь.
Никто не пошел рядом со мной,
Когда я так мечтала о друге.

Я приходила в чужие края
И примирялась с чужими законами,
Влагу дарила чужим полям,
Но сохраняла свою гордость.

Пруды не могли задержать мой бег,
Скалы путь не могли преградить мне,
Узнав решимость мою и силу,
Они откатывались с дороги.

И так называемые человеки
Ко мне устремлялись в поисках смысла —
Они искали прогресс повсюду,
Искали в деревьях, искали в камнях.

Мои истоки — в страданьях мира,
Но я не живу в человеческом мире,
И люди путь мой понять не в силах,
Его назвали бегством от жизни.

Слушайте! Я спешу к океану,
Я его уже ясно вижу,
Вижу его водяное пламя,
Яркое, чистое и прохладное.

Мне океан улыбнется с любовью,
Приласкает меня, утешит,
Я не томлю его, я люблю его —
И называйте меня как хотите!

Прогресс

Ум безумца всегда спешит,
Вечно торопится на бегу,
Из суеты ни на миг не выйдет —
Можно ли это считать прогрессом?

В небе высоко парят облака,
Реки с гор устремляются в долы,
Если же облако ниже горы,
Если река не достигла моря,
Можно ли это считать прогрессом?

Если оставить светскую жизнь
Лишь для того, чтоб скитаться по свету,
Жизнь все равно останется прежней —
Можно ли это считать прогрессом?

Если кукушка снесет яйцо
В чужое гнездо и своею хитростью
Раз проведет многомудрого ворона —
Можно ли это считать прогрессом?

Если бродишь вокруг водоема,
Нет конца твоему пути.
Если идешь вокруг земли,
Пойдешь на восток, а придешь на запад —
Можно ли это считать прогрессом?

Пещера летом глядит на солнце,
Зимою снег ей закроет око.
Если твой шаг замедляет старость —
Можно ли юность считать прогрессом?

Не будем сейчас говорить о Гаруде,
Самой быстрой птице на свете.
Если идущий дойдет до цели,
Разве нельзя муравьиную поступь
Тоже по праву считать прогрессом?

Новый сад

Родная, зачем я пишу стихи,
Смысла в которых не видит мир?
Если людям сказать всю правду,
Они увидят в ней только сказку.

Настежь я распахнул свое сердце,
Полное нежности и надежды,
Клятвами я замкнуть не пытался
Ярость, радость и трепет сердца.

А тут приходит читатель досужий,
Боится в море чувств окунуться,
Ходит по берегу и рассуждает,
Мнит, что долг его именно в этом.

Я не сужу его, он не свободен,
Он не умеет проникнуть в тайну,
Его сжигают свои заботы,
Заботы плоти, заботы сердца.

Что же, давай, моя дорогая,
Новый сад и цветник насадим,
Дней своих и трудов не жалея,
Людям подарим цветы иные.

Порой грустя, порой улыбаясь,
Счастья плоды мы взрастим на диво
Всем знакомым и незнакомцам,
Чтоб их глаза, наконец, раскрылись.

Если в мире таких, как мы,
Любящих, сердце в сердце живущих,
Люди в памяти держат вечно,
Значит, и нам просиять, родная.

Ваятель и резец

Если б мы с тобою не дружили,
Люди б не носили украшений.
Только нас никто не замечает
С той поры, как люди труд узнали.

Хоть они и ходят в украшеньях
Тех, что мы с тобою изваяли,
Людям даже в мысли не приходит
По делам судить о нашей дружбе.

Если б не стучал я молоточком,
Как бы возникали украшенья?
Если бы ты в камень не вгрызался,
Кто бы камню дал очарованье?

Хоть и ходят люди в украшеньях
Тех, что мы с тобою изваяли,
Нас с тобой они не замечают,
Мы им даже в мысли не приходим.

В чем же суть искусства? Я не знаю
Люди говорят: «Резец на камне
Оставляет грубые зарубки.
Стало быть, природу оскорбляет».

Отчего же вместо украшений
Люди не привесят самородки?
Отчего долбят мотыгой поле,
А не сеют рис на глади водной?

Мы, художники, живем искусством,
Нами управляет наша совесть.
Пусть смеются люди, пусть рыдают —
Ты ж звени, резец, под молоточком!

Птица на сухом дереве

Мое дерево сухо, голо, мрачно,
Нет ни цветов, ни даже листьев.
Что говорить о птицах, если
Даже жуки в нем не жужжат?

Посмотри на то зеленое дерево
Все в цветах и даже в плодах.
На ветках счастливые птицы
Сидят парами, клюв в клюв.

В добрые дни моему дереву
Все было близко, все мило.
Теперь никто не прилетит
К нему — даже по ошибке.

В этом прекрасном мире,
Жестоком, полном опасностей,
Бессмысленно плакать громче —
Одиночество плачем не победишь.

Что ж, я больше не буду скорбеть:
Сухое дерево — мое дерево.
Да будет оно воплощением дыма
С погребальных костров моих предков!

Память

Чтобы жизнь мою оживить,
Ты пришла ко мне, как рассвет,
Вторглась в полдень жизни моей —
Так зачем отдалять закат?

Вот вся жизнь моя и любовь —
Озари ее светом своим.
В одиноком доме моем
Ты успеешь сполна отцвести.

Свет в высокие окна проник —
Проникай, проникай в меня,
И, когда я остановлюсь,
Все возьми, не оставь ничего!

Что ни миг — отлетает жизнь,
Ты увянешь, станешь ничем,
И, какой будет миру вред,
Если вместе мы кончим путь?

День и вечер, вечер и ночь.
Где-то в них таится рассвет.
Расцветут, отцветут цветы —
Станут вечностью семена.

Приходи ко мне, пополам
Мы разделим восторг и грусть,
И когда я уйду навек,
Я тебя унесу с собой.

Ты всего лишь память моя,
Ты такая, как в первый день,—
Так какие силы земли
Могут нас с тобой разлучить?

■

БЕРНАР КЛАВЕЛЬ

Плоды зимы

РОМАН

Перевод с французского
И. ТАТАРИНОВОЙ и Я. ЛЕСЮКА

31

Отъезд Жюльена уладился скорее и проще, чем того ожидал отец.

В тот же вечер Вентренье принес удостоверение личности и продовольственные карточки. О маки́ он больше не заговаривал. Вероятно, он понял, что ни мать, ни сына этот выход не устраивает. Он только медленно, пожалуй даже хмуро, пояснил:

— У тебя изменены имя, и фамилия, и возраст. Удостоверение личности выдано тебе здесь, потому что ты жил тут, в городе, но родился ты в Филипвилле, откуда тебя вывезли в младенческом возрасте, потому что твои родители переехали сюда. Значит, ты ничего не помнишь, что вполне естественно. Мы поступаем так с единственной целью, чтобы невозможно было проверить.

— А как его теперь звать по удостоверению? — спросила мать.

— Вы меня простите, мадам Дюбуа, но я думаю, что лучше никому этого не знать. Я, конечно, понимаю, что вы не пойдете трезвонить по всему городу, но таково правило безопасности.

Мать и бровью не повела. Отец посмотрел на Вентренье, но взгляд того не выражал ничего особенного. Казалось, Вентренье выполняет свою обычную работу.

— Понимаете, против этой меры не возражают даже жены. Вы не сможете писать сыну, но он вполне может время от времени давать вам знать о себе, присылать открытки каждый раз, как будет менять место жительства.

Вентренье помолчал, потом более сухим тоном добавил:

— Жюльена гестапо и петеновская милиция не разыскивают, они разыскивают тех, кого подозревают в участии в Сопротивлении. Он только уклоняется от отправки в Германию на принудительные работы, и жандармы разыскивают его как дезертира... В такое время, как сейчас, бригаду шпиков в погоню за ним не отправят. Если он будет осторожен, ему абсолютно ничто не грозит... Я даже не уверен, что они следят за вашей перепиской.

В тоне, каким это было сказано, слышалась даже некоторая ирония. Отец посмотрел на Жюльена, но тот и бровью не повел. Он держал удостоверение и карточки и посматривал на них, не решаясь развернуть.

Окончание. Начало в № 5.

Вентренье не стал задерживаться. Он отказался выпить стаканчик, пожал всем троим руку и вышел, сказав Жюльену:

— Тебе я все же пожелаю: ни пуха ни пера!

Уже на площадке он обернулся.

— Что касается удостоверения и карточек,— прибавил он,— я, само собой разумеется, полагаюсь на вас... Вы понимаете, чем я рискую.

Все произошло так быстро, что отец не мог даже вставить слово. Мать только-только успела поблагодарить Вентренье. И вот они опять остались втроем, не двигались, молчали. Жюльен, звавшийся уже не Жюльеном, все еще держал в руках удостоверение и карточки и не решался их развернуть. В конце концов он сунул их в карман.

— Так,— сказал он.— Значит, я уезжаю завтра утром с шестичасовым. Будет еще темно, и никто не увидит, как я выйду.

— Господи, чего только не приходится переживать! — вздохнула мать.

Отец откашлялся, встал, чтобы сплюнуть в топку, и сел на свое излюбленное место.

И опять наступила тишина. Тишина, нарушаемая только матерью, которая готовила ужин и накрывала на стол, гремя кастрюлями и тарелками. Жюльен курил, подперев голову рукой. Напротив него, как всегда, повернувшись к столу вполоборота и протянув ноги к плите, отец тоже курил сигарету, которой угостил его сын.

Они сидели тут, в этот последний вечер, который им осталось провести вместе. Их обступила тишина. Тьма сгущалась вокруг дома. В печке, не потрескивая, тихо горели дрова. Ни шума ветра. Ничего.

И когда с ужином было покончено и посуда убрана, по-настоящему ощутилась пустота.

Отец выпил липовый отвар и поднялся.

— Спокойной ночи,— сказал он.

Жюльен тоже поднялся.

— Я попрощаюсь с тобой, до свиданья,— сказал он.

— Нет, я встану до твоего ухода.

— Не стоит.

— Нет, я встану.

Отец шагнул на нижнюю ступеньку лестницы, подкрутил фитилек в коптилке, которую держал в правой руке, в левую взял ночной горшок и повторил:

— Спокойной ночи.

Жена и сын тоже пожелали ему спокойной ночи, и он стал медленно подыматься по лестнице.

32

Отец за всю ночь вздремнул всего два-три раза. Он слышал, как часа через два после него сын и жена поднялись наверх. Он ничего не сказал. И всю ночь чувствовал, что жена тоже не спит. Она, конечно, не думала, что он уснул, но ничего не говорила.

Они лежали бок о бок, стараясь не шевелиться. Лежали совсем рядом, и в то же время их разделяло молчание, в котором они замкнулись.

Утром мать встала загодя, тихо спустилась по лестнице, затопила плиту и приготовила завтрак сыну. Отец подождал, когда встанет Жюльен, и тоже сошел к ним.

Теперь все трое собрались на кухне. Мать зажгла висячую лампу, и тогда стало похоже, что это не утро, а ночь и они бодрствуют у постели больного.

Около двери стояли два чемодана. К ручке того, что поменьше, была привязана свернутая в трубку газетная бумага, надо полагать, с рисунками. Пальто Жюльена висело на перилах лестницы. Отец глядел на вещи Жюльена. Потом поглядел на сына, который медленно ел хлеб, макая его в чашку с ячменным кофе, куда мать натерла кусочек шоколада. В кухне стоял запах шоколада.

Отец выпил чашку суррогатного кофе, затем вынул жестянку с табаком и медленно свернул сигаретку.

— Слишком рано ты закурил,— заметила мать.

— Ни одной лишней я не выкурю,— возразил отец.— Ты же знаешь, в жестянке у меня только дневная порция.

Они замолчали. Жюльен не поднимал головы.

— На вокзал ему лучше пройти бульваром,— сказал отец.— Это дальше, но там меньше рискуешь встретить знакомых.

— В этот-то час... — сказал Жюльен.

— Отец прав, предосторожность никогда не мешает.

— Хорошо. Пойду той дорогой, какой вы хотите.

Была в нем какая-то грусть. Покорность судьбе, казалось нависшая над всем домом. Отцу хотелось хоть немного подбодрить сына, но он не знал, что сказать.

Мать несколько раз повторила:

— Милый ты мой сын... Милый ты мой сын...

Она просила его соблюдать осторожность и быть благоразумным. Жюльен отвечал:

— Да, да. Не беспокойся обо мне.

И эти немногие слова прерывались бесконечными минутами молчания.

Когда настало время уходить, отец спросил:

— Деньги-то у тебя хоть есть?

— Да, все, что надо, у меня есть.

Отец, конечно, знал, что мать не отпустит Жюльена с пустым карманом, но это было все, что он нашел сказать. Обнимая сына, наклонившегося к нему, он только прибавил:

— Не оставляй нас слишком долго без вестей. И постарайся не делать глупостей.

И все. Жюльен взял чемоданы и вышел вслед за матерью, которой хотелось проводить его до калитки.

Оставшись один, отец взял раковину, которая служила ему пепельницей, высыпал золу в плиту и положил в жестянку с табаком оставленный Жюльеном окурок. Затем открыл ставни и потушил лампу. Было еще темно, но отсветы огня, плясавшего в плите, играли на линолеуме. Отец сел на свое обычное место, поставил ноги на дверцу топки и стал смотреть на огонь.

Жюльен ушел. Он направился в город. Старики остались одни. Всюду была война. Ее не было видно, но ее присутствие чувствовалось даже в этой темноте, которая словно прилипла к земле. Отец пытался представить себе неосвещенные улицы, вокзал с редкими затемненными синими лампочками, но картины, которые возникали перед ним, были картинами той войны, пережитой им в пору, когда он был еще во цвете лет.

Теперь он старик, лишенный сил. Никогда еще он не чувствовал этого так ясно, как в это утро, в эту темь, которую, как ему казалось, не сможет рассеять встающая на горизонте заря.

Вернувшись, мать только и сказала:

— Вот как, ты уже погасил лампу?

— Да, какие у нас дела.

— Правда, какие у нас дела... теперь.

И это слово повисло в воздухе, застыло в нежелавшем двигаться времени.

Мать села на свое место между плитой и столом. Они не видели друг друга. Отец знал, что она, как и он, смотрит на огонь в топке. Вероятно, она тоже мысленно следует за сыном.

Текли минуты, счесть их он не мог. Может быть, прошло полчаса, потом мать прошептала:

— Все, поезд ушел.

— Ты слышала?

— Да.

Отец не уловил никакого шума.

— Времени у него было больше чем достаточно.

— Конечно. Поезда теперь постоянно опаздывают,— сказала она.

Все еще не рассветало, и снова наступило молчание. Дрова догорели, и ни тот ни другой не произнесли ни слова. Когда в топке осталось только немного жара, мать встала и подбросила два полешка.

— Что ни говори, а живем мы в странное время,— вздохнул отец.

— Мы — это что... А вот молодые.

Отец не ответил. Мать закрыла дверцу топки.

— Будь мы уверены, что никто не донесет, он бы прекрасно мог остаться дома,— прибавила она, вернувшись на свое место.

Эти простые слова всколыхнули горькую муть в сердце отца. Он сжал губы, чтобы не высказать тех едких слов, которые помимо воли просились на язык. Рукой он крепко ухватился за край стола. Так крепко, что хрустнули суставы пальцев. Острая боль отозвалась в плече.

Он не сказал ничего. Ничего. И мать тоже не прибавила ни слова.

Отец оторвал взгляд от топки и посмотрел в окно, стараясь поймать первые признаки дня, который занимался с такой неохотой. Теперь он твердо знал, что они с матерью будут жить вот так, бок о бок, но дальше друг от друга, чем когда-либо раньше.

Их жизнь будет ожиданием, но что хорошего могут ждать они от этой беспросветной тьмы, которая разверзлась перед ними?

Пепельно-серое небо, придавившее холодную зарю, не предвещало настоящего света.

Зима.

Молчание.

Повсюду от земли, казалось, исходит чуть приторный и тошнотворный запах, вроде того запаха, от которого холодеешь, входя в комнату, где лежит покойник.

Часть третья

Летние цветы

33

Медленно тянулась зима, пасмурная и влажная. Затем пришла весна, но и она не принесла подлинной радости, а подарила людям лишь смутную надежду. Утихнет ли, кончится ли война? И кто мог сказать, что увидит ее конец? Потому что война была тут, рядом, и с каждым днем она принимала все более пугающие формы.

Люди говорили об этом, толком не зная, что именно происходит; но одно было несомненно: убивали повсюду, бессмысленно, часто ни за что. Многих арестовывали. Утром являлись агенты петеновской милиции или гестапо, уводили с собой людей, и никто их больше уже не видел.

Бывали дни, когда комендантский час начинался в шесть вечера, и в одном из пригородов патруль застрелил какого-то старика-пенсионера прямо в его собственном саду. Приходилось запираться в домах, плотно затворять двери и окна, сидеть в потемках, не высовывая носа наружу. На ближайшем плато спалили несколько деревень, и каждую неделю люди узнавали о гибели кого-либо из знакомых. В апреле немцы убили доктора Мишеля лишь за то, что он лечил участников Сопротивления.

Отец выходил теперь из сада, только когда нужно было идти за водой к колонке, и если мать задерживалась, чтобы купить продукты, которые отпускали по продовольственным карточкам, он сильно тревожился.

Трижды наведывались жандармы и спрашивали, нет ли новостей о Жюльене, но вели они себя беззлобно.

Бригадир говорил:

— Это, знаете, порядка ради. Так уж положено, хотя начальство и понимает, что он сюда до конца войны не покажется.

Отец и мать всякий раз подписывали одно и то же заявление, и сводилось оно к следующему:

«...Заявляют, что ни разу не видели своего сына Жюльена со дня его исчезновения и не знают, где он сейчас находится».

И это, собственно говоря, была правда. Им даже не приходилось прибегать ко лжи, потому что их не спрашивали, получают ли они от сына какие-либо вести. Да и можно ли называть вестями несколько наспех нацарапанных слов с неразборчивой подписью, которые приходили то из Лиона, то из Сент-Этьена, а то даже из Марселя? Скорее это было молчание. Просто время от времени они получали коротенькое сообщение, что Жюльен жив.

А Поль в последний раз навещал их в начале января. Он пришел поздравить с Новым годом. Выпил со стариком чашку скверного кофе, повторил, что по-прежнему верит в победу Германии, оставил отцу две пачки табаку и удалился, даже не упомянув на этот раз о Жюльене.

Для отца война была долгим беспросветным молчанием и одиночеством.

Старики даже перестали ссориться. Они работали в огороде, который кормил их, не давая умереть с голоду.

Соседи по-прежнему покупали у Дюбуа овощи и делились новостями о войне. Но по-настоящему война ворвалась в их одиночество лишь в тот день, когда они узнали, что высадка союзников в Нормандии увенчалась успехом.

Словно дуновение надежды пронеслось над округой, оно всколыхнуло теплый июньский воздух и проникло в самое сердце сада. Эту новость принес Робен. На лице его сияла широкая улыбка, и он объявил, что скоро, наверно, конец этому бедствию.

Но затем ветер тревоги вновь одолел дуновение надежды. Немцы становились все более жестокими, и люди стали опасаться, что война опустошит все вокруг.

— В восемнадцатом американцы тоже дали им жару,— говорил отец,— и все равно места, где шли бои, здорово пострадали.

Его беспокойство усилилось, когда 16 августа стало известно, что другие воинские части высадились в городе Кавалэр. Впервые за много лет отец склонился над картой Франции, которая была напечатана на обороте почтового календаря.

— Если они будут двигаться с юга,— пробурчал он,— мы можем оказаться прямо на их пути.

Уже месяц они не получали никаких известий от Жюльена, и мать лишь сказала:

— Если б только знать, где он теперь.

Отец не отозвался. Они и прежде разговаривали не очень-то много, а за последние месяцы научились обходиться несколькими словами. Он знал, что эта простая фраза жены означает: «Ты так и останешься эгоистом. Думаешь о своем огороде, о своем доме, боишься, как бы его не разрушили. Думаешь только о себе, а вот для меня все это не важно. Для меня важно лишь одно — мой сын. Будь он тут, с нами, он бы, конечно, не подвергался такой опасности. Но он один. Его могут убить во время бомбежки, арестовать, подвергнуть пыткам, а мы даже не знаем, где он сейчас».

Все это отец читал в ее взгляде, угадывал по тому, как она презрительно пожимала плечами, стоило ему заговорить об их достоянии. Внутренне она отрешилась от всего, даже от него, своего мужа. Она по-прежнему делит с ним невкусный серый хлеб, который им продают, делит с ним также и бесконечные ночи, которые они проводят бок о бок, притворяясь, будто спят; и все это она делает по привычке. Потому что им предуказано идти рядом до конца жизни.

Но теперь эта жизнь приобрела привкус прогорклого масла. На ней даже не сказывалась больше смена времен года, привычная смена, когда заранее знаешь, что за холодами наступит тепло. Пришло лето, но ничего хорошего оно не принесло. Люди так долго и тщетно надеялись, что сама надежда потускнела.

— Вы слишком мрачно смотрите на вещи,— говорил Робен.— Союзники продвигаются вперед. Еще немного — и мы будем свободны.

Отец только качал головой.

— В семнадцатом,— возражал он,— нам пели ту же песню. Я немцев знаю: они так просто не отступят.

Больше всего он боялся, что война придвинется к ним и фронт пройдет где-нибудь у самого их департамента. Ну, а тогда всему конец. Дом разрушат, сад разроют, и придется бежать в неведомые, негостеприимные края, побросав все. Судьба уберегла их от этого в сороковом году. Долгое время отец цеплялся за мысль, что война пощадит край, где он живет, но теперь, сам не понимая почему, он испытывал страх. Ему уже чудилось, что он разорен. Он уже представлял себе плачевный итог своей жизни, отданной труду: все разрушено, разграблено.

Он продолжал привычную работу, но чувствовал, что силы его иссякают, и часто смотрел на сад и огород почти с отвращением.

Однажды в середине августа, когда отец под вечер копался в саду неподалеку от забора, он услышал, как стукнула калитка. Старик выпрямился и оперся на заступ. В сад вошла девушка и остановилась в нерешительности. Казалось, она старалась кого-то разглядеть сквозь деревья. Заметив отца, девушка сделала несколько шагов по соседней дорожке и, поравнявшись с ним, спросила:

— Скажите, пожалуйста, могу я видеть мадам Дюбуа?

Отец не знал этой девушки. Она была небольшого роста, с длинными каштановыми волосами, и одета в простенькое платье с короткими рукавами. Она держала небольшую кожаную папку.

— А зачем она вам? — спросил отец.

— Я пришла за цветами.

С начала войны цветы спрашивали редко, и он сажал их очень мало, стараясь освободить побольше места для овощей.

— Ступайте в глубь сада. Она, верно, возле колодца... Но только, знаете, у нас теперь выбор небольшой.

Девушка удалилась. Отец посмотрел ей вслед, потом снова принялся за работу. Он трудился еще какое-то время, но присутствие незнакомки тревожило его. Откуда она взялась? Он был уверен, что никогда не видел ее здесь, а незнакомые покупатели были редкостью. Прислонив за-

ступ к груше, он медленно двинулся вдоль забора, стараясь пройти незамеченным за деревьями.

Метрах в двадцати от колодца отец остановился. Сквозь ветви персиковых деревьев он увидел посетительницу, которая почти заслоняла от него мать. Старик отступил чуть влево. Мать что-то читала. Девушка стояла напротив нее. Наконец мать подняла голову. На ее лицо падала тень от полотняной шляпы, и отец не мог разглядеть, что оно выражает. И все же он понял: произошло что-то серьезное, ибо мать засунула листок в карман передника, внезапно опустила голову и закрыла лицо руками.

Несколько мгновений отец боролся с желанием подойти к женщинам, но не двинулся с места. Воздух был тяжелый, неподвижный и, казалось, звенел от крылышек тысяч насекомых. За каменной оградой Педагогического училища урчал немецкий грузовик.

Грузовик смолк. Теперь мать говорила, но отец не мог разобрать слов. Он понимал, что если подойдет ближе, то его увидят, и вернулся к грядке, где оставил заступ. Что-то произошло. И, без сомнения, серьезное, а мать даже не позвала его! Что-то в связи с Жюльеном? Вполне возможно. Почему же мать хочет сохранить полученное известие для себя одной? Уж не думает ли она, что он даже не имеет права интересоваться судьбою сына? Но что ж он такое сделал? Чем заслужил подобное отношение?

Старик снова принялся за дело, однако гнев душил его, и он работал с такой быстротой, которая уже была ему не под силу. Очень скоро его рубаха намокла от пота. Капельки пота блестели на лбу и скатывались на кончик носа. Он выпрямился, и на него напал приступ кашля, так что ему пришлось выпустить заступ из рук. Сквозь слезы, застилавшие глаза, он увидел уходившую девушку. Она кивнула ему, но отец едва мог ответить на ее поклон.

В руках у нее было только несколько пионов.

34

Отец все еще не мог отдышаться, когда к нему подошла мать.

— Ты кашляешь и весь взмок,— сказала она.— Тебе надо малость передохнуть.

Ему *хотелось пить*. А *главное хотелось* узнать, что это *была за* девушка. И все же он ответил:

— Нет. Я решил сегодня закончить грядку.

— И все-таки зайдем на минуту в дом... Есть весточка от Жюльена... А заодно переменишь фуфайку.

Отец двинулся вслед за нею. В горле у него пересохло, и ему пришлось снова вытереть глаза. Мать говорила спокойно, но он заметил, что подбородок у нее дрожит, глаза покраснели, а лицо стало напряженным.

Неужели с сыном что-то стряслось? Отцу казалось, что мать идет слишком медленно, и вместе с тем он боялся узнать, что произошло.

В кухне с закрытыми ставнями и опущенной шторой было почти прохладно. Вокруг висячей лампы роились мухи.

Мать ушла за сухой фуфайкой, а отец тем временем выпил стакан воды. Когда он переоделся и сел на свое обычное место, мать присела к столу и достала из кармана письмо Жюльена. Положила перед собой скомканный листок и медленно разгладила его ладонью.

Некоторое время она не решалась ни заговорить, ни прочесть письмо, и под конец отец спросил:

— Ну так что же он пишет?

— Видишь ли...

Мать умолкла. Губы ее шевелились, казалось, она пережевывает слова, которые не в силах выговорить.

— Ну же,— проворчал отец,— читай. Это письмо как будто длиннее, чем обычно.

— Да... Это потому, что ему надо нам о многом сказать... А потом, ведь он прислал его не по почте. И мог писать свободнее.

— Ты знаешь девушку, которая принесла письмо?

Мать только покачала головой. Прошло еще несколько секунд, потом она медленно подняла полные слез глаза и прошептала:

— Прежде я ее не знала... Но... но она его невеста.

Такой новости отец ждал меньше всего. Он воображал себе все, что угодно, но это ему даже в голову не приходило! Он с трудом пробормотал:

— Ты говоришь, его невеста?

— Да... Они скоро поженятся.

— Но кто она такая?

Казалось, от этого вопроса мать почувствовала облегчение, и она быстро ответила уже гораздо более твердым голосом:

— Она родом из Сен-Клода. Ты-то ее, понятно, не знаешь. Ее зовут Франсуаза... Франсуаза Жакье... В тех местах их семью многие знают. Отец у нее каменщик... Она познакомилась с Жюльеном в Сен-Клоде во время спортивного праздника... Потом они долго не виделись и опять встретились в Лионе... Она там работает.

Мать замолчала. Казалось, она рассказала все, что ей было известно о девушке. Она глубоко вздохнула и опустила голову. Но отец почувствовал, что жена от него что-то скрывает, что-то, о чем рассказать не так-то просто.

— И он прислал ее сюда, чтобы об этом сообщить? Надеюсь, они, по крайней мере, не собираются пожениться уже сейчас?

Мать ничего не ответила, и он спросил:

— А как она сюда добралась? Ведь уже десять дней в поездах разрешено ездить только бошам. Господин Робен сказал нам об этом нынче утром.

— А она не поездом приехала. В общем, она пробирается в Сен-Клод. Вот почему ей нельзя было остаться у нас дольше. Если она сможет задержаться на обратном пути, то снова зайдет в понедельник.

— Надеюсь, во всяком случае, Жюльен не женится, пока не приищет себе место,— вздохнул отец.— Особенно в такое время!

— Судя по тому, что он пишет, и по тому, что сказала мне девушка, до сих пор он зарабатывал достаточно.

— Чем это? Своей мазней?

— Именно. Своей мазней.

Отец увидел, что в глазах жены промелькнуло торжество. Но она тут же опустила глаза и прибавила:

— Конечно, после высадки союзников люди заняты другим, им теперь не до картин.

— Так или иначе, для него это не дело. И если даже война закончится, Жюльен должен сперва подыскать подходящую работу, а уж потом думать о женитьбе. Надеюсь, его девица способна это понять.

Пока отец говорил, мать дважды перевернула исписанный листок. Старик заметил, что руки у нее дрожат. Он собрался было задать вопрос, но мать опередила его и сказала хриплым голосом:

— Им нельзя дольше ждать... Они... Они наделали глупостей.

Видно было, что она с большим трудом удерживает слезы. Отец почувствовал, как в нем поднимается волна гнева, но, взглянув на расстроенное лицо жены, он нашел в себе силы сдержаться. И ограничился только тем, что пробормотал, не повышая голоса:

— Господи! Только этого еще не хватало!

Мать, видимо, ожидала, что он вспылит, и подняла на него удивленный взгляд. Заметив, что отец все еще борется с подступившим негодованием, она поспешила сказать:

— Не сердись, Гастон... Умоляю тебя, не сердись. Мне и без того тяжело.

— А я и не сержусь вовсе. Это все равно ничему не поможет.

То, что жена так открыто высказала свою слабость и огорчение, в какой-то степени смягчило отца.

Нет, новая война между ними немыслима. За пределами этого дома, их единственного прибежища против царящего вокруг безумия, и так слишком много нестерпимого горя, слишком много опасностей и тревог. Нужно, чтобы хоть они могли смотреть в глаза друг другу, не испытывая недоброжелательства, чтобы хоть они могли разговаривать, не обижая один другого.

— Бедная ты моя,— вздохнул он,— мы-то что можем тут поделать?

Мать беззвучно плакала, почти не вздрагивая от подавляемых рыданий.

Отец подождал минуту, потом спросил:

— Он об этом пишет в письме?

Она вытерла глаза и стала медленно читать:

— «Дорогая мама. Это письмо передаст тебе Франсуаза. Она объяснит, почему мы должны пожениться, как только будет возможно. Я знаю, тебе всегда хотелось иметь дочь. Прошу тебя, прими Франсуазу так, как если бы она была твоей дочерью».

Голос матери прервался. После долгого молчания она прибавила:

— Дальше он пишет о своей работе. И говорит, что еще в этом месяце война закончится.

Отец только хмыкнул.

— Закончится! А на каких условиях? И что до этого с нами будет?

— Эта девочка, Франсуаза, говорит то же самое, что и господин Робен. Немцев разгромят, как нас в сороковом. И они будут думать лишь об одном — как побыстрее унести ноги. Из Лиона многие боши, кажется, уже уехали.

Все усложнялось. Все принимало иную окраску. И теперь тревогу внушала не только война. Выяснилось, что Жюльен жив, но вот появилась эта девушка из Сен-Клода, а вместе с ней появились и новые основания для беспокойства.

— Значит, эта девица сказала тебе, что они и впрямь должны пожениться?

— Да.

— И она посмела тебе об этом сказать?

— Жюльен написал в письме. Я спросила ее, так ли обстоит дело. Она покраснела, но подтвердила... И... и не знаю, как тебе объяснить, но мне показалось, что такое признание ее не слишком смутило.

— Ну и ну! В славное время мы живем! Я тебе частенько об этом говорю. А уж я не ошибаюсь.

Слегка понизив голос, мать ответила:

— Вот именно. Отчасти в этом время виновато. Если бы Жюльену не пришлось жить по подложным документам, они бы уже давно поженились.

— И все же... и все же... Прийти и выложить тебе такое! По правде говоря, это девица... у этой девицы просто стыда нет.

Он чуть было не сказал: «Это девица известного поведения». Но удержался.

— Я с ней недолго беседовала,— возразила мать,— но она произвела на меня неплохое впечатление.

— А разве... разве...

Отец осекся. Угадав, что он собирался сказать, мать пояснила:

— Конечно, мне надо было тебя позвать. Но... но я решила раньше с тобой переговорить... А потом она так торопилась... И так робела, говоря со мной...

Гнев отца уже остыл, но он принудил себя повысить голос:

— Должно быть, Жюльен обрисовал ей меня как медведя какого. А между тем я за всю свою жизнь никого не съел.

Глаза у матери еще не просохли. Все же она улыбнулась и, чуть нагнувшись к отцу, прошептала:

— Господи, как подумаю, какие вести приходят в наше время... Господи... А ты разве не считаешь, что нам еще сильно повезло?

35

Эта столь неожиданная новость ничего не изменила в ходе событий, и все же тревога, мучившая отца уже несколько недель, немного утихла. Он бы сам не объяснил почему, но теперь ему казалось, что уже не может произойти ничего более важного. Словно бы война определила каждому человеку меру невзгод. И он, отец, сполна получил свою долю. Бремя его уже не могло стать тяжелее, и он уповал на то, что более или менее спокойно дойдет по определенной ему дороге до конца войны. Будущее все еще было неясно, но отцу чудилось, что с приходом этой девушки качнулся наконец маятник времени, так долго висевший без движения над краем бездны, куда ни сам он, ни мать не решались заглянуть.

Так как отец почти не выразил неудовольствия по поводу случившегося, мать часто говорила о Жюльене, о Франсуазе, о том, что надо бы для них сделать. Эти разговоры раздражали отца, но он по-прежнему не давал воли дурному настроению. Мать говорила, и это вносило немного жизни в их одинокое существование, застывшее, как стоячая вода.

Поражение немцев становилось все более явным. И в городе это ощущалось. Колонны автомашин с грохотом катили вдоль бульвара и по Солеварной улице. На территории Педагогического училища все было в непрерывном движении, и отец нередко наблюдал это в щелку ставня в их спальне. Робен приходил по четыре-пять раз в день со свежими новостями. В десять утра он сообщал, что союзники вошли в Лион. В полдень говорил, что они пока еще только в Валансе. В четыре часа утверждал, что ночью будет освобожден Париж. А за несколько минут до начала комендантского часа прибегал сказать, что в стороне Ланссона завязывается битва, которая положит конец войне.

— Этот человек совсем спятил,— удивлялся отец.

— Нет, это мы непохожи на других,— возражала мать.— Сидим у себя, как в норе. Даже новостей не знаем. А все вокруг живут на нервах.

— И какой в этом толк?

Когда отец думал о войне, в нем постоянно боролись два желания: ему хотелось, чтобы война закончилась прежде, чем в их местах развернется сражение, и в то же время он мечтал, чтобы война перебросилась в Германию и немцы на своей шкуре ощутили бы ее.

Он знал, что русские уже вошли в Польшу, но это было где-то очень далеко. Так далеко, что он себе даже ясно и не представлял.

Несколько раз Робен рассказывал о действиях партизан в горной части департамента Юра. После его ухода мать говорила:

— Только бы Франсуаза не попала в эту кашу!

— И что ей взбрело в голову разъезжать в такое время!

— Так было нужно.

— Хотел бы я знать почему!

— Она мне не сказала, но, думаю, дело было важное.

— Во всяком случае, ясно одно: сейчас вернуться в Лион ей не удастся.

Сказав это, отец заметил, что по лицу матери пробежала тень. Она несколько раз вздохнула, потом чуть слышно, словно не желая, чтобы он разобрал ее слова, проговорила:

— Я совсем недолго пробыла с этой девочкой, и все-таки, право же... мне кажется, если б я знала, что она рядом с Жюльеном, на душе у меня было бы спокойнее.

Потом она выдохнула еще несколько слов, которые отец скорее угадал по движению ее губ:

— С виду она куда разумнее его.

36

Ночи тянулись бесконечно, потому что комендантский час начинался в шесть вечера, когда солнце стояло еще высоко в небе. Отец и мать ужинали в полумраке, оставляя в кухне чуть приоткрытые ставни. Съев свою миску супа, они долго сидели, не шевелясь, прислушиваясь к малейшему шуму, вглядываясь в узкую полоску света, падавшего на еще поникшую от зноя листву, которую оживляли зигзаги насекомых да пение птиц. Порою они сидели так больше часа, без движения, без слов, и лишь время от времени у одного из них вырывался вздох — только так они и могли выразить, сколь тягостен им вечер. Когда из города или с соседних холмов доносился звук выстрела, старики напрягали слух и переглядывались, но затем напряженное ожидание вновь окутывало их еще более плотным покровом тишины.

Однажды вечером они услышали выстрел почти возле самого их дома. На следующее утро Робен рассказал, что какой-то человек, проживавший на бульваре Жюля Ферри, был ранен, когда открывал окно в сад.

В ночь с 24 на 25 августа отец проснулся то ли от того, что мать трясла его за плечо, то ли от какого-то треска, похожего на треск сырых дров в костре.

Он сел в постели. Где-то стреляли.

Пулеметы. Громкие выстрелы. Снова выстрелы, но более глухие. Разрывы минометных снарядов.

Мать судорожно вцепилась обеими руками в его локоть.

— Гастон... Повсюду стреляют!

Пальба все усиливалась, разгоняя ночную тишину.

— Надо вставать,— сказал отец.

— Не говори так громко.

— А что от этого случится?

Теперь, когда первое волнение улеглось, он чувствовал себя необычайно спокойно.

— Одевайся,— приказал он.— А главное, не зажигай света.

— Я пока еще в своем уме.

Отец заметил, что голос жены звучит увереннее, чем тогда, когда она его разбудила. Он натянул штаны, поправил подтяжки, сунул ноги в ночные туфли. Затем ощупью пошел к окну.

— Не подходи к ставням, Гастон. Стой здесь!

— Оставь меня в покое. Я ведь не собираюсь их открывать!

Он нашарил рукой отверстие и припал к нему. Стрельба участилась. Теперь он отчетливо различал вспышки в стороне вокзала и у подножия холма Монтегю.

— Стреляют у самого вокзала,— пробормотал отец.— Должно быть, устроили взрыв на железной дороге.

— Или в особняке, где гестапо.

— Может, и так.

Оба замолчали. Пальба приближалась.

— Кажется, стреляют и в той стороне, где Монсьель,— заметила мать.

Отец прислушался. Возможно, это и было эхо, рождавшееся у склона холма, но создавалось такое впечатление, будто выстрелы доносятся со всех сторон.

Окна дома смотрели в сад, но не могло быть и речи о том, чтобы выйти на улицу и поглядеть, что происходит.

— Спустимся вниз,— сказал отец,— там мы будем в большей безопасности.

— А если они войдут в дом...

Он только усмехнулся.

— Если они войдут, прятаться бесполезно. Надо бояться другого: как бы от снаряда не загорелась или не обрушилась кровля. Коли дом загорится, снизу выбраться легче.

Он двинулся первый, нащупывая дорогу рукой и ногой.

— Вот если бы можно было попасть в погреб, не выходя наружу...— проговорила мать.

— Это, конечно, но лучше не пробовать.

Войдя в кухню, отец чиркнул зажигалкой.

— Не зажигай света,— сказала мать.

— Ну что ты шумишь? Ты же отлично знаешь, что снаружи сквозь ставни ничего не видать... Чего ты всполошилась? Я только взгляну на часы.

Он поднял руку, чтобы поднести огонек к будильнику. Рука не дрожала. И тут отец заметил, что мать смертельно побледнела, что лицо у нее встревоженное и страх притаился в каждой морщинке. Она набросила на плечи платок и теперь судорожно прижимала его к груди.

Отец потушил зажигалку. Было без четверти три.

Как только огонек погас, темнота словно сгустилась сильнее, но им все еще казалось, будто светлый огонек продырявил тьму ночи. Ружейная стрельба не прекращалась, она набегала на них, как набегают на берег гонимые ветром волны. Накатывала, отступала, возвращалась, звучала все чаще, все ближе.

— По-моему, дерутся повсюду,— заметил отец.

— Думаешь, они напали на город?

— Возможно.

— Кто? Американцы?

— Откуда мне знать?

Наступило короткое затишье, затем выстрелы внезапно послышались возле самого дома.

— Не можем мы тут дольше торчать,— вырвалось у матери.

— Если и впрямь дерутся на улице, тогда нам крышка!

Отец почти выкрикнул эти слова. Он не ощущал страха, но в нем закипал гнев, и он сжимал кулаки.

— Не кричи,— взмолилась мать.— Не кричи.

— Мы пропали,— сказал отец.— Ты даже не понимаешь, что тогда все пойдет прахом.

— Господи... Господи!

Они простояли еще с минуту на нижней ступеньке лестницы, в полной темноте. Затем отец ощупью нашел руку жены, крепко стиснул ее и сказал:

— Пошли! Кто знает, где лучше...

— Куда ты?

— В погреб.

— Ты хочешь выйти из дому?

— Нас никто не увидит... Такая тьма, хоть глаз выколи. И они другими делами заняты.

— Ты с ума сошел.

— Ну, нет. Я знаю, где менее опасно.

— Боже мой...

Отец потащил жену по направлению к двери. Он нащупал замок, повернул ключ, отодвинул задвижку, собрался было открыть дверь, но спохватился:

— Деньги у тебя тут, внизу?

— Да... И бумаги тоже.

— Надо все взять.

Они пошли в столовую. Отец снова чиркнул зажигалкой. Мать выдвинула левый ящик буфета и принялась в нем рыться. Руки у нее по-прежнему дрожали. Она достала ценные бумаги, какие-то вещи, которые как попало сложила на выступе буфета. От всколыхнувшегося воздуха огонек зажигалки заколебался, замигал и погас. Отец выругался. Зажигалка больше не загоралась.

— Надо найти свечу.

— Ты ведь знаешь, в кухне есть и свеча и другая зажигалка.

Отец долго шарил в темноте, натыкался на что-то, что-то ронял.

— Черт! Черт побери! Время уходит...

Раздались три взрыва, более глухие, чем прежде, дом вздрогнул, в окнах задребезжали стекла. Совсем близко застрекотал ручной пулемет. Отец зажег свечу и вернулся к матери, которая стояла, застыв на месте.

Она поднесла бумаги к самому язычку пламени, плясавшему от их дыхания.

— Ты тут пожара не устрой,— проворчал отец.— Они и без нас об этом позаботятся!

— Куда все сложить?

— У тебя нет сумки?

— Какой сумки?

— Да любая сгодится.

Оба нервничали. Отец чувствовал, что бой подступает все ближе. Если они сейчас не выйдут из дому, то через несколько минут уже будет поздно. В сад могут ворваться люди: одни — чтобы напасть на Педагогическое училище, другие — чтобы защищать его.

Он возвратился на кухню, открыл чулан и снял висевшую на двери брезентовую сумку.

— Засунь все сюда,— сказал он.

Затем он снял свои часы, висевшие возле окна, положил их в карман.

— Надо бы захватить одежду,— заметила мать.

Она достала пальто, перешитое из шинели солдата, которого они приютили в дни отступления, набросила на плечи отцу накидку. Они подошли к двери, отец погасил свечу и сунул ее вместе с обеими зажигалками в карман.

Ружейные выстрелы и разрывы гранат звучали теперь еще ближе.

Отец напряг слух, осторожно приоткрыл дверь, обернулся и спросил:

— Ничего не слышишь?

Мать шагнула к нему.

— Нет.

— Ну, тогда пошли. Нагибайся пониже. Если начнут стрелять совсем рядом, ложись и не двигайся.

Он приотворил дверь так, чтобы только пройти. К нему вернулся, казалось, давно забытый старый солдатский навык, и он согнулся чуть ли не вдвое. Шагнул через порог и почувствовал, что мать удерживает его за накидку.

В тот миг, когда он обернулся, чтобы сказать: «Закрой дверь, только не хлопай», пулеметная очередь разорвала ночную тишину: казалось, стреляли прямо по их ногам. Сквозь ветви деревьев отец увидел вспышки на фасадах домов, вдоль Школьной улицы. Он повернулся и крикнул:

— Черт побери, слишком поздно!

Старики столкнулись. Отец почувствовал, как жена, теряя равновесие, ухватилась за него. Он попытался удержать ее, но толчок был слишком сильный, и он сам не устоял. Оба повалились на пол кухни, дверь распахнулась и стукнула о выступ стены.

Теперь гранаты рвались совсем рядом, и четыре красные вспышки осветили комнату.

Отец приподнялся, встал на колени, помог жене отодвинуться и закрыл дверь.

37

— Черт побери!.. — ворчит отец.— Черт побери!.. Теперь нам крышка.

Дверь снова заперта. Они оба тут, рядом, на холодном линолеуме кухни. Мать молчит.

— Ушиблась? — спрашивает отец.

— Нет... А ты?

— Тоже нет... Сумка за дверь не упала?

— Нет. Я ее крепко держу.

— Не можем мы... тут оставаться.

Пальба теперь слышна так близко, что им приходится говорить очень громко и выбирать мгновения, когда она немного утихает.

— Но куда ты хочешь идти?

— Возле двери оставаться нельзя... Поднимусь за матрасом... Надо перебраться в столовую, устроиться перед буфетом, тогда будем подальше от окна.

Отец чувствует, что матери уже нет рядом. Он следует за ней в столовую. Оба ползут на четвереньках, как дети во время игры.

— Вот тут самое безопасное место... Ложись возле буфета... Я поднимусь в спальню.

— Нет, оставайся тут.

— Но мне ничто не грозит. Только матрас притащу.

Его голос звучит твердо. Властно. И все же мать прибавляет:

— Тогда и я с тобой.

— Нет. Оставайся тут!

В спальне отец идет к окну. По дороге нашаривает рукой на прохладном мраморе круглого столика жестянку с табаком, которую ставит туда каждый вечер. Кладет ее в карман. Наклоняется к окну и припадает глазом к отверстию в ставне. Ночная тьма по-прежнему озаряется вспышками. Стреляют в стороне вокзала. Стреляют и возле сыроварни, в стороне пригорода. Короткие всполохи вырывают из мрака силуэты деревьев и домов.

Отец возвращается к кровати, и только тут ему приходит в голову, что накидка будет мешать. Он отбрасывает ее края за спину, стягивает простыни в изножье постели, сворачивает втрое матрас и берет его в охапку. Спокойно сходит по лестнице.

— Помочь тебе? — спрашивает мать.

— Отойди с дороги.

Молчание.

— Клади на пол,— говорит мать.

Он опускает матрас и раскладывает его возле буфета.

— Пока что устроимся на матрасе,— говорит он.— А коли стрельба уж очень приблизится, сядем спиной к буфету и загородимся матрасом.

Они вытягивают ноги и садятся рядышком, упершись спиной в дверцы буфета. Теперь они в стороне от окна. Между ними и массивной стеною — вся ширина комнаты. Позади у них буфет, за ним перегородка, еще дальше — кухня и снова стена. За перегородкой еще и чугунная плита. Отец различил всего несколько гулких ударов, похожих на разрывы мин. Все остальное — лишь ружейная пальба, пулеметные очереди и разрывы гранат. Пули могут продырявить ставни, но стен они не пробьют. Опасаться надо только снарядов, однако пока артиллерийской стрельбы не слышно.

А он больше всего боится пожара. Он-то ведь знает, что от одной пули может заняться кровля.

Отец и сам удивляется, что так спокоен. Он понимает, что и дальше должен сохранять выдержку. Достает из кармана свечу, зажигалку, жестянку с табаком, кладет ее рядом с собою. Высекает огонь.

— Зачем тебе свет? Что ты хочешь делать?

— Сигаретку свернуть.

— Господи боже...

Отец зажигает свечу и протягивает ее матери.

— Подержи-ка.

Рука у матери дрожит.

— Ты же знаешь, что снаружи ничего не видать. Ну-ка, посвети.

Мать придвигается к нему. Отец высыпает табак из окурков на бумагу и скручивает сигаретку, их головы почти соприкасаются, и на лица падает отблеск свечи, в котором поблескивает жестянка с табаком. Отец закрывает жестянку и кладет ее на матрас. Можно подумать, будто оба они сидят в окопе, на фронте. Он прикуривает от свечи.

— Кажется, что дерутся прямо перед нашим домом,— говорит мать.

Отец прислушивается. Должно быть, стреляют и на бульваре, и на Школьной улице,— иначе говоря, по обе стороны дома.

— Но что же там происходит? Что там все-таки происходит? — всхлипывает мать.

— Ну, теперь можно не сомневаться. Это, конечно, партизаны. У американцев были бы орудия... Видно, партизаны осмелели... Ведь на всех подступах к городу у немцев заградительные заставы...

— Но я тебе говорю, что дерутся уже на нашей улице.

— Возможно, отсюда ведут огонь боши.

Оба говорят быстро. А затем несколько долгих минут молчат и прислушиваются, стараясь мысленно представить себе перипетии боя.

— Хоть бы знать, что в Лионе... — говорит мать.— Так хочется знать, сумела ли эта девочка возвратиться туда.

Рядом разрываются две мины, и дом сотрясается. Отец встает.

— Не вставай! — кричит мать.

— Оставь меня в покое. Пойду открою окно. Не то все стекла вылетят.

Он открывает кухонное окно, и в комнату врывается шум. Из кухни слышен голос отца:

— У тебя есть сваренный кофе?

— Да, но он холодный.

Отец идет в столовую за свечой. Мать забилась в угол между стеною и буфетом.

— Не шевелись,— говорит отец.— Я сейчас вернусь.

Он приносит спиртовку и кастрюльку, куда налил кофе.

— Ты с ума сошел,— вырывается у матери.

— Ничуть. Если уж нам суждено помереть, так лучше прежде выпить кофе.

Сейчас в сад, должно быть, уже проникли люди. Они все разворотят, это уж точно. В ту, первую войну отец повидал немало мест, где дрались, и потому он понимает: нет никакой надежды на то, что его сад, дом и сарай уцелеют. Но что можно сделать? Ничего. Выйти наружу и крикнуть, что они спятили?! Что они не имеют права драться в его саду?! Что он — в стороне от схватки, а потому пусть убираются отсюда и дерутся где угодно, только не тут?!

Но ведь стольким людям и в эту, и в другие войны хотелось, как и ему, выкрикнуть такие слова!

Пока война с оглушительным визгом и лязгом ведет свой хоровод на более или менее значительном расстоянии от вас, еще остается надежда. Но в тот день, когда круг сжимается, когда война вторгается к вам в сад и вытаптывает его, осаждает ваш дом,— что тогда остается делать?

Отец сжимает кулаки. Жадно и нервно курит. Господи, взять бы ружье, устроиться у окна и уложить хотя бы нескольких врагов, прежде чем он сам погибнет!

Он чувствует, что в нем попеременно поднимаются волны ненависти и нежности. Ему хочется так много сказать жене, которая прижимается к его плечу и всхлипывает.

— Милая ты моя... Немало мы с тобой повидали на своем веку... Случалось, ссорились, а ведь не стоило... Я часто бывал неправ.

— Молчи... — шепчет она.— И я бывала неправа.

— Там, где мы снова встретимся, всегда будут мир и согласие.

Теперь стрельба слышна так близко, что кажется, будто на их домик обрушился частый и яростный град. Старики молчат.

Теперь им остается только одно: ждать.

38

Они долго пролежали на матрасе не двигаясь. На полу было жестко, и от холода у отца застыло тело; в конце концов он встал. Стрельба немного утихла.

— Не пойму, где теперь дерутся,— пробормотал он,— но как будто немного отошли.

— Мы даже не знаем, который час.

Отец вытащил из кармана часы и чиркнул зажигалкой. Было около пяти.

Пальба стихала, и вскоре доносились уже только отдельные выстрелы.

— Оставайся тут,— сказал отец.— Пойду наверх, посмотрю, что происходит.

— Будь осторожен.

Он поднялся в спальню и прильнул к отверстию в ставне. Уже рассвело, но солнце еще не выглянуло из-за крыш. В саду Педагогического училища на дорожках лежали и сидели немцы, рядом с ними на земле валялось оружие. Солдаты разговаривали. Некоторые были в касках, другие в пилотках либо с непокрытой головой. Один немец встал, подошел к сливе и залез на нее. Сперва отец подумал, будто он хочет взглянуть, что происходит за стеною, но тут же понял: солдат просто рвет сливы. Набрав полную каску, он спустился с дерева, отнес сливы товарищам и снова сел возле своего автомата, ствол которого лежал на пне. Другой солдат примостился на том же пне. Кое-где еще постреливали, но стрельба перемежалась долгими паузами, и тогда тишину нарушало только гудение автомобильных моторов.

Два немца лакомились сливами и швыряли косточками в солдат, сидевших неподалеку, а те хохотали. Когда в каске ничего не осталось, солдат, нарвавший сливы, надел ее на голову, улегся за пнем и передви-

нул автомат. Из ствола стали вырываться красные огоньки, и отец непроизвольно присел на корточки. Автоматная очередь стихла. Старик выпрямился и посмотрел на другого солдата, стоявшего рядом с тем, что стрелял: тот спокойно перезаряжал автомат. Когда раздалась вторая очередь, отец даже не шевельнулся. Немцы стреляли в направлении холма Монсьель. Они извели четыре диска, а потом стрелок вновь отправился рвать сливы. Он все делал невозмутимо, точно это было для него привычным занятием, не представлявшим никакой опасности.

— Что ты там делаешь? — донесся снизу голос матери.

— Иду, иду.

Отец спустился в столовую.

— Стреляли совсем рядом,— сказала мать,— я испугалась, что это в тебя палят.

— Нет. Им начхать на нас. Они ведут огонь по Монсьелю.

— По Монсьелю?

— Да, и это значит, что на них в самом деле было произведено нападение, и нападение провалилось... Поглядела бы ты только на этих немцев... Они, видно, и впрямь привычны к войне... Таких не легко испугать. Говорят, им крышка, но по их виду этого не скажешь.

На отца произвело большое впечатление спокойствие немецких солдат. Все их поведение заставляло думать, что они обосновались тут еще надолго.

Стрельбы уже почти не было слышно, и мать спросила:

— А что они теперь будут делать?

— Хотел бы я знать, кто на такой вопрос ответит!

Не успел отец сказать это, как снова очень близко послышалась пальба, и почти одновременно раздались громкие крики и треск. Старики с минуту прислушивались, потом отец сказал:

— Где-то горит.

Они все еще не решались раскрыть ставни. И в темноте поднялись на второй этаж. Посмотрев в щелку, отец увидел густое облако дыма, застилавшее солнце. Другое дымное облако темнело в небе со стороны вокзала. В саду Педагогического училища теперь оставалось всего несколько солдат. Отец успел разглядеть все это за несколько секунд, потом посторонился, давая место матери, и проворчал:

— Черт побери, они, кажется, подожгли город с четырех концов.

— Господи, горит вся Школьная улица.

С минуту старики растерянно стояли на одном месте, потом пошли к лестнице. Над ней слабо светилось слуховое окно, выходившее на крышу.

— Если бы я мог туда добраться,— сказал отец,— сверху бы я все разглядел.

— Ничего не выйдет, ведь приставная-то лестница в сарае.

Отец мысленно измерил расстояние до слухового оконца.

— Когда б оно было не над лестницей, я бы с помощью стола...

Он умолк. И подумал о другом слуховом окне, в комнатке Жюльена. Та же мысль пришла в голову матери. Они вошли в комнату сына и пододвинули письменный стол, на котором Жюльен оставил свои тетради и несколько книг. Мать взяла их и отнесла на кровать. Отец влез на стол, сорвал цветастую занавеску и черную бумагу, которая затемняла окно. Встав на цыпочки, он увидел кровли домов напротив сада. Для того чтобы увидеть улицу, надо было отворить окошко и высунуться наружу.

— Дай мне стул,— потребовал он.

— Не вздумай отворять окно!

— Дай стул, тебе говорят.

— Гастон, это опасно.

— Никто меня не увидит!

Отец выкрикнул эти слова. Мать взяла стул и поставила его на стол. Старик влез на него. Но он оказался выше, чем надо. Ему пришлось наклонить вбок голову и согнуть колени. Медленно, стараясь побороть волнение, он ухватился за железную зубчатую рейку и снял ее с крюка, на котором она была закреплена. Послышался скрежет металла. Отец замер, потом слегка приподнял застекленную раму и укрепил зубчатую рейку в следующем пазу. Выждал еще секунд десять. Теперь явственно доносился треск пожара. Запах дыма проникал в узкое отверстие. Сосчитав до десяти, отец осторожно вытянул шею, коснувшись лбом стекла. В таком положении он мог видеть часть улицы и сада.

Оказывается, горели не те дома, что напротив, а другие, расположенные правее, возле Педагогического училища. Языки пламени взвивались высоко в небо, рассекая и кромсая клубы почти черного дыма, который закрывал теперь большой кусок неба. С треском огня сливались автоматные очереди.

На улице перед садом никого не было. Забор не пострадал. Калитка была вроде заперта. Ставни на всех домах были закрыты.

Нигде ни души.

— Что там? — спросила мать.

Отец молчал. Он бросил последний взгляд в сторону горящих домов и слез на пол.

— Взберись наверх,— предложил он,— сама увидишь.

Мать влезла на стол. Когда она стала на стул, отец проворчал:

— Они могут спалить весь город!

Мать ничего не ответила. Ее руки, судорожно вцепившиеся в оконную раму, дрожали. Внезапно, в тот самый миг, когда вновь послышался хриплый лай автомата, отец увидел, как жена отняла от рамы правую руку и поднесла ее ко рту.

— Боже мой! — простонала она.

— Что случилось?

Мать слезла так быстро, что отцу пришлось подхватить ее, иначе она бы упала. Ее бледное лицо было все в поту.

— Я видела... — пробормотала она.— Я видела, как он упал... схватился руками за живот...

И она прижала руки к животу, потом без сил опустилась на кровать Жюльена. Отец снова влез на стол, затем на стул. И тут мать прибавила:

— Подмастерье булочника... Не могу вспомнить его имя... Ну, тот, что помогал нам перевозить дрова... На пороге пекарни... Я сама видела...

Она несколько раз повторила эту фразу. Отец посмотрел в направлении дома, который также принадлежал ему и стоял прямо против сада. Кто-то в белом лежал, скорчившись, перед входом, но деревья мешали разглядеть как следует. Не слезая со стула, отец спросил:

— Да что он сделал?

— Не знаю, я только увидела, как он появился на пороге, тут сразу раздались выстрелы, и он упал... Я видела... Он схватился руками за живот и упал.

Отец не мог отвести взгляд от фигуры в белом и от распахнутой двери, что вела в пекарню. Слабый ветерок временами пригонял дым под самые окна. Все сильнее пахло гарью. Сквозь дым отец различил другого человека в белом, который крался по неосвещенному коридору. Он наклонился, и отец понял, что это булочник, не высовываясь за порог, втаскивает в дом своего подмастерья. Затем дверь затворилась.

Отец слез со стола и рассказал матери о том, что увидел. Потом присел на кровать рядом с нею.

Ноги у него дрожали. Он чувствовал, что на лице у него выступил пот и холодные капли стекают по спине. Мать сидела, не шевелясь, упер-

шись локтями в колени; она уставилась в пространство и время от времени шептала:

— Господи... Бедный малый... Бедный малый... Я видела, как он упал... Схватился руками за живот и упал...

39

Утро тянулось бесконечно. Большую часть времени они провели в комнате Жюльена: только здесь и было светло. Мать ненадолго сошла вниз за спиртовкой, чашками и кофе. Принесла и хлеб, но ни она, ни он не могли проглотить ни кусочка.

Отец чувствовал, что страх не отпускает его. Не осталось и следа той бодрости, какую он ощутил, проснувшись среди ночи от шума стрельбы. Теперь все тело его было разбито, а голова пуста. Он с трудом держался на ногах. Лишь время от времени делал над собой усилие и добирался до слухового окна, чтобы посмотреть, не распространяется ли пожар. Очень долго отец думал, что огонь охватит всю улицу, но поздним утром он немного успокоился. Сила огня ослабевала, и пожар остановился, судя по всему, возле приютского дома святого Иосифа. На улице не было ни души. Вдруг он услышал какие-то крики; он влез на стол, но когда посмотрел в окно, то увидел лишь группу немецких солдат, бежавших по мостовой. Вскоре донеслось несколько залпов, потом опять наступила тишина. Только урчали моторы автомобилей и грузовиков. Отец слез со стола, прошел в спальню и увидел оттуда, что в саду Педагогического училища никого нет.

Все утро старики просидели наверху.

В полдень мать, не решаясь развести огонь, подогрела кастрюльку с супом на спиртовке, где еще оставалось немного денатурата. Когда огонек погас, они медленно съели это варево, в котором овощи так и не согрелись.

Отец растянулся на кровати Жюльена. Спать он не собирался, и все же сон сморил его. Когда он проснулся, матери в комнате не было. Старик сел в постели и прислушался. В кухне кто-то разговаривал.

Он встал, стараясь не шуметь, и спустился на несколько ступенек; только тут он узнал голос Робена. Войдя в кухню, отец сказал:

— Ну и ночь мы провели!

Мать уже приоткрыла ставни. Дверь была распахнута.

— Как это вы решились выйти? — спросил отец.

— До вас-то добраться нетрудно, потому что не надо переходить улицу. А то бы я не отважился.

Робен рассказал, что партизаны атаковали город. Немцы отступили к центру, а потом перешли в контратаку, и нападающие отошли. После ухода партизан немцы подожгли многие дома, а тех, кто пытался выйти из горящих зданий, убивали. Человек двадцать боши расстреляли возле богадельни, расположенной у подошвы холма Монсьель.

Робену рассказал об этом санитар из больницы, которому разрешено было передвигаться по городу.

— Мы еще немало горя хлебнем,— вздохнул отец.

— Толком никто не знает, но фрицы как будто уходят по безансонской дороге. Во всяком случае, в Педагогическом училище никого из них не осталось.

В кухне было тихо, уютно. С минуту все сидели молча. Потом отец сказал:

— Очень хочется пройти в конец сада и поглядеть, что творится.

— Нет, нет,— всполошился Робен.— Ни в коем случае не ходите. Это еще опасно.

Мать отдала Робену половину остававшегося в доме хлеба.

— Думаю, нынче вечером немало людей будет сидеть без хлеба,— сказал он.

— Сейчас не до еды,— отозвалась мать.

Снова заговорили о подмастерье, которого убили только потому, что он хотел узнать, что происходит на улице; потом Робен попрощался.

— Зайду завтра утром,— пообещал он,— и скажу, передавали ли что-нибудь по радио насчет Лиона.

Когда он ушел, мать спустилась в погреб за фруктами и денатуратом. После этого старики поставили стулья у самой двери и молча уселись на них.

Отсюда им была видна часть сада и улицы, где все будто вымерло.

Стояло лето. Пели птицы, жужжали насекомые, светило солнце, но раненый город спал.

40

Еще несколько дней город лихорадило. Когда оккупационные войска ушли, на всех окнах расцвели флаги. Они провисели полтора дня. Отец специально ходил на Солеварную улицу, где флаги красовались на каждом доме, на каждом этаже. Но на второй день прошел слух, будто немецкая бронетанковая колонна, движущаяся на север, идет прямо к городу. Флаги мгновенно исчезли. Улицы опустели, ставни на окнах закрылись. Бойцы Сопротивления, находившиеся в городе, ушли в леса.

Отец вернулся домой почти бегом, чтобы снять флаг, который мать вывесила из окна спальни.

Немцы не появились. Но город жил в страхе до прихода первых американских частей.

Тогда жизнь разом изменилась.

Отец по нескольку часов подряд наблюдал, как мимо катят грузовики, танки и артиллерийские орудия разных калибров. Он возвращался с полными карманами сигарет, которые, однако, курил без всякого удовольствия.

— Да это не табак,— ворчал он,— скорее пряник... Но армия у них что надо... Ни в чем нет недостатка... И в этот раз будет, как в девятнадцатом: через десять лет после их ухода будут еще торговать американскими товарами.

Матери удалось достать кофе, шоколад и мясные консервы, которые нельзя было взять в рот, до того они были сладкие.

— Люди они, видать, не плохие,— повторял отец,— но, что ни говори, вкусы у них странные.

Робен сообщил старикам, что Лион освобожден полностью. Все мосты взорваны, но жертв как будто не слишком много. Несмотря на это мать продолжала тревожиться и не переставала говорить о Жюльене и Франсуазе.

— Может, он приедет на каком-нибудь грузовике,— говорила она.

Отец ничего не отвечал, но при каждом удобном случае отправлялся на угол Школьной и Солеварной улиц и смотрел на поток транспортных колонн. Иногда люди в штатском спрыгивали с грузовиков. А другие туда влезали. Американцы смеялись, обнимали девушек и похлопывали по плечу мужчин.

Через город прошло также несколько частей, состоявших из французских солдат, одетых в такую же форму, как американцы. Они вели себя более сдержанно, и жители города встречали их с меньшим восторгом.

Отец перебрасывался словами с зеваками, но не спускал глаз с машин, появлявшихся на лионской дороге.

Возвращаясь домой, он всякий раз непременно доходил до пожарища. Обычно там не было ни души. Теперь, когда война отдалилась, людям хотелось забыть об ее ужасах. А ведь в этих домах погибли многие: кто заживо сгорел, а кто был убит, когда пытался выбежать из горящего здания. Те же, кому удалось спастись, все потеряли.

Иногда отец останавливался возле пекарни, где он месил хлеб в самые лучшие годы своей жизни. Он не входил, только опускал глаза и подолгу смотрел на тротуар. Одно место на этом тротуаре было чище других. Там, где пролилась кровь подмастерья булочника, каменные плиты были тщательно вымыты. А перед тем кто-то посыпал их золой. И немного золы все еще оставалось в канавке. Первый же дождь смоет ее, исчезнет светлое пятно на тротуаре, и от подмастерья, от этого крепкого, сильного малого останется лишь воспоминание. Он всегда был готов оказать людям услугу. И вышел-то всего на минуту из пекарни, тут его и убили. Он не был ни партизаном, ни коллаборационистом, он просто работал, чтобы у людей, как всегда, был хлеб.

Ему, вероятно, было столько же лет, сколько Жюльену. Должно быть, и в Лионе убивали людей, которые стояли в стороне от событий.

Однажды вечером отец увидел, что к сгоревшим домам направляется высокая сухощавая старуха; она шла, чуть сгорбившись, опустив руки, на ходу как-то по-птичьи подпрыгивая. Отец часто встречал ее и прежде в своем квартале. Она уже много лет как овдовела. Ее покойный муж Юртен погиб от несчастного случая, работая на солеварне. Старуха приблизилась. Надтреснутым голосом она сказала:

— Невеселая картина, а?!

Отец только покачал головой. Старуха глядела на последний из сгоревших домов. Одна стена, кровля и перекрытия обрушились. Уцелевшие стены почернели, но обои кое-где еще сохранились. Каменная раковина осталась на своем месте, но повисла над пустотой вместе с обломком трубы. Старуха указала на нее рукою.

— Посмотрите-ка получше,— сказала она,— в раковине все еще стоит мой чайник. И я уверена, что чайник совсем не поврежден. Найдись у кого лестница, его можно было бы достать.

— Ну, это дело рискованное,— заметил отец,— стены могут рухнуть.

— До чего ж хороший чайник,— продолжала старуха.— Алюминиевый. А как быстро закипал... Я купила его за год до войны. Нынче у нас такого не сыщешь.

— Когда придут расчищать улицу, получите свой чайник.

— Да, если его прежде не украдут... Я уже не в первый раз сюда прихожу. И кое-какие вещи отыскала. Я уверена, что и другие уцелели, но они под обломками крыши... А у меня разве хватит сил сдвинуть балки и разгрести черепицу!

— Вам еще повезло, что хоть сами спаслись,— сказал отец.

У старухи вырвался какой-то скрипучий смешок.

— Стало быть, по-вашему, мне повезло... в семьдесят шесть лет остаться безо всего! Мы тут жили с тысяча девятьсот шестого года. В тот год бедный мой Фирмен поступил работать на солеварню... Себе на горе... А поселились мы тут потому, что отсюда до его работы было не так далеко. И я легко находила поденную работу по соседству. Подумать только, здесь живут люди, к которым я ходила еще до той войны... Когда мой бедный муж помер, я хотела переехать... Ну, а потом, знаете, годы идут, и не то что забываешь, но как-то привыкаешь. Да и вещей у меня набралось много, вот я и боялась переезда.

Снова послышался ее скрипучий смешок, который трудно было вынести.

— А вот теперь, можно сказать, переезд и состоялся!

Старуха подошла ближе, огляделась по сторонам, понизила голос и, указывая пальцем на соседний полуразрушенный дом, сказала:

— Знаете, вон там жила молодая чета... Пернены... Муж был в маки... А жену с ребеночком убили... Муж возвратился. Так он, бедный, просто совсем разум потерял. Говорят, уходя, сказал, что посчитается с партизанским начальником. Он сказал: «Если бы они дождались американцев, все бы окончилось без единого выстрела. Боши бы убрались... И дело с концом».

Старуха замолчала. Казалось, она сама была напугана тем, что наговорила. Отец тоже молчал, и она спросила:

— Вы думаете, он это вправду сказал, папаша Дюбуа?

Старик пожал плечами:

— Я, видите ли, не больше вашего знаю.

Старуха опять заговорила о своем чайнике, и отец пообещал ей прийти на следующий день с лестницей и попытаться достать чайник. Она поблагодарила и принялась объяснять, что ее приютили у себя люди, у которых она убирала больше десяти лет.

— Только, знаете, все-таки это не дома,— прибавила она.— Конечно, они живут лучше и очень добры ко мне, но все одно это не дома.— Она наклонилась к его уху, еще больше понизила голос и спросила:— А знаете, почему я не погибла, как остальные?

— Нет, не знаю.

— Уже больше двадцати лет домохозяин все обещает устроить уборную в нашем доме. Да так и не устроил. Нам нужно было выйти из дому, пройти двором в ту уборную, что в соседнем доме, который окнами смотрит на Солеварную улицу... Так вот, как начали стрелять, я до того перепугалась, что у меня живот схватило... Я и пошла туда... А люди, что там живут, вы их знаете, Шампо их фамилия, они меня оставили у себя... Их квартира как раз возле самой уборной... Вот как все получилось... А когда я увидела, что всему приходит конец... Я даже не заплакала. Надо было видеть, как все пылало! Будь в других домах, как в нашем, черный ход, жильцы могли бы спастись... Но нет... Надо было видеть, как все пылало...

Она несколько раз повторила эту фразу, сопровождая ее своим скрипучим смешком, который трудно было вынести.

У нее не осталось ничего, только кое-какие вещи, которые ей удалось разыскать среди развалин. Все остальное сгорело, все, кроме чайника, на который она по-прежнему глядела почти с вожделением.

Начинало темнеть, и отец сказал:

— Вам пора возвращаться.

— Вы завтра утром принесете лестницу?

— Да... я приду.

Старуха удалилась своей подпрыгивающей походкой, и отец еще раз услышал ее скрипучий смешок.

Когда она исчезла из виду, он медленно направился в сад. Его дом стоял, как прежде, без единой царапины, ни одно стекло в окнах не треснуло. Война прошла совсем рядом, но даже не потоптала цветы в саду.

41

На следующее утро отец взял лестницу и направился к пожарищу. Мать пошла с ним. Когда они пришли, старуха уже копалась внутри дома, разгребая кочергой обломки и мусор. Через плечо у нее болталась большая сумка.

— Вы неосторожны,— сказала мать,— как знать, ведь стены, того и гляди, могут рухнуть.

Старуха в ответ только усмехнулась и махнула рукой, словно желая сказать, что жизнь для нее не имеет больше цены.

Отец отгреб в сторону черепицу и пристроил кусок полуобгоревшего стропила так, чтобы можно было упереть в него лестницу. Мать помогла ему установить лестницу и держала ее, пока отец лез к раковине. Чайник был без вмятин, совершенно целый. В нем даже осталась вода. Рядом лежали поварешка и две ложки, отец их также прихватил.

Старуха вылила воду из чайника, сунула ложки в сумку и радостно захихикала.

Она поблагодарила отца, бережно, будто младенца, прижала чайник к груди и быстро удалилась.

— Да, несчастная женщина,— пробормотала мать.— Нам еще, можно сказать, повезло.

Они отнесли домой лестницу, и отец сказал:

— Пройдусь-ка я по городу. Как знать, может, встречу кого-нибудь, кто приехал из Лиона.

— Господи, хоть бы весточку получить!

Отец надел чистый фартук, переменил каскетку и направился в центр города. Последние месяцы он не выходил за пределы своего квартала и теперь все внимательно разглядывал, ища перемен. Помимо сгоревших зданий несколько домов пострадали во время уличных боев, но повреждения были не серьезные.

На улице Лекурба, на площади и под аркадами было много людей. В начале Коммерческой улицы собралась толпа. Отец решил, что там продают продукты без карточек, и пожалел, что не захватил денег. Все же он подошел ближе и, безуспешно попытавшись заглянуть через головы людей, спросил.

— Что здесь происходит?

— Стригут наголо девок, которые гуляли с фрицами.

Из толпы доносились крики и взрывы хохота. Из уст в уста передавались имена девиц, и тут же слышались нелестные замечания по адресу их близких.

— Их потом посадят в грузовик и провезут по городу,— сказала какая-то женщина.

— Нет, их заставят идти пешком, босиком поведут по улицам.

— Пусть идут нагишом! — завопила другая.

Раздался громкий смех, и несколько голосов подхватили:

— Нагишом!.. Нагишом!

Толпа неистовствовала. Люди наперебой предлагали все новые меры:

— Всю ее обрейте!

— Нарисуйте ей свастику на груди!

Началась толкотня, каждому хотелось видеть все своими глазами. Каждый старался перекричать другого. Отец сперва стоял поодаль, и хотя он не пробивался вперед, но вскоре очутился в самой гуще толпы, которая росла и росла. Говор вокруг него не прекращался.

— Шлюхи — это только начало, завтра проведут по улицам всех коллаборационистов.

— А скольких еще надо посадить за решетку.

— Всех, кто торговал с фрицами и наживался за наш счет.

— И тех, что в муниципалитете служили...

— И молодчиков из петеновской милиции.

— Ну эти уже дали стрекача.

— Ничего, их отыщут даже в Берлине!

Отец вдруг подумал о Поле. Он почувствовал себя пленником этой толпы, и его охватил страх. Что с сыном? Он арестован? Или успел уехать? Если Поля не найдут, не примутся ли за него, за отца? Выставят

на рыночной площади, как заморского зверя, и потом бросят в кутузку, а дом подожгут? Чего он сюда пришел? Зачем? Столько месяцев просидел в своей норе, и вот сегодня, как дурак, сам полез в это осиное гнездо.

Старику казалось, что все смотрят на него, стараются его опознать.

Его теснили со всех сторон, толкали, он тяжело дышал, на лбу у него выступил пот, и все же, усиленно работая локтями, он сумел наконец выбраться из толпы. Хотя никто не обращал на него внимания, он пошел на Школьную улицу очень сложным путем — переулками и проходными дворами, избегая людных мест. Он было подумал зайти к Полю и узнать, какие там новости, но не решился.

Он шел быстро, внимательно оглядываясь по сторонам, то и дело оборачиваясь,— ему все время чудилось, что чья-то рука вот-вот схватит его за шиворот и раздастся грозный голос:

«Это папаша Дюбуа... Посмотрите-ка внимательно на старого негодяя, он и пальцем не пошевелил, чтобы помешать своему сыну торговать с фрицами!»

Подойдя к своей калитке, старик немного замешкался. А ну, как за ним приходили, пока он отсутствовал? Он-то думал, что с уходом немцев наступит конец и страху, и невзгодам, и боязни все потерять, а, оказывается, существует страх иного рода.

Он вошел, стараясь не хлопнуть калиткой. Матери в саду не было. Отец медленно двинулся по центральной тенистой дорожке, в листве деревьев шумел ветер и как будто гнал к нему тучи золотистых насекомых.

В начале дорожки, что вела к дому, отец остановился. Из кухни доносились голоса. Он почувствовал, что у него перехватило дыхание. Ноги подкашивались. И все же он двинулся вперед, напрягая слух.

Подойдя к крыльцу, он узнал наконец голос Жюльена.

42

Когда отец вошел, Жюльен и его невеста сидели за столом. Аппетитный запах поджаренного сала наполнял кухню. Жюльен обнял отца, потом, подтолкнув вперед девушку, которая стояла чуть поодаль, сказал:

— Это Франсуаза... Знаешь, ты можешь ее поцеловать.

Старик поцеловал девушку.

— Ты весь вспотел,— заметил Жюльен.— И вид у тебя совсем замученный.

— Я отвык ходить.

Отец уселся.

— Я собрала им поесть,— сказала мать.— Они выехали в пять утра и по дороге сюда трижды пересаживались с одного грузовика на другой.

Отец смотрел на стол, где стояла тарелка с маленьким кусочком масла, а рядом — хлеб, варенье и корзинка с фруктами.

— Жюльен привез американское сало,— продолжала мать,— хочешь попробовать?

— Сделай ему яичницу, как нам,— посоветовал Жюльен.

Отец колебался. Он переводил взгляд с Франсуазы на сына, потом на стол.

— Это не сало,— пояснил Жюльен.— Это бекон.

Вмешалась Франсуаза:

— Все равно сало, только что название другое.

— Так или иначе,— проговорил отец,— думаю, закусить мне не вредно. А потом уже одиннадцать пробило. Значит, поем чуть раньше, и все.

— Одно яйцо или два? — спросила мать.

— А у тебя их много?

— Четыре штуки осталось, но Жюльен обещает раздобыть завтра еще.

Мать уже положила на сковородку два ломтика сала. Кухня наполнилась приятным запахом. Казалось, уже одним этим запахом можно было насытиться, и отец почувствовал, как у него потекли слюнки.

— Если можно, сделай два,— начал отец,— для такого случая куда ни шло... — Он остановился, взглянул на стол и спросил: — А ты? Ты что не ешь?

— Мне не хочется,— ответила мать.— Я съем немного варенья и грушу.

Отец ел неторопливо, наслаждаясь каждым куском. С минуту он был всецело поглощен едой. Яйца, уютная кухня. Молчаливая девушка чистит большую грушу из их сада. Жюльен лакомится вареньем. А мать смотрит на них. Покой. Мир. Яйца и сало такие вкусные, и если бы в дополнение к ним еще ломоть настоящего белого пышного хлеба...

Жюльен рассказывал, как они добирались сюда. Отец слушал, но перед его глазами невольно вставали те картины, что он видел в городе этим утром. Возвращаясь домой, он собирался обо всем рассказать жене. Но теперь не решался. И мешало ему не присутствие Жюльена, а присутствие этой молчаливой девушки, о которой он ничего не знал. Когда их взгляды встречались, она застенчиво улыбалась. Отец старался ответить на ее улыбку, но ему было не по себе.

Мать подробно обо всем расспрашивала: как Франсуаза сумела добраться к себе в Сен-Клод, а потом возвратиться в Лион? Зачем она совершала эту поездку? Как освобождали Лион?

И почти всегда отвечал Жюльен. Он смеялся. А под конец сказал, что Франсуаза была участницей Сопротивления.

— Она выполняла важные поручения,— сказал он.— Осуществляла связь между одной из подпольных организаций Лиона и партизанами, действовавшими в горных районах. Это было очень опасно. Если бы немцы схватили Франсуазу и обнаружили то, что она перевозила, ее бы расстреляли на месте. Но она, конечно, не могла вам об этом сказать, когда в первый раз приезжала сюда.

Мать смотрела на девушку с нескрываемым восхищением. И все же полушутя, полусердито спросила:

— Вы боялись, что я не умею держать язык за зубами?

— Нет,— сказал Жюльен,— но таково непреложное правило. Даже я толком не знал, что именно она делает.

Мать недоверчиво посмотрела на него:

— А разве ты не участвовал в Сопротивлении?

— Нет.

— Он не входил ни в какую подпольную организацию,— вмешалась Франсуаза.— Но работал на нас. И рисковал не меньше тех, кто сражался, а может быть...

Жюльен прервал ее:

— Молчи, молчи. Стоит ли об этом говорить?

Воцарилась тишина. Отец осушил свой стакан. Жюльен протянул ему сигарету и сказал:

— Бери, это не американские.

— Кстати, а ты не хочешь американских сигарет? — спросила мать.— Отец их много принес, а курить не может.

— Нет, оставь их себе. Дашь мне только несколько пачек, я попробую выменять их на яйца и масло для тебя.

Снова наступило молчание. Молчание, в котором, казалось отцу, таилась какая-то невысказанная угроза.

— А как получилось, что вы стали участвовать в Сопротивлении? — поинтересовалась мать.

Франсуаза подняла глаза. Поглядела поочередно на родителей Жюльена, потом спокойно, но твердо сказала:

— Мой старший брат — член коммунистической партии. Так что мне не пришлось особенно долго раздумывать, перед тем как самой в нее вступить.

43

В самом начале первого отец поднялся в спальню отдохнуть. Он сослался на то, что прогулка по городу утомила его. И это была правда. После утреннего похода он едва держался на ногах, но не потому, что проделал большой путь. Главную роль тут сыграла новость, которую он неожиданно узнал за столом и которая оглушила его, как удар кулака.

Боже правый! Столько бороться, столько трудиться, столько страдать на протяжении этой треклятой жизни и под конец прийти к такому!.. Его сын — чуть ли не коммунист!

Отец лежал, вытянувшись на кровати. Его уже дважды душил приступ кашля,— почти месяц он не испытывал такого удушья и теперь совсем обессилел.

Коммунист! Это слово всей своей тяжестью легло ему на грудь. Давит, как чугунное ядро. Кажется, вот-вот расплющит.

Поль десятки раз объяснял ему, что такое коммунизм. Так что он все себе ясно представляет. Как только немцы будут разбиты, все коммунисты возвратятся восвояси. С оружием. Они будут господами положения. Войдут к нему в дом. И скажут:

«Папаша Дюбуа, у тебя больше ничего нет. Вот тебе талон, ступай с ним в богадельню. Твой дом теперь наш. Твои ценные бумаги тоже наши, и сад, и инвентарь. Все. Ты будешь жить в богадельне. Теперь тебе больше ничего не нужно».

Они придут. И среди них будут Жюльен и эта девушка. Эта девочка, такая тихоня на вид. Тихоня, а участвует в войне. Живет с его сыном еще до свадьбы, мало того что прибрала его к рукам, а теперь еще толкает к коммунизму. Надо признаться, что Жюльен и сам к нему тяготел!

Стало быть, политика и война непременно все портят? Думаешь, что избавился от невзгод, на самом же деле это не так. Беда входит в дом. Она там, внизу. И готова все отнять.

Отец вспомнил соседскую старуху. Пожар оставил ей, по крайней мере, чайник; знать бы, оставят ли ему хоть что-нибудь Жюльен и его дружки?

Нет. Это просто невозможно! Почему его постоянно преследуют неудачи? Что он такого сделал? Ничего... Всю жизнь работал. И только. Может, он слишком много работал и недостаточно думал о самом себе? Если бы он прожигал жизнь, как другие, он, возможно, умер бы уже много лет назад, но, по крайней мере, пожил бы в свое удовольствие и не дотянул бы до этой злосчастной войны.

И все-таки работа приносила ему больше всего радости. А теперь...

Отец тщетно искал ответа на мучительные вопросы. Он поворачивался с боку на бок, затем опять лег на спину и поправил подушки. Он оставил ставни чуть приоткрытыми. И ему видна была узкая полоска ясного неба. Из сада, дремавшего на солнце, в комнату проникал горячий воздух. Ничто не шевелилось. Мать, должно быть, одна,— ведь Франсуаза и Жюльен говорили, что пойдут повидаться с друзьями. Верно, с коммунистами.

Итак, одна война окончилась, готовится другая. Она уже тут. В его доме. Назревает война в семье, она вот-вот столкнет его с женою. Но если им придется лишиться всего добра, неужели мать и на сей раз будет

поддерживать этого мальчишку и его сумасбродные идеи? Когда Жюльен вернулся после обучения у кондитера, эти идеи уже засели у него в голове, и тогда мать говорила:

«Если бы хозяин его не эксплуатировал, не обращался с ним, как с рабом, Жюльен бы не стал таким».

Но ведь теперь уже нет хозяина, который его эксплуатирует. Теперь возле него только эта девушка, она-то и сбивает его с толку. И это, пожалуй, еще хуже.

А что Жюльен собирается делать? Чем они будут кормиться? Картинками? Политикой?

По мере того как отец ломал голову над этими вопросами, боль, которая теснила ему грудь и мешала дышать, превращалась в гнев. Больше всего его обижала несправедливость, жертвой которой он себя чувствовал. Ведь он никогда не занимался политикой. Ведь он всегда стоял в стороне от всяких распрей и партий. И вот сейчас оказался между двух своих сыновей, которые и раньше-то не любили друг друга, а теперь и вовсе станут врагами.

И все это затевается где-то там, за пределами его дома. Точно огромное колесо приходит в движение... Оно вертится, вертится, и вот тебя уже втянуло в него, потащило, а ты даже не в силах что-либо предпринять, хоть что-то спасти.

У него ничего нет. Только две руки, которые еще могут прокормить их, мать и его самого... Только огород, что ждет его под палящим солнцем. В последние дни он мало работал. Все поросло травой. Ею поросли уже не только дорожки, она подбирается и к грядкам с овощами, их уже давно надо прополоть. Солнце сожгло салат, который он только недавно пересадил. Надо встать, накачать воды, чтобы она немного согрелась перед поливкой. Надо... Надо ему вновь обрести прежнюю силу и волю. Но в этот вечер, быть может, из-за его веры в то, что возвращение Жюльена будет означать для них долгожданный конец войны, в этот вечер отец впервые в жизни не ощутил в себе ни силы, ни мужества, ни желания вновь взяться за привычный труд. И это было все равно, как если бы у него не было желания жить.

44

Когда отец сошел вниз, в кухне он уже никого не застал; штора была опущена, ставни прикрыты. Он налил полстакана воды, растворил кусок сахару и таблетку аспирина. Выпил, взял свою полотняную шляпу и направился в сад.

Мать сидела на скамье. Рядом с нею стояла большая корзина со сливами, она брала сливы по одной, вынимала косточки и обрезала сгнившие части. Обрезки она бросала в салатник, который пристроила на коленях, а хорошие сливы опускала в большую кастрюлю, стоявшую у ее ног. Когда отец подошел, она обтерла кончик ножа о край салатника и переставила салатник на скамью. По взгляду жены отец понял, что она хочет сообщить ему что-то важное.

Он остановился. Тишину нарушало только жужжание ос, которых привлекали сливы. Мать молчала, и отец спросил:

— Собираешься варенье варить?

— Да. Жюльен нарвал слив перед уходом.

— Косточки не выбрасывай. Они, когда высохнут, хорошо горят.

— Знаю.

Снова молчание.

Отец переступил с ноги на ногу. Мать поднялась и сказала:

— Тут Мишлина приходила.

— Вот как! А я и не слышал, хотя и не спал.

— Она не вошла в дом... Очень торопилась... И не хотела тебя беспокоить.

Отец почувствовал, как у него сжалось горло. С усилием он спросил:

— Что там у них?

Мать замялась, опустила глаза, потом подняла их и прошептала:

— Они арестовали Поля.

Отец невольно сжал кулаки. Отошел на несколько шагов, остановился, постоял в нерешительности, потом вернулся к жене и проворчал:

— Кто это «они»?

— К ним пришли два жандарма и несколько партизан.

Она немного помолчала перед тем, как ответить, но выпалила эти слова одним духом, будто испытывала потребность поскорее от них отделаться.

— Ну и дела,— пробормотал отец.

Внезапно старик почувствовал, что у него опустились руки. Он с утра боялся этого известия, и все же оно ошеломило его.

— Надо что-то делать,— сказала мать.— В конце концов ему могут поставить в вину только одно: торговлю с немцами... Но ведь это еще не преступление.

Она сказала именно то, что хотелось выкрикнуть отцу. И сказала это она. Без всякого гнева. Только в глазах у нее что-то мелькнуло, как будто она хотела прибавить:

«Мне жаль тебя, мой милый... Ведь это твой сын».

— Но я, я-то что могу сделать?

— Ничего не можешь... И Мишлина это знает. Но она подумала, что сообщить тебе все же нужно... Она также подумала, что ты, быть может, сходишь к Вентренье. Кажется, он теперь во главе нового муниципалитета.

Отец вздохнул. Он представил себе Вентренье в мэрии. Попытался вообразить атмосферу, которая там царит. После того, что он собственными глазами видел утром в городе...

— А я, я подумала, что, может, Жюльен... — сказала мать.— Ведь если его невеста знает многих участников Сопротивления...

Она умолкла. У отца перед глазами плясали тысячи черных точек. Он без сил опустился на скамью.

— Тебе нехорошо? — всполошилась мать.

— Ничего... Сейчас пройдет.

— Может, принести воды?

— Нет. Я только что принял таблетку.

Он снова вздохнул. Просить коммунистку вступиться за Поля? Нет. Об этом и думать нечего.

— Ты сказала Мишлине, что...

Он так и не смог выговорить это слово. Но мать, должно быть, поняла, потому что быстро сказала:

— Я только упомянула, что девочка — участница Сопротивления.

— А что она на это сказала?

— Ничего... Только плакала...

Мать села рядом с мужем. Казалось, летний зной внезапно усилился. Ветер стих. Усталые деревья сгибались под тяжестью дневной жары. Жужжание насекомых слилось в сплошной, непрерывный гул, и это усиливало давящую атмосферу душного дня.

Отец уставился на затененную листвой дорожку, но он ничего не видел. В голове было пусто, в ней только монотонно, как жужжание мух, звучали одни и те же слова:

«Они не захотят... Они ничего для него не сделают. Ничего...»

45

Мать приготовила салат из помидоров, сварила фасоль, которая росла у них в огороде, и открыла большую банку с кроличьим паштетом собственного приготовления. Соседка одолжила ей несколько яиц, чтобы она могла сделать крем из банки сгущенного молока и американского шоколада, который привез Жюльен. Если бы не хлеб, то обед был бы не хуже довоенного. Отец два или три раза приходил с огорода, чтобы поглядеть на еду и вдохнуть ее запах.

— Да, обед получится на славу,— приговаривал он.— Но всякий раз что-нибудь да испортит человеку удовольствие, это уж непременно.

— Вот увидишь, все образуется,— отвечала мать.— Если дети ничего не смогут сделать, завтра утром ты отправишься к Вентренье.

Отец старался взять себя в руки, но тревога лишала его последних сил. Он полил грядки, которые совсем пересохли, потом сел на скамью. И просидел там до прихода Франсуазы и Жюльена. При виде их старик поднялся, заставил себя улыбнуться и сказал:

— Обед, должно быть, готов. Мать уж, конечно, расстаралась, настоящий пир устроила. Ступайте вперед.

Отец спустился в погреб и чиркнул зажигалкой. У него еще оставалось довольно много бутылок с выдержанным вином. Он отыскал одну из них, в ней было вино из винограда, что растет на склонах Юры,— оно было куплено лет за десять до войны. Он поднес бутылку к глазам и провел позади нее горящей зажигалкой. На дне виднелся небольшой осадок, но вино было прозрачное. Пробка, должно быть, сидела очень плотно, потому что бутылка была полна доверху. Отец понес ее с осторожностью, в лежачем положении, в каком она была в ящике. Когда он вошел, Франсуаза воскликнула:

— Зачем вы это?

— Ну, все-таки...— сказал отец.— Все-таки...

Он осторожно, стараясь не стукнуть, поставил бутылку на стол. Вытер горлышко концом фартука и отыскал в ящике шкафчика штопор.

— Этот годится,— сказал он.— Таким штопором откупоришь бутылку, не взболтав... А замутить этакое вино просто грех.

Вытащив пробку, отец понюхал ее, потом сжал пальцами, желая убедиться, что она не крошится. Потом поднял голову и встретил взгляд Франсуазы, которая с улыбкой наблюдала за ним. В ее взгляде было столько тепла, что у отца отлегло от сердца. У него было такое чувство, будто ласковое дуновение присоединилось к запаху вина, который уже распространялся по кухне.

— Как любовно вы обращаетесь с вином,— заметила Франсуаза.

— Да. Когда я разливал это вино по бутылкам, Жюльен еще пешком под стол ходил.

— Ну, ты в ту пору каждый год разливал вино по бутылкам... Должен признаться, я никогда не мог понять, как ты в них разбираешься, ведь ты никогда не делал наклеек.

— Не беспокойся, я свои запасы знаю.

Перед приходом молодых людей отец много раз повторял про себя:

«Как только они переступят порог, я заговорю о Поле. Надо сразу все выяснить».

А теперь все поворачивалось так, что он никак не мог начать этот разговор, хотя у него перед глазами неотступно стояли добрая улыбка и ласковый взгляд Франсуазы. Он все время напоминал себе об этом и думал:

«Она нам поможет... Если только в силах что-нибудь сделать, то поможет».

Раньше он побаивался этой девушки, а теперь, когда она была здесь, сидела с ними за одним столом, он, кажется, предпочел бы именно с нею поговорить наедине. А ведь коммунисткой-то была она. Ведь с нею, с Франсуазой, было связано это грозное слово, которое так не вязалось с ее ласковыми глазами. Жюльен не был членом этой партии. Он сам сказал. И все же отец больше всего боялся реакции со стороны Жюльена.

Они съели салат из помидоров, куда мать нарезала две большие луковицы и мелко накрошила петрушку. Все молчали. Отец незаметно наблюдал за остальными и каждый раз, встречаясь взглядом с матерью, старался дать ей понять, что заговорить должна она. Мать только вздыхала. Она разделила остаток салата между Франсуазой и Жюльеном.

— Ешьте, ешьте,— приговаривала она.— Кто знает, когда еще начнем нормально питаться.

— Ну, с американцами не пропадешь,— сказал Жюльен,— они нас завалят продуктами.

— Не в том дело,— вздохнул отец.— Война еще не кончилась. И даже когда она кончится, это еще не значит, что придет конец нашим бедам.

Он налил в стакан немного вина и, не выпуская из рук бутылки, пригубил его.

— Не потеряло крепости... А ну-ка, протягивайте стаканы, чтобы мне не замутить вина.

Они чокнулись. Мать тоже согласилась выпить глоток за счастье Франсуазы и Жюльена.

Вкусное вино превосходно сочеталось с паштетом из кролика. Давно уже отец не ел такого лакомого кушанья, и все-таки полного удовольствия он не получал. Ему нетерпелось узнать, что скажет Жюльен, узнав об аресте Поля, и в то же время он боялся этой минуты, ибо чувствовал, что спокойный уют этого вечера тут же развеется как дым. Теперь отец уже сам толком не знал, о чем он умоляет мать взглядом,— говорить или молчать.

И все же она заговорила. Она положила себе совсем немного паштета, съела его, тщательно вытерла тарелку кусочком хлеба, пригубила вина и сказала:

— Знаешь, Жюльен, у нас большая неприятность.

Сын взглянул на нее.

— Что такое?

Наступило молчание. Отец опустил голову. Мать продолжала:

— Днем заходила Мишлина... Твой брат арестован.

Мать никогда не говорила «твой брат», она всегда говорила: «Поль». У Жюльена вырвался короткий смешок.

— Говорить это грустно,— вымолвил он,— но этого следовало ожидать.

— Не будь таким жестоким, сынок. Ты отлично знаешь, что он ничего дурного не сделал.

Жюльен выпрямился, поставил локти на стол и сцепил пальцы у подбородка. Покачал головой, посмотрел на мать, потом на отца и выпалил:

— Ну и черт с ним! Этот тип торговал с фрицами все годы оккупации, а ты считаешь, что он ничего дурного не сделал? Путался с петеновской милицией! Давал деньги фашистским организациям Виши, а ты хотела бы, чтобы ему за это нацепили медаль!

— Жюльен, замолчи! — прикрикнула мать.

Сжав челюсти, отец с большим трудом сдерживался.

— Замолчи,— повторила мать.— Зачем ты нас огорчаешь?

— Огорчаю? А он, по-твоему, задумывался, огорчает он вас или нет, когда явился сюда, грозил петеновской милицией и честил меня грязным дезертиром?

Отец уже готов был вспылить, но увидел, как Франсуаза медленно протянула руку и сжала локоть Жюльена.

— Милый, в отличие от тебя я толком не знаю, что именно сделал твой брат,— сказала она.— Мне известно лишь то, что ты мне рассказывал. Я знаю, что даже экономическое сотрудничество с врагом заслуживает осуждения, но тебе не следует так выходить из себя. Твои родители огорчены... И это понятно.

— Уж не собираешься ли ты заступаться за моего братца?!

Жюльен произнес эти слова менее громко. И почти без гнева.

— Я за него не заступаюсь, но ты, похоже, стремишься его обвинить.

— Сама жизнь его обвиняет. И если его будут судить, пусть лучше меня не просят давать свидетельские показания, потому что я буду вынужден сказать то, что слышал однажды вечером...

Отец уже несколько мгновений сидел, сжав кулаки. Теперь он стукнул по столу и закричал:

— Черт возьми! Я заранее знал... Я заранее знал... К чему было с ним говорить... Я заранее знал...

Гнев мешал ему подбирать слова. И, как всегда, на него напал приступ кашля, ему пришлось подняться, подойти к плите и сплюнуть в топку.

С трудом переведя дух, отец продолжал стоять у плиты, словно не знал, возвращаться ему на свое место или нет.

— Ну, садись же...— проговорила мать.

В кухне не осталось уже и следа от того тепла и уюта, какой царил здесь в начале обеда; казалось, аппетитные запахи и те улетучились.

— Ты отлично знаешь, что свидетельствовать против него я не стану,— сказал Жюльен.— Но и пальцем не пошевелю, чтобы ему помочь. Он вел себя как последний дурак, пусть теперь его судят, и пусть он расплачивается за свои дела.

— Конечно, некоторые люди просто заблуждались,— заметила Франсуаза.— И по отношению к ним суд...

Жюльен прервал ее:

— Это он-то просто заблуждался? Смеешься! Заблуждался из любви к наживе, это будет вернее. Но он достаточно хитер и еще выйдет сухим из воды!

Этого отец уже не мог вынести. Мать, сидевшая между столом и плитой, загораживала проход.

— Дай мне пройти,— проворчал он.

— Но послушай, Гастон, не собираешься же ты...

— Дай пройти, говорю я тебе!

Он выкрикнул эти слова. Мать поднялась и придвинула свой стул вплотную к столу. Поставив ногу на нижнюю ступеньку лестницы, отец обернулся и бросил в лицо Жюльену:

— Покорно тебя благодарю... Покорно благодарю.

Старик чувствовал, что на него вот-вот нападет новый приступ кашля. Он умолк и стал быстро подыматься наверх.

46

Отец долго простоял перед окном, распахнутым в сад, который уже окутала ночная тьма. Ему нужно было отдышаться. Нужно было подождать, пока восстановится дыхание, пока кровь снова начнет спокойно течь в жилах.

Затем он лег в постель, вытянулся под простыней, которая казалась ему сейчас такой тяжелой, и стал ждать.

Временами до него доносились громкие голоса из кухни. Может, мать старается вразумить Жюльена? Неужели она и впрямь пытается защитить Поля? А, может, Франсуаза хочет заставить этого упрямого малого прислушаться к доводам рассудка?

Напрасный труд. Отцу это ясно. Во взгляде Жюльена он уловил твердую решимость ничего не делать для Поля. Но разве сам он, отец, не виноват отчасти в том, что между его сыновьями легла пропасть? Разве пытался он хоть когда-нибудь их сблизить?

Нет. Не пытался. Всю жизнь, изо дня в день, он тянул лямку, работа постоянно торопила, подгоняла его. И такая жизнь никогда не оставляла времени по-настоящему задуматься над тем, что же разделяет братьев. Что именно? Слишком большая разница в возрасте? То, что у них разные матери? Безразличие старшего к младшему?

Да. Все это, но еще и другое. Было еще и то, что заложено в человеке и что трудно определить словами. Нечто такое, что ускользает от тебя, когда ты всего лишь честный труженик, целиком поглощенный работой. То, что как будто не имеет значения, но только до тех пор, пока не произойдут события, которые сталкивают людей друг с другом.

Словом, во всем виновата война. Отец это знает. Но только до конца объяснить себе почему, он не умеет. Однако теперь-то война ведь отодвинулась. Теперь-то люди уже могут начать жить по-прежнему, так неужели нельзя все забыть?

Он повторяет это про себя, но тут перед его мысленным взором возникают сожженные дома, старуха с чайником и труп подмастерья булочника на тротуаре.

Кто виновен во всех этих преступлениях? Во всех этих развалинах? Кто может заплатить за эти разрушения? Кто облегчит людям бремя их горестей?

Эта мысль неотступно терзает его, точно она проникла в комнату вместе с душным дыханием летней ночи. Она норовиста, как необъезженная лошадь. Она здесь, рядом, но тщетны попытки схватить и обуздать ее.

Никогда, пожалуй, спальня не была так населена образами, как в этот вечер. Война покинула город, уступив место новой армии, чей лик уже не походит на лик войны. Проходящие через город американские солдаты, которые заигрывают с девушками, жуют, как бараны, жвачку и курят дамские сигареты,— это уже не война. Все, что от нее осталось, вошло в этот вечер сюда, в его комнату, и ему никак не удается побыть одному. Без сомнения, это происходит потому, что войне нужен мрак. Ведь именно война ввергала людей в беспросветный мрак все долгие месяцы, когда они даже не замечали смены времен года.

Отец встает. Пол холодит его босые ноги. Он подходит к окну, широко растворяет ставни, наклоняется, чтобы закрепить их, и шепчет:

— Этот ветер нагонит дождь... Раз он поднялся в такой час, значит, польет еще до рассвета.

С минуты он стоит у окна. Глубоко вдыхает свежий воздух, гонимый ветром, который перевалил через холм и накатывает на город, как река, текущая между небом и землей. На одной стороне темного небосвода погасли звезды. Туч не видно, но они тут. Они несут с собою влагу, которой жадно ждет сад.

В кухне еще слышны голоса, но отцу уже больше не хочется встать, тихонько спуститься вниз и узнать, что там говорят о его старшем сыне.

Застоявшийся в спальне воздух освежается легким дуновением. Это еще не прохлада, но уже ее предвестие.

47

Потянулись три томительных дня.

В первый день шел дождь. Накануне отец не поинтересовался, где будет спать Франсуаза. Утром он спросил:

— Где они?

— Сам понимаешь, девочка не могла здесь оставаться.

— Ну и как же?

— У нее нашлись друзья в городе, они и приютили их обоих.

— Очень рад.

Отец сам чувствовал, что он слишком суров.

Мать прибавила:

— Сегодня они обедают не у нас.

— По мне...

Отец вышел из дому и отправился в сарай, где провозился почти весь день. Руки его машинально делали то одно, то другое, голова тоже была занята разными мыслями.

Тем не менее он время от времени поглядывал на дорожку. К вечеру на ней показались Франсуаза и Жюльен. Они вошли в дом, однако отец продолжал работать.

Молодые люди пробыли с матерью не менее часа. Затем пришли к нему в сарай. Они обняли старика, и Жюльен сказал:

— Вечером мы приглашены в гости. Придем завтра.

Он сделал шаг к двери, остановился и достал из кармана непромокаемого плаща пачку табаку.

— Держи. Я обменял его на американские сигареты,— сказал он.

— Ну зачем?..— начал отец.— Не нужно мне.

Но Жюльен уже был за дверью.

Весь второй день отец работал на огороде, отрываясь, только чтобы перекусить и немного передохнуть. Солнце снова светило, но дождь разрыхлил почву, и обрабатывать ее стало легче.

Жюльен и его невеста ели вместе со стариками. За столом почти все время молчали. В конце ужина Жюльен сообщил, что они нашли шофера грузовика, который согласился отвезти их в Лион.

— Боже ты мой, как недолго вы погостили,— вздохнула мать.

— Мы еще приедем,— утешила ее Франсуаза.

Молодые люди уехали на третий день утром.

Мать проводила их до садовой калитки, а отец оторвался на минуту от работы, попрощался и снова вернулся к прерванным занятиям.

Его младший сын уезжал с этой девушкой, о которой он, отец, знает только, что она коммунистка и что у нее очень ласковый голос и добрые глаза.

Когда мать возвратилась, старик разогнул спину, положил обе руки на рукоятку цапки и сказал с деланной улыбкой:

— Ну, по крайней мере, они нас недолго стесняли.

В ответ мать только чуть развела руками и бессильно уронила их. Она беззвучно плакала.

— И мы по-прежнему мало что знаем об этой девочке,— продолжал отец.

Мать взглянула на него. И он угадал, о чем она думает: «Ты-то, конечно. Потому что, не успев поесть, тут же уходил к себе, как дикарь. Зато я с ней разговаривала».

Она ушла. Отец ее не удерживал. Слезы жены не тронули его.

Немного погодя мать вернулась. Она уже не плакала. Подойдя к мужу, она спросила:

— Стало быть, ты и в самом деле не собираешься сходить к Вентренье?

Отец приподнял каскетку, вытер вспотевший лоб и лысину. Он высморкался, неторопливо сложил носовой платок и, сунув его в карман, сказал:

— Нет... Это ничего не даст. Все они одного поля ягода. Не хочу нарываться на лишнее оскорбление.

Он помолчал. Мать тоже ничего не сказала, но уйти не ушла, и тогда отец, повысив голос, прибавил:

— А теперь я хотел бы, чтоб меня оставили в покое... Понимаешь? Пусть думают что хотят, но меня пусть оставят в покое... Пусть дадут мне спокойно работать и спокойно околеть... Вот все, о чем я прошу!

Жена несколько мгновений смотрела на него, потом ушла, не проронив ни слова.

И старик вернулся к привычному распорядку дня: работа, обед, короткий отдых, снова работа. При этом он беспрестанно повторял сквозь зубы: «Спокойно околеть... Спокойно околеть...»

Так продолжалось до самого вечера, пока к ним не явился пятнадцатилетний мальчишка, который работал у Поля в качестве рассыльного. Он прислонил велосипед к самшиту и направился к отцу. Заслышав стук калитки, прибежала мать.

— Я к вам от хозяина,— сказал рассыльный.— Он просил передать, чтоб вы не беспокоились. Он только что вернулся домой.

Старики переглянулись. Мальчик прибавил:

— Все у него в порядке... Хозяин на этих днях зайдет к вам повидаться. Он вам все объяснит... Произошла ошибка.

Мальчик подождал еще немного. В его последней фразе отцу почудилась ирония, но старик ничего не сказал.

— У вас не будет никаких поручений? — осведомился рассыльный.

— Нет,— сказала мать.— Передайте, что мы им кланяемся.

Старики проводили взглядом мальчика, который взял велосипед и пошел к выходу. Когда он был уже у калитки, отец вытащил из кармана жестянку с табаком и принялся свертывать сигаретку.

— Вот видишь...— сказал он.— Произошла ошибка... Ошибка или подлость со стороны людей, которые завидовали его удаче... Эх, теперь такое начнется, будут сводить личные счеты, подсиживать друг друга!

Он замолчал, чтобы закурить, мать воспользовалась этим и отошла. Отец провожал ее глазами, пока она не вошла в кухню.

Держа в одной руке цапку, а в другой сигарету, старик долго глядел в сторону улицы. Сквозь деревья видны были проходившие мимо люди, но различить их лица он не мог. Проехало несколько машин. Жизнь города обретала прежний ритм, сильно отличавшийся от того, какой установился во время оккупации. Но в саду это не ощущалось, тут царил чуть хмурый летний вечер. От земли, уже высохшей сверху, но взрыхленной его цапкой и сырой в глубине, исходил какой-то приторный запах.

Жюльен уехал. Поль вышел из тюрьмы. И они, старики, опять останутся одни на том коротком отрезке пути, который им еще остается преодолеть, прежде чем они достигнут последнего предела. Он-то уйдет первый, это вполне естественно, он ведь старше. Но он всегда был старше. Так что это не новость, однако он почему-то в первый раз спокойно думал о своем конце.

После его смерти, конечно, еще будут и в саду и в городе такие же вечера, но будут также и ссоры, и ненависть, и войны — все, что отравляет жизнь.

Да, ему многое отравляло жизнь. Вот почему он теперь вправе рассчитывать хотя бы на некоторый покой, ради этого он готов на еще большее одиночество.

Здесь, в глубине его сада, такой покой возможен. Для этого нужно только заниматься своими делами, не думать ни о других, ни о том, что станется с твоим добром, когда самого тебя уже не будет.

Отец стряхнул с себя овладевшее им оцепенение. Солнце давно уже скрылось за холмом. Он вытащил цапку из земли, почистил зубья небольшим скребком, подвешенным к фартуку, затем неторопливо пошел к дому, над которым поднимался дымок: на плите грелся суп к ужину.

Часть четвертая

В своем саду

48

Осень медленно оголяла порыжевший сад. Облетали листья и с деревьев на склонах холмов Монсьель и Монтегю. С каждым днем на землю все больше надвигалась тьма.

Отцу была хорошо знакома эта зимняя тьма, которая словно бы исходит от земли, когда в небе еще полно света и леса щеголяют в золотом и багряном уборе. Занимаясь своей обычной работой, он ежедневно отмечал признаки ее приближения. Внимательно следил за ветром. Теперь ветер все чаще дул с севера. И это была верная примета, что злая зима рождается там, далеко-далеко, где еще шла война, которая так стремительно прокатилась по его родным местам, что он и разглядеть-то ее толком не успел.

Между тем газеты все еще были полны войной. Они говорили также и о том, что она оставила после себя. Ведь следом за ней шли злоба, ненависть, распри, и всему этому, казалось, не будет конца.

По мере того как осень вступала в свои права и дни укорачивались, в долгие вечера оставалось больше времени для раздумий. Отец пробегал глазами газетные заголовки, но читать статьи ему было трудно. Да и, по правде говоря, они не очень его интересовали. Вот почему, пока мать после ужина убирала посуду, он облокачивался на стол и медленно пил липовый отвар или настой из вербены, который жена готовила для него.

Старики почти не разговаривали. Когда с вечерней почтой приходило письмо от Жюльена, мать дожидалась конца трапезы, а потом читала его вслух. Время от времени она останавливалась, будто не могла разобрать какое-нибудь слово, и говорила:

— Этот непутевый малый пишет все неразборчивее. В каждом письме встречаются слова, которые я никак не могу прочесть.

Отец ничего не говорил, но он понимал, что иногда жена опускает кое-что из того, о чем пишет сын. Письма были короткие, в них то и дело упоминалось, какая в городе нелегкая жизнь. Закончив чтение, мать отправлялась в столовую и приносила оттуда небольшую чернильницу, ручку и лист бумаги, на котором вверху, над графами для цифр, стоял штамп булочной. Мать сохранила целую пачку этих бланков и писала на них все свои письма.

Она садилась за кухонный стол и писала, а отец смотрел на нее. Дело у нее подвигалось медленно, она часто останавливалась, чтобы поудобнее взять распухшими от ревматизма пальцами ручку, которая все время выскальзывала. Мать часто говорила:

— Надо бы мне завести ручку потолще. Эта уж больно мала и тонка. Пальцы ее почти не чувствуют.

Как-то вечером отец сказал:

— А ты обмотай ее веревочкой. Она и толще станет, и скользить не будет.

Мать послушалась, и отец заметил, что писать ей стало легче.

Всякий раз, когда жена откладывала ручку, он спрашивал:

— А ты приписала, что я их обнимаю, а?

И всякий раз она отвечала:

— Ну, конечно.

Вот так и шла их жизнь. Тянулась потихоньку да помаленьку. Дни медленно угасали, уступая место вечерам, которые не приносили ничего нового. В сентябре Жюльен несколько раз упоминал в своих письмах о предстоящей свадьбе, он писал, что они решили сыграть ее в октябре в Сен-Клоде, в родном городе Франсуазы. И прибавлял: «Будете только вы да отец Франсуазы».

Мать, видимо, примирилась с этим. А отец вздыхал:

— Ну и времена нынче, господи прости...

Больше старики ничего не говорили. Просто ждали. И вот 17 октября с утренней почтой пришло письмо.

Ярко светило солнце. Отец уже целый час прилаживал подпорки к испанскому артишоку. Несмотря на северный ветер, гнавший сухие листья вдоль дорожки, он вспотел. Время от времени он распрямлялся, чтобы вытереть пот со лба и перевести дух. Вдруг он увидел, что жена медленно идет от калитки, читая какое-то письмо.

Она остановилась прежде, чем поравнялась с ним. Отец прищурился, чтобы лучше видеть. Ему не удавалось разглядеть выражение лица жены, потому что ее опущенная голова была в тени, но все же он чувствовал, что остановилась она не только для того, чтобы лучше разобрать написанное. Ни от кого, кроме Жюльена, они писем не получали. Отец сразу подумал о нем, и его охватило предчувствие беды.

У него стеснило грудь, и по спине, под рубашкой, пробежала дрожь. Возможно, это ветер холодил его разгоряченное тело, а возможно, это был страх, в котором он не хотел самому себе признаться.

Старик колебался. Потом, увидев, что мать двинулась с места, воткнул в землю заступ и пошел ей навстречу.

Они остановились в двух шагах друг от друга. Мать опустила руку с письмом, и та бессильно упала на передник. Другая ее рука также повисла вдоль тела. Она медленно подняла голову. Ее сморщенные губы дрожали. По щекам текли слезы.

Прежде чем отец успел раскрыть рот, она с трудом заставила себя улыбнуться и горестно покачала головой, как будто хотела сказать:

«Нет, нет... Не тревожься, ничего страшного».

Отец видел, как она судорожно глотает слюну. И морщины у нее на шее то углубляются, то разглаживаются, и тогда на загорелой коже отчетливо выделяются светлые бороздки. Она с усилием овладела собой и наконец чуть слышно сказала:

— Какая же я глупая... Какая же я глупая, что плачу из-за этого... Хорошо и так... Хорошо и так...

— Но что случилось?

Мать показала на письмо.

— Они решили пожениться... Они решили пожениться в Лионе. И совсем никого не приглашают... Чтобы избежать лишних расходов... Вот... Вот и все.— Она торопливо прибавила, словно боялась, что не сможет сказать все, что хотела: — Придешь домой, я прочту тебе его письмо.

Мать прошла немного правее, чтобы не задеть отца, и быстро направилась к дому.

Отец не почувствовал ничего, кроме некоторого облегчения, потому что за минуту перед тем боялся услышать о каком-то несчастье. Он ощу-

тил облегчение также и потому, что предстоявшая поездка в Сен-Клод страшила его. Теперь все это миновало. Жюльен женится. Но никакой свадьбы не будет. И тут отец вдруг подумал о том, что в погребе у него стоит вино, которому столько же лет, сколько сыну, и что он берег его специально для этого случая. Эта мысль ничуть не взволновала отца. Она пришла ему в голову только потому, что, когда речь заходит о свадьбе, совершенно естественно, даже привычно вспомнить о вине. Но, в конце концов, нынче все делается не так, как положено, и ничему не следует удивляться.

Он знал, что мать сидит и плачет. И не сразу пошел домой.

Она сидела за столом. Глаза у нее распухли. Она пристально смотрела в окно. И ни один мускул на ее лице не вздрагивал.

Отец опустился на стул напротив жены и молча ждал, пока она начнет читать ему письмо. Прошло какое-то время. Дверь была широко раскрыта. На плите варились очистки, и над чугунком поднималась тонкая струйка пара, которая от движения воздуха непрестанно меняла очертания.

Наконец мать медленно повернулась к столу и слабым, чуть дрожащим голосом начала читать:

— Вот что он пишет: «Дорогие родители, я хорошо понимаю, что эта новость вас огорчит, но мы решили пожениться здесь и никого не приглашать, чтобы не тратиться на поездку и избежать расходов. Отец Франсуазы болен, и потому сыграть свадьбу у него все равно было бы нельзя. А потом — мать Франсуазы умерла всего год назад и веселье там неуместно... Денег у нас осталось совсем мало. К тому же Франсуаза нашла себе место секретаря у одного адвоката, я его знаю, потому что продавал ему картины. Отлучиться на несколько дней было бы трудно... А вас, я знаю, поездка утомила бы. К тому же вам тут негде было бы жить, ведь у нас одна комната и одна-единственная кровать. Я запросил все нужные бумаги. Надеюсь, через некоторое время картины станут продаваться лучше и у нас будет достаточно денег, чтобы снять квартиру. И вы сможете приехать, когда родится внучка, потому что, я думаю, у нас будет дочь. А тогда ваш приезд будет гораздо важнее, чем сейчас, ведь для нас брачная процедура — пустая формальность. Франсуаза на работе, но она наказала мне крепко поцеловать вас обоих. Я тоже целую вас от всего сердца».

Мать прочла все это без пауз, останавливаясь только, чтобы перевести дух. Потом положила письмо на стол и прибавила:

— Вот так-то... Он и дату сообщает... Это будет послезавтра.

Отец вздохнул. Внешнее спокойствие матери не обмануло его. Он понимал, что она изо всех сил удерживает слезы, и ему захотелось сказать ей что-нибудь ласковое, как-то утешить. Он подыскивал слова, но они не приходили. Тогда он снова вздохнул, приподнял руку, опять уронил ее на клеенку, потом медленно встал и направился к двери.

Он уже собирался выйти, и тут его наконец осенило.

— Надо бы им послать что-нибудь,— сказал он.— Уж не знаю что, может, посылку... Или немного денег. Они им, конечно, пригодятся.

Мать подняла голову и посмотрела на мужа. Она не улыбалась. Лицо ее было по-прежнему замкнуто, но светлые глаза благодарили его.

49

На следующий день мать отнесла на вокзал большую посылку, куда положила груши зимних сортов, несколько банок консервов, горшочек топленого масла, варенье и шоколад. Это было все, что ей удалось собрать. Отец смотрел, как она укладывает продукты, и покачивал голо-

вой. Он знал, что жена не ограничится посылкой. Он никогда не вмешивался в денежные дела, но этим летом они продали довольно много овощей и фруктов, и теперь он не без основания предполагал, что мать не все деньги снесла в сберегательную кассу.

В день свадьбы Жюльена мать сказала:

— Надо бы сходить на почту и отправить им телеграмму... Раз уж нам не пришлось быть там, пусть они хоть получат от нас поздравление.

Отец не возражал. Казалось, все это не слишком его занимало. Гораздо большее впечатление произвело на него то, как, оправившись от первого удара, мать теперь отозвалась на письмо.

— Оно, конечно, и нам не больно приятно знать, что они венчаются так далеко от нас и совсем одни,— сказала она.— Но прежде всего надо подумать о них. Для молодых людей такая свадьба — не велика радость.

Когда назначенный день миновал, она принялась ждать письма с описанием этой невеселой свадьбы. Отец чувствовал, как она вся напряжена и взволнована, а потому избегал с нею говорить. Между тем жизнь неторопливо шла по заведенному кругу: дом, огород, опять дом, опять огород. Ничего как будто не переменилось, и все же отец чувствовал: что-то еще должно произойти, что-то еще снова нависло над ними.

Наконец пришло письмо с кратким описанием брачной церемонии. Мать всплакнула, узнав, что Жюльен не венчался в церкви. Отец заметил:

— Это ничего... Это ничего не значит... Но вообще-то они не правы. Не стоит портить отношений ни с кем. Мало ли как жизнь повернется.

Он чуть было не сказал: «Меня это не удивляет, ведь она коммунистка!» Но удержался. В последнее время его все больше трогали огорчения жены.

Теперь они уже совершенно отгородились от остального мира. Вечера они проводили с глазу на глаз, днем работали бок о бок, и при таком положении вечно ссориться было просто нелепо. К тому же с некоторых пор мать тоже перестала раздражаться. Казалось, зимняя спячка, в которую постепенно готовилась погрузиться природа, мало-помалу овладевала и стариками. Мать еще больше сгорбилась. Лицо у нее сильно осунулось, а взгляд слишком часто блуждал в пространстве.

За весь ноябрь они только раз поссорились. Произошло это в четверг. Мать сходила на рынок, к одиннадцати часам возвратилась домой и сказала:

— Я только что повстречала мадам Греслен, заведующую детским садом... Давненько я ее не видала... Она сильно постарела.

Отец почти не знал госпожу Греслен, они только раскланивались на улице, но мать часто с нею беседовала, когда Жюльен ходил в детский сад.

— Ей уж, верно, скоро на пенсию выходить,— заметил он.

— Да она давно должна была бы выйти. А тут война, вот и получилось, что она смогла остаться еще на несколько лет... Что поделаешь, всякий старается хоть немного подработать. Ведь жизнь-то трудная.

Мать замолчала. Отец решил было, что весь этот разговор она завела просто так, чтобы хоть о чем-нибудь поговорить, чтобы ненадолго прервать молчание. Мать убрала купленные продукты, повесила в чулане сумку на дверь, вернулась в кухню и сказала:

— Сейчас, зимой, когда дел на огороде не будет, я бы тоже могла немного подработать на стороне.

Она снова замолчала. Отец, нахмурившись, посмотрел на нее. Но жена ничего больше не прибавила, и он в конце концов спросил:

— На стороне? Что ты имеешь в виду?

— Видишь ли, мадам Греслен сказала, что детскому саду нужны две женщины для работы в столовой. Чтобы кормить детей и... и убирать...

— Благодарю покорно! — взорвался отец.— Мы, конечно, не богачи, но я не позволю, чтобы ты мыла грязную посуду, как будто мы последние нищие. Не позволю!

Мысль, что его жена будет мыть чужие кастрюли, ожгла отца, как кнутом, и он не сдержался.

— Чего ты злишься,— сказала мать.— Я в этом не вижу ничего зазорного. Зато я немного подработаю и смогу помочь молодым.

— Помочь им? А нам кто-нибудь когда помогал? Неужто Жюльен не может вернуться к прежнему ремеслу или подыскать другую стоящую работу, вместо того чтобы малевать картины? На что они сейчас живут? На то, что получает Франсуаза! И ты считаешь, что это правильно? А теперь и сама хочешь на него работать! Выходит, две женщины должны трудиться, чтобы его прокормить...

— Замолчи, Гастон! Ты несправедлив. Ты прекрасно знаешь, что его каждый день могут мобилизовать, а потому никто его не наймет!

Мать тоже повысила голос, но это только еще больше распалило гнев отца, и он ударил кулаком по столу.

— Плевать я на все хотел. Но я не потерплю, чтобы ты, как нищенка, вытирала носы малышам и возилась в грязной воде... А ко всему еще люди подумают, что это я тебя посылаю гнуть спину, чтобы...

Как всегда, когда отец громко кричал, голос у него пропадал и переходил в мучительный кашель, который вырывался из его больных бронхов вместе с обильной мокротой. Сплюнув в топку и выпив стакан воды, который ему подала мать, он вернулся к своему стулу и тяжело опустился на него. Давно уже у отца не было такого приступа кашля, и теперь он сидел без сил, опершись локтем правой руки на стол, положив левую руку на колено и весь подавшись вперед, чтобы легче было отдышаться. Дремавшая в нем усталость сразу пробудилась. Навалилась на него всей своей тяжестью. Казалось, она пригибала его к полу, в который он вперил взгляд, не будучи в силах произнести ни слова.

День был хмурый и холодный. Да, зима уже на пороге. Зима, которой он так боялся последние годы. Неужели он и вправду так ослабел, что уже не может вынести никакого напряжения? Ведь уже дважды, в самый разгар зимних холодов, он сильно простужался и болел,— думал, что не доживет до весны. Неужели наступающая зима будет его последней зимой? Ему пришло в голову, что, быть может, жена потому и подыскивает себе работу, что предвидит его близкую кончину. Неужели она боится Поля? Она частенько говорила:

«Тебе пора подумать о завещании. Неужели это так трудно сделать?»

Отец поднял голову. Мать смотрела на него. Лицо у нее было грустное, а глаза будто говорили: «Бедный ты мой, бедный, до чего ты себя доводишь из-за каких-то пустяков».

Но вслух она только сказала:

— А все-таки постарайся меня понять.

Отец чувствовал, что не в силах продолжать спор, до того он устал. Он только слегка повел головой, так что нельзя было разобрать, согласен он с женой или нет. Что он должен понять? Спросить об этом он боялся. Он страшился снова услышать от нее, что он не вечен и что он ничего не сделал для того, чтобы обеспечить ее существование, когда его не станет. Возможно, мать ответила бы совсем не то, но он предпочитал оставаться в неизвестности... А главное, он предпочитал молчание. Он уже жалел, что не сумел подавить гнев, потому что его минутная вспышка нарушила домашний мир, в котором он больше месяца нежился, как нежится усталое тело в мягкой постели.

В этот день он окончательно понял, что мир, которого он так жаждал, может быть куплен только ценой его молчания. И он поко-

рился. До конца недели мать больше не заговаривала о работе в столовой, но отец ясно чувствовал, что решение ее твердо.

В понедельник утром, сразу же после завтрака, она спросила:

— Как ты предпочитаешь: чтобы я покормила тебя перед уходом или все приготовила, а ты сам поешь в полдень?

Отец не стал даже спрашивать, чем вызван ее вопрос.

— Не желаю я менять привычный распорядок,— проворчал он.— У меня еще хватит сил собрать на стол.

Он не спросил у матери, в котором часу ей надо уходить, когда она будет возвращаться домой, будет ли она питаться в детском саду, сколько станут ей платить. Все эти вопросы одолевали его с той минуты, когда он понял, что жена выполнит свое намерение, но он дал себе зарок ни о чем ее не расспрашивать. Мать хочет поступить по-своему. Она хочет жить так, как будет жить, когда его уже не станет, а потому лучше не нарушать того молчания, которое с каждым днем все непреложнее устанавливалось между ними. И когда наступит день вечного молчания, он не будет для нее таким тяжким.

Осень еще не совсем оголила деревья, но дождь, который уже три дня висел непроницаемой пеленою между низким небом и землей, еще больше отдалял дом от города.

Дождь этот возвещал приход зимы. От ее дыхания то и дело хлопали ставни, отрывался листок с посаженных вдоль стены виноградных лоз или с груши. Отец пристально глядел то на небо, то на блестящую, покрытую водой землю сада; никогда еще он не ощущал так глубоко угасание жизни в природе, которое знаменует собой близкий приход мертвящей зимней поры.

50

Так прошел ноябрь. Мать каждое утро уходила к половине одиннадцатого и возвращалась домой через четыре часа. Всякий раз она приносила в сумке хлебные корки для кроликов и бидон с супом, который подогревала к ужину.

С этим приходилось мириться. И жить, как живут бедняки. В сущности, они и были бедняками. Отец в конце концов это признал. Оба его дома не представляли никакой ценности. Война поглотила сбережения всех стариков.

Вот мать и пошла работать в столовую. В ее годы надо бы отдыхать, а она пошла в услужение. Она уходила из дому с улыбкой и возвращалась с улыбкой. Но с каждым днем лицо ее принимало все более землистый оттенок. Спина все сильнее горбилась, поясницу ломило. Мать никогда не жаловалась. Однако отец видел, как она растирает свои руки с искривленными пальцами.

— Мытье грязной посуды тебе не на пользу,— ворчал отец.

Мать только пожимала плечами:

— Пустяки... Пустяки. Ты ведь знаешь, зимой у меня всегда так.

Но это была неправда. Никогда еще отец не видел жену такой утомленной, а главное, никогда не слышал, чтобы она так кашляла, как теперь.

Когда он робко уговаривал ее отдохнуть, она отвечала:

— Дай уж мне дотянуть хотя бы до пасхи. Когда подоспеет работа в огороде, я брошу. Ведь маленький у них должен появиться на свет в конце марта. Вот тогда я и пошлю им немного денег... Не раньше. Хочу, чтобы они на малыша были.

Когда мать говорила о будущем внуке, ее лицо светлело. Как по волшебству проходила усталость. И в такие минуты отец старался ее не прерывать.

Жюльен написал, что один приятель подыскал им двухкомнатную квартиру в предместье Лиона. Однако квартира эта должна освободиться только в январе, и в ней совсем нет обстановки. Отец тут же сказал:

— У них ничего нет. Надо, чтобы они приехали сюда. Зачем нам вторая кровать в спальне? Пусть заберут ее. Да и еще что-нибудь найдется. В сарае у нас стоит стол, а в столовой слишком много стульев.

С этого дня то отец, то мать время от времени говорили:

— Слушай-ка, когда они приедут, можно будет дать им немного посуды... да еще вот этот шкафчик...

— Конечно. Вот только как они все это увезут?

— Даже если придется нанять грузовичок, все дешевле будет, чем покупать.

Сначала отец предложил отдать Жюльену мебель потому, что хотел заговорить об этом первым. Но у него слегка защемило сердце при мысли, что придется расстаться со многими вещами, у каждой из которых было свое место в доме. Затем, и сам не понимая почему, он начал испытывать почти радость, находя все новые предметы обстановки, которые можно было отдать сыну.

В долгие часы, когда жены не было, он иногда обходил дом, придумывая, что бы еще подарить молодым. Случалось, он мысленно представлял себе малыша, который еще только должен был родиться. У Поля не было детей и уже не оставалось надежды, что они могут появиться, так что рождение маленького Дюбуа, продолжателя рода,— дело немаловажное.

После освобождения города ни Поль, ни его жена не появлялись у стариков, но это было в порядке вещей — и прежде они иногда по нескольку месяцев не показывались. Как-никак они заняты своим делом. Торговля понемногу налаживается. Отец все время убеждал себя в этом, так ему легче было прогнать мысль, что недавние события могли окончательно отдалить друг от друга двух его сыновей и закрыть Полю дорогу в родительский дом. Впрочем, время все сглаживает.

Но время подгоняло также и зиму, которая быстро надвигалась.

Четвертого декабря, когда небо как будто с трудом решилось пролить слабый свет, чтобы возвестить наступление утра, северный ветер шквалом обрушился на сад. Голые ветви деревьев судорожно заметались. Виноградные лозы, посаженные вдоль стены, распрямились, потянулись к окну, дом протяжно застонал, ему вторило жалобное завывание огня в плите. А потом наступила тишина. Стоя у окна, отец несколько минут внимательно изучал облака, затем сказал:

— Ветер крепчает. Возможно, пойдет снег.

— Схожу-ка я за дровами,— заметила мать.— Если начнется снег, дрова будут уже принесены.

Она взяла пустую корзину. Второй порыв ветра со свистом налетел на сад, замяукал, зазвенел в водосточных желобах. Потом набрал силу. Накинулся на дом и пошел гулять, прижимая к кровле дым из трубы, трепля деревья и виноградные лозы.

Когда мать возвратилась, она с минуту стояла неподвижно, привалясь спиной к двери, и только потом с трудом проговорила:

— Ледяной ветер... Я чуть не задохнулась.

Отец принялся укладывать дрова возле плиты.

— Ты слишком много принесла. Такая тяжесть тебе не по силам.

— Нет... Но этот ветер захватил меня врасплох... На мне была только шерстяная кофта да платок. Я не думала, что такой холод.

Мать налила себе немного кофе с молоком, оставшегося от завтрака, взяла чашку в обе руки, чтобы согреть пальцы, и начала пить маленькими глотками.

Отец опорожнил корзину, подбросил в топку несколько поленьев и подошел к окну.

— Черт побери,— пробормотал он.— Этот проклятый ветер уже сорвал три мешка с испанского артишока... А ведь я привязал их веревками. Придется мне пойти...

— Не говори глупостей,— прервала его мать.— Ты ведь отлично знаешь, что если выйдешь в такую погоду, то всю зиму пролежишь в постели... Незачем спешить навстречу беде, она и без того не заставит себя ждать.

Мать поставила пустую чашку на стол и открыла дверь в столовую.

— Что ты собираешься делать? — спросил отец.

— Накину пальто. И пойду укреплю твои мешки. У меня еще хватит времени до ухода на работу.

— Господи,— простонал отец.— Подумать только, что я никуда не гожусь, едва наступают холода!

Мать надела грубошерстное пальто, перешитое из шинели солдата, которого они приютили во время отступления.

Отец по-прежнему стоял у окна и смотрел то на жену, то на свои артишоки. Еще несколько мешков вздулось. Если ветер опять наберет силу, он в конце концов все сорвет.

— Надо бы тебе захватить веревку и нож. Боюсь, что я подвязал их недостаточно прочно. Это старые веревки. Они столько раз мокли под дождем, что совсем сгнили. В погребе, за дверью, найдешь веревку покрепче.

Мать взяла небольшой острый нож, поправила платок на голове и вышла.

51

Как только мать вышла, отец снова стал глядеть в окно. Он услышал, как открылась дверь погреба. Долго же она ищет эту веревку! Ветер между тем продолжал свою разрушительную работу. Он стлался по земле, взбирался на невысокую насыпь, которую отец соорудил перед грядкой артишоков, норовил пробраться под мешки, а затем, точно хитрый зверь, собравшись с силами, разом надувал эти мешки. Они извивались в воздухе. Если мать замешкается, все веревки лопнут!

Когда она вышла наконец из-за угла дома, отец приотворил окно и крикнул:

— Сперва закрепи те мешки, что еще держатся... А там займешься другими!

Она утвердительно кивнула и направилась к грядкам. Ветер набросился на нее, как он набрасывался на растения. Пальто у матери развевалось, надувалось, открывая черную юбку. Отец видел, как она несколько раз качнулась в сторону, словно ее не держали ноги, обутые в сабо; он испугался, что она вот-вот упадет.

— Господи, да это что-то немыслимое, неужто ветер дует с такой силой? — бормотал он.

Когда мать наклонялась и, обхватив толстые растения, обвивала их веревкой, издали могло показаться, что она цепляется за них, боясь, как бы ее не унесло ветром.

Отец следил за всеми движениями жены. Должно быть, пальцы у нее онемели, потому что обычно она работала быстрее и с большей ловкостью. Видно было, что всякий раз она с трудом распрямляется. Иногда она вдруг останавливалась, и он никак не мог понять почему. Нагнувшись вперед, она подставляла спину ветру, слегка покачивалась, делала шаг в сторону, стараясь сохранить равновесие.

Мать подвязала четыре или пять артишоков, потом, подойдя к сле-

дующему растению, вместо того чтобы нагнуться, как она это делала раньше, начала медленно выпрямляться, поднося к груди руку, в которой держала пучок веревок. Рука ее разжалась, и веревки понеслись по ветру, словно обрывки серпантина, белея на фоне мглистого неба.

— Господи, веревки упустила! — вырвалось у отца.— Да что это она?

Мать сделала судорожное движение, пытаясь поймать веревки, но она только хватала воздух правой рукой и теперь выронила и нож. Так она стояла секунду или две, напоминая огородное чучело, наполовину вырванное ветром из земли, но еще сопротивляющееся его порывам. Потом колени ее подогнулись. Правой рукой она попыталась ухватиться за артишок, но пальцы ее лишь скользнули по намокшему мешку; она опустилась на колени, слегка качнулась, а затем медленно повалилась на левый бок и уткнулась лицом в землю перед грядкой.

— Господи боже мой,— пролепетал отец.— Да что с ней такое? Что это она?

Старик почувствовал, как у него сжалось горло. На миг он подумал, что жена просто потеряла равновесие, но она продолжала лежать все так же неподвижно. Только одна пола ее пальто, казалось, еще жила, вздрагивая под ударами холодного ветра.

Вцепившись рукой в шпингалет, отец прерывисто дышал, пригвожденный к месту мучительным страхом.

52

Отец и сам не мог бы сказать, сколько времени он так простоял. С ним творилось что-то непонятное. Он словно бы существовал вне времени и пространства. Был и здесь и где-то еще. Он видел, что мать лежит возле грядки с артишоками, и вместе с тем убеждал себя: этого не может быть, сейчас она войдет в кухню, растирая озябшие руки.

Потом он отошел от окна, сам не понимая, что побудило его это сделать. Силы вернулись к нему, вернулась и ясность мысли. Он торопливо натянул свою толстую вельветовую куртку и вышел.

На крыльце, пока отец сбрасывал ночные туфли и надевал сабо, он почувствовал, как холодный воздух охватил его, пронизывая насквозь. Он сжался, собрал всю свою волю и заставил себя двинуться вперед, преодолевая сопротивление тела, как всегда, коченевшего на холоде.

Он перешел через дорожку, и вот он уже у грядки. Он не сводит глаз с пальто матери. Ему кажется, что она шевелится... Он бы побежал, но боязнь упасть удерживает его.

Он наклоняется над нею. Осторожно трогает ее. Стоит и не знает, на что решиться.

— Что с тобой? Ты меня слышишь?.. Ты меня слышишь?

Он громко кричит.

Молчание.

Мать не двигается.

Отец опускается на колени, пытается подсунуть руку под неподвижное тело матери и немного приподнять ее... Она хрипит... Икает — один раз, другой... Лицо у нее багровое... Полуоткрытые глаза налиты кровью, веки чуть вздрагивают, точно от ветра.

— Господи боже мой... Господи боже мой,— стонет отец.

Он с трудом распрямляется. Чувствует свою полную беспомощность. Озирается по сторонам... Никого. Только северный ветер перехватывает дыхание и, как иголками, колет лицо.

Отец стоит в нерешительности. Неужели и он упадет тут и испустит дух вместе со своей женою на этой треклятой земле?

Эта мысль подхлестывает старика, как режущий порыв ветра. Из

недр его существа рвется вопль. Вопль этот застревает в горле и переходит в немой крик отчаяния.

И тогда отец снова нагибается. Становится на одно колено, крепко хватает мать за руку, вспомнив давний прием, с помощью которого еще в ту войну подымали раненых. Он тянет мать. Хрип ее усиливается. Он тянет еще, еще, и наконец ему удается приподнять это неподвижное тело и взвалить его себе на спину. С огромным усилием он встает.

Ноги у него подкашиваются. А ну как они не выдержат?

Он делает шаг. Второй. Ноги матери волочатся по земле. С одной ноги у нее свалилось сабо. Левая рука все еще судорожно сжимает несколько веревок, которые развеваются на ветру.

У крыльца отец вынужден остановиться. Несмотря на холод, он весь взмок. Перила справа от него. Чтобы ухватиться за них, надо передвинуть тело матери с одного плеча на другое. Левой рукой он удерживает ее за оледенелое пальто. Правой крепко сжимает холодные металлические перила. И поднимается на первую ступеньку.

А их десять. На каждой ступеньке он останавливается. Пытается перевести дух, позаимствовать немного силы у этого яростного ветра, который хлещет стены дома, завихряется и уносится прочь.

Отцу чудится, будто завихрения воздуха все в черных точках.

Эти черные точки ему хорошо знакомы. Он знает, что они предвещают. Его снова охватывает страх. Если он сейчас упадет, оба — и он сам, и мать — скатятся с лестницы. За кустами самшита их никто не увидит — ни с улицы, ни с дороги. Зияющая пустота, которую он перед тем ощущал в себе, уступила место необычайно ясному сознанию.

Он считает ступеньки. Еще четыре... Собрав последние силы, он одолевает эти четыре ступеньки.

На крыльце он спотыкается, с трудом сохраняет равновесие, но находит ручку двери и судорожно хватается за нее.

Проходит секунда, другая. Ручка повернута, дверь отворена, и в лицо ему веет теплый воздух кухни.

Отец толкает дверь ногой, и она тяжело захлопывается перед самым носом у ветра.

В кухне он сразу вспоминает о спальне, о стоящей там кровати. Но в спальне нетоплено, да ему и не втащить жену наверх.

Может, ей просто стало дурно. Он тщетно пытается усадить ее на стул. Безжизненное тело валится то вправо, то влево, падает вперед, бессильно никнет.

И тогда, дойдя до предела усталости, он опускает жену прямо на пол.

53

Отец надеялся, что в тепле жена придет в себя. Но она по-прежнему лежала, не подавая признаков жизни, и тогда он попытался влить ей в рот немного водки, однако руки у него так дрожали, что из этого ничего не вышло. Слезы жгли глаза. Все плыло, как в тумане, и когда он выпрямился, ему пришлось опереться на стол, чтобы не упасть. Он несколько раз смотрел в окно, но мимо никто не проходил.

Он снова наклонился над женой. Снова заговорил с нею, но, как и прежде, она смотрела на него невидящими глазами, а из ее груди вырывался все тот же хрип, в котором клокотала мокрота.

Отца вновь охватил страх.

Он взял со стула ставшую совсем плоской подушечку, подложил ее под голову жены и вышел.

Куда идти? На улицу? Пожалуй, там никого не встретишь. Он подумал о мадемуазель Марте, жившей напротив, но она была очень стара

и почти не выходила. И тогда он побежал в конец сада, обогнул сарай и вошел во двор дома, где жили Робены. Он посмотрел на окно кухни и сквозь застилавшую глаза дымку, сотканную из слез и морозного воздуха, различил светлое пятно. Отец ускорил шаг, поднял руки над головой и принялся кричать:

— По-мо-ги-те!..

Голос его пресекся. Он захлебнулся кашлем и вынужден был замолчать. Окно отворилось, и госпожа Робен спросила:

— Что случилось?

Отец попытался заговорить, но кашель душил его. Он только отчаянно замахал руками и с трудом расслышал:

— Сейчас спустимся!

Окно закрылось. Отец постарался овладеть собой.

Когда Робен с женой сошли во двор, отец уже перестал кашлять, но все еще не мог выговорить ни слова. Он потащил их за собою и только в саду с усилием пробормотал:

— Скорей, скорей... Жена... Жена... Я не могу...

Госпожа Робен побежала вперед, и тут отец почувствовал, что Робен крепко взял его под руку. На миг старику показалось, что перед ним разверзается пропасть. Он остановился, перевел дух, потом медленно двинулся дальше.

Когда мужчины вошли в кухню, госпожа Робен стояла на коленях возле матери и поддерживала ее голову. Лицо у матери было очень красное. Сквозь ее посиневшие губы с трудом вырывалось хриплое дыхание.

— У нее сильный жар,— сказала жена Робена.— Надо немедленно вызвать доктора... А ее уложить в постель.

— Господи боже мой... Господи боже мой,— стонал отец.

Робен усадил старика. Сам он был очень спокоен.

— Я пойду к себе,— сказал он.— Пришлю сюда нашу служанку и позвоню вашему сыну. Он приведет врача... У вас есть номер его телефона?

Отец мотнул головой, и Робен поспешно вышел.

У отца точно гора с плеч свалилась. Он уже не один... И уже ничего не решает. Он машинально следил за ходившей по комнате соседкой, невысокой женщиной с темными распущенными волосами, которые волною падали на ее синее пальто.

Она что-то говорила. Он слушал, но толком не понимал.

— Я согрею воды,— говорила она.— Врачу может понадобиться... Печка в вашей спальне топится?

— Нет... Господи боже мой...

— Я подымусь туда и затоплю... А дрова наверху есть?

— Да... Должны быть.

— И бумага?

— Вот бумага.

Отец протянул ей газету и стал рыться в кармане, ища зажигалку.

— Я тоже подымусь с вами,— прибавил он.

— Нет, нет, оставайтесь здесь... Вы еле на ногах держитесь. Когда придет служанка, мы с ней уложим вашу жену.

Госпожа Робен поднялась наверх, и отец услышал, как она ходит по спальне. Он сидел, облокотившись на стол,— с его места ему видна была только голова матери, все еще неподвижно лежавшей на полу. Теперь лицо ее казалось уже менее красным, но веки были по-прежнему полуопущены, а взгляд все такой же безжизненный.

Отец ни на что не реагировал; он сидел, наклонившись вперед, облокотясь о стол одной рукою, другую положив на колено; он пристально смотрел на лицо жены и повторял:

— Это невозможно... Это невозможно...

54

Когда Робен возвратился, его жена и служанка уже уложили больную в постель.

Служанка Робенов, высокая итальянка лет сорока, была, пожалуй, посильнее многих мужчин. Она ухватила мать под мышки и приподняла ее, а госпоже Робен оставалось только придерживать ноги больной, чтобы они не ударялись о ступеньки лестницы. Отец последовал за женщинами. В спальне уже гудела печь.

— Я пробовал вызвать двух врачей,— сказал Робен вернувшись,— но обоих нет дома. Тогда я позвонил вашей невестке. Она скоро придет с доктором Летти, он живет по соседству с ними.

— А пока что,— сказала госпожа Робен,— мы поставим ей припарки... У нее заложена грудь,— это ясно. От компресса ей станет легче, и жар спадет.

Отец сел в кресло у изножья кровати. В этот серый день в комнату вливался лишь унылый, холодный свет, и лицо больной было едва различимо.

— Как будто бы она дышит чуть легче,— сказал отец.

— Пожалуй. Но мне кажется, что жар у нее не спадает.

Робен взял руку матери. И прибавил:

— Пульс ровный, но очень частый.

Обе женщины спустились вниз, чтобы приготовить припарки. Робен уселся против отца на низенький стул, куда мать, раздеваясь на ночь, складывала белье и платье.

Теперь ее одежда лежала в ногах кровати, стоявшей параллельно той, на которую уложили мать. Отец махнул рукой в ту сторону и сказал:

— Это пальто она перешила из солдатской шинели... Знаете, ее оставил нам тот малый из Вильфранша... Если не ошибаюсь, его звали Гиймен... Он помогал мне выпекать хлеб во время отступления,.. Славный был малый... Не знаю, что с ним сталось.

Робен покачал головой.

Отец умолк. Он сам не знал, почему заговорил о Гиймене, но у него стало легче на душе просто от того, что он спокойно поговорил.

Робен спросил:

— Ваша жена была в саду?

— Да. Она решила выйти, чтобы закрепить мешки на артишоках... Ведь я уже ни на что не гожусь... Но мне не следовало ее пускать. Только, вы ведь знаете, разве ее удержишь, когда дело касается работы!.. Все равно, как с этой столовой. А ведь я сколько раз ей говорил, что она заработает там гроши, а здоровье погубит.

Робен поднялся и подошел к окну.

— Ее сабо лежит возле грядки,— сказал он.— Когда пойду к себе, прихвачу его.

— Да, да,— отозвался отец.— Я об этом как-то не подумал. Боялся, что вообще ее сюда не дотащу...

— По-моему, пришел врач,— прервал его Робен.

Отец встал и направился к двери.

— Вам незачем спускаться,— остановил его сосед.— Жена или служанка проводят его сюда.

Отец нерешительно потоптался на месте, напрягая слух. Но до него долетал только смутный гул голосов. Наконец на лестнице раздались шаги, и дверь в спальню отворилась.

Врач был высокий и худой человек в очках с толстыми стеклами. Он поздоровался и попросил зажечь свет.

— Дело в том, что у нас нет электричества,— пробормотал отец.

Врач, видимо, удивился.

— Ну, ничего, обойдемся,— сказал он.— У меня есть карманный фонарик.

Он порылся в сумке с инструментами; потом отец увидел, как спина доктора согнулась, а голова низко склонилась над постелью. Выслушивал он больную недолго. Потом повернулся и сказал:

— Сомневаться не приходится. Воспаление легких. Она больна уже несколько дней, а сегодняшний холод довершил дело.

Только в эту минуту отец заметил свою невестку, Мишлину, стоявшую в дверях.

— А что нужно делать? — спросила она.

— Нужно немедленно сделать укол, чтобы поддержать сердце. У меня нет с собой шприца, но в двух шагах отсюда — сестры. Сойдемте вниз, я напишу рецепт.

— Я тут приготовила припарки,— сказала госпожа Робен.

— Надо поставить. Ей станет легче.

Он немного помедлил, взглянул на Мишлину и прибавил:

— Надеюсь, сестра тут же и придет. А не то я могу забежать домой и...

— Нет, нет,— сказала Мишлина,— я сама всем займусь. Схожу за сестрой и приведу ее сюда.

Она отворила дверь и, уже выходя в коридор, прибавила:

— Пойдемте, дадим больной отдохнуть.

Отец вышел из спальни последним. На пороге он оглянулся, еще раз посмотрел на жену и прошептал:

— Господи боже мой... Что теперь с нами будет!

55

В крошечной кухне было так мало места, что пять человек с трудом разместились в ней. Отец стоял, прислонившись спиной к двери в столовую, возле самой лестницы, и смотрел на собравшихся.

— Надо бы принести стулья...— пробормотал он.

Но никто не обратил на него внимания. Примостившись у края стола, врач писал рецепт и что-то объяснял Мишлине. Напротив них госпожа Робен и ее служанка приготовляли припарки.

Все о чем-то говорили. Но отец уже не в силах был уловить нить разговора. Он только понял, что господин Робен предложил пойти за сестрой и в аптеку, а Мишлина повторила:

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я сама всем займусь.

Врач и Мишлина ушли. Госпожа Робен со служанкой понесли в спальню припарки. Отец опустился на стул.

Робен тоже сел.

— Ну, зачем же так тревожиться,— сказал он.— Вы знаете, воспаление легких сейчас вылечивают... Хотите, я принесу вам дров из сарая? Их ведь много понадобится, чтобы натопить спальню.

Отец только безнадежно махнул рукой.

— Что теперь с нами будет...— повторил он.

— Мы вам поможем,— пообещал Робен.— Жена будет приходить. А потом ведь и невестка вас не оставит. Все обойдется, вот увидите.

Он говорил с отцом, как с малым ребенком. Старик это понимал, и ему казалось, что раз сосед разговаривает с ним так, значит, мать обречена. Он хотел было расспросить Робена, но побоялся произнести страшные слова. У него было такое чувство, что если он сейчас заговорит о смерти, то, чего доброго, накликает ее. И он только сказал:

— Я бы, пожалуй, выкурил сигаретку, только боюсь, не смогу ее скрутить.

Робен достал из кармана пачку сигарет и протянул отцу. Руки у старика дрожали, дрожала даже зажатая в губах сигарета, когда он наклонился, чтобы прикурить от зажигалки Робена.

— Я вам оставлю всю пачку.

— Спасибо. Большое спасибо.

— Но вам надо взять себя в руки. И надо выпить чего-нибудь горячего.

Робен подошел к плите. Но в стоявшей на ней кастрюле была лишь вода.

— Когда женщины спустятся,— сказал отец,— я подымусь переодеться. Фуфайка у меня насквозь промокла. А если и я сейчас свалюсь, тогда всему конец.

Сойдя вниз вместе со служанкой, госпожа Робен сказала:

— Пусть припарки немного полежат. Я схожу домой и принесу вам поесть.

— Неужели вы думаете, что я могу сейчас есть...

— Надо себя заставить. Вы непременно должны покушать. Это вас немного подкрепит.

— Думаю, с меня хватит тарелки супа.

— Мы вас теперь оставим...— сказала госпожа Робен.— Но вы не беспокойтесь. Я скоро вернусь. И, если понадобится, пришлю к вам после обеда Луизу.

Итальянка кивнула в знак согласия, и все трое вышли. Отец только растерянно повторял:

— Какое несчастье... Какое несчастье... Что теперь с нами будет!

Как только он вновь остался один, его опять охватила тревога. Он долго колебался, не решаясь пойти в спальню. Однако он чувствовал, что холод все сильнее пробирает его, и необходимость сменить фуфайку побуждала его пойти наверх не меньше, чем желание взглянуть на больную. Он слегка побаивался остаться с ней наедине.

Отец медленно подымался по лестнице. Он немного потоптался у двери, не отваживаясь открыть ее: а вдруг жена уже умерла. Но, едва он переступил порог, тяжелый хрип больной успокоил его.

Он подошел к жене, дотронулся до ее пылающей руки, лежавшей поверх одеяла, и спросил:

— Ты слышишь меня?.. Ты меня видишь?

Отсутствующий взгляд жены мучил его. У него не укладывалось в голове, что она так изменилась всего лишь за час. Она еще стояла перед его глазами такой, какой была, когда выходила из кухни в сад, и он долго пытался вспомнить, какие именно слова она произнесла, переступая порог. То ли она что-то говорила о холоде?.. Или о веревке... Или, может, о ноже?.. Ах да, нож, должно быть, остался в огороде вместе с ее сабо. Да, кстати, сабо... господин Робен обещал его принести. И забыл. Люди всегда так — охотно обещают. И жена Робена обещала вернуться. А ведь припарки слишком долго держать нельзя.

Отец подошел к окну. Сабо все так же валялось на огороде, выделяясь желтым пятном на черной земле. А вот ножа не было видно. Черенок у этого ножа из темного дерева. Если он вонзился лезвием в землю, его отсюда нипочем не разглядеть. Добрый был нож, хоть и маленький. Такие только до войны делали.

Отец пожал плечами и вернулся к постели больной. Он все старался вспомнить, какие слова произнесла мать, переступая порог. Это не имело большого значения, но такой провал в памяти раздражал его.

Отец стал искать фуфайку в шкафу со скрипучей дверцей. Найдя, развернул ее и подержал минутку над печкой. От фуфайки шел приятный запах травы. Мать всегда любила перекладывать белье засушенными цветами и листьями.

Старик все еще был в спальне, когда вернулась госпожа Робен. Она сняла припарки, потом спросила:

— Вы подкладывали дрова в печь?

Он подкинул несколько полешек.

— Пойдемте в кухню,— сказала госпожа Робен.— Я принесла вам поесть.

Они сошли вниз. На плите стоял небольшой алюминиевый бидон и белая эмалированная кастрюля с красной крышкой.

— Покушайте,— сказала соседка.— Это вам необходимо. Ваша жена отдыхает. Сейчас она в вас не нуждается. А скоро и сестра будет. Мне же придется вас оставить. Мужу пора уходить: ему надо быть в Полиньи не позже двух. Как только он уйдет, я вернусь... В бидоне суп с овощами. А в кастрюлю я положила зеленого горошка и кусок мяса.

— Но я не голоден... Я не голоден.

Соседка ушла, повторив на прощанье, что он непременно должен поесть.

Отец достал из стенного шкафа тарелку и ложку. Ему и в самом деле совсем не хотелось есть. Но он понимал, что горячий суп подкрепит его. Суп из протертых овощей был очень хорош, в нем ощущался легкий привкус копченых сосисок. Старик съел все, что было в бидоне. Подождал минуту, потом взял вилку, чтобы попробовать зеленый горошек. Сперва он ел его прямо из кастрюли. Горошек был удивительно вкусный, он просто таял во рту. Отец положил три полные ложки на тарелку и отрезал немного мяса. Он говорил себе, что неловко так наедаться, когда рядом тяжелобольная жена, но все же понимал, что надо любой ценой восстановить силы. Уж коли ему предстоит все делать самому, да еще раз двадцать на дню взбираться по лестнице!.. Он вспомнил о той зиме, когда болел воспалением легких. Он тогда больше месяца провалялся в постели. И жена ходила за ним. Но ведь ей-то не семьдесят лет было. Все же и она частенько жаловалась, что от этой лестницы остается без ног. К тому же она женщина и умеет ходить за больными. Нет, он этого не сможет, где уж ему управиться и с больной, и с домом, и с покупками...

Предстоящие заботы угнетали отца. До этой минуты он еще ни о чем не думал — так он был сражен свалившимся на него несчастьем. Но по мере того, как вместе с едой к нему возвращались силы, он начинал отдавать себе отчет в том, что ожидает его, если болезнь матери затянется. Он ведь совсем один. Будут ли ему помогать соседи? Часто ли станет приходить Мишлина? А служанка госпожи Робен? Она, конечно, сильна, как бык, да только ведь если она будет ходить регулярно, то придется ей платить.

Отец покончил с едой. Налил себе полстакана вина. Сваренного кофе в доме не было, и он растворил в вине два куска сахару, потом подлил немного воды. Это верно: ему необходимо подкрепиться.

Он выпил вино, закурил сигарету, которую вытащил из пачки, оставленной Робеном, и взглянул на будильник. Половина первого, а сестры все нет. Долго же она собирается, а ведь доктор говорил, что укол надо сделать как можно скорее...

Отец торопливо убрал со стола, потушил сигарету, положил окурок в жестянку с табаком и пошел в спальню.

Лицо у матери резко изменилось. Из багрового оно стало очень бледным. Землистые щеки запали, нижняя губа отвисла. Веки были сомкнуты, из полуоткрытого рта вырывался слабый стон.

Отец осторожно протянул руку и коснулся ее плеча:

— Тебе нехорошо?.. Что с тобой?..— Он наклонился и уже громче повторил: — Что с тобой?..

Веки у матери чуть вздрогнули, но так и не поднялись.

Старик еще немного постоял в нерешительности, потом, охваченный страхом, быстро вышел из спальни, сбежал с лестницы и выскочил из дому, даже не надев куртки и сабо.

56

Шлепая ночными туфлями по уже затвердевшей от мороза земле, отец быстро добежал до конца сада. Войдя во двор к Робенам, он увидел в окне лицо их сынишки. Мальчик обернулся, и сам Робен тут же приоткрыл окно.

— Идите скорее,— крикнул отец.— Дело плохо!

— Жена уже спускается!

Отец повернулся и пошел к дому. На полпути госпожа Робен догнала его.

— Что случилось?

— Боюсь, что бедная моя жена кончается.

На последнем слове голос отца пресекся.

— Сестра еще не приходила?

— Нет... Нет... Никого не было... Видно, она так и помрет, одна-одинешенька.

Госпожа Робен бросилась бежать. Отец не поспевал за нею. Сгоряча он не почувствовал холода, а сейчас сильный ветер, дувший прямо в лицо, не давал ему дышать, колол щеки, как иголками, проникал сквозь шерстяную одежду. От холодной земли у него стыли ноги в ночных туфлях.

В кухне ему пришлось остановиться и немного передохнуть — он приложил одну руку к груди, а другой ухватился за край стола.

Он слышал, как у него над головой ходит госпожа Робен. Потом дверь спальни отворилась, и молодая женщина позвала его:

— Мосье Дюбуа! Вам надо подняться сюда.

Отец медленно поднялся по лестнице. Он ни о чем не думал. Он даже не ощущал уже ни страха, ни боли в груди, боли, которую обострил холод.

Дверь спальни была распахнута настежь. Госпожа Робен неподвижно стояла возле кровати — она повернулась и сделала два шага навстречу отцу. Заметив, что он остановился, она медленно сказала:

— Мосье Дюбуа... Ваша жена отошла.

Отец взглянул на кровать. Мать лежала все в той же позе. Только рот у нее был теперь широко раскрыт. Веки были плотно сомкнуты, а лицо стало еще бледнее, чем тогда, когда он побежал к Робенам.

— Господи боже мой...— прошептал отец.— Господи боже мой, умереть вот так...

Госпожа Робен беззвучно плакала.

Так они стояли, не произнося ни слова, ни шевелясь, как будто присутствие матери парализовало их. Она умерла. Умерла одна. Пока он бегал за соседями. Теперь все кончено. Больше ничего нельзя сделать. Он ждал. Даже не понимая толком, чего ждет.

В распахнутую дверь шел холод, он студил комнату. Наконец госпожа Робен шагнула к двери и тихо сказала:

— Спустимся... Пойду позвоню вашей невестке.

Она стала спускаться, отец — следом за ней. Когда они дошли до нижней ступеньки лестницы, с крыльца донесся скрип шагов. Госпожа Робен открыла входную дверь.

Вошла монахиня в темно-коричневом платье и белом чепце. В руках у нее была небольшая кожаная сумка, она положила ее на стол и сказала:

— Нам позвонили и просили прийти...

Госпожа Робен прервала ее:

— Слишком поздно, сестра... Бедная мадам Дюбуа скончалась.

Монахиня не выразила удивления. Она молитвенно сложила руки под висевшими на шее четками и спросила:

— Давно это случилось?

— Нет, думаю, несколько минут тому назад.

Наступило молчание. Губы монахини беззвучно шевелились. Отец подумал, что она, верно, молится.

Немного погодя госпожа Робен с дрожью в голосе спросила:

— Не понимаю, почему вы не пришли раньше. Ведь это совсем близко.

— Раньше? Разве я вам не сказала, что нам позвонили всего десять минут назад?

Монахиня была невысокого роста, полная, круглолицая и румяная. Из-под чепца поблескивали карие глаза. Она быстро переводила взгляд с отца на госпожу Робен.

Помедлив, госпожа Робен снова сказала:

— Возможно, утром у вас там никого не было.

— Никого не было? У нас всегда кто-то на месте. Вы же отлично знаете.

Отец встретился глазами с госпожой Робен.

Она уже не плакала. Лицо ее стало суровым. Отец почувствовал, что ноги у него подкашиваются, он тяжело опустился на стул и прошептал:

— Господи боже мой... Господи боже мой, неужели это возможно... Умереть вот так... умереть вот так...

— Вам понадобятся наши услуги? — спросила монахиня.

Отец растерянно пожал плечами и бросил взгляд на госпожу Робен, которая сухо сказала:

— Я полагаю, что монахини имеют достаточный опыт в таких делах...

— Конечно,— поспешил сказать отец,— так будет лучше.

Госпожа Робен все еще продолжала пристально смотреть на него, потом она спросила:

— Позвонить вашей невестке?

— Если можно.

Соседка направилась к двери.

— Будьте любезны,— обратилась к ней монахиня,— позвоните также нашей настоятельнице. Объясните ей, в чем дело, и она пришлет мне в помощь другую сестру. Мне не придется идти за ней, и мосье Дюбуа не будет тут один.

Она назвала номер телефона, и госпожа Робен вышла, даже не оглянувшись.

57

Отец объяснил монахиням, что все нужное они найдут в шкафу, стоящем в спальне. Сам он был не в силах подняться по лестнице. Все время кто-то приходил, уходил. Госпожа Робен, ее служанка. Потом явились Поль с шумно причитавшей Мишлиной.

Старик понял, что она говорила о какой-то еще медицинской сестре, живущей на улице Вальер, которой в тот день не оказалось дома. Она говорила быстро и громко. Останавливалась и тут же снова начинала причитать, пока монахиня не обращалась к ней с очередным вопросом. Выбрав минуту, Поль подошел к отцу и сказал:

— Покойницу нельзя оставлять наверху. Будут приходить люди, а лестница у вас неудобная. Надо положить ее в столовой.

— Но там нет кровати,— заметил отец.

— По-моему, в комнате Жюльена стоит односпальная кровать.

— Стоит.

— Вот мы и снесем ее вниз.

— А как ты это сделаешь?

— Не беспокойся. Я сам всем займусь.

Отец понял, что ему лучше не вмешиваться. Жена умерла всего час назад, и вот в доме уже нарушен привычный порядок. Казалось, почва уходила у него из-под ног. Вокруг шумели, разговаривали, суетились. Как будто смерть всех завертела, вовлекла в какой-то жуткий хоровод, в котором только он один не принимал участия.

Он увидел, что Поль и служанка Робенов выносят стол из столовой, сняв с него ковровую скатерть в красных цветах и опустив откидные доски.

— Надеюсь, вы не оставите его во дворе? — робко спросил отец.

— Конечно, нет,— сказал Поль.— Не беспокойся. Мы поставим его в сарай.

И они понесли стол.

— Ах, да я и не беспокоюсь,— пробормотал отец,— к чему мне теперь этот стол.

В этой сутолоке никто не думал о том, что двери все время открыты настежь и холодный зимний воздух наполняет кухню. Отец несколько раз начинал кашлять. Хоть он и подбрасывал дрова в топку, хоть и подсаживался к плите,— его знобило.

Из спальни спустилась в кухню госпожа Робен и предложила отцу пойти к ним.

— Вы вернетесь, когда все будет сделано,— сказала она.

Когда отец увидел, что служанка Робенов и та из монахинь, что помоложе, сносят сверху уже обряженную во все черное покойницу, горло у него сжалось. Он встал, машинально стянул с головы каскетку, затрясся от сдерживаемых рыданий, а потом дал волю слезам.

— Господи боже мой... Господи боже мой... Бедная моя старушка... Нет, не ей первой следовало умереть...

— Слушай, не плачь, не то опять раскашляешься,— сказал Поль, подходя к отцу.— Слезами горю не поможешь... Рано или поздно все там будем.

— И все-таки я ведь старше, мне туда первому надо бы...

Он говорил, захлебываясь от рыданий, которые разрывали ему грудь.

Когда все было закончено, его позвали в столовую. Кровать стояла посреди комнаты, там, где прежде был стол. Мать в черном платье лежала на белоснежной простыне. Почти такая же бледная, как белое полотенце, которым был подвязан ее подбородок. Запавший рот казался прямой и узкой черной полоской. Ночной столик был покрыт салфеткой. Горевшая на нем свеча освещала лишь половину лица усопшей. Рядом с медным подсвечником стояло блюдце с водой, куда монахини положили веточку букса.

Старшая из монахинь подошла к отцу. Он знал ее в лицо, потому что часто встречал на улице. Она приходила и к ним в сад за цветами и фруктами, которые мать дарила сиротам.

— Ее не успели соборовать,— сказала монахиня,— но мы станем молиться за упокой ее души... Мы ее хорошо знали. У нее было доброе сердце. Она хоть и небогата была, но всегда находила более бедных и помогала им... И господь бог воздаст ей за это.

Монахиня умолкла. Отец поднял на нее глаза. Эта была женщина лет пятидесяти. Белый чепец обрамлял ее квадратное лицо, он закрывал виски и был подвязан под подбородком, подчеркивая жесткость черт.

Она вполголоса читала молитвы, и ее темные глаза, устремленные на покойницу, время от времени впивались в лица Поля и Мишлины, которые стояли рядышком по другую сторону кровати. Монахиня была видна отцу только сбоку, и все же ему казалось, что ее взгляд, полный милосердия, пока она смотрела на мать, выражал упрек, едва он падал на лица его сына и невестки. Они же стояли потупившись.

Так прошло несколько минут, потом в дверь кухни постучали, и Мишлина вышла из комнаты, сказав:

— Не беспокойтесь, я схожу и узнаю, кто это.

Она скоро вернулась вместе с мадемуазель Мартой, которую вела под руку другая соседка. Мадемуазель Марта плакала. Она окропила усопшую святой водой, потом подошла к отцу и зашептала:

— Господи Иисусе, до чего же мы бренны в этом мире... Еще в субботу я видела, как мадам Дюбуа шла на работу... Она не казалась больной... И вот сегодня ее уже нет... До чего же мы бренны.

Старушка умолкла. Наступило долгое молчание, потом та монахиня, что постарше, осенила себя крестным знамением и вышла.

Отец смотрел на руки жены. Эти большие руки с искривленными пальцами и распухшими суставами лежали крест-накрест у нее на груди. Казалось, ее пальцы перевязаны четками с фиолетовыми бусинами. Колеблющееся пламя свечи плясало на светлом металлическом распятье, которым заканчивались четки.

Отец почувствовал, что кто-то взял его под руку.

— Пойдемте,— сказала монахиня.— Здесь надо открыть окно... Пойдемте. А то еще простудитесь.

58

До самой ночи отец просидел на своем обычном месте, смотря поочередно то на решетку топки, то в окно — на тот клочок земли, где утром упала мать. Служанка Робенов, выйдя за сабо матери, принесла также и оброненный ею нож. Ветер по-прежнему терзал испанские артишоки. Теперь полопались другие веревки, и мешки снесло в сторону, они валялись на грядках или катились в направлении колодца. Ветер разметал солому. В саду бесчинствовала зима.

В кухне все время были люди. Одни входили, другие выходили. Отец даже не поднимался с места.

Поль попросил у отца документы, необходимые для того, чтобы выполнить формальности, связанные с похоронами, и адрес Жюльена, которому надо было послать телеграмму. Старик сказал:

— Все это лежит в ящике буфета, в столовой. Там и письма Жюльена, на конвертах есть обратный адрес. Принеси сюда ящик, мы здесь быстрее найдем.

Поль вместе с женой пошли в столовую. Они пробыли там несколько минут. Отыскали документы и конверт, после чего Поль ушел.

Отец встал со стула только при появлении священника. Он снял кепку и опять заплакал.

Священник не задержался. Стемнело. Мишлина проводила его до крыльца. Вернувшись в кухню, она сказала:

— Вот и снег пошел.

— Только этого не хватало,— отозвался отец.

Он встал, зажег керосиновую лампу и закрыл ставни. За окном носились по ветру пушистые снежинки.

Поль вернулся около семи вечера. Глаза его блестели, и от него разило вином. Он объявил, что все сделано.

— Домой ты заходил? — спросила Мишлина.

— А как же. Служанка пришлет нам ужин сюда. Отец поест и ляжет. А мы с тобой посидим возле покойницы.

— Тут еще наши соседи обещали прийти,— сказал отец.

— Это ни к чему,— буркнул Поль.— Зачем беспокоить людей, вытаскивать их из дому ночью, да еще в такую погоду... Мертвых этим все равно не вернуть.

Зашло еще несколько человек, потом рассыльный Поля принес корзинку с едой. Мишлина согрела ужин, и все трое поели. Уходя, служанка Робенов затопила печь в спальне и приготовила отцу постель. Мишлина дважды поднималась наверх с коптилкой, чтобы подбросить дров. И всякий раз она говорила:

— Что за фантазия жить без электричества!

Отец молчал. Он все время порывался спросить Мишлину, почему она сразу не прислала сестру, как обещала, но не решался. Ему помнилось, что, придя вторично, она что-то говорила о какой-то медицинской сестре. Он толком не понял, что именно, но боялся своим вопросом рассердить невестку. И все-таки, каждый раз, когда их взгляды встречались, отцу становилось не по себе.

Сразу же после ужина пришел Робен с двумя другими соседями. Они окропили усопшую святой водой, потом Мишлина и Поль принесли из столовой стулья.

— Может, что-нибудь выпьете? — предложила Мишлина.

Поль взглянул на отца и спросил:

— У тебя, верно, найдется в погребе несколько бутылок? Я спущусь и принесу одну.

Мужчины запротестовали. Не станут они пить вино в такой поздний час.

— У меня есть кофе,— сказала Мишлина.

— Вот это самое подходящее,— отозвался Робен,— раз мы пришли провести ночь возле покойницы.

— Незачем вам сидеть возле покойницы,— сказал Поль.— Незачем. Выпейте с нами кофе, а потом все пойдут спать. И отец тоже... Мы с женой останемся тут, возьмем шезлонг... Какой смысл проводить всю ночь без сна. Это уже отживший обычай.

Соседи переглянулись, потом посмотрели на отца, и он уловил в их глазах вопрос.

— Право, не знаю...— пробормотал он.— Раз уж Поль с женой решили остаться, пожалуй, в такой холод вам и вправду не стоит целую ночь не спать.

Наступило неловкое молчание. Мишлина налила соседям кофе, а отцу подала липовый отвар. Кто-то заговорил о войне, и на какое-то время завязалась беседа. Говорили об освобождении Страсбурга и о том, что Первая французская армия ведет бои в местности, которую немцы называют Зундгау. Это название упоминалось несколько раз, но отцу оно ничего не говорило. Он только понял, что оно имеет какое-то отношение к Эльзасу, однако расспрашивать ему не хотелось. Он лишь слушал. Толковали о войне, о том, что зима может задержать продвижение союзников, но война была от него бесконечно далека. А вот зима и вправду наступила. Она, можно сказать, действительно наступила этим утром. Не успел он даже ее почувствовать, как она отняла у него жену. А из-за чего? Из-за нескольких артишоков, которые в конце концов все равно замерзнут.

Отец довольно скоро перестал следить за беседой соседей и сына. Мысленно он вновь переживал минувший день с того самого часа, когда поднялся. Он вновь необыкновенно отчетливо видел каждое, самое незначительное событие. Вновь видел каждое движение жены. Слышал каждое ее слово. Он добрался до той минуты, когда она надела свое

грубошерстное пальто, чтобы выйти из дому, и тут слова, произнесенные ею, сами всплыли в памяти, без всякого усилия с его стороны.

Тогда отец перестал разматывать клубок свежих воспоминаний и снова вернулся к действительности. Соседи обсуждали вопрос о национализации угольных шахт на севере страны. Он немного послушал, потом поднял руку и спросил:

— Знаете, что она мне сказала?

Все умолкли и посмотрели на него; еще тише и медленнее он повторил:

— Знаете, что она мне сказала, переступая порог?

Он сделал короткую паузу, но вовсе не потому, что ждал ответа.

— Так вот, она сказала: «Накину пальто. И пойду укреплю твои мешки. У меня еще хватит времени до ухода на работу».

Его слова ни на кого не произвели впечатления. Соседи переглянулись и покачали головами. А Поль сказал:

— Ну да, ты нам уже говорил: она вышла из дому, чтобы подвязать артишоки.

Отец повысил голос:

— Я вовсе не о том. До сих пор я никак не мог вспомнить ее последние слова. А теперь вспомнил. Она сказала: «до ухода на работу».

Поль пожал плечами.

— Шел бы ты спать,— сказал он.— Ты устал.

— Да, я устал... «Работа»... Вот ее последнее слово, понимаешь... Последнее...

Отец поднялся. Соседи последовали его примеру, сказав, что раз уж они не нужны, они не станут дольше засиживаться.

Когда посторонние ушли, отец направился в столовую и закрыл за собой дверь. Впервые после смерти матери он остался с нею вдвоем. В комнате было очень холодно, однако, несмотря на открытое окно, в ней уже отчетливо чувствовался запах тления. Отец подошел к кровати. Свеча догорала, пламя ее колебалось от дуновения воздуха, проникавшего сквозь щели ставен. Старик прошептал:

— Бедная ты моя... Вот к тебе и пришла зима... А перед тем как уйти навсегда, ты говорила о работе... А потом наступил конец.— Он уже давно отвык молиться и только прибавил: — Господи, если есть рай, то ее место там... Ведь в церковь-то она не ходила только из-за работы.

Отец несколько раз повторил это слово. Потом, почувствовав, что его пробирает холод, окропил покойницу святой водой и тихо вышел.

59

Кровать, на которой умерла мать, так и осталась неприбранной. На ней лежал только матрас да перина, перекинутая через железную перекладину изножья. Стоявшая рядом кровать была приготовлена для отца, на ней были чистые простыни и подушка.

Старик поставил коптилку на ореховую крышку старинного ларя, разделявшего кровати, потом подошел к печке. Открыл дверцу, помешал кочергой жар и подкинул толстое полено. Ветер немного утих, и отец подумал, что снег теперь пойдет гуще. К утру, должно быть, все крыльцо заметет, а вот матери уже нет, и некому теперь очистить ступеньки и посыпать их золой. Да, ее уже нет, и некому будет сходить в сарай за дровами и за водой к колонке. Ее уже нет, и она никогда больше не будет ничем заниматься. Ни стряпней, ни покупками, ничем. Конечно, пока мать не похоронят, найдется кому все это делать, но как только она навечно покинет дом, в нем воцарится страшная пустота. Весь день была такая сутолока, что у отца совсем не было времени об этом подумать.

И вот теперь, когда он остался один в их спальне, эти мысли нахлынули на него. О какой бы стороне жизни отец ни думал, всюду он видел зияющую пустоту. С уходом матери жизнь станет невыносимой. И как быстро она ушла! Взяла да и ушла, еще такая сильная, такая работящая. Ведь последнее ее слово тоже было о работе. Работа занимала столько места в их общей жизни! И в сущности вполне естественно, что мать умерла за делом. Только случилось это слишком рано. По ее годам она бы должна была проводить его в могилу. Если б она его пережила, ей бы не так трудно было приспособиться к одинокому существованию.

Она оставила его одного, а он даже не знает, есть ли у них деньги. Ведь она вела весь дом. У них были ценные бумаги, сберегательная книжка. В ящике буфета, в столовой, должно быть, лежат деньги, которые они выручили от продажи фруктов, и те, что она заработала в детском саду. Похороны, конечно, дорого обойдутся.

Отец медленно разделся. Когда он лег в постель, то ногам сразу стало холодно от сырых простынь. Да, это тоже было ее заботой: она вечером приносила грелку в постель и три-четыре раза передвигала ее с места на место, пока он не ляжет. А в этот вечер никто не позаботился, чтобы в постели ему было тепло, и хотя печка топилась, отец долго не мог согреться.

Обычно он гасил коптилку перед тем, как лечь. Но в этот вечер он долго не решался погасить ее. Пристально глядел на потолок, где плясали отблески колеблющегося огонька.

И повторял про себя, что жена умерла.

Она оставила его совсем одного, и от забот голова у него шла кругом. Для нее теперь уже все хлопоты окончены. Пока она еще в своем доме, но уже внизу, в холодной столовой, куда в обычные дни входили только затем, чтобы достать что-нибудь из буфета.

Теперь оттуда вынесли стол и мать положили посреди комнаты, на кровати Жюльена. Ее окостеневшее тело уже сковал смертный холод.

Отец повернулся на бок и поджал ноги. Ему неприятно было лежать вытянувшись, как будто он покойник. Он чувствовал, что его одолевает усталость и подкрадывается сон. Он приподнялся на локте, задул коптилку и опять лег на бок.

Он думал о жене, думал он также и о старом высохшем мертвеце, которого Жюльен принес сюда в тот вечер и который до сих пор лежит в сарае на чердаке.

Лицо у матери еще было человеческим лицом, но, в сущности, она уже мало чем отличалась от этого мертвеца.

Она лежала внизу, в столовой, и отец подумал, что и его, верно, положат там же в тот день, когда он кончит тянуть свою лямку.

60

Когда на следующее утро отец сошел вниз, в кухне была только Мишлина. Она подогрела кофе и молоко.

— Поль ушел,— сказала она.— Сами понимаете, дела. Надо проверить, как нагружают машины. Два шофера едут сегодня утром, а один должен был вернуться из Бурк-ан-Бреса вчера вечером.

— Понятно. Знаю, жизнь не остановится от того, что моя бедная жена скончалась.

Солнце уже, должно быть, взошло, но ставни были еще прикрыты, и горела керосиновая лампа.

— Сейчас открою ставни,— сказал отец.

— Снег шел всю ночь. И сейчас идет.

Отец раскрыл ставни. В саду было белым-бело. Испанские артишоки походили на плохо слепленные снежные чучела. Ветер намел снега на стебли, и на листья, и на те мешки, которые ему не удалось сорвать. Теперь ветер стих. Небо нависло совсем низко, и редкие хлопья все еще продолжали падать на землю. Такой снег бывает только при сильном морозе.

— Я сейчас тоже пойду, мне надо привести себя в порядок и переодеться,— сказала Мишлина.— И пришлю сюда нашего рассыльного, пусть он подметет лестницу и расчистит центральную дорожку, а то, когда начнут приходить люди, в кухне будет просто потоп.

Она говорила быстро, и в голосе ее слышалось раздражение.

— Я вам причиняю много хлопот,— сказал отец.

Его слова, казалось, удивили невестку. Она замялась, потом ответила:

— Когда человек уходит из жизни, он навсегда успокаивается. А все хлопоты достаются живым.

Отец сел, и Мишлина подала ему кофе с молоком. Он накрошил хлеба в чашку, потом, заметив, что невестка надевает пальто, сказал:

— Надо заплатить доктору. Вчера мне было не до того, я и не подумал об этом.

— Позднее сочтемся. Поль расплатился с ним вечером, когда заходил за свидетельством о смерти. Не беспокойтесь.— Уже подходя к двери, Мишлина спросила: — Деньги-то у вас есть? Они, правда, вам не понадобятся, но все же сколько-то нужно иметь при себе.

— Деньги должны быть у нее в кошельке. И в буфете, в столовой, тоже. Я посмотрю.

Переступая порог, Мишлина сказала:

— Когда придет рассыльный, скажите, чтобы он натаскал дров.

Она ушла, и отец принялся за еду. Кофе был не такой вкусный, как тот, что варила мать. Старик медленно съел намоченный хлеб, но кофе допил с трудом. Покончив с едой, он свернул сигаретку и собрался уже закурить, но спохватился. Положил сигаретку на край стола и пошел в столовую. Там горела новая свеча. Щеки матери запали еще больше, лоб у нее блестел, как будто был покрыт инеем.

— Бедная ты моя,— прошептал отец.— Здесь у тебя не тепло... Скверно умирать зимой.

В столовой он пробыл недолго. Трудно было выносить холод и запах тления. Старик потянул на себя верхний ящик буфета и вытащил его из гнезда. Поставил ящик на кухонный стол и прикрыл дверь в столовую.

Управившись со всем этим, он закурил и с минуту смотрел на ящик, в котором в беспорядке лежали бумаги. Он ничего в них не смыслил и даже с некоторой опаской поглядывал на ящик. Должно быть, Поль тут все перерыл, когда искал документы и адрес Жюльена. Надо все-таки посмотреть, сколько денег оставила мать,— ведь похороны обойдутся недешево.

Отец достал из ящика старые почтовые календари, какие-то документы, тетрадь с рецептами разных блюд, несколько тетрадочек в синей обложке, куда мать уже много лет записывала все, что продавала: кроликов, овощи, фрукты. Была здесь и записная книжка с адресами,— отцу стоило большого труда разобрать, что там написано. Он отложил ее в сторону, подумав, что она пригодится, когда надо будет рассылать извещения о похоронах. Да, предстоит еще разослать извещения, впрочем, Поль, наверное, уже об этом позаботился. Ведь делается это через похоронное бюро. Потом ему попалась толстая связка писем — почти все они были от Жюльена. Бумажник лежал на дне ящика. Большой бумажник из желтой, плохо гнущейся кожи с широкой коричневой застежкой, кото-

рая громко щелкала, когда его раскрывали. Бумажник не был застегнут. Отец часто видел, как жена прятала в него деньги или доставала их оттуда, когда надо было расплачиваться за дрова или за бочонок вина.

Он раскрыл бумажник и вынул оттуда три десятифранковые и две пятифранковые бумажки. На минуту он задумался. Трудно было представить себе, что в доме больше нет денег. Он знал, что жена уже несколько месяцев не ходила в банк. Неужели она все отдала Жюльену? Но ведь она постоянно твердила, что хочет подождать, когда родится ребенок. Может, она спрятала деньги в другое место? Отец достал из ящика последние бумаги. Это были страховые полисы. Потом он осмотрел все, что выложил на стол, и открыл небольшую картонную коробку, обтянутую сильно выцветшей материей — желтой в белую полоску, с крохотными красными и голубыми цветочками. В коробке было несколько старых монет, которые уже не имели хождения. Отец обнаружил там и жетон, доставшийся ему при жеребьевке. Это был круглый металлический жетон, покрытый с одной стороны черной, а с другой — белой эмалью. По его ребру шли две полоски — синяя и красная, а посреди — надпись: «Да здравствуют призывники 1893 года». Более крупными цифрами был выведен номер: «156». К жетону был еще прикреплен выгоревший обрывок трехцветной ленты с большой английской булавкой. Отец поворачивал жетон во все стороны. Перед глазами у него возник день призыва в 1893 году. Стояла весна. Ярко светило солнце. Многие парни смеялись. Другие жаловались, что им во время жеребьевки выпал несчастливый номер и теперь придется три или четыре года служить вдали от Франции. Отец уже начал было вспоминать свою службу в армии, но тут же спохватился. Время для этого было неподходящее. Надо поискать деньги в другом месте.

Отец глубоко вздохнул, смежил веки и несколько секунд просидел с закрытыми глазами. Когда он вновь открыл глаза, кухня была как в тумане, и он чувствовал, что по лицу у него текут слезы.

Он вытер глаза, высморкался и отнес ящик на место. Оставил только бумажник, который с трудом засунул в карман брюк. Лучше уж держать деньги при себе: мало ли какие будут приходить люди, всякое может случиться. Потом он разыскал в кухонном шкафчике кошелек жены. Это был старый кошелек из черной клеенки, который она без конца зашивала. В кошельке лежала пятифранковая бумажка и несколько монет. В другом отделении были продовольственные карточки и фотография Жюльена, к которой полоской клейкой бумаги был прикреплен стебелек клевера с четырьмя листочками.

Отец подумал, что жена могла спрятать деньги в шкаф, стоявший в спальне. С минуту он колебался. Если он подымется наверх, не заперев на ключ входную дверь, всякий может войти, а он и не услышит. Обычно он не был таким подозрительным, но теперь вдруг испугался, что его могут обворовать, унести то немногое, что у него есть.

Старик потоптался возле лестницы, потом наконец решился. На то, чтобы осмотреть шкаф, уйдет, конечно, немало времени, но зато он потом запрет его и ключ положит в карман.

С замком пришлось повозиться, так как шкаф много лет не запирался. Отцу стало жарко. Он напоминал вора, который торопится из страха, что его могут застигнуть. Это было глупо. Он это понимал и убеждал себя, что он в своем доме и вправе поступать так, как находит нужным. И тем не менее, когда ему удалось наконец запереть шкаф, он торопливо спустился по лестнице.

Никто не приходил. Отец сел на свое обычное место, свернул сигаретку, закурил, подбросил поленьев в огонь, потом, положив обе ноги на дверцу топки, стал ждать.

61

Этот день был мучительным. Все утро до одиннадцати часов прошло в ожидании. Рассыльный Поля принес рагу в кастрюле, бидон с супом и немного яблочного пюре. Он смел с лестницы снег, и отцу пришлось дважды выходить и предупреждать его, чтобы он не обивал метлу о железные перила. Мальчишка был дерзкий, и старик долго колебался, прежде чем дать ему ключ от сарая, чтобы тот притащил две корзины дров.

Когда рассыльный ушел, отца навестил Робен, спросивший, не надо ли ему чего. Отец ответил, что ему ничего не нужно, а если понадобится, то обо всем позаботятся дети. Он все время вспоминал, как посмотрела госпожа Робен, когда выяснилось, что по вине его невестки сестра пришла так поздно, и ему становилось не по себе. Робен захотел окропить усопшую святой водой, и отец прошел с ним в столовую. Он снова повторил, как это несправедливо, что жена умерла раньше его. Он повторял это всякому, кто приходил.

Жюльен приехал около полудня — единственным утренним поездом. Обняв отца, он спросил:

— Где она?

Старик показал подбородком на дверь столовой и пошел туда вслед за сыном.

Жюльен наклонился, прикоснулся губами ко лбу матери, потом опустился на колени возле кровати, уткнулся головой в простыню и заплакал.

Отец с минуту смотрел на сына, и глаза его тоже наполнились слезами.

Когда они вернулись на кухню, Жюльен спросил:

— Но как это произошло? Что с ней было? Несчастный случай?

Старик рассказал все, с мельчайшими подробностями. Рассказал о ветре. Об артишоках. О том, как мать во что бы то ни стало решила их укрыть. О том, с каким трудом он притащил ее домой. Как бегал к соседям. Как они ему помогали. Как пришел доктор... И тут он запнулся.

— А что сказал доктор?

Отец только развел руками.

— А что он мог сделать? Силы-то у нее были на исходе... Он говорил что-то об уколах... Я толком не понял о каких... Пришла сестра, но было уже поздно. Мать, должно быть, несколько дней ходила больная. Ты же сам знаешь, она была не из мнительных... Не из тех, что вечно жалуются то на одно, то на другое... Для нее, как и для меня, на первом месте была работа... Дел всегда было по горло. Ведь жить-то надо. А в войну стало еще труднее... «Работа» — вот последнее слово, которое я от нее услышал.

И отец повторил сыну последние слова матери. Потом он рассказал, что мать каждый день ходила на работу в детский сад. Объяснил, ради чего она это делала и куда собиралась употребить полученные деньги.

Тут он опять запнулся. Жюльен слушал его, сидя на второй ступеньке лестницы, сгорбившись, опустив голову.

— И хуже всего то,— прибавил отец,— что я даже не знаю, куда она девала эти деньги.— Он достал бумажник и показал сыну его содержимое.— Видишь? Это все... Должно быть, она спрятала деньги в другом месте.

Жюльен даже не поднял головы, не взглянул на бумажник. Он только сказал:

— Знаешь, меня эти деньги не интересуют, плевать я на них хотел... Нет, это невозможно... Невозможно... Как вспомню, что оставил ее совсем здоровой... Но в конце-то концов...

Он замолчал. Вытер глаза и поднял голову. И только тут отец заметил, что сын сбрил бороду и коротко постригся. Щеки у него запали, под глазами были круги.

— Ты плохо выглядишь.

Жюльен пожал плечами.

— Давай-ка поедим,— предложил старик.— Тут мне Мишлина обед прислала. Да еще с вечера осталось. Нам с тобой вполне хватит.

— Ешь. Я не голоден.

— Да и я не голоден, но нужно поддержать силы. Поедим сейчас, а то потом начнут приходить люди.

Они присели к столу, и за едой старик все говорил о рассыльном, который его раздражал.

— Когда поешь,— сказал он,— сходи в сарай. Посмотри, запер ли он дверь. Впрочем, войди-ка сначала внутрь и проверь, не шарил ли он в стенных шкафах, где инструменты... На стене, возле поленниц, у меня висели два садовых ножа — погляди, на месте ли они. Добрые ножи. За такие нынче надо хорошую цену дать. Да еще теперь, в войну, таких, пожалуй, и не купишь. Нож поменьше — ну тот, знаешь, с расколотой ручкой... Вот уже несколько лет все собираюсь ее починить. Да никак времени не выкрою. В хорошую погоду целый день возишься в огороде, а в ненастье я уже не могу работать в нетопленном сарае. Давно говорю себе, что надо сарай проконопатить, но только это уж не по моим годам... Да, так о чем это я говорил?.. Ах да, о садовом ноже. Ты, конечно, его знаешь. Так вот, я купил его у Ражино... Тебе тогда было года три или четыре... Не помнишь? Ражино жил за холмом Манси. Славный был человек... И этим ножом он пользовался уже лет тридцать. Я познакомился с Ражино, когда вернулся с той войны...

Жюльен молчал. Время от времени он только кивал головою, а отец все продолжал свой нескончаемый рассказ, в центре которого был нож, и от него во все стороны расходились бесконечные истории — они соединялись, пересекались, следовали одна за другой и в конце концов по какой-нибудь поперечной тропинке неизменно возвращались к старому ножу.

Отец все говорил, медленно ведя свой рассказ по ухабистой дороге воспоминаний, и по мере того как старик продвигался вперед, ему казалось, что на душе у него становится чуть легче.

Однако он вновь заволновался, как только стали приходить люди. Каждый раз надо было заново рассказывать, как умирала мать. Отец начинал свое повествование теми же словами, так же неторопливо, и все шло хорошо, пока он не добирался до прихода врача. Тут он испытывал немалые трудности, стараясь обойти истину и путаясь в расплывчатых объяснениях. Он говорил, что силы у покойной жены были уже на исходе, что время, во всяком случае, было упущено, но он сам чувствовал, что в его рассказе чего-то недостает. У него не было такого чувства, что он говорит неправду,— просто он сознавал, что опускает некоторые подробности, которые, пожалуй, не так уж интересны для посторонних. Однако, чтобы обойти их, ему приходилось в одном и том же месте своего повествования оставлять путь, усеянный фактами, и идти по зыбкой стезе, употребляя слова, за которыми ничего не стояло. Для него, хранившего в памяти сотни длинных историй, это было непривычно, и он с трудом приспосабливался к такому положению. До прихода врача все шло хорошо: отец всякий раз употреблял те же слова, говорил так же неторопливо, вздыхал в одних и тех же местах. А затем его рассказ становился все более расплывчатым, старик это сознавал и вскоре стал опасаться, как бы Жюльен не вздумал задать ему какой-нибудь вопрос, требующий точного ответа.

Вот почему отец почувствовал чуть ли не облегчение, когда часа в четыре Жюльен сказал:

— Я ненадолго отлучусь.

— Только смотри возвращайся к пяти часам, когда мать будут класть в гроб.

— Я не задержусь, хочу только повидать господина Робена.

— Да, но... Да, но...

Тревога, уже слегка утихшая, опять охватила отца, теперь она стала еще сильнее. Все же он ничего не посмел сказать. В нем росло беспокойство, оно увеличивалось из-за присутствия нескольких друзей, которых он давно не видал и которые все не уходили. Для каждого вновь пришедшего отец сызнова начинал свой рассказ, и те, кто его уже слышал, сочувственно кивали и беспомощно пожимали плечами. И старик боялся, как бы кто-нибудь вдруг не остановил его и не сказал, что он постоянно чего-то недоговаривает.

В конце концов отец совсем обессилел. Несколько раз на него нападал сильный кашель, и ему приходилось надолго умолкать.

Жюльена не было всего полчаса. Когда он вернулся, отец испытующе посмотрел на сына, и ему показалось, что лицо у Жюльена стало более суровым. Взгляд его не сулил ничего доброго. Немного помявшись, старик спросил:

— Ну как, ты застал их?

— Дома только госпожа Робен.

— И что она тебе сказала?

Жюльен пожал плечами:

— А что она могла сказать? Сказала то, что принято говорить в таких случаях... Она очень любила маму, думаю, она искренне огорчена.

Отец вздохнул. Неужели госпожа Робен и вправду не упомянула о том, что сестра пришла слишком поздно? А может, Жюльен просто хочет подождать, когда уйдут посторонние? Или ждет Поля? Или ждет, когда мать уже похоронят? А может, он, отец, все преувеличивает? В конце концов, что произошло? Должна была прийти сестра, она пришла, но не сразу. Потом Мишлина что-то говорила о какой-то другой медицинской сестре. А мать умерла. Если доктор ничего не сделал, стало быть, ничего и нельзя было сделать. Так уж она, эта жизнь, устроена — всегда кончается смертью. А смерть приходит, когда силы у человека иссякнут. Так-то. У них у обоих силы иссякли, но, видно, у матери их было меньше, чем у него. И не в возрасте дело. Она никогда не хотела лечиться. Не хотела носить деньги докторам. Она даже сама приспособила свой старый корсет под бандаж, а ведь грыжа очень ее донимала. И все, чтобы сберечь какие-то жалкие гроши.

Отец думал об этом урывками, когда одни уходили, а другие еще не успели прийти; и всем, даже тем, кого он не узнавал, повторял все тот же рассказ о смерти жены.

В пять часов вечера пришли служащие похоронного бюро, чтобы положить покойницу в гроб. В кухне и без того было не очень тепло, а теперь, когда дверь долго стояла открытой, в дом окончательно вторглась зима. Холод, снег, который люди приносили на ногах, темнота, приглушавшая свет лампы,— словом, все спутники зимы, казалось, пришли за матерью прямо в дом.

В столовой передвигали мебель, и служащие похоронного бюро, став на табуретки, затягивали стены черными полотнищами.

А потом наступила минута, когда мать положили в гроб. До сих пор она еще была тут, у себя. Уже не та, что прежде, но все же пока с ними. Каждый раз, когда отец оставался в столовой наедине с женой, он разговаривал с ней, как с живой. И вот она уходила безвозвратно. В этой комнате, столь не похожей теперь на их прежнюю столовую, она была уже

не у себя дома, а когда люди в черном положили на гроб крышку и быстро привинтили ее, мать ушла окончательно. Отец плакал, но невольно отмечал про себя, какие у служителей похоронного бюро отличные инструменты и как они ловко управляются со своим делом. Он почувствовал, что кто-то взял его под руку. Это был Жюльен, который стоял рядом и плакал.

Затем деревянный ящик поставили на возвышение и накрыли черным покровом, на котором был вышит серебром большой крест. Служащие похоронного бюро зажгли по свече у каждого угла гроба, и все поочередно окропили гроб святой водой, окуная большое кропило в металлическое ведро.

Когда люди разошлись, отец сел на свое обычное место, возле плиты.

62

Поль тоже пришел и присутствовал при том, когда мать укладывали в гроб; отец видел, что он о чем-то говорил с Жюльеном, но о чем именно, старик не расслышал. Вскоре после этого Поль ушел. Немного погодя ушла и Мишлина, но люди продолжали приходить до восьми вечера.

Последним появился Вентренье.

— Извините, но я не мог раньше,— сказал он,— в мэрии у меня столько дел.

После освобождения города от немцев Вентренье стал во главе муниципального совета.

Отец ответил:

— Какие тут могут быть извинения. От того, что одни умирают, жизнь других не останавливается.

Эти слова старик часто повторял на протяжении дня. И неизменно прибавлял, понизив голос: «Для меня это очень тяжело, мне теперь уже нечего делать на земле».

Те, кому он это говорил, пытались переубедить его, утешить, но отец перебивал их: «Знаете, я сам себя утешаю... Я утешаю себя только тем, что скоро последую за ней».

Прощаясь, Мишлина сказала:

— Если вы ничего не имеете против, сегодня мы не будем сидеть у гроба покойной, ведь мы уже пробыли прошлую ночь...

Когда все ушли, Жюльен спросил:

— Тебя не удивляет, что никто не предложил провести ночь возле мамы?

Отец почувствовал, что его снова охватывает смятение. Он пробормотал:

— Видишь ли, теперь это делают все реже... И потом, вчера Поль с женою просидели до утра. А сегодня, раз уж ты здесь... Впрочем, и тебе не обязательно всю ночь бодрствовать. Особенно сейчас, когда мать уже в гробу. Если захочешь лечь спать, мы устроим...

Жюльен прервал его:

— Не беспокойся. Если мне захочется отдохнуть, я возьму шезлонг.

Отец не стал настаивать. Он подогрел то, что оставалось от обеда, и оба поели почти в полном молчании. Непривычно пустовало место матери. Отец часто поглядывал на ее стул. Поглядывал он и на сына, не сводившего глаз со спинки стула, на котором столько лет сидела мать.

После ужина отец достал жестянку с табаком и свернул сигаретку. Закурил, а потом вынул из кармана фартука пачку, которую накануне оставил ему сосед.

— Возьми-ка. Хочешь выкурить сигарету? Мне их дал господин Робен. Вчера у меня так дрожали руки, что я даже не мог скрутить сигаретку.

Жюльен ничего не ответил, и отец, пододвинув к нему пачку, лежавшую на клеенке, прибавил:

— Ну же, бери.

— Нет, спасибо. Я бросил курить.

— Вот как?

— Я теперь продаю свои сигареты или меняю на сахар.

— Вот оно что!.. А для меня это единственное удовольствие.

Ему хотелось спросить у Жюльена, что тот теперь делает, как им живется в Лионе, но он не решился. И только спросил:

— Значит, твоя жена приедет завтра в одиннадцать утра?

— Да. На два дня она отпроситься не могла.

Жюльен неподвижно сидел перед пустой тарелкой, положив локти на стол и подперев голову правой рукой. Отец чувствовал, как между ними встало молчание. Молчание это тяготило его, и вместе с тем он страшился разговора с Жюльеном. Эта смутная боязнь жила в нем с той самой минуты, когда сын вошел в дом. В конце концов старик сказал:

— Пожалуй, я вымою посуду. И приготовлю себе отвар... Выпьешь чашку?

— Нет. Оставь, я тебе сам приготовлю. О посуде тоже не беспокойся, у меня вся ночь впереди, я вымою.

Выпив отвар из вербены, отец вздохнул и поднялся.

— Попрощаюсь с ней на ночь. И пойду спать.

Жюльен вместе с отцом вошел в столовую, где стоял гроб. Они пробыли там несколько минут в молчании. Выходя, старик сказал:

— Это ее последняя ночь дома. Господи, до чего же мы бренны в этом мире! Ну, я пошел наверх... Едва на ногах держусь.

63

Этой ночью отец почти не спал. Несколько раз он даже хотел подняться. Ему казалось, что не надо было оставлять сына одного у гроба матери, нехорошо это. Но потом он подумал, что, быть может, так оно лучше. У матери с сыном всегда были свои маленькие тайны. А он, старый, всегда держался немного в стороне. Конечно, Жюльену лучше провести последнюю ночь вдвоем с матерью. До отца не доносилось никаких звуков, но он был уверен, что сын время от времени отворяет дверь в столовую и минуту-другую стоит возле гроба. Он пытался припомнить смерть своей собственной матери, но с тех пор прошло больше сорока лет, и многие подробности забылись. Он гораздо отчетливее помнил события даже более давние и менее важные, помнил их, должно быть, потому, что они были связаны с повседневной жизнью.

Мешали ему заснуть и мысли об одиночестве. Когда все будет кончено, он останется тут совсем один. А если он и впрямь останется один, то его ждет медленное умирание. Раньше он этого не думал, но теперь в него вселилась уверенность, что жена ограждала его от болезней и смерти. Вероятно, Поль и Мишлина предложат ему переселиться к ним, но он уже точно знал, что откажется. Он хотел умереть здесь, в своем доме, в своем саду. В тот год, когда он долго болел, он отказался лечь в больницу именно потому, что боялся там умереть. Это было одно соображение, а кроме того, он был уверен, что никто не сможет за ним так ходить, как жена. Пожалуй, тогда он этого так ясно не сознавал, но этой ночью он уже твердо понял, что то была одна из причин, по которым он упорно хотел остаться дома.

Утром старик поднялся с тяжелой головой, ему пришлось принять таблетку аспирина. Перед его мысленным взором вставал окутанный мглою путь, по которому ему предстояло теперь идти одному, без путеводной нити, без единого человека, способного поддержать его на ухабе.

В десять утра Жюльену надо было идти в город за венком. Он сказал отцу, что потом зайдет на вокзал встретить жену, но, как видно, он опоздал, потому что Франсуаза пришла одна. Она долго стояла у гроба матери и беззвучно плакала. Когда она вышла из столовой, отец быстро сказал:

— Я отчасти даже рад, что вы пришли до возвращения Жюльена... Я хотел вам сказать... Словом, дело в том... Знаете, покойная жена вас очень любила.

Он с трудом подбирал слова. Его мучило неотвязное желание во что бы то ни стало спастись от одиночества, и он спешил побыстрее высказать возникшее у него предложение, которое ему, однако, не удавалось сформулировать. Он не ожидал, что Франсуаза придет одна, и заранее не приготовился.

Ее затуманенные слезами глаза смотрели на отца с той добротою, которая так его трогала. Войдя в дом, она поцеловала его с большей нежностью, чем Жюльен.

Боясь, что сын вернется, а он не успеет сказать главного, старик наконец нашел нужные слова.

— Честное слово,— сказал он,— уверен, что если бы я умер первый, моя бедная жена попросила бы вас поселиться здесь с нею... Так что, вы понимаете...

Франсуаза мягко повела плечами, покачала головой. Думая, что она хочет что-то сказать, отец замолчал. Прошла минута. Видя, что она ничего не говорит, он продолжал:

— Жить в большом городе нелегко... А тут, когда у вас родится ребенок, по крайней мере, есть сад.

— Я одна ничего не могу решить,— сказала наконец Франсуаза.— И потом в Лионе у меня служба. Да и Жюльену здесь вроде бы нечего делать... Словом, надо подумать вместе с ним.

Отец замолчал. На крыльце послышался шум шагов. Какая-то девушка принесла цветы. Когда она вышла, отец спохватился:

— Может, надо было ей что-нибудь дать.

Франсуаза окликнула девушку и дала ей немного мелочи.

— Я вам отдам,— сказал отец, засовывая руку в карман брюк.

— Ну что вы, зачем.

Франсуаза присела к столу, на то же место, где она сидела в свой последний приезд.

— Придвиньтесь поближе к огню,— предложил отец.

— Нет, мне не холодно.

Она сидела в напряженной позе, на краешке стула. На ней было очень широкое черное платье, и беременность ее была почти незаметна. Как и Жюльен накануне, Франсуаза тоже не сводила глаз со спинки стула, на котором обычно сидела мать. Отец предлагал ей сесть именно на этот стул, чтоб быть поближе к огню. Он невольно представил ее себе на этом месте, представил, что Франсуаза заменит мать и займется хозяйством.

Словно угадав мысли отца, она встала и предложила:

— Может, приготовить вам что-нибудь поесть?

— Не беспокойтесь. Рассыльный Поля должен принести обед. Нам, конечно, на троих хватит. Понимаете, со вчерашнего дня я ведь заставляю себя есть, аппетита совсем нет.

Старик вздохнул. Посмотрел в светлые глаза Франсуазы. Они были у нее серовато-голубые, чем-то похожие на глаза матери.

Ему хотелось поговорить с ней подробнее о своем плане, но нужные слова не приходили. Да и по правде сказать, он уже не очень их искал. Он понял, что Франсуаза сама ничего не может решить. Жюльена она, видно, так же боготворит, как и покойная мать: готова все принять, все одобрить, поддержать все его начинания, готова принести себя в жертву и неизменно им восхищаться. Должно быть, именно потому она сразу же понравилась матери. Когда молодые уехали, мать сказала: «И все-таки мне спокойнее с тех пор, как я знаю, что у него такая жена». Да, мать оказалась права. И отец понял, что для Франсуазы на первом месте Жюльен. А сам он мало что для нее значит. Она, конечно, добрая и отзывчивая, это видно по ее глазам, но Жюльен, верно, околдовал ее, как околдовал он и свою мать. Так что теперь в сердце Франсуазы больше ни для кого нет места.

И тут отец с особой силой ощутил свое одиночество. Он сказал чуть слышно:

— Умирает человек — и для него все кончено, но совсем другое дело для тех, кто остается жить.

64

Похороны матери состоялись в три часа пополудни. Несмотря на снег и мороз, проводить ее пришли многие, двери очень долго были раскрыты настежь, и холодный ветер настудил дом. Отец уже едва держался на ногах, он не вставал со стула, все подходили к нему, жали ему руку, и весь пол в кухне до самой плиты был затоптан снегом.

Отец поднялся, только когда выносили гроб. Он сдернул с головы каскетку и прошептал:

— Бедная ты моя старушка... Бедная ты моя старушка...

Конец фразы заглушили рыдания, которые давно уже теснили его грудь.

Он, понятно, не мог участвовать в похоронной процессии, не мог в такой холод идти пешком на другой конец города. С ним в доме осталась мадемуазель Марта, которая тоже с трудом передвигалась. Она прежде всего вытерла тряпкой пол, потом села на стул матери, и они подбросили в печку поленьев, чтобы согреть дом.

Затем заговорили о матери. О том, как жили до войны, как беседовали по вечерам, сидя на скамейке в саду. Это время вновь вставало у них перед глазами, каждый вносил свою лепту в воспоминания. Их дуэт мог, казалось, длиться целую вечность, монотонный рассказ о прошлом все дополнялся, все приукрашивался различными подробностями. Говорили они и о войне. Нет, не о той, что еще продолжалась. События, происходившие где-то далеко, мало их занимали. Они говорили сначала о войне 1914 года, потом о той, которая закончилась для них в тот день, когда немцы оставили город. Можно ли было ожидать такого? Ведь они оба родились вскоре после войны 1870 года. И в дни их молодости люди часто вспоминали, как пруссаки оккупировали город.

Так они и беседовали, не выказывая ни горя, ни радости. Перебирали множество воспоминаний, в которых мать играла свою роль. Время от времени отец останавливался и говорил:

— Теперь ее уже не мучают заботы... Правда, она так никогда и не увидит внука... Да и я его, верно, не увижу.

Старая дева, которой было приблизительно столько же лет, сколько отцу, вела себя не так, как другие его собеседники. Она не переубеждала его. И только всякий раз повторяла:

— Что вы хотите, две жизни на этой земле не проживешь.

Когда все вернулись с кладбища, Франсуаза проводила мадемуазель Марту домой.

Отец объяснил Жюльену, что́ надо принести. Тот вскоре возвратился с бутылкой золотистого вина, отец осторожно откупорил ее, и комната наполнилась крепким ароматом винного погребка.

И вот все они молча сидят перед стаканами с вином. Отец — на своем месте, возле окна с уже закрытыми ставнями. Франсуаза — перед стенным шкафом, на том месте, где обычно сидел Жюльен. Поль — в конце стола, он сидит вполоборота, чтобы не оказаться спиной к Жюльену, который примостился на ступеньках лестницы. На месте матери восседает Мишлина.

— Хорошо, что ты не пошел на кладбище,— говорит Поль.— Холод был просто собачий. И, доложу тебе, стоять у выхода и принимать соболезнования людей, которых все это не очень трогает, совсем невесело.

— Да, да,— подхватила Мишлина.— У меня до сих пор никак не согреются ноги.

— Вам бы надо ненадолго разуться,— сказал отец.

— Не стоит. Пора домой. У меня там полно дел.

— Вот и ступай,— сказал Поль.— А я хочу немного потолковать с отцом, пока здесь Жюльен.

Мишлина выпила вино и встала. Она слегка прикоснулась губами к щеке отца, задела при этом шляпой его каскетку и свернула ее козырьком на затылок. Перед уходом она бросила взгляд на Франсуазу, потом на Жюльена и сказала:

— Если хотите, можете переночевать у нас.

— Нет, нам надо возвращаться,— сказал Жюльен.— Поезд уходит в семь тридцать вечера, мы еще поспеем.

Поль усмехнулся и спросил:

— У тебя срочная работа?

— Вот именно!

Тон, каким Жюльен произнес эти слова, пробудил в отце тревогу, и он поспешно сказал:

— Раз им нужно возвращаться, незачем здесь ночевать... Незачем.

Мишлина уже у двери. Жюльен встает и подходит к ней. Франсуаза тоже встает.

— До свиданья, милая,— говорит Мишлина, протягивая руку.

— До свиданья, мадам,— отвечает Франсуаза.

Пауза. Отец смотрит на Мишлину. Их взгляды встречаются. Мишлина поворачивается к Жюльену, протягивает ему руку и говорит:

— До свиданья.

— До свиданья.

Она быстро выходит.

Молчание.

Каблуки Мишлины стучат по ступенькам крыльца, затем все стихает.

Кашлянув, Франсуаза говорит:

— Пожалуй, я пораньше уйду. Если вам надо поговорить...

— Мы и при вас можем,— отвечает Поль.

— Конечно, конечно,— подтверждает отец.— Секретов у нас нет. Мишлина ушла потому, что у нее дела дома... Но...

Все так же стоя посреди кухни, Жюльен говорит:

— Франсуаза права. Она зайдет к госпоже Робен. Мне все равно надо будет с ними проститься. Она меня там и подождет.

Отец пытается возразить:

— Ну, зачем же беспокоить людей... — говорит он, но, уловив вопрошающий взгляд, который Франсуаза бросила на Жюльена, тут же умолкает.

Франсуаза встает. Да, все именно так, как он думает. Она совсем как мать: достаточно одного взгляда Жюльена, и она подчиняется. Ста-

рик чувствует себя совсем потерянным. До чего ж он наивен! Теперь он и сам не понимает, почему возлагал надежды на Франсуазу, не понимает, на что он, собственно, надеялся.

Франсуаза подходит к отцу, чтобы поцеловать его, он встает и сдергивает с головы каскетку. Дрожащим голосом произносит:

— До свиданья, девочка. До свиданья... Помните, мать вас очень любила... Она... Словом, думайте обо мне иногда... Ведь для вас, молодых, от Лиона до нас не так уж далеко...

Он чувствует, что сейчас расплачется, и умолкает. Видит, что Поль с кривой усмешкой наблюдает за ним, и начинает кашлять, чтобы скрыть смущение.

Франсуаза целует отца, как поцеловала утром. Говорит ему в самое ухо:

— До свиданья, папа. До свиданья... Берегите себя.

Она надевает пальто, берет сумку, перебрасывает ее ремешок через плечо и протягивает руку Полю, который приподнимается на стуле.

Прежде чем закрыть за собою дверь, Франсуаза бросает прощальный взгляд на отца, взгляд очень нежный. Глаза у нее блестят сильнее, чем обычно.

Едва она переступает порог, Жюльен опускается на стул, с которого она встала, и кладет скрещенные руки на стол.

— Так о чем же ты хотел поговорить? — спрашивает он сводного брата.

— Раз ты так торопишься уехать, нам придется побеседовать о вещах, о которых надо было бы завести разговор не сейчас, а только через день или два.

— Это верно,— подтверждает отец.— Но потолковать все-таки надо.

— Конечно, но не теперь,— говорит Жюльен.

Короткое молчание. Отец не спускает глаз с сыновей, он боится, как бы они не вцепились друг другу в горло.

— То, что я хочу сказать, очень просто,— начинает Поль.— Отец не может жить один. Ему надо переселиться к нам, а об остальном, думаю, договоримся...

Отец привстает на стуле. Протестующе машет рукой.

— Не может быть и речи, чтобы я уехал из этого дома... — говорит он твердо.— Если никто не хочет мне помочь, то и я ни в ком не нуждаюсь!

Последние слова старик почти выкрикивает. Он чувствует, что силы его на пределе, и спешит добавить:

— Если надо уладить дела по наследству в связи со смертью матери, то пусть этим займется нотариус. Я в бумагах ничего не смыслю, но, надеюсь, у меня хватит средств, чтобы дотянуть до конца, ни к кому не обращаясь за помощью... А если я доживу до весны, то у меня есть еще руки и я смогу возделать огород.

Его большая ладонь с силой опускается на стол, и стаканы звенят.

— Не кричи,— говорит Жюльен,— а то закашляешься.

Отец с удивлением глядит на него. Так всегда говорила мать, и Жюльен произнес эти слова с той же интонацией.

Поль допивает вино, гасит в медной пепельнице окурок и встает.

— Коли так,— говорит он,— больше нам толковать не о чем. И все же кое-какие дела предстоит уладить.

— Если ты имеешь в виду похороны,— говорит Жюльен,— не беспокойся, я уплачу свою долю.

Поль в ответ только пожимает плечами, а отец поспешно говорит:

— За похороны я уплачу сам. Я еще не нищий.

— Конечно, не нищий,— подхватывает Жюльен.— Я даже думаю,

что если тебе нужны деньги, ты вполне можешь продать дом, где булочная, и нанять кого-нибудь, чтобы за тобой ходили.

Отец уже собирается сказать, что он ни за что на свете не продаст свой дом, но Поль опережает его. Со злобной усмешкой он говорит:

— Вот этого я и ждал. Продать, чтобы есть досыта. Вот так и рассуждают представители богемы и коммунисты!

Вскочив с места, Жюльен кричит:

— Представители богемы плюют, а коммунисты чихают на таких, как ты!

— Жюльен! — кричит отец.

Но Жюльен не слушает. Видя, что Поль все еще думает, как ответить, он снова кричит:

— Уж лучше остаться без гроша, чем дрыхнуть на мешках с деньгами, заработанными на сделках с фрицами.

Отец видит, как искажается лицо Поля. Видит, как тот сжимает кулаки. Наступает молчание, которое представляется отцу нескончаемым, потом тихим голосом, который кажется едва слышным, потому что в кухне еще стоит его гневный крик, Жюльен прибавляет:

— Мне стыдно, что я так кричал в доме, где только что скончалась мама, но я не стану сносить твоих насмешек. То, что я делаю, тебя не касается.

Поль все так же бледен. Он бросает на отца взгляд, полный ненависти. Резким движением отодвигает стул, и стул спинкой ударяется о край стола. Потом идет к двери, отворяет ее и уже с порога бросает:

— Спокойной ночи, отец.

— Поль! — кричит старик.

Но дверь хлопает, слышны только быстрые шаги Поля по ступенькам крыльца.

Отец ждет. Он надеется, что Поль вернется, надеется, что Жюльен откроет дверь и позовет брата. Но Жюльен медленно садится и кладет на стол дрожащие руки.

— Прости меня, папа... Но... но...

Он замолкает. Отец тоже с минуту молчит, потом, убедившись, что Жюльен не собирается говорить и что из темного сада тоже не доносится ни звука, медленно произносит:

— Теперь я знаю, что мне осталось. Околеть... Околеть совсем одному... И как можно скорее. А когда это случится, вы, конечно, не сумеете столковаться, разбазарите все имущество, а деньги поделите... Выходит, мы, мать и я, всю жизнь гнули спину для того, чтобы сыновья все промотали и проели в несколько месяцев. Вот... вот чем все кончится... И, будь спокоен, этого не долго ждать.

Старик замолчал. Жюльен смотрит на него. И отец замечает, что глаза сына полны слез; и тогда отец, только что ощущавший в себе силы и желание приструнить непокорного сына, тоже начинает плакать. Жюльен невнятно произносит:

— Бедный ты мой папа... Бедный ты мой...

Старик сморкается, кашляет.

— Хочешь, я останусь до утра? — спрашивает Жюльен.

Отец готов крикнуть: «Да. Оставайся вместе с женою. И не только до утра. Если вы останетесь, я вам все отдам. Но я не могу жить один».

Он готов это крикнуть, но знает, что если крикнет, то снова расплачется. И тогда, собрав последние силы, взяв себя в руки, он говорит твердым и спокойным голосом:

— Нет... Тебя ждет жена. Ты должен идти к ней... И работать ради малыша, которого твоя бедная мама так хотела увидеть... А я, я больше ни в ком не нуждаюсь... Никто ни в ком не нуждается... чтобы уйти туда, куда я уже иду.

Часть пятая

Одинокий путь

65

Эта зима походила на полную сновидений долгую спячку, в которую после смерти жены погрузился старик Дюбуа.

На следующий день после похорон явилась Мишлина со служанкой и мальчиком-рассыльным. Она предложила отцу перебраться к ним, но он отказался, и она не настаивала. В доме прибрали, навели порядок. Отец беспокоился, что не хватит дров, и жаловался, что лезть на второй этаж и топить в спальне печку ему не под силу, поэтому его кровать перенесли в столовую. Таким образом, протопив получше плиту и оставив дверь приоткрытой, он мог лечь в теплую постель в трех шагах от кухни, где он проводил весь день. В одиннадцать утра рассыльный приносил ему еду и запас дров на день, он же и покупал все, что требовалось. Поль и Мишлина тоже навещали старика почти ежедневно, осведомлялись обо всех его желаниях, узнавали, не нуждается ли он в чем.

Он скоро привык, что за ним так ухаживают, и легче переносил потерю жены.

Время тянулось медленно. Ему не нужно было заботиться о деньгах, не нужно было заботиться о пище. У него было даже слишком много еды.

— Вы меня совсем избалуете,— часто повторял он.— Я столько не съем...

А Поль отвечал:

— Ты достаточно потрудился за свою жизнь. И достаточно натерпелся. Вполне естественно, что мы, по мере сил, о тебе заботимся. Ты отлично знаешь, что с нами ты ни в чем не будешь нуждаться.

Когда Поль или кто-нибудь из соседей заходил навестить отца и вспоминал его прошлую жизнь, он охотно беседовал с ними. Он любил поговорить о прожитом и, оставшись один, пересказывал сам себе воспоминания о своих самых счастливых и самых трудных днях.

Так он в течение дня перебирал накопившиеся воспоминания, одно влекло за собой другое, а потом какая-то нить, пусть даже тоненькая, вдруг связывала их с теми или иными событиями настоящего дня, о которых ему рассказали.

Когда началось немецкое наступление в Арденнах, могло показаться, что война несколько изменит свой облик и станет похожа на войну 1914—1918 годов. И тогда отец обрывок за обрывком восстановил в памяти целый период. Далекий и все же гораздо более близкий ему, чем то, что происходило в Бастони.

Поль часто приносил газеты, но зрение у отца ухудшилось, и он читал только заголовки. Впрочем, эти газеты интересовали его меньше, чем газеты его времени, то есть до четырнадцатого года. Он нашел в спальне два толстых переплетенных комплекта «Иллюстрасьон». Один за 1890, другой за 1897 год. И не проходило вечера, чтобы он не брал этих комплектов и, положив на стол, не разглядывал их.

Так проходили долгие часы, из которых складывались дни и недели.

Мать тоже была тут. Но очень скоро она превратилась в немого свидетеля, без возраста и без плоти, покорно исчезавшего и возвращавшегося по первому зову. То, что в один холодный декабрьский день ее останки отнесли на другой конец города, не изгнало ее из дома. Так было потому, что так должно было быть, и, сам себе в том не признаваясь, отец чувствовал, что она просто раньше него проделала тот путь, на ко-

торый вступил уже и он. Долгое время они шли рядом, а потом она заспешила и сразу преодолела последний отрезок пути, вот и все. Но большого значения это не имело, так как теперь время в счет уже не шло.

Письма он получал только от Жюльена, короткие письма, приходившие все реже и реже. Он читал их с трудом, а отвечать и совсем не мог.

В конце концов, если сын хочет его повидать, он знает, где его найти, а Лион не так уж далеко. Жюльен плохо обошелся с Полем, а Поль вот ухаживает теперь за отцом. Мать постоянно твердила, что и Поль и его жена — эгоисты. Теперь, если она видит оттуда, сверху, она непременно должна признать, что ошибалась. Ясно, Поля с женой так долго отдаляло от дома присутствие матери и Жюльена. Жюльен устроил свою жизнь по собственному разумению Он держится в стороне. Пишет, что нашел работу, которая отнимает у него все время. Если это настоящая работа, можно только порадоваться. Отсутствие сына не тяготило старика, ничье отсутствие не было для него тягостно. Или, вернее, отсутствия для него не существовало. Для него существовали только те, с кем он вел нескончаемые беседы. А умерли они уже или еще живут на свете — это для него не имело значения.

66

Жюльен действительно был совсем не такой, как другие. Когда нотариус написал ему, чтобы урегулировать вопрос о наследстве, оставшемся после матери, он ответил, что во всем полагается на волю отца и подпишет любую бумагу, которую ему пришлют. Итак, в один прекрасный день к старику Дюбуа явился нотариус в сопровождении Поля. Он прочитал вслух сложный текст, и отец едва не заснул. Когда чтение было закончено, отец подписал документ, затем спросил:

— Если я правильно понял, теперь все в порядке?

Тогда нотариус объяснил, что, согласно воле, выраженной им, отцом, оба дома после его смерти переходят к его сыну Полю, при условии, что тот выплатит известную сумму Жюльену. Сумма эта была незначительна, зато Поль обязался содержать отца, за которым сохранялось право распоряжаться своим имуществом.

— Так ты, по крайней мере, можешь быть спокоен, что оба твои дома не будут проданы посторонним. А Жюльену деньги гораздо нужнее, чем камни.

Они выпили по стакану старого вина, и отец поговорил о том времени, когда он бывал на сборе винограда в Вернантуа.

Прошло еще месяц-полтора, затем как-то к вечеру Поль явился к отцу и сообщил, что лионский нотариус, которому было поручено дать на подпись Жюльену дарственную, прислал бумаги. Теперь все было в порядке. И Поль объяснил:

— Видишь, я обо всем позаботился. Избавил тебя от многих хлопот, и теперь ты можешь быть спокоен. Тебе даже незачем заниматься огородом, раз ты ни в чем не будешь нуждаться.

— Огородом я заниматься буду. С кроликами я расстался, но не воображаешь же ты, что я оставлю огород необработанным.

— Никто не говорит, чтобы ты оставил его необработанным, но, во всяком случае, теперь тебе не надо так надрываться, как ты это делаешь.

— Буду работать, пока сил хватит. Без работы мне скучно.

— Тебе скучно, потому что ты один, но если б ты не упрямился и переехал жить к нам, то чувствовал бы себя гораздо лучше.

— Нет. Я раз и навсегда сказал «нет», не хочу уходить из своего дома.

Поль не настаивал, но отцу показалось, что сын недоволен его отказом.

С этого дня Мишлина и Поль стали реже навещать старика, а иногда ему приходилось до часу дня ждать обеда. Когда он сделал замечание рассыльному, тот так грубо ему ответил, что отец, побелев от ярости, встал, обошел стол и смазал мальчишке по уху.

— Этакий мерзавец, я тебя научу...— крикнул он.

Дальше старик говорить не смог. На него напал кашель, и он без сил опустился на стул. Когда он выкашлял душившую его мокроту, то долго сидел неподвижно. У него дрожали руки, и совладать с дрожью он не мог. Мальчик ушел, хлопнув дверью. Отец больше часа не мог прийти в себя, в этот день кусок не шел ему в горло.

— Этакий мерзавец... Гоняет по улице, а обед принес холодным. И в котором часу... Надо будет повидать сына.

Он повторял это раз двадцать, обдумывая, каким образом ему добраться до Поля, который не навещал его уже больше двух недель. Было начало февраля, погода стояла холодная, и потому отец не мог сам пойти к Полю. Он не выпускал из виду дорожку, что шла вдоль сада, поджидая, когда пройдет Робен, чтобы попросить его позвонить сыну по телефону.

День тянулся бесконечно. Отец закрыл ставни только с наступлением полной темноты, когда уже абсолютно невозможно было разглядеть человека, идущего по дорожке.

В шесть часов, когда в животе у него урчало от голода, он поставил на плиту цветную капусту под белым соусом и бидон с супом, которые ему принес негодник мальчишка. Гнев его поостыл, но еще таился где-то в глубине души. Завтра опять придет этот бездельник со своей вечной притворной улыбочкой, как будто говорившей:

«Болтай, болтай, старый хрыч, мне на тебя начхать».

Вот что отец не раз читал во взгляде этого шалопая, и при одной мысли, что завтра тот опять появится, у старика задрожали руки.

Когда явился Поль, отец уже успел разогреть обед. Лицо у Поля было красное, глаза блестели. Даже не поздоровавшись, он крикнул:

— Ну, какая муха тебя укусила? Чего это ты отлупил по щекам моего рассыльного?

В первую минуту у отца прервалось дыхание. Что это — может, Поль шутит? Для чего он пришел — узнать, что произошло, или наорать на отца?

Наступило молчание. Поль тем временем сел за стол, сдвинул шляпу на затылок и закурил сигарету. Отец все еще не обрел дара речи, и тогда сын заговорил:

— Ну, так в чем дело? Тебе мало, что тебя обслуживают на дому, словно принца какого! Можно подумать, что ты всю жизнь жил во дворце... Когда ты держал пекарню, возможно, ты и подгонял своих подмастерьев пинками в зад, только теперь, знаешь ли, совсем другое время. Теперь уже нельзя обращаться со своими служащими, как раньше... Этому мальчишке пятнадцать лет. Ты отлупил его, а через час его мать уже была у нас! Грозит напустить на меня профсоюз и инспекцию труда! Вот в какую историю ты меня втравил... Теперь мне надо выворачиваться, чтобы заткнуть им глотку, не то подадут в суд и неприятностей не оберешься. А ты знаешь, что это значит? Ты знаешь, во что это мне встанет?

Теперь старик уже совсем ничего не понимал. Мальчишка ему нагрубил, он, отец, можно сказать, его чуть тронул, а его обвиняют в том... в том... Он был окончательно сбит с толку. Сын смотрел на него и, казалось, ждал, что он скажет, но отец только пробормотал:

— Но ведь... но ведь... Этот стервец...

Поль перебил его. Воздев руки и снова уронив их на стол, он заорал:

— Черта с два! Если кто-нибудь к тебе явится по поводу этой истории, не вздумай так выражаться! Тебя привлекут за оскорбление. А расплачиваться опять придется мне. Да ты не знаешь, что это за люди. Отца расстреляли немцы. Мать — коммунистка. Сейчас они хозяева. У них все права. Да они засадят тебя в тюрьму и на твой возраст не посмотрят.

Отец снова задрожал. Он позабыл все, что хотел сказать сыну. Он только повторял:

— Но ведь... Если этот бездельник... Ничего не понимаю.

— Ясно, что не понимаешь. Ты отгородился от жизни. Но не могу же я ходить за тобой по пятам. Вот если б ты согласился перебраться к нам, многое было бы куда легче, отрицать это ты не можешь.

У отца уже не было сил сердиться. Он только покачал головой. Лицо Поля исказилось от злобы.

— И упрям же ты,— сказал он.— Можно подумать, что ты решил доставлять мне одни неприятности в благодарность за все мои хлопоты о твоем покое... Ну, так как же мы теперь выйдем из положения? Я тебя спрашиваю. Ты, видно, не понимаешь, что у нас свои дела. Мальчишка теперь не хочет ходить к тебе, он так и сказал. А я не могу его заставить. Это не входит в его обязанности. Не для того он был нанят. Значит, мне придется посылать тебе еду со служанкой. Но она будет приходить вечером, не может же она разорваться. Она будет приносить тебе еду сразу и на вечер, и на следующий день. Ты потом разогреешь... Другой возможности я не вижу.

Отец молчал. Он смотрел на свои руки, лежавшие на клеенке: как только он их приподымал, они снова начинали дрожать. Он был пришиблен. И даже не решался взглянуть на сына.

Он знал, что сын сидит напротив и упорно не желает расстаться с мыслью увести его жить к себе, а сам он столь же упорно не желал расстаться с мыслью не уходить из своего дома. Зима скоро кончится, начнутся солнечные дни, его потянет в сад. Он знал квартиру сына. Комнаты темные, выходят они либо на улицу, либо в узкий двор. Кухня большая, но там вечно торчит служанка, включает радио. Он представлял себе, сколько раз она пройдет взад и вперед. Едят в разное время. Шум с улицы, шум от соседей. Нет, он твердо решил остаться у себя в доме и решения своего не изменит. В конце концов, если ему будут приносить еду с вечера, он, по крайней мере, сможет есть, когда захочет. И не будет видеть физиономии негодного мальчишки.

Поль встал.

— А дрова эта ваша служанка приносить будет? — спросил отец.

Поль опять безнадежно развел руками.

— Вот ведь черт! Я и позабыл... да, еще дрова. Ты должен признать, что понапрасну осложняешь нам жизнь.

— Очевидно, я облегчу вам жизнь, когда протяну ноги,— проворчал отец.

Поль бросил на него сердитый взгляд и пожал плечами.

— Не говори глупостей... А насчет дров — навряд ли она не заявит, что ей это не под силу... Но все равно, как подумаю, что ты прекрасно мог бы жить у нас!..

67

После прихода Поля и его гневной вспышки отец почти месяц не мог прийти в себя. Он старался не поддаваться мысли, что сын дождался, пока будет подписана дарственная, а теперь дал отцу почувствовать, какая он для них обуза. Не проходило и дня, чтобы эта мысль не возникала у него в голове. Он отгонял ее, убеждая себя:

«Нет, этого не может быть. Просто у них своя жизнь... Мы люди разных поколений, они думают, что я могу приспособиться к их суете... Для них, конечно, это было бы проще».

Вначале, после смерти матери, по воскресеньям обеды ему приносила Мишлина, так как в эти дни рассыльный не работал. Теперь ему приносили побольше еды в субботу, и он уже справлялся сам. Иногда служанка торопилась. Она говорила:

— На сегодня дров хватит, я принесу вам завтра.

А на следующий день она, как нарочно, опаздывала. Темнело. Она прибегала совсем запыхавшись, ставила на стол корзину и тут же уходила со словами:

— Бегу, у нас гости, а обед еще не готов.

На следующее утро отец одевался потеплее, закрывал рот толстым шерстяным шарфом, чтобы не дышать холодным и сырым воздухом, от которого у него начиналась астма, и шел в сарай за дневным запасом дров. Заодно он открывал стенные шкафы в своей мастерской и проверял, не ржавеют ли инструменты. И каждый раз его пугало, что поленницы становятся все ниже. Матери не было, некому было написать лесоторговцу и заказать дрова. Ни Поль, ни его жена больше не появлялись, и отцу пришлось обратиться с этой просьбой к Робену.

— Дрова я буду пилить и колоть сам и покончить с этим надо до холодов, значит, чтобы все было ладно, придется просить Пико доставить дрова весной.

Затем старик прибавил:

— Не знаю, переживу ли я будущую зиму, но так или иначе, а остаться без топлива я не хочу.

Робен написал письмо. Он часто оказывал отцу разные услуги. Спрашивал, как поживает Жюльен, но о Поле не говорил никогда. Отец тоже не говорил о Поле. Между ним и Робеном словно бы пролегла пропасть, оба измеряли ее взглядом, но на большее не решались. Из чувства гордости, которое ему было трудно объяснить, отец не решался попросить соседа написать Жюльену, чтобы тот при первой возможности приехал с ним повидаться. Надо сказать, что старик и ждал и опасался приезда младшего сына. Поль его забросил, он даже не выполнял принятых на себя согласно дарственной обязательств, и отец боялся, что Жюльен это узнает. Он надеялся на приход весны. У него будет тогда огород, дрова, которые надо напилить и расколоть, как только лесоторговец их доставит, а значит, ему будет чем заполнить день. Ночи станут не такими долгими, потеплеет, можно будет выйти из дому, поболтать на улице с соседями.

На большом дубе с густой кроной, что рос в конце сада возле колодца, уже лет пять, а то и шесть не обрезали сучьев. Ветви, выросшие за это время, тоже неплохое топливо, и отец дал себе слово, как только позволит погода, приняться за дуб.

В начале марта выдалось несколько солнечных дней. Отец начал работу с деревьев, росших вдоль центральной дорожки, он тщательно подбирал все веточки и складывал их в вязанки. Он быстро уставал, но так бывало всегда после зимы, и он знал, что вместе с работой вернутся и силы. Погода держалась хорошая, и через четыре дня, когда земля достаточно подсохла и можно было не опасаться, что лестница увязнет в грязи, отец занялся дубом. Ножовка была хорошо наточена, и работа спорилась. Ветки падали одна за другой, и, обрезая их, старик думал о своем отце, скромном трубочисте-савояре, пришедшем сюда в сороковые годы прошлого века и посадившем этот дуб, чтобы колодец был всегда в тени.

Утро еще не кончилось, а больше половины веток уже было срезано, и отец собирался слезть и перенести лестницу на другое место, но

тут он увидел, что в сад входит сын. Поль был не один. С ним пришли еще двое, они остановились у первой грядки, а Поль направился прямо к отцу.

Дойдя до того места, откуда отец мог его услышать, он крикнул:

— Ты с ума сошел. В твоем возрасте заниматься такой работой! Смотри упадешь, сломаешь ногу, а то и насмерть убьешься...

— Нечего на меня орать,— оборвал его отец.

Поль улыбнулся.

— Ты прав, ты прав, но я за тебя испугался.

— А что делать? Уже больше месяца, как я заказал дрова, а их не везут. Сколько ни на есть, а все что-то заготовлю.

— О дровах можешь не беспокоиться. Ты прекрасно знаешь, что мерзнуть не будешь.

Отец слез с лестницы. Стоя около сына, он старался разглядеть сквозь еще обнаженные деревья тех двоих, что остались у калитки.

— Кого ты привел?

— Ты его знаешь, это Валентини, подрядчик. А с ним архитектор.

— Ах, вот как!

— Да, я их привел, чтобы они посмотрели участок. Ты ведь знаешь, часть сада отрежут, потому что будут спрямлять улицу, так вот, надо, чтобы они поглядели, где можно начинать строить.

Отец ничего не понимал. Он приподнял каскетку, обтер лысину, затем почти робко спросил:

— Строить?.. Что именно?

— Ну, видишь ли, сперва гаражи для моих грузовиков, а там, может, надстроим один или два этажа.

Отец положил ножовку на землю возле лестницы, затем в раздумье почесал подбородок.

— Ты что же, собираешься начать стройку еще при моей жизни? — спросил он.

Поль смущенно пожал плечами.

— Видишь ли,— сказал он.— Проекта я еще не заказывал, но... у меня большие трудности со складами. Ты знаешь, какие это старые помещения. Там полно крыс... А, кроме того, приходится дорого платить за аренду. Так вот, чем скорее я начну, тем лучше.

Отец с трудом владел собой. Он чувствовал, что внутри у него все кипит, а на язык просятся слова, которые ему трудно сдержать.

— А дерево свое брось,— сказал Поль.— Я пришлю кого-нибудь из моих служащих, он докончит.

Возможно, эта неловкая попытка подладиться к нему и взорвала отца.

— Замолчи! — крикнул он.— Это ерунда. А вот что это еще за постройка? Ты собираешься разрыть весь сад?! Все к черту послать, когда я не хотел ничего трогать даже ради водопровода и электричества! Ты, черт тебя возьми, задумал отправить меня поскорее на тот свет!

Поль оглянулся. В соседние сады вышли люди погреться на солнышке.

— Не кричи так. Весь квартал всполошишь!

Но отец уже не владел собой. Он вдруг разглядел подлинное лицо сына, которое прежде не желал видеть.

— Буду орать, сколько душе угодно! Я пока еще в своем доме, черт возьми! А ты, сделай милость, убирайся вместе со своими шутами гороховыми, не то я угощу вас вилами, у них рукоятка крепкая.

Поль пробовал уговорить отца, но тот даже не слушал.

— Убирайся! — кричал он.— Не то весь квартал узнает, что ты меня голодом моришь, а приходишь только для того, чтобы поскорее отправить на тот свет.

Он распалился, но еще не окончательно утратил над собой контроль и вдруг почувствовал, что сейчас на него нападет кашель. Он замолчал, отдышался, затем, подняв сук длиной в метр и толщиной в руку, направился к тем двум мужчинам, что стояли у калитки. Поль опередил его и поспешил увести архитектора и подрядчика из сада. Отец не остановился. Он ускорил шаг и, дойдя до калитки, запер ее на два поворота ключа. Те трое уже шли по Школьной улице. Размахивая дубинкой, отец закричал им вдогонку:

— Попробуйте только еще сюда сунуться! Я жандармов на вас напущу!

Но мужчины уходили не оборачиваясь.

Отец долго не мог отдышаться и долго стоял, прислонясь к калитке; затем, когда в доме напротив открылось окно, он медленно побрел назад, даже не посмотрев, кто там глядит — мадемуазель Марта или другая кумушка.

68

От приступа гнева отец всегда уставал куда больше, чем от целого дня самой трудной работы; так было и сейчас, и все же у него было такое чувство, точно он сбросил с себя тяжкое бремя.

Вернувшись домой, он на минуту присел, потом раздул огонь в плите, где оставался еще жар от тех поленьев, которые он утром положил в топку, чтобы согреть себе кофе. Было уже больше одиннадцати, и ему хотелось есть. Он с отвращением посмотрел на остатки пищи в тех двух кастрюлях, что служанка Мишлины принесла накануне, потом вынес кастрюли на крыльцо.

— Ну и стряпня...— проворчал он.— Даже ночь простоять не может... Какая гадость... Жаль, что у меня нет больше кроликов.

Он спустился в погреб, взял несколько картофелин и две большие луковицы. Очистил их, положил в чугунок две ложки жира и мелко нарезанную картошку и лук. Уже от одного вида привычной еды, от запаха горячего жира, от его шипенья у отца разгорелся аппетит.

— Жаль, нет ни кусочка сала!

Со смерти жены он ни разу не ел картошки, тушенной в чугунке.

Он прибавил еще довольно большую дольку чесноку, два лавровых листа и немного чабреца.

Чугунок с овощами шипел на плите, а отец тем временем приготовил себе стакан подсахаренного вина.

— Ишь ты, задумал меня уморить,— ворчал он.— Ладно, посмотрим... Изничтожить мой сад!.. Хотел бы я посмотреть, как он это сделает... Что же, выходит, я всю жизнь работал, как каторжный, унавоживал землю, сажал деревья, а теперь все перекопают! Черта с два! Я всю зиму не выходил из дому, так он, может, воображает, что я впал в спячку. А вот и нет...

Он шагал по кухне, отпивал глоток подсахаренного вина, помешивал картошку и наслаждался запахом лаврового листа и лука.

— Да, давненько уже в доме так вкусно не пахло.

Он все время разговаривал сам с собой, словно хотел своими словами поддержать тот огонь, который опять загорелся у него внутри. Просто пригрозил им дубинкой, и все трое удрали, а ведь старший из них на тридцать лет моложе него, и при воспоминании об их бегстве кровь в жилах у отца текла быстрее, согревала мускулы, пробуждала желание приложить к чему-нибудь силы.

— Сегодня к вечеру кончу обрезать дуб и готов побиться об заклад, что обработаю добрую половину сучьев... Пусть приходят те, кто считает, что меня пора на свалку, пусть возьмут садовый нож и посмот-

рим, у кого дело пойдет быстрее... Одни с деньгами, другие с портфелями — так и разважничались... Да разве это работа?

Во время обеда отец все время разговаривал сам с собой. Порою он повышал голос, будто перед ним многочисленная публика.

Выпив кофе, он налил себе полную рюмку виноградной водки.

— Сегодня не воскресенье и никакой не праздник, но, чувствую, выпить мне нужно... Посуду вымою вечером... А сейчас воспользуюсь солнцем и хорошенько поработаю.

Когда он кончил обрезать ветки и уже подтаскивал их к сараю, появилась его невестка. Калитка была заперта, поэтому Мишлина пошла по дорожке вдоль сада, и отец увидел ее, когда она была в двух шагах от сарая. Он сразу пришел в раздражение. Бросил ветку, которую держал, и застыл на месте, засунув одну руку в карман фартука, а в другой держа погасший окурок, вынутый изо рта. Вид у Мишлины был очень удрученный. Немного помедлив, она поцеловала его в обе щеки. Отец заметил, что она сильно надушена и что волосы у нее как будто светлее, чем обычно.

— Боже мой, боже мой! Милый папа,— захныкала она,— что же произошло?

— Раз вы пришли, значит, должны это знать. Пожаловаться на то, что за последнее время вы надоедали мне своими посещениями, я никак не могу!

Он говорил, не повышая голоса, но очень резко. Мишлина молча посмотрела на него, заморгала и разразилась рыданиями.

— Я заслужила ваши упреки,— сказала она.— О, как я их заслужила! И как я корю себя, что отдавала все свое время работе и забросила вас. Вечно хочется сделать побольше, а к чему это приводит... я вас спрашиваю?

Отец, у которого вызвал раздражение этот чересчур быстрый приступ слезливости, перебил ее:

— Полагаю, Поль прислал вас сюда не затем, чтобы вы задали мне ваш вопрос.

Она притворилась, что очень удивлена и очень испугана.

— Но он не знает, что я здесь,— стала она уверять.— Бедный Поль, если б вы видели, в каком он состоянии.

— Это меня не интересует. И незачем было вам приходить и ломать здесь комедию.

— Не кричите так, милый папа, это вам вредно. Я вам сейчас все объясню. Но чего мы тут стоим?

Отец ожесточался все больше и больше. Он как за крепкую скалу изо всех сил ухватился за свой гнев. Притворство Мишлины помогало ему. Слишком уж легко она пустила слезу. Слишком много вздыхала, и отца даже смешило, как при каждом вздохе у нее вздымается грудь— прямо чуть не лопается материя на лифе. Он махнул рукой в сторону Манси, где небо понемногу заволакивали облака.

— Завтра может пойти дождь. И мне надо перетащить сучья с грядки раньше, чем польет. Некогда мне слушать ваши причитания.

— Господи, никогда бы я не подумала, что вы обойдетесь со мной так сурово и так несправедливо. Бедный Поль сегодня в обед даже кусска не мог проглотить...

— Ну, а я поел в свое удовольствие. Протомил в чугунке картошку... Ваши кастрюли стоят на крыльце. Можете их забрать. И впредь не трудитесь присылать мне еду. Без вас обойдусь. Да и калитка будет всегда на запоре.

Он повернулся к Мишлине спиной и пошел к дубу, не обращая внимания на невестку, которая с носовым платком в руке так и осталась стоять у сарая.

— Плачь себе на здоровье,— проворчал отец,— меньше будешь по нужде бегать. А похудеть все равно не похудеешь, черт тебя побери!

Отец разжигал в себе злобу. Он оделся ею, как добротной непромокаемой тканью, которую его толстой невестке не прошибить ни слезами, ни рыданьями.

Каждый раз, как он возвращался к сараю, Мишлина заговаривала с ним:

— Бедный Поль. Если б вы только знали, как он мучается. Говорит, теперь дорогой мой отец меня проклянет. А я так хотел скрасить его последние дни...

Отец возвращался к сараю четыре раза. Он уже не пылал гневом, а чувствовал лишь раздражение — ему хотелось схватить прут и отстегать невестку по толстому заду.

В пятый раз отец не выдержал, остановился перед нею и, стараясь не кричать, чтобы не вызвать приступа кашля, который помешал бы ему выложить все, что он хочет, сказал:

— На сегодня с меня хватит. Сделайте милость, убирайтесь вон и чтобы ноги вашей здесь не было, пока я не окочурюсь... Тогда делайте с моим садом что угодно, а пока я жив, устраивать тут бордель не позволю!

Мишлина медленно отступила, затем, прежде чем повернуть обратно, еще раз всхлипнула:

— Бедный Поль, он этого не вынесет, заболеет!

— Пусть пьет поменьше — и будет здоров... Но пусть не приходит больше надоедать мне своими глупостями и своих шутов гороховых с портфелями под мышкой пусть сюда не водит!

69

Снова наступили холодные дни, шел дождь, иногда даже со снегом, однако вернувшаяся вместе с гневом энергия все еще не оставляла отца, и он не прекращал работы. Он делил свое время между сараем, где пилил и колол на дрова ветви старого дуба, и огородом, который он расчищал к весне. Он ждал, когда подсохнет земля, чтобы начать ее вскапывать.

В середине марта он получил письмо от Жюльена, который сообщал о рождении мальчика. Ребенка назвали Шарль-Гастон. В этот день старику работалось легче обычного. Увидев проходившего мимо Робена, он попросил его зайти в дом. Он показал соседу письмо Жюльена, а когда тот поздравил его, отец со слезами на глазах спросил:

— Не напишете ли вы мне письмецо?

— Конечно. Вы хотите, чтобы я это сделал сейчас?

— По правде сказать... Если бы вы могли его сегодня же и отправить... а потом, если это вас не слишком затруднит, я хотел бы послать сыну немного деньжат. Понимаете, купить подарок мне трудно. Вот я и решил отправить им небольшую сумму. Мне как раз уплатили за аренду дома, где булочная, а теперь какие у меня расходы...

Робен написал письмо, и отец дрожащей рукою поставил внизу свою подпись.

— Вот ведь какая жалость,— сказал он.— То-то бы порадовалась моя бедная жена!.. Завтра, если только позволит погода, непременно схожу на кладбище. Я там еще ни разу не был. Не чувствовал себя в силах. Но теперь...

— Если хотите, я попрошу жену проводить вас.

— Нет, нет. Я и так постоянно беспокою ее своими просьбами.

С тех пор как отец запер калитку и решил отказаться от еды, которую обязан был присылать ему сын, госпожа Робен покупала старику

хлеб, мясо и молоко. Время от времени она приносила что-нибудь сладкое. Делала она это неназойливо, неизменно прибавляя:

— Вы мне только услугу окажете, если возьмете, а то я слишком много наготовила, и муж ворчать будет, если увидит, что я выбрасываю.

На следующий день, встав с постели, отец внимательно посмотрел на небо. Рассвет обещал солнечную погоду. С востока дул свежий ветерок и прогонял с неба ночную дымку. Отец замочил в лохани две рубахи, две фуфайки и несколько носовых платков, которые он собирался постирать, потом надел чистый фартук, вельветовую куртку, взял свою палку с железным наконечником и вышел из дому.

Чтобы не идти через центр города, он пересек ярмарочную площадь, затем свернул на улицу Регар и на набережную. Он шел быстрым размеренным шагом, очень довольный тем, что на улицах мало прохожих. Он направлялся на кладбище навестить жену, которую схоронил в начале зимы. Но ему не было грустно. Ведь он шел поздороваться с нею и сообщить радостную новость.

Через три четверти часа старик достиг дороги к кладбищу. Одновременно с ним, но только с улицы Пюи-Сале, на эту же дорогу вышла старушка, которую он считал давно умершей. Это была его постоянная покупательница, еще той поры, когда он держал булочную. Увидя отца, она, казалось, нисколько не удивилась, засеменила рядом и заговорила с ним так, как будто они виделись накануне.

— Стало быть, идете навестить жену.

— Да,— сказал отец.— Зима была долгая. А мне в холода лучше не высовывать носа на улицу.

— Я тоже в зимнюю стужу почти не бываю на кладбище. Правда, я живу неподалеку и потому, как только выглянет солнышко, все-таки выбираюсь сюда... Конечно, ненадолго. Только поклонюсь могилкам и тут же домой... Но покойники не в обиде... Они меня хорошо знают. И уверены, что как только установится погода, я буду приходить надолго.

— Вы ходите к вашему мужу?

Старушка остановилась, уперлась рукой в поясницу, слегка выпрямилась и посмотрела на отца.

— К мужу? Вовсе нет! Он уже сорок два года как помер. И похоронили его в Бурк-ан-Бресе, где он в больнице лежал... У меня не было денег, чтоб заплатить за место на тамошнем кладбище, и его могилку уже давно, должно быть, с землей сровняли. Нет, нет, у меня тут родных никого нет. А вот знакомых — полно.

Они подошли к воротам кладбища, и старушка широким жестом руки обвела могилы.

— Ваша наверху, налево,— сказала она.

— Да, над лесенкой, за высокими деревьями.

Они пошли по левой дорожке, она поднималась в гору, и оба замедлили шаг.

— Там хорошо,— снова заговорила старушка.— Совсем не сыро. И чуть не целый день солнце. Тем, кто наверху, куда лучше, чем тем, кто у самого входа. И место здоровое, и меньше народу ходит взад и вперед.

Она остановилась возле могильного холмика, посыпанного белым песком, и подняла вазу, которую опрокинул ветер.

— Здесь Полина Ришар,— пояснила она.— Та, что луком торговала. Вы ее знали?

— Еще бы, как не знать!

— Хорошая была женщина и простая. Тут она, конечно, не в своей компании. В этой части кладбища все больше богачи лежат.

Старушка указала на пышные памятники из серого и черного мрамора, на склепы с колоннами или со статуями, на могильные ограды из

кованого железа. Она остановилась у массивной гробницы, которая сильно покосилась, потому что под ней осела земля.

— Вот видите,— заметила старушка,— и такое сооружение, и простой могильный камень — все одно. В один прекрасный день эти хитроумные постройки валятся набок от собственной тяжести. Я часто спрашиваю себя, хорошо ли покойнику лежать под этакой громадой.

Сначала отец с удивлением отметил, что она говорит об умерших, как о живых, но потом привык. Иногда у старушки даже вырывался смешок, однако и он не казался неуместным здесь, где сейчас царила не столько смерть, сколько жизнь. Потому что горячее уже солнце наполняло кладбище жизнью. Серые ящерицы скользили по камням и исчезали в трещинах, мошкара кружилась над головой, и первые нежно-зеленые почки уже распускались на кустах сирени, посаженной вдоль ограды.

Когда они подошли к деревьям, старушка достала из сумки бумажный кулек с хлебными корками. Она покрошила их между двумя могилами и сказала:

— Я всегда подкармливаю птиц... Они прилетают, а покойникам с ними веселее.

Отец стал подниматься по узкой лесенке из серого камня, и старушка пошла за ним. Ступив на верхнюю дорожку, он направился к могильному холмику с истлевшими цветами.

— А камень-то еще не установили,— заметил он.— Промерзшая земля не осела как следует.

— Да и теперь рано его ставить, скоро таять начнет.

Старик присел на край соседней могилы, положил обе руки на набалдашник палки и сказал:

— Немного передохну, а потом уберу мусор.

Старушка несколько минут простояла не двигаясь. Она молитвенно сложила руки, ее черная сумка свисала вдоль тела чуть не до земли. Губы у нее беззвучно шевелились.

— Вот что,— сказала она наконец,— я пойду, побудьте немного вдвоем. А я пока других навещу.

Она медленно удалилась, и отец видел, как она подходит к могилам, с минуту стоит возле них, поднимает упавшую вазу, выдергивает пучок травы или поправляет покосившееся распятье. Когда старушка исчезла из виду, он посмотрел на глинистую землю, под которой покоилась мать, и сказал:

— А ведь тут и вправду хорошо. Самые сильные холода уже позади.— Он помолчал.— Знаешь, у Жюльена родился сын... Да, одни уходят, другие появляются на свет. Так уж устроен мир.

Отец положил свою палку, встал и принялся подбирать истлевшие цветы, которые снег вдавил в землю. Он оставил на могиле только два искусственных венка. От Жюльена и от себя.

— Милая ты моя старушка,— снова заговорил он,— очень мне трудно жить без тебя. Вот я и думаю, стоит ли торопиться и ставить сейчас камень на место... Когда я вижу, как тебе тут покойно...

Он не чувствовал грусти. Ему даже казалось, что он здесь совсем как у себя дома. Вокруг словно сад, и никто не говорит с тобою злым голосом. Либо люди вовсе сюда не приходят, либо приходят как друзья, вроде этой старушки, что пошла побеседовать с покойниками.

Убрав могилу, отец вымыл руки под краном, расположенным чуть дальше по дорожке, потом вернулся за своей палкой и сказал:

— Оказывается, Феликс Рамийон и его жена лежат рядом с тобой. А чуть выше — мадемуазель Крето, так что вокруг все твои знакомые.

Кончиком палки он сбил росток одуванчика, показавшийся между

двумя комьями земли, потом, дойдя до поперечной дорожки, пробормотал:

— Назад я пойду, пожалуй, по той аллее, так я больше людей повидаю. Да, теперь у меня тут больше знакомых, чем в городе.

70

После посещения кладбища отец снова принялся за работу. Теперь он был спокоен, как человек, который идет вперед, твердо зная, что движется по верной дороге. Гневу уже не нужно было подстегивать его, он чувствовал, что у него достанет сил одному дойти до конца своего пути. Без него остановилась бы вся работа в саду, а без работы остановилась бы его собственная жизнь. Так и шли они рядом — он и его работа, поддерживая друг друга, и дни проходили незаметно.

Пробежали две недели, с теплом ветви деревьев напитались соком, из земли потянулась трава. Трава всегда растет слишком быстро, но она тем хороша, что побуждает огородника сеять и сажать. Отец прежде всего вскопал грядки позади дома, защищенные от северного ветра и как бы предназначенные самой природой для ранней посадки. Он вскрыл яму с навозом и стал удобрять землю.

В начале третьей недели он уже преодолел усталость, которую всегда порождают первые весенние работы. Он обрел привычный ритм и, хотя теперь все делал один, не без основания считал, что все делается вовремя. Однажды утром он с удовольствием увидел, как в сад вошел лесоторговец Пико.

— Хорошо, что мне знакомо ваше владение,— сказал Пико.— Я было сунулся в калитку, а она заперта.

— Это верно. Я ее больше не открываю. Те, кому я впрямь нужен, дорогу найдут.

— А вы что, воров боитесь?

Отец замялся. Высморкался, обдумывая тем временем ответ, и сказал:

— Нет. Но замок заедает. А я никак не удосужусь его исправить.

Лесоторговец заговорил о кончине матери, извинился, что не мог присутствовать на похоронах. Отец только махнул рукой, будто желая сказать, что не придает этому значения, потом спросил, когда привезут заказанные им дрова.

— Могу их доставить хоть на следующей неделе, но я подумал, что вы, пожалуй, захотите наготовить вязанок, и тогда я заодно прихватил бы и их.

— Все это так, но мне сейчас нужен не столько хворост на растопку, нужны настоящие дрова. Да такие, чтобы с них не текло.

Лесник рассмеялся.

— Могу вам доставить только те, что есть. А есть у меня лишь дрова этого года.

Они немного поспорили, но у Пико в запасе сухих дров не было, и отец понял, что ничего лучшего он не добьется. Пико уже собрался уходить, но вдруг что-то вспомнил и вернулся.

— Я вот о чем подумал,— сказал он.— Лет пять назад мы повалили две здоровенные липы, они стояли на самой дороге к вырубке. С фашинником уже давно покончено, но стволы мне продать не удалось — они изрядно подпортились. Конечно, дровами первого сорта их не назовешь, но если хотите, воспользуйтесь ими, стволы распилены на трехметровые бревна, остается только расщепить их с помощью кувалды и клиньев. Ведь липу расколоть недолго. Потом погрузим поленья на машину, и они помогут вам продержаться, пока остальные дрова подсохнут.

Отец подумал о том, какой длинный путь придется пройти пешком до леса. Заметив его колебание, Пико сказал:

— Оно конечно, хоть древесина у липы и нежная, а все же работать кувалдой в ваши годы тяжело, я это понимаю.

Отец выпрямился. Эти слова задели его за живое.

— Ты так думаешь? Ты, видно, на мне уже крест поставил? А ведь с той поры, как скончалась моя бедная жена, я всю работу один делаю. И, можешь сам убедиться, справляюсь неплохо.

И он указал рукою на возделанный огород.

— В конце концов вам решать,— сказал Пико.

— Все уже решено. Ты мне только объясни, где это.

— Недалеко от той вырубки, где вы готовили вязанки. Как раз над деревней Перриньи, на южном склоне холма, у самого спуска в долину.

Став на одно колено, лесник прочертил пальцем на песке путь, по которому надо идти.

— Да, да, знаю,— приговаривал отец.— Этой дорогой я не раз ходил за сморчками... Постой, это было еще при твоем отце... Думаю даже, тогда еще и дед твой был в живых, я ведь тебе не о вчерашних делах говорю...

И он принялся рассказывать какую-то длинную историю, потом вспомнил другую, но заканчивал он ее уже для себя одного, потому что Пико перебил его и сказал:

— Ну, я побегу, мне еще надо развезти дрова. Вы только прихватите с собой топор поострее и кувалду. А клинья заготовите на месте.

— Не беспокойся, я на своем веку больше тебя дров переколол, хоть ты и дровосек.

Отец проводил глазами Пико, этакий здоровый детина, а идет вразвалку, размахивая руками. Он еще покажет лесоторговцу, тяжело или нет работать кувалдой в его, отца, годы!..

— Молодые, они к машинам привыкли,— бормотал старик,— потому к сорока годам и теряют силу... Небось, когда был жив его дед, старый Пико, он сам валил деревья не хуже своих дровосеков. И даже всем другим тон задавал. А в наши дни лесоторговцы только распоряжаются да водят грузовики. И когда им говоришь о былых временах, они даже не считают нужным тебя выслушать.

Этот день прошел очень быстро. Отец мысленно представлял себе лесную дорогу, он рылся в памяти, припоминая все тропки в лесу, по которым в свое время нередко хаживал. Это путешествие в прошлое горячило ему кровь, и по всем его жилам, казалось, растекалась сила, помогавшая ему забыть нынешние недуги.

Он еще засветло приготовил кувалду, прошелся напильником по лезвию топора, наточил садовый нож. Затем отправился на кухню, намазал жиром свои грубые башмаки и старые кожаные гетры, которые должны были защитить его ноги от росы. Поел и сварил кофе с тем, чтобы утром его надо было только разогреть.

В тот вечер отец лег спать рано, так что ему даже не пришлось зажигать лампу.

71

Небо еще только начинало светлеть, когда отец вышел из дому. Он связал вместе топор и кувалду и взвалил их на левое плечо. В вещевом мешке лежали садовый нож, еда и бутылка с питьем. В правой руке он держал палку, ее железный наконечник гулко стучал по асфальту.

Погода была тихая, но отец знал, что с восходом солнца поднимется ветер, и потому хотел прийти на место как можно раньше. Не так-то легко идти, когда ветер дует тебе в лицо, а солнце слепит глаза. Кроме

того, он предпочитал пересечь город до того, как люди начнут выходить из домов. Навстречу ему попалось только несколько рабочих из сыроварни. А чуть дальше его перегнали велосипедисты, которые, должно быть, ехали на фабрику, где изготовляли очки.

Перейдя железнодорожный мост, он замедлил шаг. Теперь дорога шла в гору, и старик понимал, что надо беречь дыхание. Ноги у него совсем не устали, он чувствовал еще немалый запас сил и остерегался только одного — приступа кашля, который всегда приводил его в полное изнеможение. Вот почему он несколько раз останавливался и подолгу смотрел на город, расстилавшийся позади и казавшийся в прохладном воздухе раннего утра серовато-голубым. Взгляд старика задержался на кладбище.

— Милая ты моя старушка,— прошептал он,— ты, верно, думаешь, что я просто спятил, взявшись в мои годы за такую работу. Но что поделаешь, ты-то ведь хорошо знаешь, что дрова, которые нам привозят, совсем сырые и не горят. Если бы у людей было побольше совести, но эта гнусная война вконец убила честность. Старикам остается только околевать в одиночестве. Когда я тебе это говорил, ты не хотела верить. А ведь так оно и есть.

Останавливаясь, он всякий раз передвигал на спине вещевой мешок, перекладывал топор и кувалду с одного плеча на другое и брал палку в другую руку. В голове он держал план, который лесник начертил на песке дорожки своим толстым пальцем.

Старик взял влево и пошел поперечной дорогой, которая взбегала в гору прямо к лесной опушке. Потом он свернул вправо, отсчитал триста шагов и принялся искать тропу к вырубке.

Весь склон порос тут колючим кустарником, но старик угадал начало тропы, потому что почва здесь слегка осела.

Расчистив себе проход, отец увидел, что тропа, ведущая к вырубке, поросла только папоротником. Достаточно слегка притоптать его, и по тропе можно будет легко стаскивать вниз дрова. Он сбросил куртку, снял вещевой мешок, повесил и то и другое на ветку клена в нескольких шагах от дороги, потом подошел к поваленным стволам, видневшимся в зарослях папоротника. Отец насчитал восемь толстенных бревен трехметровой длины и подумал, что, если даже расщепить только половину, получится немало дров. Пико говорил, что стволы лежат всего в сотне метров от проезжей дороги, и он не ошибся.

Прежде чем готовить клинья, отец решил разобраться, что это за дрова. Он вытоптал папоротник вокруг ближайшего бревна, срезал несколько мешавших ему кустов и всадил нож в толщу дерева. Два удара наискосок, и щепка шириной в ладонь отскочила в сторону, открыв взгляду белую и крепкую древесину.

— Древесина-то сверху, оказывается, отличная.

Старик внимательно разглядывал срез. Сердцевина была помягче и изрядно подгнила, но заболонь осталась нетронутой.

— Дареному коню в зубы не смотрят.

Солнце уже перевалило через гребень холма, и первые его лучи струились между стволов, как ключевая вода, лизали землю и папоротники, на которых блестели капли росы. Лес был рыжеватый, словно стояла осень. Только кое-где пробивались зеленые пятна. Подул ветер, но он проносился высоко, слегка подвывая в голых верхушках деревьев.

Отец без труда нашел акацию, которая могла пойти на клинья, и быстро справился с делом. Ему нетерпелось испробовать свои силы и посмотреть, может ли он еще работать кувалдой.

Он приступил к первому бревну. Труд этот был, конечно, нелегкий, потому что сухое дерево, долго пролежав под солнцем и дождем, затвердело.

— Да оно совсем каменное,— все время повторял отец.— Такое бревно не просто расколоть, зато древесина у него плотная и гореть будет здорово.

Труднее всего вогнать клин. Если щель пройдет сквозь сердцевину, он попытается расколоть дерево пополам. А потом дело пойдет легче. Если же клин застрянет, придется вгонять другой, сбоку, и расщеплять бревно по кускам. Как он и опасался, щель дошла только до подгнившей части сердцевины. Отец ухмыльнулся. Дерево сопротивляется. Оно решило бороться, ну что ж, он с ним поборется.

— Черт побери, мы еще поглядим, чья возьмет!

Его охватил яростный, но беззлобный азарт. Он разговаривал со стволом, как со старым приятелем. И, не останавливаясь, бил кувалдой, ухая при каждом ударе. Под тяжелыми ударами клинья сверху постепенно сплющивались и все глубже входили в толщу дерева. Ствол жалобно стонал, как раненый зверь. Когда вторая щель прошла по сердцевине, отец вернулся к первой, взял топор и, широко размахнувшись, вогнал железное лезвие в то место, где сошлись обе щели. С одного удара топор целиком вошел в самое сердце бревна. Отец выпустил топорище, схватил кувалду и влез на ствол, чтобы удобнее было бить по топору. После третьего удара, от которого сталь зазвенела так громко, что, верно, было слышно по другую сторону долины, дерево поддалось. Отец опять усмехнулся.

— То-то же! — только и сказал он.

Он слез на землю, навалился всей тяжестью на топорище, и дерево ответило ему долгим стоном — натянутые волокна с треском рвались одно за другим.

Самое трудное было сделано. Отец знал, что, раз поддавшись, дерево особенно сопротивляться не будет. Оно уже поняло, что всякое противодействие бессмысленно. Он, старик, в чьи силы не верил лесоторговец, старик, которого хотели похоронить раньше времени, отняв у него землю под тем предлогом, что он уже не в силах ее обрабатывать и извлекать из нее пользу, он в одиночку одолел эту могучую суковатую липу.

Отец вспотел и накинул на плечи куртку. Теперь, когда он уяснил себе и тяжесть работы, и меру собственных сил, он уже не так торопился. Дорога и первая схватка с деревом изрядно утомили его, и он с полным правом мог слегка передохнуть и подкрепиться еще до полудня. Он снял с сука вещевой мешок и, чтобы уберечься от лесной сырости, пошел вдоль дороги в поисках залитого солнцем местечка на откосе, где было бы удобно расположиться и поесть.

72

Когда отец закончил свой скромный завтрак, солнце уже стояло высоко. Он с удовольствием возвратился в лес, где ветви деревьев, хотя на них еще и не было листвы, смягчали яркий свет. Он опять взялся за работу и трудился не торопясь, будучи теперь уверен в том, что доведет дело до конца. Наколов несколько поленьев, он относил их к дороге, а потом снова брался за топор.

Покончив со вторым бревном, он подошел к дереву, где висела его куртка, и взглянул на часы. Было всего одиннадцать, и он подумал, что до обеда успеет расколоть еще один ствол. Поэтому он выпил полстакана вина, разбавленного водой, и снова принялся за дело.

Приминая ногой папоротники, отец вдруг услышал какой-то шорох по другую сторону бревна. Он замер.

— Должно быть, крыса или другая какая нечисть,— проворчал он.

Расчистив место, старик внимательно осмотрел ствол. Ствол этот был подпорчен больше других. Сердцевина у него не только прогнила, но

в ней образовалось даже дупло, куда можно было засунуть кулак. В общем этому можно было только порадоваться — бревно легче расколется.

Отец приметил место, по которому уже шла трещина, и ловким ударом всадил туда топор. Раздался треск, а потом, как непонятное продолжение этого треска,— шипение, вроде того, какое издают сырые дрова, когда их кладут на раскаленные угли.

— Здрасте! Это бревно плачет еще до встречи с огнем.

Выпустив из рук топорище, старик взял кувалду и дважды быстро ударил по обуху. На этот раз шипение перешло в свист, и отец встревожился.

— Черт побери! Не удивлюсь, если там окажется змея.

Отступив на шаг, он пожалел, что так глубоко вогнал топор в бревно, потому что тот послужил бы более удобным оружием, чем кувалда. В то же время он подумал, что лучше подстеречь змею у выхода из дупла и не дать ей уползти под папоротники. Подняв кувалду, он подождал несколько секунд. И только было решил снова ударить по стволу, как вдруг увидел, что из дупла высунулась треугольная голова и змея заскользила, точно рыжая смола, вдоль бревна, на котором сохранился еще черный след от пилы.

— Гадюка! Да еще рыжая!

Кувалда тяжело опустилась, размозжив гадине голову. Гибкое тело змеи, извиваясь, отпрянуло на папоротники. Отец уже поднял ногу, чтобы прикончить змею, но тут из дупла выползла еще одна и заскользила гораздо быстрее, чем первая. Кувалда снова взметнулась, но гадина уже уползала в траву.

Тяжелый чугунный молот размозжил ей спину.

— Самка... — яростно прохрипел отец.— У них там, видно, логово!

Не успел он отойти на шаг, как показалась третья змея, за ней — четвертая, а из папоротника по ту сторону поваленного дерева уже выползали другие змеи.

— Что за наваждение! Не может быть... Не может быть...

Невольно попятившись, отец почувствовал, что наступил на змею. Он чуть было не отдернул ногу. Под его левым каблуком извивалась огромная гадюка, головой она тыкалась в его кожаную гетру, а хвостом хлестала по башмаку.

— Проклятое племя!

Шипение раздавалось со всех сторон. Отец обливался холодным потом. Он ударил кувалдой ближайшую гадину и чуть не перерубил ее надвое, а потом решил прикончить ту, что извивалась у него под ногой. Однако, хотя он давил изо всех сил, он чувствовал, как гибкое тело змеи все глубже уходит в густой мох и папоротники. Старик понимал, что как только он приподымет ногу, змея ужалит его выше гетры. Отец попытался раздавить ей голову правой ногой, но пошатнулся и едва не потерял равновесие. Воспользовавшись кувалдой, как палкой, он каким-то чудом устоял на ногах. Змея высвободилась из-под его башмака и свернулась в клубок. Отец увидел, как сверкнул ее маленький острый глаз. Надо было опередить эту рыжую пружину, в которой таилась смерть. Кувалда поднялась всего сантиметров на тридцать и тут же опустилась.

Избежав опасности, старик бросил взгляд на ствол, темная пасть которого изрыгала все новых и новых гадов.

И тут его обуял страх. Ему почудилось, что он жертва кошмара. И он со всех ног бросился к дороге. Только добежав до нее, он остановился и вспомнил о своей куртке, о топоре и обо всем, что принес с собою в лес. Вытерев тыльной стороной руки глаза, которые разъедал пот, старик пристально вглядывался в подлесок, где лежали поваленные деревья. Даже с того места, где он стоял, видно было какое-то копошение.

— Ах ты, треклятое племя!

Ужас сдавил ему горло. Голова у него звенела, как, должно быть, звенело дуплистое дерево, где таились гадюки.

Попробовать вернуться за курткой? И тут отец вспомнил о ноже. Ведь лучшее оружие против змей — гибкий и крепкий прут. А срезать его можно только ножом.

Стараясь двигаться бесшумно, внимательно глядя себе под ноги и держа наготове кувалду, он осторожно подкрался к дереву, на котором висела его куртка. Сняв ее с сука, а заодно прихватив вещевой мешок и палку, он вернулся на дорогу. Он был весь в поту, руки и ноги у него дрожали. Только мысль о том, что его добрый топор остался в стволе, мешала ему убежать. Старик заставил себя сделать глубокий вздох и с минуту обдумывал положение. Затем решил, что надо в любую минуту быть готовым к отступлению, а потому надел куртку и перебросил через плечо лямку вещевого мешка.

Руки у него все еще дрожали, и он никак не мог распутать шнурки, которыми был затянут мешок. Он завязал их петлей, но взялся не за тот конец и так стянул узел, что не мог его распутать. Ногти его только скользили по шнурку, в конце концов он вытащил нож и перерезал шнурок.

Отец возился с вещевым мешком, стоя посреди дороги, и все время опасливо оглядывался. Затем он осторожно подошел к орешнику, двумя ударами ножа срубил его и вытащил на дорогу. Выбрав два хороших прута, он отрезал их, потом очистил от веточек. Снова спрятал нож в мешок и, чтобы проверить крепость прутьев, стал стегать ими сначала по воздуху, а затем по откосу,— трава под его ударами прижималась к земле. Он поправил каскетку, забросил вещевой мешок за спину и медленно направился к тропе, ведущей на вырубку.

Отец с величайшей осторожностью продвигался к бревну, выставив вперед правую руку и держа наготове свое гибкое оружие. Время от времени он мысленно измерял расстояние, еще отделявшее его от вожделенного топора. Он знал, что топор глубоко засел в дереве и, чтобы его вытащить, нужно время. Время и свободные руки. А потому придется выпустить прутья и подойти чуть ли не на метр к черной пасти дерева, которая изрыгала гадюк прямо на него.

— Треклятое племя,— все время бормотал он.

Уже на полдороге к стволу старик увидел, как в траве сверкнула рыжая полоса. Гадюка появилась из-за спины отца и обогнала его. Он быстро шагнул вперед раз, другой и хлестнул прутом по земле. Однако жесткие папоротники смягчили удар, и змея уползла. Он обернулся. Если он мог пройти мимо змеи, не заметив ее,— значит, и другие гады уже подобрались к самой дороге.

Отец на миг замер на месте и только поворачивал голову во все стороны, оглядываясь кругом. Тишина, стоявшая в лесу, пугала его. Даже ветер — и тот как будто стих. Ни птицы. Ничего. Грозная пустота.

Ему снова подумалось, что все происходящее — сверхъестественно. Но он отбросил эту мысль. Что он, в конце концов, впервые убивает несколько гадюк зараз? Правда, стольких одновременно он никогда не видал. Ему приходилось слышать, будто в старых пнях иногда собирается множество змей на зимовку, но бывает это редко... Все-таки в этом есть что-то странное! И эта тишина... Старику почудилось, что на него пристально смотрят сотни маленьких глаз. И что армия гадов может внезапно напасть на него. Он поднял голову, стремясь удостовериться, что змеи не притаились в ветвях.

Отец сам сознавал, что он смешон, и тем не менее не мог победить овладевший им страх.

Взгляд его снова упал на топор. Нет, не может он так вот бросить

его. Это ведь замечательный топор, прочный, из хорошей стали. Топор, которым он владеет еще с той войны.

Черт побери, не оставит он своего топора змеям, нет, не оставит!

Старик сделал еще несколько шагов. Теперь он переменил тактику и шел, ударяя каблуком по земле,— уж пусть лучше гады зашевелятся при его приближении, а то ведь можно пройти мимо, даже не подозревая, что они тут, рядом. До ствола оставалось всего несколько метров, он достиг того места, где еще лежали два деревянных клина из тех, которыми он раскалывал бревно.

А может, испуганные змеи ушли из дупла и расползлись по лесу?

Решив проверить это, отец взял оба прута в левую руку, нагнулся, поднял один из клиньев, прицелился и изо всех сил швырнул его в бревно. Клин упал на дерево возле самого дупла. Раздался глухой удар, и тут же из дупла показались две треугольные головы, а третья гадюка, свернувшаяся в клубок возле самого ствола, начала вытягиваться, высунув из пасти свой раздвоенный язык. С того места, где стоял отец, нельзя было услышать змеиное шипение, и все-таки ему показалось, что весь лес вокруг зашипел. Его испуганный взгляд перебегал с одного предмета на другой. Неужели лес и вправду кишит змеями? Или это ему только мерещится? Может, он сошел с ума, и по этой причине ему повсюду чудятся гадюки? Старик еще колебался с минуту. Какая-то сила властно толкала его к топору, другая сила не менее властно тянула к дороге. Он вздрогнул и закричал придушенным голосом:

— Ах, чтоб вас!..

И пустился бежать. Когда ему казалось, что рядом что-то шевелится, он останавливался, потом снова бежал и скоро был уже на дороге.

Не выпуская из рук прутьев, отец взял свою кувалду и палку с железным наконечником. Он в последний раз оглянулся на лес, и ему показалось, что прямо на него ползут гады. Тогда, пришпоренный страхом, с которым он уже не мог совладать, инстинктивно избегая узких троп, он по самой середине дороги побежал вдоль леса.

73

Всю ночь отец тщетно пытался уснуть. В спальне кишели гадюки, они были еще страшнее, чем в лесу. Холодные, немые, скользкие, они ползли прямо на него. Как только он начинал дремать, они подкрадывались ближе. Он пробовал спастись от них бегством, но рыжие гадины все время окружали его. Он бил их. Убивал сотнями, но они все ползли и ползли. Он сразу просыпался, весь в поту, но если ему и удавалось избавиться от этих кошмарных видений, то другие образы, менее фантастические, он уже прогнать не мог. Старик думал о своем топоре. Когда служащие лесоторговца приедут за его дровами, они, конечно, найдут топор. Увидят убитых гадюк и решат, что он убежал, точно малый ребенок, охваченный страхом. Потом отец начинал думать о вещевом мешке, который лежал на кухне. Не притащил ли он в нем, сам того не подозревая, змею, а то и двух, которые могут напасть на него, пока он спит? Такое предположение было нелепо. Он и сам это понимал. И тем не менее страх неотступно преследовал его. Иногда на него нападало сомнение в собственном разуме. И он спрашивал себя, уж не стал ли он жертвой усталости, уж не убежал ли из лесу при виде одной-единственной змеи.

Он подумал было о том, чтобы возвратиться на вырубку за своим топором, но, встав поутру, понял, что это немыслимо. Борьба с гадюками, паническое бегство — все это так потрясло его, что он совсем обессилел. Он с трудом заставил себя проглотить немного кофе с молоком. Его все время мутило, а во рту была такая горечь, что даже табачный дым был ему неприятен.

Старик по привычке работал в огороде, повинуясь постоянно жившему в нем инстинкту, который не позволял ему бездельничать, когда погода давала возможность хоть к чему-нибудь приложить руки. Но сердце у него не лежало к работе. И работа не спорилась. Он чувствовал какую-то тяжесть, ему казалось, что такую же тяжесть ощущает все вокруг, как будто огромная усталость гнетет землю. Весеннее небо, залитое солнечным светом, который возвращал жизнь растениям, птицам и насекомым, представлялось отцу более сумрачным, чем холодное и туманное зимнее небо. Ноги держали его, руки послушно выполняли движения, которые на протяжении долгих лет они проделывали тысячу раз, но все это совершалось словно помимо его воли.

В тот день отец поел в полдень лишь хлеба с сыром. Как только наступил вечер, он выпил большую чашку липового отвара и сразу же лег. Накопившаяся усталость помогла ему быстро уснуть, и он спал до зари почти без сновидений. Однако силы к нему не вернулись, и следующие дни показались отцу бесконечными. Работа по-прежнему не спорилась. Впервые в жизни старика мучила мысль, что его труд лишен теперь всякого смысла. Он вскапывал землю, сажал, сеял... Но что ему делать с урожаем? Доживет ли он до него? А если даже его бесцельное существование и продлится, хватит ли у него сил убрать урожай? Да и нужен ли ему этот урожай? Ведь он подписал бумаги, из которых следует, что старший сын обязан кормить его, пока не окончится эта проклятая жизнь.

Несколько раз отцу приходилось огромным усилием воли бороться с соблазном позвать Поля и сказать ему: «Делай с садом что хочешь, но только освободи меня от необходимости заниматься приготовлением пищи, топкой печей и стиркой».

В конце недели два дня подряд лил дождь. Два этих долгих дня отец просидел у печки, прислушиваясь к шуму ветра в саду. Он часто смотрел в окно на тот клочок земли, где упала мать. Там еще стояло несколько испанских артишоков, замерзших за зиму, а теперь почерневших под первыми лучами солнца. Повинуясь какому-то безотчетному чувству, отец не тронул этой грядки. Он вскопал весь огород до самого дома, а эта узкая полоска земли, точно насыпь, тянулась от плиток, которыми была обложена дорожка, до забора.

Отец смотрел на эту полоску земли и шептал со вздохом:

— Бедная ты моя старушка... И что только теперь со мной будет?

За всю долгую одинокую зиму он ни разу так болезненно не ощущал отсутствие жены. Дело в том, что до последних дней ему не приходилось задумываться над тем, как он будет жить дальше. Лишь однажды отец сам сломал свой привычный уклад, выгнав старшего сына, но поступил он так под влиянием сильного гнева.

В сущности, он не жалел об этом приступе гнева, который помог ему вновь обрести силы, но теперь, когда эти силы опять его покинули, ему казалось, что он уподобился соломинке, которую бурная вода несет куда-то по своей прихоти.

И сейчас, весь сжавшись, старик сидел на стуле в своей грубой шерстяной куртке, смотрел на струи дождя, бежавшие по стеклам, и напряженно ждал, не зная, что принесут грядущие дни, на что ему надеяться и чего бояться.

74

Началась новая неделя, и однажды поутру лесоторговец привез обещанные дрова. Когда отец увидел, что большая, груженная топливом машина остановилась возле сада, он почувствовал, как им снова овладевает боязнь показаться смешным. У него промелькнула мысль, не запе-

реться ли в доме. Тогда лесоторговцу придется выгрузить дрова на улице, у забора. Но отец тут же подумал, что рано или поздно тот все равно явится за деньгами. К тому же Пико уже направлялся к дому.

— Иду! — крикнул отец.

Он взял ключ от калитки и пошел к выходу. Уже издали он увидел, что поверх дров лежат липовые поленья — они были длиннее других и поблескивали свежей древесиной.

Приказчик лесоторговца стоял в кузове, готовясь сбрасывать дрова.

— Будем сгружать прямо на улице? — крикнул он.

— Погоди немного,— сказал Пико.

Отец отпер калитку и пожал лесоторговцу руку. Тот сказал:

— Видите, мы привезли вам и те дрова, которые вы сами заготовили. Не думал я, что вы столько наколете.

— Что говорить, я уже не молод,— вздохнул отец.

Они немного потолковали о качестве дров, потом Пико спросил:

— Вы там топор не оставили?

Отец испытал одновременно страх и смутную надежду.

— Оставил. Я спохватился, когда уже был на мосту в Перриньи. Но я слишком устал и решил не возвращаться. Я так и подумал, что ты его найдешь.

Пико вытащил из кабины грузовика топор. Лезвие заржавело. По светлой полосе на нем видно было, как глубоко врезался он в древесину.

Отец поблагодарил. Не решаясь взглянуть на Пико, он отнес топор к бордюру дорожки. Когда старик вернулся, лесоторговец спросил:

— Ну как, сбросить дрова на улице? До вечера перетаскаете?

Отец покачал головой. Удастся ли ему без посторонней помощи за день перетащить столько дров в сарай? Он немного подумал и сказал:

— Послушай-ка. Первая грядка у меня не вскопана. Если бы ты подогнал грузовик к самому забору, можно было бы сбросить дрова прямо на эту грядку. А тогда, если я и не управлюсь до ночи, дрова будут в большей сохранности, чем на улице.

— Ну, это нетрудно.

Пико влез в кабину, запустил мотор, проехал немного вперед, потом подал машину назад. Затем вдвоем с приказчиком он стал кидать поленья в сад, как можно ближе к дорожке. Пока они разгружали машину, отец отнес топор в сарай и прикатил тележку. Когда все дрова были в саду, он повел мужчин в дом и угостил их стаканом вина. Наблюдая за ними исподтишка, он думал, заговорят ли они о гадюках или, напротив, промолчат, а потом станут смеяться над ним за его спиною и рассказывать по всему городу, что папаша Дюбуа оставил свой топор змеям.

Когда мужчины встали, старик не смог удержаться и спросил:

— А вы на вырубке больше ничего не обнаружили?

Пико и его приказчик переглянулись.

— Нет.

— Дело в том, что я убил там двух гадюк. Они так и остались возле ствола.

— Ну, знаете,— сказал Пико,— неделю спустя их не обнаружишь. Нам часто приходится убивать змей на вырубках. Но только мы оттуда уйдем, как тут же слетаются сарычи или ястребы и поедают их.

Отец сразу почувствовал облегчение. Провожая мужчин, он прибавил:

— Две здоровенные змеи, рыжие... А что, их в тех местах много водится?

— Чего-чего, а этой нечисти хватает. Склон-то смотрит прямо на юг, сами понимаете, это змеям по вкусу. Особенно весной.

— В такое время их следует опасаться,— заметил приказчик.— У них сейчас брачная пора. А потому они особенно злые.

Лесоторговец рассказал несколько историй о гадюках, потом, уже садясь в кабину грузовика, он прибавил:

— Это еще далеко не все истории, да только нас ждут другие заказчики, а ведь мы нездешние.

Отец снова поблагодарил его, он провожал взглядом машину, пока та не свернула за угол и не исчезла из виду.

Тогда он вошел в сад, закрыл калитку, собрался уже повернуть ключ, но заколебался, пожал плечами, вытащил ключ из замка и опустил его в карман фартука.

Пока лесоторговец с приказчиком сбрасывали на землю поленья, он думал о том, что ему предстоит погрузить дрова на тележку, отвезти в конец сада и сложить в сарай, а потом еще распилить их и наколоть до наступления холодов. Из-за подъема в конце дорожки нельзя накладывать на тележку больше десятка поленьев зараз.

Отец взялся за работу, но внутренний голос шептал ему, что он ее не закончит.

После третьей ездки он до того устал, что не смог одолеть подъема, ему пришлось по одному полену носить дрова в сарай, пока тележка не была наполовину разгружена. Когда он уже собирался снова взяться за дышло, появилась госпожа Робен.

— Но вам с этим делом не справиться,— сказала она.— Такая работа вам уже не по силам.

Жалость, которая прозвучала в ее голосе и взгляде, потрясла отца. Да, он стар. Силы у него на исходе. Должно быть, это заметно по его лицу, раз уж соседка так с ним разговаривает.

До сих пор он еще шел по жизни, поддерживаемый смутной надеждой, которая не давала ему упасть. И вот, потому ли, что он в тот день наблюдал, как работали полные сил мужчины, потому ли, что молодая женщина из жалости к нему произнесла несколько участливых слов, потому ли, что накопилось множество других незаметных причин, он разом почувствовал, что окончательно выдохся. Еще несколько секунд отец сдерживался, но потом, уронив на землю дышло, поднес руку к голове и прошептал:

— Да... это выше моих сил... Выше моих сил...

Тут голос изменил ему. Собрав всю свою волю, отец подавил рыдания, которые горьким комом подкатили к самому горлу.

— Мне крышка... Да, теперь мне крышка...

И не стыдясь, думая только о навеки утраченных силах, старик заплакал.

75

Отец не стал сопротивляться, когда госпожа Робен повела его домой.

Он так долго отгораживался от всего, что могло прийти извне, столько времени жил, добровольно отдалившись от всех, взвалив на свои плечи работу, которая была ему уже не по силам, и вот теперь вдруг сразу отказался от борьбы. Он безучастно слушал дружеские увещевания госпожи Робен. А когда она сказала, что напрасно он замыкается в одиночестве, раз старший сын обязался обеспечить его всем необходимым, старик только покачал головой.

— Пусть делают что хотят... Что хотят... Я чувствую, что подхожу к концу.

Этим он хотел сказать, что жизнь его на исходе, он избрал такую

форму выражения, не желая употреблять слово, которое его немного пугало.

Госпожа Робен позвонила Мишлине и Полю, и те в тот же вечер навестили отца. Они пришли, когда он уже растопил печь. Мишлина поставила на стол большую корзину, покрытую салфеткой, поцеловала старика и принялась причитать со слезами в голосе:

— Господи, милый папа, как сурово вы обошлись с нами... Мы каждый день ждали, надеялись, что вы дадите нам знать...

Поставив локти на стол и опустив голову, отец только повторял:

— Мне крышка... Крышка... Можете делать что хотите.

Сын и невестка долго в чем-то убеждали старика. Он даже толком не слушал, что они говорят. Их речи убаюкивали его, подобно тихой и монотонной песенке. Он не сводил глаз с корзины и белевшей на ней салфетки. Все же, когда Поль спросил, согласен ли он перебраться к ним, отец, собрав остаток сил, выпрямился и сказал:

— Нет... не будем к этому возвращаться... Я выйду отсюда только ногами вперед.

— До чего ж ты, однако, упрям,— проворчал сын.

Но Мишлина, склонившись к отцу, ласково проворковала:

— Знаешь, Поль, если милый папа непременно хочет остаться в своем доме, не надо ему перечить. Когда тебе будет столько же лет, сколько ему, и ты будешь таким. Человек привязывается к своим вещам. Все мы одинаковы. И я очень хорошо понимаю папу.

Она раскрыла корзину, достала оттуда бидон и поставила его на плиту.

— Это овощной суп. Густой-густой, как вы любите, и овощи хорошо протерты. А в кастрюле зеленый горошек с салом. Я вам принесла также холодного цыпленка. И винных ягод. Варенье и сыр.

— Ну, куда мне столько.

— Надо кушать... Вот увидите, вы скоро наберетесь сил. Вот увидите, как мы будем за вами ухаживать.

— Нет, силы-то уже не вернутся... А они мне как-никак еще нужны, хотя бы для того, чтобы уложить дрова в сарай, распилить их и наколоть. А потом я начал работы в огороде...

Поль прервал его:

— Завтра я пришлю человека, он уложит твои дрова. А потом распилит их и наколет... И об огороде не беспокойся, тебе помогут закончить начатое, сам ты будешь только указывать. Ну, а что касается остального, то если б ты меня послушал...

Отец тяжело вздохнул. Наступило молчание. Старик посмотрел на сына, на невестку, потом перевел взгляд на корзину и на еду, разложенную на столе. Затем отвернулся к окну. В комнату вливался сумеречный свет, который чуть освещал лица.

— Зажги лампу и закрой ставни,— сказал он Полю.

Мишлина опустила висячую лампу, неловко сняла стекло, которое звякнуло, задев за абажур. Она зажгла фитиль, а подкрутить его пришлось отцу. Глядя на невестку, он все время думал об умершей жене, о том, как ловко она со всем управлялась. Вспоминал, как спокойно ему жилось у нее за спиной, потому что она брала на себя все заботы.

Поль закрыл ставни. Потом снова присел к столу, прикурил от окурка новую сигарету, а окурок погасил в пепельнице. Протянул пачку отцу, но тот отказался:

— Не надо, я только что курил... Знаешь, даже табак больше не доставляет мне удовольствия.

Опять воцарилось тягостное молчание. Между ними стояла невысказанная мысль о саде, в котором Поль собирался начать строительные работы. Мысль была почти осязаемой, и отец это явно чувствовал. Поль по-

дул на дым от своей сигареты, и тот повис над столом; потом, посмотрев на отца, он спросил:

— К чему тебе сад, раз ты уже не в силах его возделать?

Отец пожал плечами.

— Знаю. Земля быстро погибнет, если ей не отдавать труд и время.

— И что ж, по-твоему, это хорошо, если все зарастет травой, если она заглушит даже то, что ты еще посадишь, чтобы убить время?

— Конечно, нехорошо.

Отец не знал, что еще сказать. Как спросить Поля, что, собственно, он собирается делать с садом.

— Вот ты говоришь о земле,— сказал он наконец,— а ведь в саду есть и фруктовые деревья, уход за ними пустяковый, а сколько они приносят!

— Ну, если дело только в этом, ты отлично знаешь, что я не захочу лишать тебя дохода от продажи фруктов, я тебе возмещу его. А потом, что у тебя растет перед домом? Раскидистая слива. Дерево уже старое и...

Отец прервал его:

— Старое-то старое, а как еще плодоносит. И сливы отличные.

Отец дорожил этим старым деревом, которое он сам посадил и за которым столько лет ухаживал.

— А потом,— продолжал он,— там и персиковые деревья есть, а уж они-то в полной силе.

— Послушай. Я не спорю. Ты сам прикинь, сколько ежегодно выручаешь за фрукты, и я тебе выплачу эту сумму.

У отца перед глазами стоял его сад. Он вспоминал летние месяцы, сбор фруктов. Вспоминал труд, который он вложил в эту землю. Он представлял себе также, какую почувствует боль при виде грядок, заросших травой. Он понимал, что у него недостанет духу оставаться безучастным свидетелем, что он все равно будет пытаться что-то сделать. А это означало трудную борьбу, которая окончательно подорвет его здоровье. Борьбу, из которой он, судя по всему, не выйдет победителем.

— Ты ведь знаешь, что деньги мне не нужны,— сказал он под конец.— Но, что ни говори, видеть, как разроют весь сад..

— Не преувеличивай. Ты отлично знаешь, что у тебя отрежут только узкую полоску земли.

Отец все еще не решался что-либо ответить, и Мишлина, складывавшая салфетку, чтобы положить ее в пустую корзину, спросила:

— Как вы предпочитаете, отдать белье в стирку прямо мне, сегодня, или же завтра — служанке?

— Я на прошлой неделе сделал постирушку, но когда я качаю воду, у меня ломит поясницу.

— Видишь, вот и об этом ты тоже не подумал. Ведь если я начну тут строительные работы, то прежде всего проведу воду. Если ты не хочешь прокладывать трубы до самого дома, я установлю тебе кран в конце сада.

— Конечно, я не позволю вести траншею через весь сад!

Отец почти выкрикнул эти слова. Поль поспешил его успокоить.

— Нет, нет, все сделают, как ты захочешь. Я прошу тебя об одном: разреши мне начать строительство гаражей... Только и всего.

Отец встал и подбросил полено в плиту, потому что стоявший на ней чайник уже не так громко пел свою песенку. Он нарочно медлил. Не то чтобы хотел выиграть время и поразмыслить. Решение он уже принял. Он лишь хотел получить небольшую отсрочку. Пока он не дал ответа, сад принадлежал ему целиком. Старик знал, что слова, которые он произнесет, окончательно все решат. Слова эти были в нем, они готовы были слететь с языка, но у него не хватало сил их произнести.

Закрыв трубу, отец нагнулся, сгреб в кучку угли и сбросил в поддувало золу. Потом повесил кочергу на медный прут и с минуту смотрел, как она раскачивается. Он чувствовал, что сын и невестка не сводят с него глаз. Кочерга все еще чуть заметно подрагивала. Когда она повисла неподвижно, старик медленно повернулся к сыну, кашлянул и нетвердым голосом наконец сказал:

— Ладно... Раз тебе это так нужно, делай... Мне уже немного осталось жить, постараюсь как-нибудь приспособиться.

76

Отец еще раз переоценил свои силы. Он еще раз выказал себя человеком старого склада, который совсем не разбирается в теперешней жизни. Он-то воображал, что как-нибудь поутру в сад придут несколько землекопов, они поваляг забор, и он сможет даже сохранить колья. Хорошие он оставит, а остальные пойдут на дрова и будут прекрасно гореть. В тот месяц, что прошел до начала строительных работ, он много времени проводил в саду, у передних грядок. Мало-помалу он привык к мысли, что здесь построят гаражи. Он даже приготовил позади дома место, куда будут свозить чернозем, который выбросят землекопы, роя котлован для фундамента. Он все заранее обдумал.

И вот однажды — это случилось в понедельник утром — отца разбудил рокот моторов, от которого то и дело содрогался дом. С минуту старик неподвижно лежал в постели, стараясь понять, откуда идет этот шум. Сквозь щели ставен в комнату проникал свет. Рокот доносился с улицы.

Отец выглянул в окно. Он судорожно вцепился в подоконник и пробормотал:

— Господи!.. Господи! Да как же это возможно!

Он не в силах был сделать ни одного движения. Не в силах был ничего больше сказать.

Забор, ограждавший сад, исчез. На улице стоял грузовик, и какая-то огромная машина, названия которой отец не знал, вспарывала землю в его саду. Длинная рука на механических шарнирах сокращалась и вытягивалась, размахивая каким-то орудием, железная челюсть которого вгрызалась в жирный чернозем, захватывала его чуть ли не тачками и ссыпала в кузов самосвала.

— Господи! Да как же это возможно!

Старик спустился со ступенек крыльца, даже не успев накинуть куртку, и поспешил в сад.

Из окна ему видна была только часть строительной площадки, но теперь с дорожки он уже мог разглядеть, что вся левая часть сада была разрыта больше чем на тридцать метров в длину. Рабочих было всего двое, не считая того, который сидел в кабине стального чудища с длинной рукой. Железная калитка была сорвана с петель, скручена и валялась посреди дороги, идущей вдоль сада. Вся центральная дорожка была уже разрыта, и, чтобы выйти на улицу, отцу пришлось обходить рытвины. Когда он подошел настолько близко, что люди могли его услышать, он крикнул:

— Да что вы делаете?.. Вы, видно, спятили!

Рабочие посмотрели на него. Один из них шагнул навстречу отцу. Это был невысокий худой брюнет с черными усиками, лет сорока на вид. Из-за шума он не мог разобрать, что крикнул отец. Подойдя к старику, он спросил с сильным итальянским акцентом:

— Что вы сказали?

— Я говорю, что вы спятили. Что вы делаете? Ведь вы все разрушаете!

Человек явно удивился. Он повернулся к своему товарищу, который как стоял, так и продолжал стоять. Отец показал рукой на кузов самосвала, уже наполовину заполненный черноземом, из которого торчали колья от забора и проволока.

— Что вы собираетесь со всем этим делать?

— Свезем на свалку.

— Такую землю на свалку... И зачем все так перерыли? Надо было выбрать столько, сколько требуется для фундамента... Прекратите, это же невозможно!

Итальянец подошел к машине, вскочил на подножку кабины и стал что-то говорить, сильно жестикулируя. Длинная металлическая рука опустила громадную челюсть на землю, мотор заработал тише, и вскоре крановщик в сопровождении итальянца подошел к отцу.

Этот был француз. Тоже низкорослый, но коренастый и широкий в плечах. На нем была синяя майка. Руки с могучими мускулами были по локоть в машинном масле.

— В чем дело? — спросил он.

Отец снова объяснил, что ничего не понимает, что роют совсем не так, как предусмотрено.

— Я делаю то, что мне было сказано,— ответил крановщик.— Чтобы заложить фундамент, надо вырыть котлован глубиной в полтора метра. Так отмечено в плане.

— Полтора метра? — пролепетал отец.— Но... но эта земля... Я приготовил для нее место там, позади дома.

Мужчины переглянулись, потом крановщик сказал:

— Да разве с самосвалом туда проедешь?

— Я думал... Словом... Но это же невозможно... Никак, никак невозможно...

Отец даже не посмел упомянуть о тачке. Он смотрел на огромную махину, мотор которой хрипло кашлял, отчего дрожали прикрывавшие его железные листы. Смотрел на самосвал со спаренными колесами, которые были почти с него ростом. Никогда еще он не чувствовал себя таким ничтожным, слабым и жалким, как в эту минуту.

— А мой забор? — пробормотал он.

— Калитку мы положили на дорогу. Если хотите, можем отнести ее к дому.

Отец только махнул рукой. Он был раздавлен. Он пришел сюда, чтобы прогнать незваных гостей с их машинами, а теперь чувствовал, что его окончательно покидают силы. Видя, что старик не уходит и молчит, крановщик снова залез в кабину. Он опустился на свое сиденье, мотор зарычал, из узкой трубы, шедшей вдоль кабины, вырвалось облачко синего дыма, гусеницы заскрежетали, стальная рука поднялась, разверзая челюсть с длинными сверкающими зубьями.

Уже много лет отец каждую весну разрыхлял эту землю зубьями своей цапки. Зубья машины были из такой же стали, они так же сверкали, но вгрызались они в землю в тысячу раз яростнее. С каким-то злобным остервенением. И от каждой раны, нанесенной земле, отец испытывал такую боль, как будто стальные зубья рвали его тело.

Шофер-итальянец все еще стоял рядом с ним. Они обменялись взглядами, потом отец попросил:

— Если можно, деревья оставьте на дороге. Я их пущу потом на дрова.

— Пожалуйста, это нетрудно.

Они снова взглянули друг на друга, и отцу показалось, что в черных глазах итальянца промелькнуло выражение сочувствия.

— Так принести сюда калитку? — спросил он.

— Конечно, не оставлять же ее там.

Шофер подозвал товарища, вдвоем они подняли калитку и отнесли ее к сараю. Отец знал, что теперь он не мог бы ее даже приподнять. А между тем он хорошо помнил день, когда прилаживал эту калитку. Тогда он еще держал булочную. Они устанавливали калитку вдвоем с подмастерьем. И справились так же легко, как эти двое рабочих.

Когда мужчины прислонили калитку к одному из столбов сарая, отец сказал:

— Выпьете по стаканчику?

Рабочие пошли вслед за ним в дом, старик достал стаканы и литровую бутылку вина.

— Надо бы позвать вашего товарища,— заметил он.

— Нет,— сказал итальянец.— Он не может остановить машину. За нее платят по часам.

Отец поднял свой стакан.

— За ваше здоровье.

— И за ваше,— ответил итальянец.

Его товарищ тоже поднял стакан и произнес несколько слов, которых отец не понял.

— Он что, не француз?

— Нет. И языка не знает... Это военнопленный. Только он не немец. Кажется, он поляк, его насильно взяли в немецкую армию. Он понимает только одну фразу.— Итальянец повернулся к товарищу и со смехом сказал: — Война капут... Войне конец.

Поляк тоже рассмеялся, поднял руку и повторил:

— Война капут, войне конец.

Война действительно окончилась неделю назад. Восьмого мая была подписана капитуляция Германии. Отец прочел об этом в газетах, которые принес ему Робен. Но для него это событие мало что изменило.

Начиная с 1939 года война дважды проходила через город. И оба раза его сад и дом уцелели. Теперь война окончилась, однако старик чувствовал: заканчивалось и что-то другое. Но вместе с тем что-то другое начиналось. Наступало иное время, непонятное для отца. Время, которое даже не принимало в расчет его, человека, который состарился в ожидании чего-то, а чего именно — он и сам не знал.

Мать скончалась. Кончался и сад, а он сидит на кухне и пьет вино с итальянцем и другим шофером, про которого даже неизвестно, откуда он родом. Поистине теперешний мир уже не тот, что прежде.

— Ну, нам пора,— сказал итальянец.

Мужчины допили вино и вышли. Отец проводил их. Кузов самосвала был полон, и человек, не говоривший по-французски, влез в кабину. Мотор заворчал, и грузовик двинулся по улице. Итальянец уже отошел от дома, и отец, обернувшись, увидел, что он влезает в кабину другого самосвала, как две капли воды похожего на первый. Раньше старик не заметил этой машины, потому что она стояла чуть дальше, возле здания Педагогического училища. Самосвал с пустым кузовом занял место того, что отъехал, груженный штакетником и первосортным черноземом, который отец столько лет удобрял навозом и поливал собственным потом. Старик с минуту смотрел, как маневрирует тяжелая машина, потом, вконец обессиленный, поплелся к дому.

77

Это лето показалось отцу еще более долгим и унылым, чем зима. Он все время сидел дома и выходил только за водой да в сарай, где каждый день по часу или по два пилил и колол дрова. Иногда он доставал из стенных шкафов инструменты и, прежде чем положить на место, смазывал их. Он хорошо знал, что ему уже никогда больше не понадобятся

все эти рубанки, садовые ножницы, резцы и сверла, но по привычке продолжал заботиться о них, как делал это всегда. С каждым инструментом была связана своя история, и старик вспоминал ее. И тогда прошлое населяло его одиночество приятными ему людьми.

Он отказался от мысли возделывать сад и огород, и та часть сада, которую пока еще не затронули строительные работы, уже начала зеленеть, постепенно порастая травою, с которой отец боролся столько лет. Поль два или три раза присылал своего рабочего в помощь отцу, но потом тот перестал приходить, и старик никак на это не реагировал. Он даже больше не жаловался.

Когда он смотрел теперь на улицу, бетонные стены, протянувшиеся через весь сад, внушали ему только отвращение. И поэтому, когда было не очень жарко, старик уходил и садился у колодца, за кустами самшита, которые загораживали от него стройку. Положив обе руки на набалдашник палки, сгорбившись, втянув голову в плечи, полузакрыв глаза и надвинув на лоб козырек каскетки, он проводил так целые часы, вспоминая прошедшую жизнь. Охотнее всего отец возвращался мыслью к поре своей молодости, он вспоминал имена, лица людей, места и даты, которые иногда путались у него в голове.

Однажды, под вечер, в августе месяце, когда он дремал так, приехала Франсуаза. Отец услышал, как она громко спрашивает, остановившись возле дома:

— Есть кто-нибудь?.. Есть кто-нибудь?..

Он сразу же узнал ее голос, и сердце у него так сжалось, что он с трудом ответил:

— Я здесь!

Потом встал и пошел по центральной дорожке, превратившейся теперь в узкую тропинку, поросшую по обеим сторонам травою, из которой то тут, то там выглядывали многолетние цветы. Франсуаза шла ему навстречу. Когда они поравнялись, отец снял каскетку, обнял молодую женщину и пробормотал:

— Господи... Господи...

У него перехватило горло. Он изо всех сил сдерживал слезы. Они пошли к дому, где Франсуаза оставила черную коляску с отброшенным клеенчатым верхом. Крупный младенец с вьющимися светлыми волосами лежал в ней, суча пухлыми голыми ножками и глядя в небо большими синими глазами.

Отец нагнулся. Хотел что-то сказать, но громкое рыдание внезапно вырвалось из его груди; немного погодя он заговорил дрожащим, прерывающимся голосом, который затем слегка окреп, но тут же пресекся:

— Не может быть... Не может быть... Бедная моя старушка... Если б она была жива...

Франсуаза взяла младенца на руки и поднесла его к отцу. Старик чувствовал себя таким неуклюжим. Он отставил палку и протянул дрожащую руку к голой ручонке ребенка.

— Видите, как он похож на Жюльена? — спросила Франсуаза.

Отец опять снял каскетку и поцеловал младенца, который шевелил ручонками и смеялся.

Так они простояли несколько минут, не находя, что сказать, от смущения. Отец улыбался, но слезы все еще катились по его небритым щекам. Он вытер их, несколько раз высморкался и пробормотал:

— Войдемте в дом... Чего мы тут стоим?

Франсуаза пошла за ним с младенцем в руках. Они уселись в кухне. Ставни на окнах были прикрыты.

— Тут прохладно,— сказал отец.— Малыш не простудится?

— Нет, он у нас крепкий.

— Какой он веселый.

Отец смотрел на ребенка, а видел маленького Жюльена. На этом же самом месте, на коленях у матери.

— А как Жюльен?

— Он не мог приехать. В фирме, где он сейчас служит, очень много работы.

Отец понурился. Ему хотелось высказать то, что лежало на сердце, но это было не просто. Он уже почти решился, но тут Франсуаза спросила:

— А как вы поживаете, папа?

— Я... Ох, я...

Он надолго замолчал, стиснув рукою край стола, потом, еще окончательно не решив, что сказать, внезапно заговорил, как будто был не в силах сдержать нахлынувшие слова:

— Я пропал. Конечно, я понимаю, что мне так и так не долго оставалось жить... Но все же... Все же... Они преждевременно вгонят меня в гроб. Вгонят в гроб. Видели, что они устроили там — в начале сада? Все перерыли... Все. Посадили меня за бетонную стену. Когда дует северный ветер, подымается такой сквозняк, что просто сил нет. Этой зимой я даже топить не смогу... Ужас да и только. Они не имели права это делать... Могли бы дождаться, пока меня не станет... Мне уж не так много и осталось.

Отец замолчал. Он говорил громко, и младенец с любопытством глядел на него.

— Господи,— огорчился старик.— Я его напугал.

— Нет, нет, он просто вас слушает.

— Надо бы его покормить.

— Нет. Он целую бутылку молока высосал. Сейчас отнесу его в коляску, и он уснет.

Франсуаза вышла в сад и тут же вернулась. Отец даже не пошевелился. Ему еще много надо было сказать, и он чувствовал, что должен говорить. Молодая женщина объяснила, что едет в Сен-Клод и остановилась в Лон-ле-Сонье лишь на несколько часов, чтобы повидаться с ним и показать внука. У нее был все такой же ласковый голос и взгляд, полный нежности. Как только она замолчала, отец снова заговорил. Сперва он прошептал:

— Надо сказать Жюльену...

Голос у него прервался. Слова душили его, но не шли с языка.

— Надо ему приехать повидаться со мной,— продолжал старик.— Надо... Это очень важно... Я не могу вам всего объяснить, но ему надо приехать... Мне не следовало делать того, что я сделал... Это важно и для него... Для него и для вас.— Отец с трудом выдавливал слова, которые его мучили.— Вы поняли меня? — спросил он.

— Жюльен приедет. Он непременно приедет, как только будет поменьше работы.

— Ну, а в воскресенье... Ведь он мог бы приехать в воскресенье?

Франсуаза опустила глаза. Казалось, она не знала, что ответить. Когда она подняла глаза, они блестели больше, чем обычно. Она принялась торопливо объяснять:

— Понимаете, когда родился маленький, мне пришлось оставить службу. Жюльен, как и я, не хочет доверять малыша посторонним... Поэтому денег нам не хватает, и по воскресеньям Жюльен работает в кондитерской.

— Ну, это совсем не плохо. Может, он еще надумает и вернется к своей прежней профессии. Этот труд наверняка лучше оплачивается, чем его работа декоратора. А потом всегда есть шансы завести собственное дело.

Франсуаза только пожала плечами, и отец понял, что у сына совсем другие планы. И все же он не мог удержаться и прибавил:

— Если бы вы переехали сюда...

Старик не закончил фразы.

В полутемной кухне было прохладно и покойно. После кончины матери здесь не произошло никаких перемен, и все же он тут один. Он это все время чувствовал. Эта мысль не оставляла его ни на миг. Вот приехала Франсуаза, но она скоро уедет и увезет с собой ребенка, которого он уже больше никогда не увидит.

В их маленьком доме ничто не переменилось, но стоит поднять штору на двери и шагнуть за порог, как глазам предстанет строительная площадка. Бетонные стены, из которых, точно копья, торчат железные прутья арматуры. Бетон пожрал сад и убил деревья.

— Вы даже представить себе не можете, что я из-за них терплю!

Отец произнес эти слова, даже сам того не сознавая. Вероятно, просто потому, что в своем одиночестве весь день твердил их про себя.

Он встал, вошел в чулан и сразу же вышел оттуда, держа в руках кастрюлю.

— Вот понюхайте,— сказал он, поднимая крышку.

— Это надо выбросить, все испортилось.

— Конечно, выброшу. Но это варево они мне вчера принесли. А случается, что и по три дня подряд никто не приходит.

— Но ведь они обязались...

Жестом руки отец остановил Франсуазу.

— Теперь уже ничего не скажешь. Ничего!

Он поставил кастрюлю в чулан и снова сел на свое обычное место. Прошла минута. Отец и Франсуаза молча смотрели друг на друга; боясь расплакаться, старик усилием воли взял себя в руки. Суровым тоном он прибавил:

— Теперь уже ничего не скажешь. Я сам себя на это обрек. Сам и выпутываться должен .. Спасибо еще, у меня хорошие соседи... Вы зайдите, повидайте госпожу Робен... Она вам расскажет... Она вам подробно расскажет, что я из-за них терплю...

Он отвернулся и стал смотреть на погасшую топку... Глаза его снова наполнились слезами. Дрожащим голосом он повторил:

— Надо сказать Жюльену... Надо сказать Жюльену, что...

Старик замолчал. Снизу донесся плач ребенка, и Франсуаза кинулась к нему. Отец помешкал минуту, потом пошел следом за нею. Она взяла ребенка на руки и вытерла две крупные слезы, катившиеся по круглым щечкам. Младенец уже не плакал.

— Что с ним? — спросил отец.

— Ничего. Верно, наскучило лежать одному. А может, и зубки режутся. Но, знаете, вообще-то он почти не плачет.

Увидев деда, ребенок улыбнулся и пошевелил ручонкой.

— Господи, как ему было бы хорошо, тут в саду... Там, в конце еще совсем спокойно, а уж воздух куда лучше городского.

С минуту он молча смотрел на внука, потом прибавил раздумчиво, почти торжественно:

— Милый ты мой... Как знать, что его ждет? Разве мир теперь похож на прежний? На днях Робен рассказывал мне о бомбе, которую сбросили на Японию. Теперь уж наверняка конец войне... Но что с того?.. Я-то уже свой век прожил. И как подумаю, что на свете творится, так даже не очень жалею, что скоро его покину.

— Надо надеяться, что эта война — последняя. В противном случае не стоило...

— Милая вы моя,— вздохнул отец,— нам это уже в восемнадцатом году говорили А вот видите...

Франсуаза усадила малыша в коляску.

— Пойдемте в конец сада,— предложил отец.— Я там всегда сижу... Там хоть спокойно.

Молодая женщина покатила коляску по центральной дорожке, поросшей травою. Трава мешала, и Франсуаза, приподняв передок коляски, повернула ее. Тянуть было легче, чем толкать.

— Если бы моя бедная жена видела, во что превратили сад... Господи, да она бы своим глазам не поверила... Возьмете с собой цветы? Их еще она высаживала.

— Нет, с собой цветы я не возьму, они по дороге завянут, к тому же у меня и малыш на руках. Но на букет, пожалуй, все-таки срежу. По дороге загляну на кладбище... Думаю, хорошо бы отнести ей цветы из ее сада.

— Ну, конечно, она была бы рада... Конечно... Ведь мне уже туда не добраться, сил нет.

Они подошли к тому месту, где стоял стул отца.

— Пойду и вам стул принесу,— сказал он.

— Нет, не трудитесь. Лучше посидите с маленьким, я тем временем нарежу цветы, а потом нам и уходить пора.

— Садовые ножницы за дверью погреба.

Франсуаза отошла. Оставшись вдвоем с младенцем, дед придвинул стул к коляске и сел. Ребенок смотрел на него. В коляске лежала погремушка, старик взял ее и помахал перед лицом малыша, тот засмеялся.

— Ах ты, озорник маленький,— пробормотал старик.— Ты ведь тоже маленький Дюбуа... А?! Видишь, как тебе хорошо было бы тут, в саду... А если бы жива была твоя бабушка... Если бы жива была твоя бабушка...

Он постарался взять себя в руки, но силы его оставили, и тогда, все еще продолжая забавлять ребенка, вцепившегося пухленькими ручонками в погремушку, старик беззвучно заплакал.

78

После отъезда Франсуазы старик жил, часто вспоминая внука, который смотрел на него и улыбался. Это воспоминание, более свежее, чем те, какие он постоянно восстанавливал в памяти, было тем не менее расплывчатым. Словно затуманенным слезами. Теперь отец больше не плакал. Он прозябал, как прозябает больное растение, жизненные соки в котором высыхают по мере приближения зимы.

Письма от Жюльена и Франсуазы приходили теперь чаще. С тех пор как не стало забора перед садом, почтальон приносил их прямо в дом. Отец поджидал его прихода. Это был толстяк лет пятидесяти с красным лицом, на котором выделялись черные усы. Он всегда был не прочь выпить. Отец подносил ему стаканчик и просил прочесть вслух письмо. Почтальон читал медленно, иногда подолгу задерживаясь на каком-нибудь слове. Окончив чтение, он неизменно говорил:

— Вот и все.

И отец неизменно спрашивал:

— Он не пишет, когда приедет?

— Нет, об этом он не упоминает.

С наступлением первых холодов отец стал проводить все время на кухне. Каждое утро в десять часов он подходил к окну и, касаясь стекла козырьком каскетки, смотрел на дорожку, ведущую к улице. В одиннадцать он уже знал, что почтальон прошел мимо и письма нет, и тогда он усаживался на свое обычное место.

Так тянулись дни, старик выходил из дому лишь затем, чтобы накачать воды или принести дров. В спальню он больше не поднимался, но однажды утром оттуда донесся сильный шум, от которого он привскочил на стуле. Старик встал и пошел наверх. День был дождливый, небо нависало низко, и в спальню проникал какой-то унылый тусклый свет, так что углы комнаты тонули в полумраке. Сначала отец не заметил ничего необычного. Он прежде всего посмотрел на потолок, подумав, что это обрушилась штукатурка. Но потом, подойдя к кровати, увидел на выцветших серовато-голубых обоях белое пятно. Кусок обоев оторвался вместе с отвалившейся штукатуркой.

— Это портрет... Их портрет...

Отец зашел за кровать со стороны стены. На полу лежала большая золоченая рама с разбитым стеклом. В свое время он сам вставил в раму фотографию своих родителей — они были сняты на садовой дорожке летним утром, и в памяти у него сохранилось то утро до мельчайших подробностей.

Старик провел рукою по сырой стене, потом поднял раму и поднес ее к окну. Он все время повторял:

— Их портрет... Их портрет...

Он долго разглядывал фотографию. Потом, почувствовав, что холод и сырость пробирают его до костей, спустился в кухню.

В тот вечер старик лег спать очень рано.

Хотя он и положил в постель грелку, он долго не мог согреться, и потому ему никак не удавалось уснуть.

На следующее утро он проснулся в поту, дышать ему было трудно. Еще не рассвело. И все же отец встал, затопил плиту, согрел себе отвар и переменил влажные простыни.

Он был сильно напуган и старался делать все как можно скорее. Несколько раз на него нападал кашель, и в горле клокотала мокрота.

— Только этого еще недоставало... Только этого... И никого рядом, я один.

Прежде чем снова лечь, он открыл ставни. Откинувшись на подушки, он ждал наступления дня. Теперь сильный дождь уступил место моросящему; когда отец, возясь со ставнями, высунулся из окна, он ощутил на руках и на лице легкую влагу. Слышно было только, как в большой цинковый бак из водосточного желоба льется вода.

— Если я не смогу выйти на улицу, бак переполнится, и вода потечет в погреб.

К окнам прильнула ночь, синевато-зеленая ночь; ее прорезали далекие огоньки фабрики, которая только угадывалась за каменной стеной Педагогического училища.

Небо чуть заметно светлело.

Это не было даже предвестие дня, а скорее медленное преображение ночи. Прежде не видимый моросящий дождь теперь начал обозначаться за окнами.

Отец встал и подбросил несколько поленьев в топку. Чуть поблескивали мокрые крыши Педагогического училища, еще более серые, чем небо. Но сада как будто не было. Ночь не желала отступать. Она припала к земле, оцепила дом, который, казалось, ничто не связывало с окружающим миром. Всего несколько метров сада отделяли дом от дороги, но и этого было достаточно, чтобы отец все время чувствовал себя совершенно одиноким, отданным во власть терзавшей его лихорадки. В груди у него нестерпимо жгло, и в то же время по его потной спине пробегал озноб. Он стал спиной к плите и ухватился руками за медный прут, подставив поясницу теплу, исходившему от топки, почти касаясь икрами раскаленной решетки, за которой жалобно плакали дрова. Из-за ненастья тяга была плохая, и дрова чуть тлели.

— Черт побери, я один, совсем один... Так вот и околею... Околею без всякой помощи.

Он произнес это без гнева, просто ему нужно было что-то сказать, чтобы принудить тишину и ночь отступить. Он произнес это потому, что одни только эти слова и пришли ему на ум.

Но при этих словах перед отцом в полумраке возникло лицо Жюльена и, главное, ласковая улыбка Франсуазы.

Он стоял у плиты в нижнем белье, только накинув поверх рубахи свою шерстяную куртку.

— Пожалуй, надо одеться,— пробормотал старик.— Кто знает, как все обернется.

Он пошел к кровати, надел носки и брюки и снова вернулся на кухню. Есть ему не хотелось. Он только выпил еще чашку липового отвара. Свернул сигаретку, закурил, но после первой же затяжки закашлялся. Подождал, пока сигарета погаснет, сбросил с нее пепел, а окурок положил в жестянку с табаком.

— Если я уж и курить не могу, что мне тогда остается?

Ложиться в постель ему не хотелось. Старику казалось, что тем самым он навлечет на себя хворь. Он взял одеяло, завернулся в него, опять подсел к огню. И стал вглядываться в дорогу, которая медленно проступала из темноты. По правде говоря, отец никого не ждал. Разве только Робен мог прийти, но он никогда не выходил из дому в такой ранний час.

Оттого, что отец глядел в одну точку, глаза у него начали болеть, веки отяжелели, замигали, потом совсем закрылись. Время от времени старик кашлял. Когда он вставал сплюнуть в топку или подбросить полешко, он чувствовал, что ноги у него подкашиваются. Перед глазами летали черные мухи.

Когда поздним утром его зашла навестить госпожа Робен, отец дремал на стуле. Услышав стук, он привскочил. Дверь была еще заперта на ключ, он встал, чтобы отпереть ее, и тут же вынужден был ухватиться за стол. От усилия он закашлялся и кашлял долго, надсадно. Когда приступ прошел, на глазах у него выступили слезы, в ушах звенело.

— Надо предупредить вашего сына,— услышал он голос госпожи Робен.— Он пришлет доктора. Нельзя же вам оставаться одному.

Отец уже вытер глаза, но видел все как в тумане.

— Нет, нет... Это пустяки... Если бы вы могли только приготовить мне припарки.

— Но этого недостаточно. Надо позвать врача...

Отец уже немного пришел в себя.

— Нет, они меня отправят в больницу... А я не хочу. Не хочу.

— Вам надо хотя бы лечь.

— Нет. Мне так лучше, у огня.

Госпожа Робен приготовила припарки, принесла корзину дров и снова сказала, что надо вызвать врача. Отец упорно отказывался. Когда она вышла из кухни, он крикнул:

— Никого не зовите... Никого... Я не хочу.

Болезнь страшила старика, но еще больше он боялся, что ему придется уехать из дому.

Госпожа Робен еще несколько раз заходила к отцу и после обеда пробыла у него довольно долго. Он старался говорить с ней, старался показать, что ему полегчало, сдерживал кашель.

— Вот видите,— сказал он ей под вечер,— мне уже лучше... Гораздо лучше. Я ведь знал, что не надо никого беспокоить.

Госпожа Робен ушла к себе; как только дверь за ней затворилась, отец, не раздеваясь, лег в постель и укрылся двумя одеялами, положив сверху еще и толстую перину.

79

Ночью жар у отца усилился. Старик весь горел. Он оставил у изголовья зажженную коптилку, но к четырем часам утра огонек ее стал меркнуть, и отец решил поискать свечу. Он медленно сел на край кровати, сунул ноги в ночные туфли и немного подождал. Огонь в печи, должно быть, погас, потому что в комнате было холодно. Старик представил себе, сколько ему придется сделать различных движений, прежде чем он растопит печь, и это показалось ему невероятно трудным. Он попробовал встать, но у него сразу же закружилась голова. Все вокруг завертелось, пол уходил из-под ног, и ему пришлось снова сесть.

— Мне крышка,— прошептал он.— Крышка.

Он еще дважды пробовал встать, потом, боясь упасть, судорожно ухватился за спинку стула, на котором лежала его толстая вельветовая куртка, и с трудом помочился в ночной горшок.

Затем опять лег в постель. По его лицу и по спине струился пот. Влажный ночной колпак холодил голову, но он не решался его снять.

Когда усталость отпустила его, он вдруг подумал почти спокойно, что так и умрет здесь и никто даже не придет к нему на помощь. Он угаснет, как эта коптилка, в которой кончился керосин,— ее крохотное пламя чуть мигало, освещая только мраморный ночной столик да ближний угол буфета. Эта мысль не покидала отца до тех пор, пока пламя не вспыхнуло в последнем усилии и не погасло, и лишь красная точка светилась теперь в темноте, точно огонек зажженной сигареты. Когда и эта красная точка исчезла, отец приподнялся на подушках и закричал:

— Мерзавцы... Мерзавцы... Они так и дадут мне околеть... Дадут околеть, как собаке... Мерзавцы... Мерзавцы!..

Он без сил откинулся на постель. Голова его глубоко ушла в подушки, а глаза перестали глядеть в темноту.

Когда отец проснулся, возле него стояла госпожа Робен. Накануне он дал ей ключ от двери и сейчас сразу об этом вспомнил.

— Как хорошо, что вы захватили с собой ключ,— пробормотал он.— Дела мои плохи, понимаете... Не думаю, что я смог бы подняться и открыть вам дверь.

Теперь он чувствовал себя как будто лучше, присутствие другого человека подбодрило его.

— Вам не трудно развести огонь? — спросил он.

— Уже развела, мосье Дюбуа. И я принесла вам кофе.

Он выпил чашку горячего кофе с молоком и подумал, что, видно, зря так перепугался и болезнь его не столь уж серьезна.

— Может, мне попробовать встать?

Госпожа Робен удержала его в постели.

— Я схожу за своей служанкой, и мы переменим вам простыни. А пока что лежите.

Она ушла и вскоре вернулась с итальянкой, которая помогла отцу встать и усесться возле огня.

— Зачем же вы легли одетым?

— Мне было холодно. А потом, вставать ночью...

Старик замолчал. Минуту он боролся с приступом кашля, но ему пришлось сдаться. От кашля его бросило в жар, и он снова начал потеть. Женщины заставили его раздеться и лечь. Дышал он прерывисто. Лежа в постели, он слышал, что они о чем-то говорят в кухне, но слов разобрать не мог. Потом он услышал, как открылась и тут же захлопнулась дверь, и спросил:

— Вы здесь?

Подошла служанка.

— Хозяйка вышла, но она скоро вернется.

Отцу хотелось спросить, не пошла ли соседка звонить врачу, но он промолчал. Итальянка стояла возле кровати, уронив руки вдоль тела, и вид у нее был растерянный. Отец закрыл глаза и стал ждать.

Очнувшись, он понял, что долго спал. Его разбудил чей-то голос, доносившийся из кухни.

— Кто там? — крикнул он.

Вошла Мишлина и сказала:

— Не беспокойтесь, папа. Мы здесь. А скоро и доктор будет... У вас ничего серьезного. Небольшой грипп, знаете, в такую погоду это дело обычное.

Отец смотрел на невестку сквозь полуопущенные веки. Ему казалось, что она где-то далеко-далеко и голос ее звучит как-то странно. Когда Мишлина заговорила о враче, он почувствовал, как в нем вспыхнуло раздражение, но промолчал. У него уже не было сил кричать, и он боялся, что вызовет этим кашель, от которого усилится боль в груди.

После ухода врача Поль сказал ему:

— Ты переедешь к нам. Машина внизу. Мы отнесем тебя на руках...

И тогда, собравшись с силами, старик возразил:

— Нет... Я не хочу... Не хочу...

Он только чуть повысил голос, но и этого оказалось достаточно, чтобы пробудить боль в груди. Откашлявшись и сплюнув мокроту, старик ощутил такую слабость, что уже не пытался больше противиться. Он только сказал, что́ нужно будет взять из дому. Попросил положить в сумку бритву, помазок, ремень для правки лезвия, бумажник, где лежали деньги, ценные бумаги.

— Если тебе еще что понадобится,— сказал Поль,— я потом принесу.

— Как-никак, вы могли бы выходить меня и здесь,— прошептал отец.— Надо бы вызвать Жюльена... Его жену...

— Замолчи,— сказал Поль, и голос у него был резкий и свистящий.— Теперь уже не тебе решать. У нас нет никого, кто мог бы здесь за тобой ухаживать, и потом, в нашем доме тебе будет теплее.

— Не кричи,— взмолился отец.— Не кричи.

Он чувствовал, что слаб, как ребенок, и это ощущение еще усилилось, когда его завернули в одеяло и понесли. Один из шоферов сына, рослый тридцатилетний малый, который помогал отцу укладывать дрова, взял его на руки и легко поднял.

— Не бойтесь, дедушка,— сказал он,— все будет хорошо. Мигом окажетесь в машине.

Рот и нос отцу закрыли одеялом, он только чувствовал, как влажный холодный воздух щиплет ему глаза. У него сразу выступили слезы; он глядел на дом и на то, что еще оставалось от сада, как сквозь туман, пронизанный желтым светом.

— На дворе солнце?

— Какое там солнце...— сказал шофер, рассмеявшись.— Оно дней десять как не показывалось.

Они обогнули новую постройку, уже достигшую высоты двухэтажного дома. Перед глазами у отца проплыла огромная серая глыба с темными проемами.

Подойдя к машине, шофер опять рассмеялся и сказал:

— Я бы мог донести вас так до Монсьеля, а то и дальше.

Он опустился на сиденье рядом с отцом, Мишлина устроилась впереди, возле Поля, сидевшего за рулем.

— А ставни вы хорошо закрыли? — спросил старик.

— Да,— крикнул Поль,— не беспокойся.

— А дверь на ключ заперли?

— Ну конечно,— сказала Мишлина,— не волнуйтесь.

Каждый толчок машины отдавался у отца внутри. Он пробовал смотреть на улицу, но все застилали слезы. Едва слышным голосом он то и дело повторял:

— Господи боже, помирать вот так... Бросить дом... Помирать вот так... Все кинуть...

В доме сына его поместили в очень большую комнату с высоким потолком, она была плохо освещена, потому что оба ее окна выходили в тесный двор. В ней стояла большая чугунная печь, покрытая эмалью, и отец сразу же заметил ведро с углем. Когда его уложили на очень низкую кровать, он сказал, тяжело дыша:

— Хоть окно приоткройте... Мне трудно дышать... Топить углем в спальне... Это же вредно.

— Пустяки,— громко сказал Поль.— Ты просто холодным воздухом надышался, скоро привыкнешь.

— Не кричи так, пожалуйста... Я не глухой... Мне трудно выносить крик.

Поль только пожал плечами и вышел вслед за шофером.

— Не надо волноваться,— сказала Мишлина,— сейчас служанка принесет отвар. А в четыре часа придет сестра и сделает вам укол.

— Разве мне нужны уколы?

Он не расслышал ответа невестки, которая говорила, повернувшись к нему спиной и роясь в шкафу. И старик прибавил для самого себя:

— Разве мне нужны уколы? Я и без них дойду туда, куда иду.

80

Уже со следующего дня отец потерял представление о времени. В какой бы час дня или ночи он ни просыпался, он неизменно видел в слабом, неясном свете лишь стену и одеяла. Когда он шевелил руками, ему казалось, что они двигаются где-то далеко-далеко, и были они прозрачные, расплывчатые. У него сильно болела грудь. Теперь это была уже не та жгучая боль, которой он так страшился, а скорее ощущение тяжести, как будто на него надели корсет, мешавший дышать.

Когда боль утихала, отец старался не шевелиться, чтобы не разбудить ее.

Между ним и тем, что он еще различал в комнате, между ним и лицами тех, кто к нему приближался, все время носились различные образы. То очень четкие, то совсем туманные, один образ накладывался на другой, иногда они медленно плыли, а иногда скачками сменяли друг друга.

Самые яркие, самые неотступные образы были связаны с его молодостью и с повседневным трудом. Тесто в квашне. Устье печи, извергающее длинные языки пламени. Лопата, на которой хлебы сажают в печь. Скрежет длинной-длинной ручки этой лопаты по раскаленному кирпичному поду. Охапки дров. Горячий хлеб, вкусный запах которого наполнял помещение. Иногда тесто, которое он месил обеими руками, становилось серым, потом коричневым, почти черным. Движения самого отца также видоизменялись, вместо рук в ход шла теперь цапка. И тесто было уже не тестом, а землей сада, которую он тысячу раз вскапывал, разрыхлял, перелопачивал, разрывал, удобрял навозом и перегноем. И дым уже не был дымом от сухих дров, которые ярко пылают в топке печи, он был теперь более едким дымом, поднимавшимся от растений, вырванных из земли в осеннем саду, от растений, которые складывают в кучи и сжигают тут же, на месте, туманным утром. Иногда ему слышался детский крик, смех, возгласы. Жюльен бежал в дыму, направляясь в шко-

лу. Да полно, Жюльен ли это? А может, скорее не Жюльен, а его сынишка, выросший в доме, в котором они поселились все вместе?

Потом эти образы угасали, как угасают осенние костры под моросящим дождем, под густой изморосью, которая падает на землю с наступлением вечера. Завеса тумана разрывалась, показывалось омытое дождем солнце, утренний ветерок вновь раздувал костры, и другие образы возникали перед мысленным взором отца. Они проносились все быстрее. Мертвые и живые шли рука об руку. Убитые на войне и убитые непосильным трудом. Смех раздавался реже, чем вздохи, радости радовали меньше, чем печалило горе. Время от времени с праздника в честь сбора винограда доносился приглушенный расстоянием припев или обрывки песни, славящей золотистую ниву, тополя и ту пору, когда созревают вишни. Однако песня эта звучала только как робкое эхо, и вскоре ее заглушали жалобы людей, месивших тесто или вскапывавших землю.

Но, пожалуй, самым грозным из всех видений были гадюки — они неотступно преследовали его, кишели повсюду, скользили под ногами, проползали под дверью, обвивались вокруг его застывших ног, и тогда он испуганно вздрагивал. Образ гадюк был неразрывно связан с образом леса, поваленных деревьев, вязанок хвороста, он был неразрывно связан с работой, которую отец выполнял один или вдвоем с женой.

Потому что жена, как всегда, неприхотливая и, как всегда, готовая прийти на помощь, постоянно была с ним; она неподвижно стояла в сторонке, и хоровод образов, проносившихся у него перед глазами, почти не затуманивал ее усталое лицо.

Она была с ним, она принимала участие в любой работе, которую он все снова и снова взваливал на свои плечи. Она была с ним, когда надо было обрабатывать землю, сажать хлеб в пекарную печь, заготовлять дрова, убирать снег, заваливший крыльцо и сад. Она была с ним во все времена года, делила с ним все труды и все тяготы.

А потом наступило время, когда у него перед глазами все заволокло сумрачной пеленой тумана, в котором продолжали жить лишь светлый взгляд и немного грустная улыбка жены.

Улыбка эта застывала, сумрак отступал и даже совсем рассеивался, когда сознание отца прояснялось и он вспоминал, что мать уже умерла.

И тогда из тумана выступала другая улыбка.

Улыбка Франсуазы.

Неужели Жюльен не приедет сюда с нею? Неужели они не приедут и не перевезут отца в его дом, где он сможет поправиться? И пожить еще в своей комнате, в своем саду?

Вызвали или нет Жюльена и Франсуазу? Какой у нее ласковый голос, совсем как у матери!

Есть на свете такие лица, взгляды, жесты, голоса, которые способны исцелить людей. Есть на свете такие люди, от одного присутствия которых уходят боль и страдание. Но люди эти всегда далеко, когда они нужны тебе, когда ты зовешь их!

Если бы у него только хватило сил позвать! Выкрикнуть имя.

Подумать только, каким он был когда-то сильным, а вот теперь не может произнести ни слова...

По мере того как свет угасал, звуки также становились глуше. И все же, когда после нескольких часов сна отец просыпался, к нему порой возвращалась ясность сознания, он даже слышал осторожные шаги в комнате. Он понимал все, что говорилось вокруг, и даже пытался ответить. Но слова застревали в его горле, и от малейшего усилия он начинал задыхаться.

Он был в доме своего старшего сына, лежал в такой просторной и высокой комнате, что не различал ни потолка, ни стен. Кровать его стоя-

ла посредине, кругом была бесконечная пустота, и голоса в ней звучали непривычно — каждый звук искажался, вырастал, многократно повторялся эхом, потом уходил сквозь стены и терялся в ночи, которая ползла и ползла по земле в поисках рассвета.

Да, ночь ползла, и навстречу ей отовсюду ползла такая же непроглядная ночь.

А он, он тоже шел своим путем среди этой ночи, его уносили с собой волны, которые время от времени качали эту слишком широкую и слишком мягкую кровать.

Сколько дней пути отделяют его от дома? Что с его садом? Хорошо ли заперли дверь? Погашен ли огонь в плите? А что в сарае? Что с его инструментами? Предохранит ли их смазка от сырости, не заржавеют ли они до весны?

Садовый нож лежит в вещевом мешке. Завтра они с матерью пойдут в горы. Отыщут в лесу тележку... Вязанки хвороста... Они наготовят много вязанок. И люди будут говорить:

«А все-таки папаша Дюбуа мастер вязать хворост... Здорово он нагрузил свою четырехколесную тележку».

Он шел по лесу, и почва оседала у него под ногами. Она была такая же рыхлая, как земля в саду, такая же мягкая, как тесто, которое подходит в квашне. Почва оседала у него под ногами, она одновременно была теплая, как тесто, и холодная, как змея.

Он здесь. Он. Папаша Дюбуа. Он один в этой беззвездной ночи. В этой ночи, где не чувствуется ни малейшего дуновения. Где даже земля уже не посылает больше соков в сердце растений.

Он здесь. Он. Папаша Дюбуа. Он один бредет по дороге, которая не ведет никуда.

Ночь светлеет... Ночь вновь становится непроглядной...

В постели ему тепло, но вокруг — зимняя стужа, от нее все больше коченеют руки и ноги.

В постели ему тепло, но постепенно тепло это уходит, улетучивается, растворяется в холоде, который сочится с тяжело нависшего неба и выступает из жирной земли.

Моросящий дождь пронизывает до костей, поднимающаяся от земли влага леденит ступни.

Он здесь, он один, и никто не поможет ему отыскать верный путь, с которого он сбился.

Неужели все его покинут?

Неужели его оставят во власти этого ледяного царства, где нет больше места жизни?

С его языка готовы сорваться проклятья, вопли, призывы.

Существует ли иной мир, за пределами того мира, в котором он так много и упорно трудился?

Пришел священник. Отец узнал его по черному одеянию, а главное, он понял, что это священник, потому, что после смерти жены никто не подходил к нему так близко, никто так ласково с ним не говорил. Он не разобрал слов, которые произнес священник, и сам ничего не мог сказать в ответ. Ему казалось, что лицо священника долго-долго было рядом с его лицом, а потом молчание и холод вновь обступили его.

Время остановилось. Теперь уже ничто не двигалось, ничто не жило вокруг.

Потянулись долгие часы, а он уже был ни на что не способен, каждый вздох требовал от него огромных усилий. Теперь его дыхание — это лишь все более частые, все более короткие, но уже не такие болезненные вздохи.

Он ловит воздух широко открытым пересохшим ртом, ловит его воспаленной гортанью. И все меньше и меньше воздуха проникает к нему в грудь. Вся мучная пыль, вся пыль от отрубей, которую он вдыхал столько лет, когда был булочником, пересохшая, горячая пыль осела у него в легких.

Пламя, пышущее из устья печи в пекарне, и беспощадно палящее солнце в саду жгут огнем его грудь, и этот огонь пожирает то малое количество воздуха, которое при каждом вдохе ловят его воспаленные бронхи.

Вокруг темно, но внезапно невидимая рука раздвигает полог ночи. Тишина нарушена. Приближаются чьи-то шаги. Приближается чье-то лицо, приближается, приближается, и что-то прохладное ложится ему на лоб. Чей-то голос шепчет у самого уха:

— Папа... Папа... Прости меня.

Слово «прости» доходит до самых недр его существа, и это же слово, точно эхо, рвется из его груди. Но не может вырваться из сжатого горла.

Лицо отдаляется. Теперь на его месте другое лицо, жесткая рука трясет отца за плечо. Громкий голос Поля мучительно отдается в ушах.

— Эй, отец! Это Жюльен!.. Жюльен! Ты не узнаешь его?

Потом и это лицо отдаляется, и тот же голос уже не так громко говорит:

— Видишь? Все, конец. Он уже ничего не различает.

Отцу хочется крикнуть. Ему кажется, что к нему вдруг возвращаются силы. Он привстает, грудь его тяжело вздымается, но рвущийся из горла вопль переходит в хрип.

Из его груди вылетает долгий вздох. Вздох, похожий на те, какие он издавал каждый вечер, завершив нескончаемый день, заполненный упорным трудом.

АНДРЕЙ ПЛАВКА

■

Перевод со словацкого АЛЕКСЕЯ СУРКОВА

Ветерок с востока

В этом ноябре семнадцатого года
падали листья старого века
не только в Петрограде.
В гнездах русских берез
зрел ветерок,
мужал, разрастаясь
вихрем,
срывая и листья, и флаги
старого мира,
нес их по городским мостовым,
на свалку сдувая,
во рвы и канавы,
чтоб голые, чистые плечи берез
начали петь
песенку нового века.

Дул ветерок,
мчался на запад,
всколыхнув еловые ветки
в нашем городке
в год восемнадцатый, первого мая.

Только я, мальчонка десятилетний,
посвиста ветра еще не понял,
но работники с кожзавода
в фартуках сыромятных,
от чанов бегущие
на микулашскую площадь,
хорошо его поняли,
ибо эти три слова
ветерок с востока
символом записали
в рабочем манифесте.

Так ветер попал на бумагу,
вписанный твердым почерком
тружеников с кожзавода,
запал в память мою ребячью,
чтобы мог я в возрасте зрелом
смысл его уразуметь.

И каждый ноябрь,
видя, как листья с деревьев падают,
сам я ноябрьский,
вижу — сколько примет старого мира
на ветвях, на людях
еще остается.

И снова вижу
микулашских тружеников
с кожаными фартуками,
чаны покидающих,
с пальцами, скрученными ревматизмом,
что вышли как символ победы вписать
свой ветер с востока
полвека тому назад.

И с тех пор
мчит он над кипарисами, пальмами,
эвкалиптами,
над сушью степных трав,
над песками пустыни,
совесть человеческую будит.
Горд я и счастлив,
что почуял вздох его первый
на лице своем юном.

■

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ

Неотвоевавшиеся солдаты

РАССКАЗ

Перевод с английского В ИСАКОВА

Самым странным в этой шараде воздушной войны, которую Керр разыгрывал для «Дейтона фильм компани» над зреющими виноградниками Франции, была его отеческая озабоченность и страх за пятерых других летчиков, чьи самолеты следовали за ним в плотном, но очень уж неустойчивом и даже хаотичном строю. Он почти не знал этих четверых англичан и одного американца, которые вели за ним «харрикейны», и все-таки боялся за них гораздо больше (насколько он помнил), чем когда-либо боялся за своих товарищей-летчиков в настоящей «битве за Англию», почти тридцать лет назад. Тогда их подстерегали снаряды зенитных орудий, а сейчас несчастные случаи. Каждый день пилотам его шести «харрикейнов» приходилось проделывать псевдобоевые маневры в заранее разработанной схватке с шестью «мессершмиттами», в постоянном нервном напряжении, которое лишь изредка сменялось облегчением от сознания, что самолеты все-таки не столкнулись, кончик крыла не задел за чужое крыло, а большая перегрузка при крутом вираже не сломала старые ланжероны. Бой был театральным и бескровным, но напряжение — настоящим.

— Кев! Я тебя вижу.

Это произнес Джек Шерман, американец, летевший на «веллингтоне», где находились семь кинокамер, и Керру захотелось сказать Шерману, что его зовут Керр или Кевин, а не «Кев»,— но стоило ли? К тому же ему вовсе не хотелось охлаждать неистребимое дружелюбие американца.

— А я вас еще не вижу,— сказал Керр в старый микрофон; в дни его юности от микрофона всегда пахло чужим потом, но от этого, в кислородной маске, пахло кофе.

— Мы идем гораздо ниже тебя,— сказал Шерман.— Похоже, что ты поднялся футов на пятьсот выше, чем следует.

— Это не я иду высоко, а вы идете низко,— сухо сказал Керр.

— Ладно, ладно! Потом выясним,— сказал Шерман, и Керр услышал профессиональный умиротворяющий смешок, который звучал бы лучше, если бы одновременно вы видели перед собой добродушное лицо Шермана.

В «Дейтона фильм компани» Шерман именовался «помощником

режиссера по полетам второго звена», а потому вместе с Керром, кинооператорами и немцем Гельмутом Мюлером (который приближался сейчас со своими шестью «мессершмиттами» откуда-то со стороны Канна) разрабатывал планы воздушных операций на каждый день. Шерман сам был летчиком. Он воевал в Корее, уцелел и даже отличился, но там он летал на реактивных самолетах, и та война была совсем не похожа на эту, напряженную, более маневренную, напоминающую кружение мух, войну поршневых моторов и пропеллеров с изменяемым шагом. Собственно говоря, если между американцем, с одной стороны, и англичанином и немцем, с другой, пролегала пропасть, она определялась различием не континентов, а технического уровня. Шерман не испытывал никакого уважения к «харрикейнам» и «мессершмиттам», потому что не принимал их всерьез. Объяснялось это тем, что американцы, по-видимому, никогда не испытывали особого уважения к механизмам, которые они так освоили, словно были небрежно, но напрочь в них встроены; европейцы же — такие, как Мюлер да и он сам, Керр,— по существу, оставались часовых дел мастерами.

— Ты был прав, старик,— услышал он умиротворяющий голос Шермана.— Вон Гельмут прет на твоей высоте, а Гельмут никогда не ошибается.

Кому это должно польстить? — подумал Керр. Ему ли, который может ошибаться, или немцу, который никогда не ошибается? Он стер воображаемую грязцу с колпака кабины и поглядел в ту точку неба, где должны были находиться Гельмут и его «мессершмитты»,— и увидел их там.

— Господи...— невольно вырвалось у Керра.

На одно пронизанное дрожью, слепящее мгновение они стали настоящими боевыми самолетами, и все его тело отозвалось томительным отзвуком юношеского упоения и страха при виде четкого строя остроносых самолетиков с обрубленными крыльями. Но это ощущение прошло, и он почувствовал облегчение при мысли о том, что его противник — замкнутый, сдержанный немец, который не сделает нелепой ошибки А в таком полете убить могла только ошибка.

— Гельмут,— сказал он в пахнущий кофе микрофон,— французский «мираж» болтается где-то на высоте в двадцать тысяч футов: то есть в шесть тысяч метров.

— Да,— резко отозвался Мюлер.

— Опять этот французский сукин сын подглядывает? — сердито вмешался Шерман.— Я уже жаловался на этого психа французскому полковнику.— И добавил: — Поднимайте вертолет.

В эфире зазвучали радиокоманды: Шерман отводил самолеты с камерами и участников боя на исходные позиции, чтобы избежать путаницы фальстартов и опасного хаоса первой недели их работы. Просто чудо, как тогда никто не погиб. Теперь Керра беспокоил вертолет. Как и старый «веллингтон», он был набит сложным кинооборудованием, но если «веллингтон» находился в общем потоке движения, то вертолет походил на собаку, которая уселась на середине магистрали в час «пик». Шерману видны были красно-желтые лопасти, рубившие пряди легкой белой дымки на тысячу футов ниже их. На «веллингтоне» не было почти ничего, кроме кинокамер по обеим сторонам вытянутого фюзеляжа: сквозь широкие отверстия в его обшивке видны были объективы и кинооператоры, похожие в своих одеждах на полярных исследователей.

— Кевин! Я тебя не слышу,— внезапно сказал Шерман.

— Потому что я молчу,— небрежно ответил Керр.

— Ладно. Всем успокоиться! — крикнул Шерман.— Я знаю, все мы, как всегда, на высоте, но сегодня последний день полетов строем, и, если

все будет в порядке, мы кончаем. Сначала — уже известный разворот. Гельмут, помни — справа налево. А Кев — слева направо. Затем, когда вы закончите и перестроитесь, вы оба с вашими ведомыми проходите под «веллингтоном», но над мясорубкой, лицом к лицу. Гельмут проходит над Кевином, а звено Кевина — под «шмиттами». И не забудьте про камеры. О'кей? Давайте...

— Ясно,— сказал Керр.

— Verstanden,— услышал он ответ лаконичного немца.

— И, пожалуйста, пожалуйста, не забывайте, где камеры. Будьте хоть немножко актерами, иначе это только деньгам перевод.

Гельмут что-то сказал по-немецки, но Керр не понял что.

— Ладно. Займите позиции и ждите, пока я не кончу отсчет. И никакого самовольничанья. Ну, удачи, старые хрычи, и, ради всего святого, будьте осторожны.

Они описывали круг, пока вертолет и «веллингтон» занимали позицию, а Джек Шерман повторял указание. Затем Керр вывел свое звено на прямую и, повернув в глубь страны, пошел высоко над предгорьями, снова удивляясь, как удивлялся каждый день, каким образом этот волнистый, устремленный вверх ландшафт и эти экзотические красные холмы с очаровательными зелеными виноградниками удастся на экране превратить в английский весенний пейзаж. Но опытные операторы так отфокусировали объективы, направленные вниз, что земля в кадре будет возникать лишь мельком и ненадолго.

Он начал длинный плавный разворот, наблюдая, как «мессершмитты» выполняют свое первое за этот день задание. Гельмут повел свое звено между «веллингтоном» сверху и вертолетом снизу и, прекрасно зная, где камеры одного не попадут в объектив камер другого, точно выбрал момент, а затем развернулся, показав маневр, который должны были повторить остальные. Справа налево.

— Раз, два, три...— Он слышал, как Шерман громко отсчитывает секунды, когда следующий должен взмыть ввысь, вздернув на дыбу горизонт.

И снова:

— Раз, два, три...

Шерман отсчитывал, чтобы успокоить свои нервы, так как только на двух «мессершмиттах» радио было в порядке — у Гельмута и его американца-замыкающего. На остальных же аппаратура пришла в такое состояние, что ее уже нельзя было починить. В звене Керра, когда они поднялись в то утро из Сан-Рафаэля, было три действующих приемника, но один вышел из строя — и, как назло, у замыкающего, Стэна Мак-Грегора. Шерман хотел было послать в хвост Пардела, третий номер, у которого радио работало, но потом решил, что лучше иметь замыкающим хорошего летчика, а не посредственного, Мак-Грегор же был мастером, который выполнял все маневры чисто и толково.

— Раз, два, три... четыре, пять... Сукин сын, опоздал. Что с тобой? Гельмут! — сердито закричал Шерман.— Вам придется повторить все снова. Твой замыкающий опоздал секунд на пять. Вон погляди — он же за кадром. Вам придется повторить все снова после «харрикейнов».

— Ты ему об этом и скажи,— услышал Керр голос Гельмута.— Это же твой Боб Бикер.

Боб Бикер был один из трех американцев, которых привез с собой Шерман, без сомнения рассчитывая с их помощью придать себе больший вес и располагать большими возможностями для контроля, но двое из них оказались хорошими летчиками, а третий, как и новозеландец Пэрсел, ни к черту не годился. Но это не мог быть Боб Бикер. Бикер был одним из лучших мастеров высшего пилотажа, каких он когда-либо видел.

— Ты, сукин сын, Боб,— закричал Шерман хрипло.— Что с тобой стряслось?

— Заело сектор газа,—услышал он ответ Бикера.—Не идет дальше, но я сейчас вытащу эту дурацкую ручку.

Он слышал, как Гельмут объяснял Бикеру, что надо сделать — только ни в коем случае не рисковать, если регулятор газа заедает в прорези, потому что несчастные случаи им не нужны.

— Да, ради всего святого,— повторил Шерман.— Никаких несчастных случаев.

Обошлось без несчастных случаев. Все сорок, даже пятьдесят минут летного времени ушли на повторение запланированных маневров — в основном дублей неудачно отснятых эпизодов. В заключение Керр и немец повторили лобовую атаку, и Керр буквально почувствовал горячее дыхание выхлопов Гельмута, когда их самолеты промчались друг мимо друга и разлетелись в разные стороны, а стволы пулеметов вполне реалистически тряслись и ленты рвались в клочья. Первое время они не рисковали очень сближаться, но теперь они уже были уверены и в себе, и друг в друге и сблизились настолько, что Шерман в восторге воскликнул:

— Черт подери! А ну, повторите.

Они повторили, словно лишний раз хотели продемонстрировать взаимное доверие друг к другу немцев и англичан. Собственно говоря, истинный плод этого своеобразного брачного союза должен был появиться на свет завтра, когда Гельмут Мюлер и Керр проведут вдвоем не обозначенный в сценарии и не отрепетированный и не отработанный заранее бой, который явится страшной развязкой никем не предусмотренной эпопеи.

Провести этот бой в последний день придумал Шерман, словно зная, что к тому времени оба участника достигнут полного взаимопонимания и покажут чудеса маневренности, как два старых мастера воздуха, которые точно знают, что думает каждый в небе, хотя на земле они раньше никогда не знали друг друга.

Сначала Керр не соглашался: в его звене были мастера высшего пилотажа получше его, к тому же более молодые. Но два дня назад Джек Шерман, гоняя в стакане виски с водой кусочек льда своим длинным, не очень чистым пальцем, объяснил им свою американскую систему доводов.

— Таких ребят, как Боб Бикер, я знаю наизусть. Они делают дело так, как профессиональная проститутка разыгрывает любовь. Каждый сам за себя. Эгоистично и механистично. Если устроить бой между ними, то получится состязание двух примадонн, а мне не это нужно. И, кроме того, они наверняка убьют друг друга, потому что у них не будет той согласованности действий, которая есть у вас, сукиных детей, хитрых стреляных воробьев.

Гельмут при этих словах иронически поклонился, но Шерман, не обратив на это никакого внимания, продолжал объяснять, что ему требуется.

— Мне нужно что-то настоящее и оригинальное. Высший класс! Горючего у вас примерно на пятьдесят минут, но если вы выдержите двадцать минут в схватке, не расходясь и сближаясь, а в непрерывной схватке, ни на секунду не отпуская друг друга, мы получим то, что нам нужно,— на экране это займет минуты четыре, самое большее, но это будет одно из самых сильных мест в фильме. И я рассчитываю получить это от вас, ребята, пока вы будете эти проклятые двадцать минут показывать класс, какого никогда еще не показывали,— так, чтобы зрители все до единого повскакали с места.

Керр в ответ только кивнул, в своей обычной, неулыбчивой и невозмутимой манере, но Гельмут, с въедливой немецкой логичностью, спросил:

— А кто будет сбит?

— То есть кто из вас победит? — Шерман рассмеялся и сказал немцу: — Конечно, от тебя следовало ожидать такого вопроса, Гельмут, но чтобы узнать это, тебе придется посмотреть фильм. Вы просто прервете бой, когда я дам команду. Мы уже достаточно извели пленки на победителей и побежденных, и ваш бой закончим при монтаже.

Это нежелание рассказывать пилотам, какое место занимает их воздушный бой в сюжете фильма, было преднамеренной тактикой «Дейтона фильм компани». Кто действует в фильме, что происходит с героями и какую роль играют во всем этом их полеты, они могли узнать, только посмотрев фильм, снимавшийся наперегонки с таким же фильмом конкурентов, съемки которого велись не во Франции, а в Испании. Компания даже разместила «английское» и «немецкое» звенья отдельно. «Англичане» базировались на старом аэродроме французских военно-морских сил под Сан-Рафаэлем; «немцы» вылетали из Ла-Бокки, маленького уютного аэродрома близ Канна, расположенного в двадцати километрах от Сан-Рафаэля. Каждый вечер Шерман привозил им план полетов на следующий день, и, хотя Шерман получал эти планы от кого-то другого, именно он переводил эти эпизоды на язык летного искусства и искусства кино. Шерман не только делал это хорошо, но и заботился о пилотах и требовал, чтобы они точно следовали отрепетированным маневрам во избежание несчастных случаев. Правда, завтрашний бой отрепетирован не будет, но только потому, что ни немца, ни англичанина не надо учить осторожности, потому что это люди, способные о себе позаботиться.

— Ладно, ребята,— услышал Керр голос Шермана.— Хотите верьте, хотите нет, но мы ставим точку. Можете все отправляться по домам. Только расставаясь с самолетом, пожалуйста, не захватывайте на память половину оборудования, а свое снаряжение сдайте заведующему реквизитом. Договорились?

Несколько голосов ответило ему веселой руганью.

— И не забудьте: завтра вечером у нас банкет в «Эрмитаж дю Риу» в Ла-Напуль,— продолжал Шерман.— Вот там-то мы и запьем все это джином. И, пожалуйста, никаких фигур высшего пилотажа по дороге домой. Нам нужны самолеты целыми, и никаких происшествий. Мы все здесь вышли живыми и невредимыми из величайшей «битвы за Англию», какая только была, благодаря богу, Гельмуту, Кевину и мне...

Для трех главных участников эти слова были приятны еще и потому, что они означали премию по пять тысяч долларов каждому за «безаварийные полеты» и за то, что старая, но драгоценная воздушная рухлядь осталась цела. В общем получалось чистых пятнадцать тысяч долларов за полтора месяца, которые превратились в два. Для Керри эти пятнадцать тысяч означали большую перемену в жизни: если жена оставит его в покое на полгода и не будет ему докучать, возможно, ему удастся создать что-то новое, и тогда он в пятьдесят лет по-иному построит всю свою жизнь.

— Я пристроюсь к вашему замыкающему, Гельмут,— сказал Керр в микрофон.

— Хорошо,— ответил немец.

Керр догнал «мессершмиттов» и пошел в хвосте строя. Он возвращался с ними в Ла-Напуль, потому что ему предстояло переночевать там: завтра на рассвете они с Гельмутом вылетят вместе и разыграют свой финал над солнцем, над восходом, над голубым туманом, который каждое утро подымается над этими зелеными виноградниками и лило-

вато-красными холмами. Керр посадил самолет, вытащил блокнот из кармана добротной спортивной куртки и начал делать заметки о своей работе. Только уже в зрелые годы он постиг творческий характер летного дела, совсем не похожий на то, как изображают работу летчика большинство писателей. Они упускают главное, вернее, затемняют его. Но ведь именно в сфере мастерства они с немцем сошлись и поняли друг друга. Между ними установился тот особого рода контакт, который не требует слов или обмена сигналами. Но Керр не был уверен, что немец думает, как думал он сам,— что все объясняется вдохновением.

Немец вообще не думал о мастерстве. Он считал деньги, с горечью думал о проигранной войне, жалея о том и о другом и укрепляясь в мысли, что теперь, с пятнадцатью тысячами долларов в кармане, он сможет, наконец, отправиться домой. Через двадцать пять лет он пересечет границу в Берлине и попросту сядет в поезд, идущий в Веймар. А потом...

«Если они меня съедят — пусть едят»,— подумал он угрюмо.

Он не сделал ничего плохого, ничего преступного. Когда-то он был солдатом, но половина тех, кто жил в Восточной зоне, были солдатами, так что ничего страшного в этом нет. Только вот его отец... его отец... Иногда нелегкое наследие вроде этого превращало почти в проклятие самый факт, что ты — немец. Он постоянно жил с этой мыслью — тогда как американцу и людям вроде Керра не приходилось над этим задумываться. Волнует ли Керра то, что он англичанин? Вряд ли. Наоборот, Керру была свойственна эта невыносимая английская самоуверенность, казалось исключающая необходимость задумываться над чем бы то ни было, хотя на самом-то деле это, конечно, было не так: за истекших два месяца он убедился, что Керр до мозга костей умелый и осторожный летчик-профессионал, и Гельмут был ему благодарен за это. Собственно говоря, под оболочкой небрежного и раздраженного английского безразличия скрывался серьезный человек.

— Опять этот француз,— услышал Гельмут голос англичанина в своих маленьких наушниках.

Гельмут поднял глаза, но он мог бы этого и не делать, потому что французский «мираж» бурей пронесся вдоль строя «мессершмиттов», почти задевая колпаки их кабин, а потом вертикально устремился вверх, и раскаленный выхлоп его турбореактивного двигателя отбросил «мессершмитт» на пятьдесят футов вниз, в яму горячего воздуха. Через тридцать секунд француз скрылся из виду.

— Надеюсь, он не ел за завтраком яичницы,— сказал англичанин.

Гельмут понял его.

— Вот именно,— ответил он серьезно.

Такой выход из пике с трех-, четырехкратной перегрузкой обычно выбрасывал содержимое желудка в твои запавшие щеки и вкус непереваренного завтрака оставался у тебя во рту, пока на земле ты не заедал его чем-нибудь другим. Следовало бы установить такое правило: разрешать реактивным самолетам делать пике не ранее, чем через час после завтрака — как при купанье. Особенно молодым. Сколько этих молодых греков, которых Гельмут обучал основам летного дела, являлись на аэродром после плотного завтрака, а потом над красотами их античного ландшафта в воздухе древних олимпиад их неудержимо рвало в кислородные маски. На высоте тридцати тысяч футов это может стоить человеку жизни, и в самом деле двое из них так и погибли, когда одного мальчишку вырвало дурацким жирным греческим завтраком и он врезался в своего соседа.

При этом воспоминании Гельмута самого затошнило. У него теперь была язва — плод тридцатилетнего брака по любви с самолетами и по

пыток внедрить немецкий дух в летчиков, которые не любили немцев и уж во всяком случае вели себя не как немцы.

— Гельмут! Француз возвращается слева от вас, примерно где девятка на циферблате! — воскликнул англичанин.

Гельмут увидел соринку в небе. И в ту же секунду она уже сжигала воздух над ним, словно сместившись во времени и пространстве. Француз, по-видимому, шел почти на пределе, на самой границе звукового барьера.

— Идиот,— сказал англичанин бесстрастным тоном, но было заметно, что он встревожен.

Немец посмотрел в зеркало на свое звено. Они совсем сбили строй, ситуация была им явно не по душе. Им вовсе не хотелось служить объектом развлечения для какого-то француза, и Гельмут знал, что англичанина беспокоит то же, что и его.

— Сомкнитесь,— приказал он остальным и настойчиво покачал крыльями, подавая сигнал сомкнуться тем, у кого не было радио.

— Но послушайте, Гельмут, мы же такая удобная мишень,— пожаловался молодой американец.

— Будет хуже, если мы разомкнем строй,— резко сказал Гельмут.

Его штатские летчики еще владели собой и не были обозлены, а потому повиновались; но они не были солдатами, и их нельзя было ни пристыдить, ни наказать, если бы они все-таки разомкнули строй. Его даже удивляло, что они вообще так долго держат строй, и он чувствовал, что отчасти обязан этим англичанину, который летел замыкающим и буквально висел у них на хвосте.

— Вот и Ле Трайа,— раздался у него в ушах голос англичанина.

Собственно говоря, англичанин сообщал ему, что они пролетели полпути.

Гельмут расслабился, хотя он и не любил, когда ему напоминали, что он на полпути к чему-либо. Через два месяца ему исполнится пятьдесят, а это означает, что полпути по жизни пройдено, хотя шансы на то, чтобы прожить до ста, весьма проблематичны. Однако последние годы, приближаясь к пятидесяти, он чувствовал, что это — естественное предупреждение, объявление, что жизнь теперь стократно в твоих собственных руках, ибо время начинает идти под уклон, по нисходящей вниз, вместо того чтобы все время устремляться вверх.

Вот это-то обстоятельство — больше, может быть, чем что-либо другое,— и определило его решение вернуться домой. Ему уже пятьдесят, и он слишком долго жил традиционными воспоминаниями, еще сохранившимися в памяти мира,— воспоминаниями не о поражении Германии, а о немецкой сноровке, силе, дисциплине, порядке, воинском духе, страстной непреклонности. Уже почти тридцать лет он жил этим вдали от Германии и в конце концов устал от иллюзий. Теперь ему хотелось не только вернуться в Германию и остаться там, но вернуться туда, откуда он был родом, в Веймар, который находится в Восточной зоне. Он знал, что нечего и думать, будто он может попросту войти в Восточную зону и заявить, что имеет право там находиться,— ждать такой минуты, когда это может быть осуществлено, значило бы лишь бессмысленно затягивать решение проблемы; именно трудность этого шага и делала его необходимым. Такого рода самодисциплина его не пугала. Он жил под знаком дисциплины всю жизнь, все немцы так жили. Она была краеугольным камнем тысячелетней истории Германии, она лежала в основе их сказаний, их музыки и их религии; но в Восточной зоне все это несомненно представляют себе как-то по-иному: русские, коммунизм, Ульбрихт... и поглядите, что стало с Джоном, двойным шпионом. Но он твердо решил вернуться домой. В свой день рождения, когда ему стук-

нет пятьдесят, он просто подъедет к контрольно-пропускному пункту в Берлине и объявит этим крестьянам в полицейской форме, с карабином за плечом, которые, во всяком случае хотя бы с виду, похожи на немцев,— объявит им, что он родился и вырос в Веймаре и что ему просто хочется вернуться туда.

«А что вы собираетесь там делать, герр Мюлер?» — наверняка спросит его какой-нибудь чиновник насмешливо или подозрительно.

«Не знаю, но я найду себе какое-нибудь занятие»,— не отступится он.

— Он летит назад, Гельмут,— предостерег его англичанин.— Справа от тебя...

Француз стремительно приближался справа и нырнул носом вниз в неглубоком, но стремительном пике. Откуда его надо ждать — неизвестно, так как неясно было, пронесется ли он под ними, за ними или перед ними. Гельмут быстро покачал крыльями, сигналя остальным, чтобы они держали строй. Он летел, точно бабочка, покачивая крыльями, чтобы удержать всех вместе, но знал, что они смотрят сейчас только на иссиня-черный реактивный самолет, похожий на толстого маленького шмеля.

— Achtung![1] — невольно по-немецки сказал Гельмут.— Он собирается сделать бочку, а потом пойдет на нас.

Инстинкт подсказывал ему, что, достигнув их, француз уйдет в сторону в скользящем вираже, и не успел он договорить, как «мираж» начал разворачиваться на большой скорости, так что на одну устрашающую секунду показалось, будто брюхо его самолета пройдется по всему строю «мессершмиттов». Но его кургузый фюзеляж молнией мелькнул у правого крыла Гельмута, словно остановленный кадр в кинофильме. Он появился и исчез, а «мессершмитт» Гельмута едва не перевернуло воздушной волной.

— Черт подери! — крикнул американец в микрофон.— Если я поймаю этого сукина сына, я вышибу ему мозги.

— Снижаемся,— сказал Гельмут в бакелитовую чашечку у своих губ и приподнял хвост самолета, чтобы просигнализировать остальным о маневре, а потом выровнялся, отведя дроссель назад средним пальцем, и мотор заработал тише, нос опустился, самолет изменил угол наклона и пошел вниз. Гельмут решил пролететь над морем, но по линии захода на посадку на их маленький тесный аэродром в Канне. Дул северный бриз, так что заходить все равно пришлось бы со стороны моря. Француз, возможно, опять пойдет на сближение, но при такой скорости его испугает твердая гладь моря.

— Наверно, для вас, старина, это похоже на настоящее дело,— услышал Гельмут голос молодого американца. «Старину» он заимствовал у Шермана, переняв у него этакий слегка подтрунивающий тон представителя свободной в обращении расы в отношении чопорного и замкнутого немца.— Давайте держать строй во что бы то ни стало...

Мальчишка засмеялся, но он попал в цель. На мгновение Гельмут забыл, что все это игра: возникла потребность в дисциплине — и возродилась былая действительность. Он еще был неотвоевавшимся солдатом. Война продолжала жить в нем, потому что тридцать лет его намеренного увлечения всем германским питали ее и сохраняли ей жизнь. Это оказалось весьма полезным, когда он учил молодежь в Испании, Португалии, Греции, Израиле и Египте подлинно немецким принципам боя: всегда считать себя победителем и никогда — побежденным. В летном деле это означало не выпускать противника, а если, волею случая, он окажется сверху, не бежать, не покидать поле боя, но искать способ поменяться с ним ролями. Искать! Искать!

[1] Внимание *(нем.)*.

— Вон опять этот сукин сын француз!

Пилот «миража» начал свою последнюю атаку с моря. «Мессершмитты» шли слишком низко, так что француз не мог пройти под ними, но когда он накалил воздух над их кабинами, пролетев со скоростью 800 километров в час, горячая струя отскочила от воды, и кабина Гельмута внезапно покрылась брызгами, из-за которых он ничего не видел, пока не сдвинул колпак.

— Недурно!

Он услышал, как американец одобрительно засмеялся,— юность оценила юность.

Но теперь все это было уже позади, и полет обошелся без неприятностей. Когда остальные начали заходить на посадку, Гельмут набрал высоту и поглядел, как планирует англичанин, чтобы не тратить зря время и энергию,— через несколько секунд он уже коснулся земли, опередив остальных. Серьезный человек. Ему тоже, наверно, около пятидесяти. Интересно, к чему привела его жизнь? Во всяком случае не к проблеме, как быть германцем без германизма.

— Я любить тебя буду всегда...

Экспансивный американец пел, круто, но медленно поднимая вверх свой «мессершмитт», покачивая его в такт песне, пока самолет не замер на мгновение вертикально в воздухе, хвостом вниз. Гельмут удивился. Ему никогда не приходилось видеть «мессершмитт» в таком положении, и он не понимал, как самолету удастся выровняться на такой высоте.

— ...всегда...

«Мессершмитт» красиво повалился вперед и слегка набок и просто чудом выровнялся. Гельмут не выдержал.

— Wunderbar [2],— сказал он вслух.

Его привел в восхищение этот чудесный немецкий самолет, который был способен на такой маневр, и, выпустив шасси и закрылки, он осторожно и уважительно приземлил свою машину. Завтра окончатся его полеты на этом старом и замечательном маленьком самолете, он возьмет свои пятнадцать тысяч долларов и покончит с обманчивым германским «Wanderlust»[3] — с этим лживым немецким обозначением мечты о мифических золотистых холмах и тенистых готических долинах. Он подчинит всего себя строжайшей дисциплине, иначе будет слишком поздно и старость не принесет ему ничего, кроме краха.

Вечером немец и англичанин сидели под виноградными лозами за одним из столиков «Матушки Терра» и неторопливо — или просто безразлично? — ели, как могут есть худощавые, замкнутые, пожилые и сдержанные мужчины, для которых еда — это необходимость, возможно даже, приятная, но отнюдь не культ. Возможно, решил Керр, заметив это объединявшее их отсутствие интереса к еде, возможно, тут просто сказывается присущая им обоим черта, свойственная англосаксам, но не французам с их языческим преклонением перед радостями стола. Тем не менее ужин проходил непринужденно, хотя они не пили. Завтра им предстоял полет, а они со времени войны достаточно хорошо изучили воздействие алкоголя на мозг, и Керр прикинул, сколько летчиков погибло в бою не потому, что они неважно владели самолетом, а потому, что накануне вечером выпили лишнего. Впрочем, сам он вообще мог обойтись без этого.

— Может быть, выпьем по рюмочке коньяку? — спросил его немец.

— Как хотите,— ответил Керр с удивлением.

— Я теперь редко пью,— пояснил немец.— У меня язва. Но нам

[2] Великолепно *(нем.)*.

[3] Страсть к путешествиям *(нем.)*.

надо выпить за окончание этого представления. Fix und fertig [4], как говорим мы, немцы.

— Ну что ж,— сказал Керр.

Керр был рад поставить на всем этом деле точку, он чокнулся с немцем с чувством облегчения, потому что худшее осталось позади и послезавтра они смогут взять свои деньги и уехать. Они не говорили об этом, и Керр не сомневался в том, что ни один из них не скажет ни слова о завтрашнем полете. Они разговаривали о городах, в которых им довелось побывать, и о том, что в конце концов пейзаж, погода и люди всюду одинаковы — и не только в разных странах, но и на разных континентах. Единственное существенное различие, решили они, это различие между богатством и бедностью Разговаривая, они с изумлением обнаружили, как часто пересекались их пути, но если Гельмут все время оставался чем-то вроде военного летчика (хотя и не совсем), Керр перегонял самолеты с завода на базу, был воздушным гопографом, воздушным старателем, воздушным шофером, воздушным геологом и еще очень многим, чем может стать летчик, но всегда на кого-то работал. Из слов Гельмута ему стало ясно, что тот, как и он сам, никогда не водил рейсовых самолетов. Служба в авиакомпаниях — единственное, чего он всегда избегал.

— Что вы собираетесь теперь делать? — спросил он немца.

— Поеду домой в Веймар,— сказал Гельмут своим обычным, несколько мрачным тоном.

— С семьей?

— Нет. У меня в Техасе жена — американка, но я отдал ей все деньги и все оставил там. Кончено...

— Не повезло,— сказал англичанин, покачивая вазу с только что вымытыми вишнями.

— Веймар,— добавил Гельмут,— находится в Восточной зоне. Я не был там с тысяча девятьсот сорок второго года.

— Понимаю,— ответил Керр. Он понимал только наполовину, но ни о чем больше не спросил. Если немец захочет, он скажет сам.

— Завтра, я думаю, будет мой последний полет в жизни,— добавил Гельмут.

— Когда-нибудь это должно было наступить,— медленно произнес Керр.— Вы жалеете?

— Конечно,— резко сказал немец.— Но с этим покончено.

Это было все — хотя на какую-то секунду могло показаться, что немец скажет еще что-то, но вместо этого он спросил, что собирается делать Керр.

Керр слишком долго прожил, замкнувшись в себе, в том обособленном и не доступном постороннему мире, куда он запер себя последние пять-шесть лет, а потому его не мог смутить подобный вопрос. У него наготове была тысяча лживых ответов, которые удовлетворят собеседника, но ничего не объяснят. Но этому немцу ему захотелось сказать правду, словно то особое взаимопонимание, которое установилось между ними в воздухе, на самом деле было истинным и редким сродством душ, которое продолжалось и на земле.

— Примерно половину моих пятнадцати тысяч съест подоходный налог,— сказал он,— но кое-что у меня останется да еще кое-что отложено — это позволит мне посидеть дома и попробовать что-нибудь написать.

— Об авиации?

— О полетах.

Немец не засмеялся деланным смехом и не отпустил шуточки на-

[4] Порядок *(нем.)*.

счет доходных приключенческих историй для мальчиков, хотя Керр и ждал этого. Гельмут просто кивнул и мигнул холодными голубыми глазами, словно и он ждал продолжения.

— Не в романтическом ключе,— с усилием добавил Керр.— Я не Сент-Экзюпери и не Энн Морроу Линдберг. Ведь теперь летать — значит работать. И если в этом есть смысл или удовольствие, то они возникают как раз отсюда...

Немец снова только кивнул и подписал счет — он будет включен в ту баснословную сумму, которую Джек Шерман (живший немного дальше, в первоклассном «Эрмитаж дю Риу») обязался уплатить «Матушке Терра» за то, что съест его «немецкое» звено, пока еще не начался сезон. Остальные «немецкие» летчики сидели в другом конце террасы, и Керр вдруг почувствовал, что Гельмут Мюлер связан с ними не больше, чем он сам с теми шестью «английскими» летчиками, с которыми он жил бок о бок в отеле «Белла Виста» в Сан-Рафаэле. Эти мальчики, возможно, считали отчужденность немца порождением его милитаризма, точно так же, как «английское» звено принимало его собственное безразличие к ним за профессиональное презрение. Но это не было ни милитаризмом, ни презрением; все объяснялось — хотя они об этом и не догадывались — просто возрастом.

— Давайте пойдем к морю,— сказал немец, словно до моря пришлось бы шагать много миль, а не просто перейти улицу.

Они стояли, облокотившись о каменный парапет, в бледной ночной тени старого замка Ла-Напуль и глядели через маленькую песчаную бухту на огни Канна, который еще не щеголял своим ослепительным летним сиянием, так как сезон не начался. Была весна, и днем пляжи были пустынны, а гостиницы заполнены голько наполовину. Шерман очень умело выбрал подходящее время. Керр, в сущности, только сейчас как следует оценил их американского «руководителя полетов», который сумел оградить своих летчиков от всякого рода невежественного вмешательства взбалмошного мира кино. Рассуждая чисто по-американски, Шерман и в этом был прав. Ведь это он сказал им: «Завтра ваш большой день, ребята, и я предоставляю вам возможность вместе пообедать и получше узнать друг друга. Вы этого заслуживаете». Он был прав, и все два месяца их воздушных трюков прошли так гладко несомненно потому, что под этой розовощекой внешностью скрывался человек, который разбирался в людях и уважал их несмотря на вымытую, выскребленную внешность и порой невыносимое добродушие.

Гельмут закурил, а Керр отказался от предложенной сигары, сказав, что бросил курить.

— Вы женаты? — спросил Гельмут.

— Да.

— На англичанке?

— Да.

— У вас есть дом и дети?

— Да, две дочери.

— Очень трудно не ошибиться в браке,— печально заметил Гельмут, вынув сигару изо рта, и тотчас вложил ее обратно, словно исчерпал эту тему. Однако сквозь зубы он все же спросил:— Ну и как у вас, удачно или неудачно?

— Понемногу того и другого,— небрежно ответил Керр.

Возможно, так бывает в каждом браке, решил он, и настоящие противоречия возникают только тогда, когда уходит благосостояние. Это как раз и должно было случиться с ним, если только уже не случилось, потому что то, чего он теперь хотел от своей жены, она, по всей вероятности, не в состоянии ему дать. У них бывали недоразумения. У кого их не

бывает? И в материальном отношении им пришлось пережить несколько очень тяжелых моментов. Но он все-таки сумел обеспечить Кэти деревянным домом близ Принсес-Рисборо с гаражом, выгоном, достаточным, чтобы держать корову (что она и делала), с центральным отоплением и со всеми удобствами английской пригородной полудеревенской жизни, когда дети (которых он едва знал) учатся в хорошей местной школе,— словом, ту жизнь, которая при наличии малолитражки удовлетворяет многих англичанок, желающих вести подобное околостоличное существование, хотя оно и не дает им ничего, кроме возможности носиться по окрестностям в душной маленькой машине в пределах тридцати миль от Лондона. Но именно этого хотела Кэти, и он с радостью это оплачивал десятью годами часто опасных разведывательных полетов над пустынями Ливии в грязи и в пыли, над побережьем Красного моря и над тысячами продуваемых ветрами долин нефтеносной дождливой Новой Гвинеи. Он был летчиком, и это тоже нравилось Кэти. Его профессия как нельзя лучше подходила ей, гарантируя его долгие отлучки, ибо это отвечало стремлениям ее воздержанной натуры и не нарушало полноты ее существования.

Но теперь у него возникла потребность выделить время для себя, и он не желал проводить его в образцовом английском полудеревенском доме. Нужно было остаться где-то в полном одиночестве с самим собой, чтобы собрать воедино все те с трудом отвоеванные слова, которые он накопил за последние пять лет. Он вообще был одинокой натурой, и знал это, и даже хотел этого. Такова была цена привычки — слишком много лет уединения в серых маленьких кабинах над безмерными просторами пустоты. Уже поздно, только в зрелые годы, он узнал, что он вовсе не тот человек, каким себя считал. В один прекрасный день, без всякой видимой причины, он обнаружил, что живет под плотной маской небрежного равнодушия, словно все в нем исчерпывалось его профессией, а остальное было незаполненной пустотой. Но, по-видимому, он одновременно был еще и другим человеком, и разница начала проявляться только с уходом юности. Вот такое чувство все крепче, клешнями краба, сжимало его на сорок девятом году жизни.

Но он знал, что Кэти как личный удар воспримет его отказ от презентабельного фасада его профессии, который, в сущности, был фундаментом ее жизни. То, что он решил сделать теперь, ей неминуемо представится настолько невероятным, что она скорее всего недоверчиво скажет: «Я просто не могу этому поверить. Это как-то не в твоем духе, дорогой». Значит, вопрос встанет о...

— Я считаю...— Он совсем забыл о немце, который как раз в эту минуту произнес:— Я считаю, что у вас, англичан, во всем хороший порядок и никакой путаницы.

— Это не так уж верно в нынешнее время,— сказал Керр, заставляя себя вернуться на землю и вспомнить об этом иностранце.

— Но вам лучше, чем немцам,— медленно сказал Гельмут.— Каждый немец все время, всю жизнь думает о том, чем мы были и чем мы должны были бы стать.

— По-моему, мы не так уж различны в этом,— возразил Керр.

— Но вы не верите в мифы.— Гельмут сердито взмахнул сигарой, описав дугу на фоне французского неба.

— Может быть, и нет,— сказал Керр.— Но, как и Германия, мы тоже теряем что-то, чем обладали всегда.

Гельмут вздохнул.

— Может быть, это и хорошо,— сказал он.— Может быть, всем следует потерять все. Тогда мы все могли бы начать сначала, без лжи.

— Вы так думаете?— сказал Керр.

Они наблюдали за «ДС-8», который заходил на аэродром в Ницце, и сигнальные огни у него на крыльях, на хвосте и на брюхе мигали поочередно — точно человек закрывал то один глаз, то другой. В таком деле важно, разумеется, отличить человека от звезды. Керр мысленно записал это, наблюдая за самолетом и зная все, что делал сейчас летчик в кабине, зная, что — как это бывает всегда при ночных приземлениях — настанет момент, перед тем как он коснется земли, когда ему покажется, будто он потерял контакт с окружающим: со светом и мраком и с землею и воздухом. И легкий удар колес о бетон принесет облегчение, потому что самое лучшее в полете — это все-таки реальность земли, когда ты возвращаешься на нее.

Он догадывался, что немец, разглядывая небо, полное звезд, тоже думает о «ДС-8», и Керра забавляла и в то же время удивляла мысль о том, что вот они — два серьезных человека, которые уже покончили со всякими легкомысленными пустяками, несколько неуклюже, но искренне как будто начинают дружить и что в основе этой дружбы лежит не то, о чем они говорили, а то, о чем им не надо друг другу говорить. Недоставало только теплоты, и едва Керр об этом подумал, как немец тут же восполнил пробел.

— Я думаю, друг мой,— сказал он чуть-чуть печально,— что нам следует завтра быть осторожными. Будет ошибкой, если мы теперь убьем друг друга.

Это говорил очень усталый человек, и Керр понял, что оба они скрывали друг от друга свое утомление — утомление вовсе не физическое. Казалось, оба кончали с чем-то, словно завтрашний день должен был помимо их воли стать финалом их юности, а потом они попытаются распорядиться собой по-иному.

Был классический, жемчужно-розовый рассвет, когда они взлетели с покрытого росой аэродрома и направились в сторону Фрежюса, набирая высоту в утреннем воздухе, таком легком и тихом, что они совсем его не ощущали. Керр летел в нескольких футах от правого крыла Гельмута, чуть позади, чуть левее, так что физически они были совсем рядом, и Керру приходилось предвосхищать маневры немца, что он делал, почти не думая. Один раз Гельмут обернулся, и краткая скупая улыбка предупредила Керра, что он собирается повернуть от моря в сторону суши, но Керр уже предвосхитил этот момент. Они обходились без радио: ни тот, ни другой еще не надели масок.

И Керру не хотелось этого делать: им владела какая-то вялая апатия. Он с трудом заставлял себя настроиться на ритм и обрести целеустремленность, с какою они два месяца разыгрывали эту шараду,— сегодня это было гораздо труднее, чем вчера, когда за ним в строю было еще пятеро. Все это перестало быть игрой, перестало быть работой, и предстоявшее требовало больших усилий.

— Здорово, ребята,— произнес голос Шермана.— Гельмут, ты на четыре секунды опоздал,— пошутил он.— Не утро, а сказка, черт побери!

— Ты сказал, чтобы этот француз не лез к нам? — спросил Керр.

— Вчера вечером я наорал по телефону на французского полковника и сказал ему, чтобы он оставил нам хоть кусочек неба свободным от этих мальчишеских безобразий.

— Вам придется нас предупреждать,— сказал Гельмут Шерману.— Нас только двое, и мы можем не заметить его вовремя.

— Буду начеку,— сказал Шерман.— Не беспокойтесь.

Они все еще продолжали набирать высоту, и Керр стал думать только о полете, стараясь возбудить в себе интерес и всецело посвятить себя этому полету. Следы времени внутри кабины были утешительно знако-

мы — тонкий слой зеленой краски был изрядно исцарапан, облупился, и кое-где проглядывал металл. Но это же рабочее место летчика, твердил он про себя (точно это была теория, требовавшая подтверждения). Просто и рационально устроенная приборная доска вела с помощью стрелок, шкал и лампочек учет всему, что он делал тут, наверху. «Делал» было не вполне подходящим словом, собственно говоря, подходящего слова для этого он еще не нашел. То, что он пытался сохранить в своих полетах, то, ради чего он летал на разных, но всегда сравнительно небольших самолетах и брался за требующую изобретательности работу «воздушного извозчика», был их творческий характер. И хотя теперь он это знал, потребовалось немало лет, чтобы он понял, почему он выбрал именно такие полеты. В сущности, любой полет требует известной доли искусства, потому что у него есть не только начало, середина и конец, как у добротной, написанной по классическим канонам, пьесы,— нет, лучшее в нем (хорошее приземление) — это как удар кисти, и ты всегда придаешь ему неповторимость, которая остается только твоей. Он понял, как работает Гельмут, пролетев рядом с ним полчаса: немец знал все тонкости летного дела, хотя сам лишь строго выполнял, что требовалось. Контуры его маневров были четко очерчены, отсутствие каких бы то ни было отклонений могло показаться человеку помоложе проявлением механистичности и автоматизма. Но применяя к нему свою теорию полета, как искусства индивидуального, Керр понимал, что наблюдает глубокое проявление одной из наиболее здоровых черт немецкого характера — любви к законченности и ненависти к беспорядку.

Маленький «мессершмитт» с его квадратным силуэтом работяги и срезанными крыльями, с колесами, которые после взлета взметываются вверх, как руки дирижера, был на самом деле плодом чего-то несравненно лучшего, чем бесчеловечная система, которая его использовала. Впрочем, и его собственный «харрикейн» был тоже компромиссом между практическими требованиями и фантазией — правда, он был более легкий по виду и очертаниям, чем немецкий самолет, даже не казался военным, словно был построен лишь для того, чтобы летать, а не служить оружием.

— Теперь я вас вижу, ребята,— сказал голос Шермана.— У вас такой вид, как будто вы сцепились вместе, точно спаривающиеся бабочки. А еще больше вы сблизиться не могли бы?

Это был комплимент.

— Теперь я вижу вас,— отозвался Гельмут.

— Я тоже,— сказал Керр, подтверждая.

Еще несколько секунд — и они окажутся над своим полем боя или, вернее, в нем, поскольку они ведь не были связаны с землей и больше походили на дерущихся рыб, которых не ограничивает никакое измерение. Керр вынул блокнот и сделал последние заметки перед началом работы. Ему приходилось записывать все тут, наверху, потому что тут была ясность. На земле он ее утрачивал — потому-то ему и нужны были деньги и уединение: он попробует воссоздать неповторимый аромат полета и вспомнить свои открытия.

— Не забудьте,— говорил Шерман,— вы можете подняться на лишние пять тысяч футов (они просили об этом), но не спускайтесь ниже вертолета и продолжайте действовать, пока я не дам команды. Не расстреляйте свои холостые патроны друг в друга за первые же пять минут и больше не путайте кнопки кинокамер с пулеметной кнопкой. Десять — двадцать секунд съемок вашими камерами — больше нам не требуется. Вы оба видите вертолет?

— Да,— сказали они почти одновременно.

— Ладно. Тогда начинайте и о французе не думайте.

Керр увидел, как Гельмут поднял голову, улыбнулся и помахал ему, он помахал в ответ и, выведя свой «харрикейн» из-под крыла «мессершмитта», начал медленный широкий разворот, который увел его от Гельмута в противоположном направлении. Он дал себе сорок пять секунд, затем снова повернул и увидел, как Гельмут тоже поворачивает — далекое пятнышко; и они начали с обмена любезностями, которым открывались многие их прежние представления: пулеметы застрекотали встречу.

Керр видел острый, как жало пчелы, нос «мессершмитта» и держал курс так, чтобы находиться точно на одной линии и на одной высоте; в последнюю неизмеряемую долю секунды он слегка опустил нос, а Гельмут чуть-чуть поднял свой «мессершмитт», их расчет был так точен, что казалось, стоит ему протянуть руку — и он коснется брюха «мессершмитта», с ревом промелькнувшего над ним. Они оба едва отклонились от курса и услышали, как Шерман одобрительно сказал:

— Черт!

И начался бой между изобретателем и художником.

Керр стал набирать высоту, так как знал, что Гельмут сделает именно это, а кроме того, он знал, что «харрикейн» способен чуть-чуть опередить «мессершмитт», и он не просто стремился забраться выше, но надеялся захватить Гельмута на вершине его подъема. Он ввел «харрикейн» в петлю и летел стремительно вверх, пока не увидел «мессершмитт», показавшийся ему перевернутым, и, хотя Гельмут на мгновение возник у него в прицеле, стрелять не имело смысла, так как «мессершмитт» сразу перестал набирать высоту и, рухнув вниз, исчез из виду.

Он знал, что в пике «мессершмитт» лучше его машины — легче поддается управлению, стремительнее маневрирует и, как более тяжелый, может набрать большую скорость, уходя вниз. Вот на что рассчитывал Гельмут, а не на высоту, и поэтому Керр повернул, все так же вниз головой, и пошел вслепую, не зная, где Гельмут, преследуя по инстинкту, надеясь увидеть немца, прежде чем тот начнет новый подъем или зайдет ему в хвост. Он пошел вниз почти вертикально, но он не хотел терять слишком много высоты и, выйдя из пике с тройной нагрузкой, на миг потерял сознание, потому что резкое изменение силы тяжести отжало кровь из его мозга. Когда серая пелена разорвалась и давящий обруч головокружения отпустил его, он почувствовал, как «харрикейн» содрогается от напряжения, а рычаги управления словно превратились в куски старых веревок, и тут вдруг он увидел Гельмута — тот уже вышел из своей второй горки и теперь, повернув, устремился на него из голубой чаши, где маленький «мессершмитт» походил на брошенный камень, а не на самолет.

— Ну-ка, выбирайся из положения, Кевин,— услышал он в наушниках веселый голос Шермана.

Теперь он понял, что все это время слышал переговоры Шермана с вертолетом,— поток их не прекращался ни на секунду, но ни одно слово не проникло в его сознание. И то, что его вдруг окликнули, подействовало на него как удар, но полезный, так как он понял, что замешкался.

У него как раз оставалось время бросить «харрикейн» в восходящую бочку, и, хотя с ослабевшими рычагами управления это было опасно, он почувствовал, что «харрикейн» подчинился. Летя на спине, он резко повернул и ушел вниз, зная, что не только увернулся от Гельмута, но и зашел ему в хвост.

— Merde![5]

В ушах у обоих то и дело раздавались восклицания удовольствия и изумления, которые издавал Шерман, но оба летчика знали, что все это

[5] Сволочь *(франц.)*.

далеко до настоящего совершенства, поскольку пока им так и не удалось зажечь в себе подлинный интерес к тому, что они делали.

Однако целых десять минут они осуществляли сложнейшие классические маневры воздушного боя, проделывая их все лучше и лучше; а поскольку им приходилось укладываться в ограниченное поле зрения кинокамер, их бою была присуща насыщенность, которая делала его еще более эффектным. Каждый подъем был чуть более вертикальным, чем мог бы быть, каждое пике выглядело чуть более смертельным, каждый вираж чуть более крутым, каждая бочка или полубочка, каждый большой и малый штопор говорили о том, что эти люди умеют заставить самолет делать все, что им было нужно. Лишь изредка одному из них удавалось выпустить в другого холостую огненную очередь — хотя именно это, в конечном счете, и было целью боя, так как победа в нем зависела не только от упорства, изобретательности и опыта летчика, но и от его умения стрелять по быстро движущейся мишени. Впервые страх в настоящем бою Керр испытал, когда понял, что его плохо учили стрелять, тогда как немцы были превосходными стрелками. И теперь кнопки управления пулеметами властно влекли его к себе, потому что после войны Керр научился неплохо стрелять из крупнокалиберных крыльевых пулеметов и его часто томило желание узнать, стал ли он благодаря этому лучше, как летчик,— и вот теперь у него был случай проверить себя в этой насыщенной схватке, в непрерывном тесном контакте с таким совершенным мастером, как Гельмут. Они сжимали, и перекручивали, и связывали порождаемые ими воздушные потоки во все более и более крепкие узлы блистательного полета и слышали у себя в наушниках слова Шермана:

— Я добьюсь для вас, ребята, еще по тысяче долларов на каждого за эти ваши сумасшедшие штуки.

Но несколько минут спустя, когда он велел им кончать, они как будто его не услышали.

— Довольно,— говорил он им.— Вполне достаточно. Я не хочу, чтобы кто-то из вас развалился на части.

Они не обращали на него внимания. Гельмут в эту минуту круто, почти вертикально шел вверх. А Керр как раз выходил из петли, и на краткую долю секунды Гельмут возник в перекрестке его прицела, так что настоящая очередь перерезала бы его пополам.

— Послушайте, ребята! — взмолился Шерман.— Хватит! Нам всем пора отправляться домой.

В голосе Шермана слышалась паника, словно он понял, что немец и англичанин прервали с ним связь и были заняты тем, что уже не имело к нему никакого отношения. Шерман сделал еще одну попытку, а потом замолчал и стал наблюдать, как «мессершмитт», точно лист, падает сверху на «харрикейн», проделывавший в этот момент совершенно простой на вид, но быстрый и крутой разворот. Когда уже казалось, что немец совсем навалился на него, Керр бросил свой самолет в серию быстрых бочек и, не докончив одну из них, резко вывернул машину — эффект получился поразительный.

Вот тут Шерман увидел француза — хрупкую темно-синюю капельку, которая постепенно превращалась в жесткокрылого феникса, устремляющегося на двух старых, но полных грации уток.

— Явился этот проклятый француз!— крикнул он летчикам.— Берегитесь!..

Он понял, что ни англичанин, ни немец не слышат его. Их схватка не прерывалась. «Харрикейн» шел на вершине мертвой петли, так что какие-то секунды оба самолета летели брюхом к брюху, пока не оторвались друг от друга в широком скользящем вираже и, словно для зара-

нее согласованного финала, проделали то же самое, с чего начали: устремились навстречу друг другу в лобовой атаке, поливая друг друга пулеметными очередями.

— Француз!..— завопил Шерман.

Французский «мираж» свинцовым грузилом упал между двумя самолетами, словно намереваясь ободрать им носы, и в ту секунду, когда «мираж» вонзился между ними, Шерман понял, что ни немец, ни англичанин не видели этого и не слышали его предупреждений. Во всяком случае, это уже не имело значения, потому что в том последнем тонком воздушном слое, который они всегда оставляли между собой, когда Гельмут уходил вверх, а Керр вниз, не оставалось пространства, и, всецело занятые друг другом, «харрикейн» и «мессершмитт» попросту столкнулись нос о нос, рыло о рыло, кабина о кабину, пулемет о пулемет — так сказать, глаз в глаз и буквально щека в щеку; оба самолета одновременно взметнулись вверх в жарком кипении пламени, а затем дыма и разлетелись черными горящими обломками, среди которых невозможно было распознать человеческие останки.

Шерман, летчик, воевавший в Корее, зажал руками наушники, словно стараясь заглушить звуки, которых он не слышал,— он умирал вместе со своими двумя летчиками, и в том тайном уголке своей души, который он держал крепко запертым от разлагающего влияния денег, кино, процентов, всей пошлости своей нелегкой жизни, он нашел понимание того, что их убило, и это был не француз.

Он знал, что их убило давно умершее прошлое. Их предали ушедшие годы и то жуткое увлечение ремеслом смерти, которое вернулось и увлекло их назад, к бессердечию, к страсти и убежденности их ушедшей юности. Они снова стали металлом войны, ее сущностью и ее орудием, ее пушечным мясом и в завершение — ее жертвами, и они убили друг друга в безумии фаустовского превращения в прежних молодых солдат.

Шерман сел на холодный пол «веллингтона», не желая больше смотреть на невинное голубое поле этого боя, и, когда он снял старомодные защитные очки, предохранявшие его глаза от постоянных ветров, которые превращают бесплодные куски металла в птиц, он тоскливо сказал летчику:

— Ладно, Пит. Вези нас домой. Здесь нам больше нечего делать.

Д. ЗАТОНСКИЙ

ЗЕРКАЛА ИСКУССТВА

(Ленинская теория отражения и некоторые аспекты современного литературного процесса)

1

Среди современных ему писателей Маркс выше всех ставил Бальзака. Он не только неоднократно упоминал Бальзака в книгах, статьях, письмах, касающихся каких-то иных проблем, но и — по свидетельству Поля Лафарга — собирался непосредственно заняться изучением «Человеческой комедии».

Марксов интерес к Бальзаку, разумеется, не был частным читательским интересом. Явления и лица, этим художником изображаемые, ситуации, им воспроизводимые, характерны, типичны для буржуазных отношений, как раз тогда достигших во Франции своеобразной «классической» зрелости. И явления эти, ситуации, лица наглядно подтверждали экономические и социальные законы, открываемые, переосмысляемые, углубляемые Марксом.

Однако сочинения Бальзака, конечно же, не просто поставляли основоположникам научного коммунизма образно-иллюстративный материал. Энгельс отмечал, что из его книг «даже в смысле экономических деталей узнал больше... чем из книг всех специалистов — историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых» [1].

Но самое, пожалуй, существенное, что бальзаковское творчество — это тот вид реалистического искусства, который Марксу и Энгельсу особенно важно было отстоять и утвердить.

Главная задача, которую поставила перед Марксом и Энгельсом их эпоха в области эстетики, как об этом уже писали советские ученые, была задача доказать, что искусство и литература представляют общественно обусловленные явления [2]. Но кто же лучше, чем Бальзак — этот, наверно, искуснейший и одержимейший социальный анатом мира,— подходил для решения такой задачи? «Люсьен,— исповедовался он в 1844 году Эвелине Ганской,— послужил нитью, позволившей мне описать журналистику. Теперь он послужит для описания живописного сословия содержанок: продажность тела, продажность ума! Затем последуют «Мелкие буржуа» и в заключение «Братья утешения». Тогда в моем Париже не будет только Художников, Театра и Ученых. Я опишу огромное современное чудовище со всех сторон.

Вот в общих чертах игра, которую я веду. Три человека заслужат бесконечную жизнь: Наполеон, Кювье, О'Коннель — и я хочу быть четвертым. Первый жил жизнью Европы, он сросся с армиями! Второй объял земной шар! Третий воплотил в себе народ! Я отражу все общество в своей голове!». На это Бальзака подвигнули не только индивидуальные титанические амбиции: время требовало летописца, порой даже «статистика» и «экономиста».

Оттого Маркс и Энгельс опирались по преимуществу на Бальзака. А Ленин?

В именном указателе сборника «В. И. Ленин о литературе и искусстве» (вдумчиво и тщательно составленного Б. С. Рюриковым) приводится более пятидесяти иностранных писательских имен — тех, что упомянуты В. И. Лениным. Среди них, однако, ни разу не встречается имя Бальзака. Что ни разу—

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 37, стр. 36.

[2] См. Г. М. Фридлендер. Развитие В. И. Лениным эстетического наследия К. Маркса и Ф. Энгельса; в книге «В. И. Ленин и вопросы литературоведения», АН СССР, М.—Л., 1961, стр. 37.

несомненно, случайность. Названные им писатели, право, не казались Ленину более, чем Бальзак, достойными упоминания; но не случайность, надо думать, что совокупность тезисов уже лучше подкрепляли другие и лучше всех — Лев Толстой.

Он для Ленина то, чем был Бальзак для Маркса и Энгельса. И Ленин написал о нем цикл статей — исследование, подобное которому Маркс собирался писать о Бальзаке.

Такой выбор продиктован в первую очередь не местом на литературном Олимпе, а скорее типичностью Толстого для новой эпохи, его способностью воплотить те свойства искусства, которые особенно важно было отстоять и утвердить Ленину.

В ленинской эстетике центр тяжести перемещается в сторону теории отражения.

Вспомним, как начинает Ленин первую статью своего толстовского цикла: «Сопоставление имени великого художника с революцией, которой он явно не понял, от которой он явно отстранился, может показаться на первый взгляд странным и искусственным. Не называть же зеркалом того, что́ очевидно не отражает явления правильно?» [3] И опровергая возможных обладателей этого самого упрощающего и спрямляющего «первого взгляда», Ленин разворачивает свою систему доказательств.

Сначала он вскрывает противоречия творчества и учения Толстого: «С одной стороны, гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы. С другой стороны — помещик, юродствующий во Христе» [4].

Ленин как будто отделяет силу Толстого от его слабости, прозрения от заблуждений, то, что служит пролетариату, от того, что ему мешает. Это оценка «с точки зрения современного рабочего движения и современного социализма» [5]. Однако, дав ее, Ленин тут же добавляет: «...такая оценка, разумеется, необходима, но она недостаточна...» [6], ибо Толстого следует рассматривать «с точки зрения того протеста против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеления масс, который должен был быть порожден патриархальной русской деревней» [7]. И Ленин продолжает:

«Толстой велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России. Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как *крестьянской* буржуазной революции. Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки зрения,— действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции» [8].

Толстой осмысляется Лениным в контексте бурного исторического развития, посредн толчков и сломов, которые переживала пореформенная и дореволюционная Россия,— то есть в принципе так же, как осмыслялся Бальзак Марксом и Энгельсом. Да иначе и быть не может: ведь ленинская эстетика — органическая составная часть единой эстетики марксизма. Но это эстетика развивающаяся. Маркса и Энгельса, исходя из их исторической задачи, в большей мере интересовало объективное содержание писательского высказывания, Ленина же — и способ высказывания, и высказывающийся субъект. Хоть и отнюдь не ради субъекта.

Вдумаемся в ленинские слова:

«Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции... Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки зрения,— действительное зеркало... противоречивых условий». (Разрядка моя.— *Д. З.*)

Выходит, зеркалом все-таки может быть то, что «не отражает явления правильно»? Однако речь ведь идет не об обычном зеркале: оно воспроизводит не отдельные факты, даже не простую их сумму, а подвижное, сложное, изменчивое единство и осмысление этого единства. Вот и Толстой, который революции «явно не понял», который от нее «явно отстранился», способен тем не менее ее воплощать. Но только, если брать его «как целое». Потому что «хороший» и «плохой» Толстой, взятые порознь,— это уже не Толстой реально-противоречивый.

Зеркало такое, собственно, никогда не было и не должно было быть копирующим природные формы лиц и предметов. Оно — «магический кристалл», обнажающий сущность за счет нагнетания, заострения, преломления ведущих признаков. Причем в неком общетеоретическом смысле это одинаково приложимо и к Толстому, и к Бальзаку.

Последний ведь тоже не говорил, будто срисовывает контуры социальной действительности; нет, он сказал: «Я отражу все общество в своей голове». И Маркс отнюдь не считал его копиистом. «Кстати, о Бальзаке,— написал он Энгельсу в 1867 году: — советую тебе прочесть его «Неведомый шедевр» и «Прощенный Мельмот». Это два маленьких шедевра, полных тонкой иронии» [9].

И «Неведомый шедевр» (1832), и «Прощенный Мельмот» (1835) — все, что угодно, только не этюды с натуры. Вторая из этих новелл исполнена демонологической фантастики, а в первой (своего рода эстетическом кредо писателя) странный гений Френхофер восклицает: «Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но в том, чтобы ее выражать».

Опираясь на такие бальзаковские сочинения и в первую очередь, очевидно, на «Ша-

[3] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 206.
[4] Там же, стр. 209.
[5] Там же, стр. 210.
[6] Там же.
[7] Там же.
[8] Там же

[9] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 31, стр. 234.

греневую кожу» (1831), наш современник Макс Фриш намечает несколько неожиданный эволюционный ряд: «Гомер, Бальзак, Кафка» [10].

А другой наш современник, Петер Демец—автор антимарксистской книги «Маркс, Энгельс и писатели» (1969),— ценит в Марксовой концепции Бальзака по сути только симпатии к «Прощенному Мельмоту» и «Неведомому шедевру». По этому признаку он даже отделяет «либерального» Маркса от «догматичного» Энгельса: последний, дескать, относился холодно к «фаустианским исканиям» Бальзака и хвалил того лишь за невольное споспешествование материалистическим идеям.

Впрочем, и Демец признает, что «...из теоретических соображений Маркс как будто в первую очередь штудировал «Гобсека» (1830), «Сельского священника» (1839), «Крестьян» (1844) и «Кузину Бетту» (1846)» [11]. Иначе говоря, романы не только социально насыщенные, но и далекие от романтической фантастики.

В самом деле, не один лишь Энгельс обращал прежде всего внимание на бальзаковские «экономические детали». Так поступал и Маркс, писавший, например, Энгельсу в 1868 году:

«У Бальзака в «Сельском священнике» написано следующее: «Если бы промышленный продукт не *ценился вовсе* против своей *себестоимости,* то торгово-промышленная деятельность не могла бы существовать» [12].

И восхищение «Неведомым шедевром» или «Прощенным Мельмотом» нисколько этому не противоречит. Демецу хочется думать, будто упомянутые короткие рассказы «целиком пренебрегают политическими и экономическими проблемами» [13]. Однако думать так — по меньшей мере ошибочно. Ведь именно в «Прощенном Мельмоте» о парижской бирже сказано, что она — место, «...где правительства расцениваются на пятифранковые монеты, где идеи и верования переведены на цифры, где все дисконтируется, где сам бог берет взаймы... Если где покупать душу, то, конечно, там».

Несмотря на весь свой демонизм, это мир упрямо, неистребимо материальный. А фантастическим он выглядит порой лишь потому, что, как заметил еще в 1836 году Карл Гуцков, «...Бальзак — поэт денег, новой машинерии, которая обладает собственными чудесами, ничуть не меньшими, чем древний эпос» [14].

Бальзаковская Европа, Европа первой половины XIX века,— это арена буржуазных побед. И самоуверенный, самовлюбленный негоциант выставляет все напоказ— свои дома, свои упряжки, свои жилеты с тяжелыми брелоками, даже истинное выражение своего лица. Поэтому слепок с общества так много мог сказать об общественной сущности. Это вовсе не означает, будто сущность легко было понять — ее лишь сравнительно нетрудно было увидеть: она проявлялась в изображаемых реалиях.

Отсюда и тот вид реализма в искусстве, который совершенно закономерно, исторически необходимо тогда утверждался, а затем и преобладал — реализм, воспроизводящий жизнь «в формах самой жизни», то есть лишенный бальзаковского демонизма и гиперболизма, но в то же время связанный с материальностью, вещественностью мира Бальзака.

Иногда (и, вероятно, по недоразумению) реализм этот смешивают чуть ли не с натурализмом, во всяком случае — со скрупулезной писательской верностью правдоподобным деталям.

Натурализм и в самом деле как-то связан с эволюцией «вещного», «материального» реализма XIX века, но связан скорее формально-родственно, так сказать, нежели генеалогически. И уж, во всяком случае, связь эта никак не сводится к внешнему правдоподобию или стремлению к нему.

Напротив, новый реализм Толстого, вполне определенно противостоявший натурализму, как раз по части правдоподобия нередко превосходил и Бальзака, и даже Золя. Толстовские происшествия и герои, например, куда умереннее, достовернее бальзаковских — романтических или даже навеянных традициями «черного романа». Но как это ни казалось бы странно, именно сочиненное Бальзаком читатели охотно принимали (да и по сей день еще принимают) за чистую монету.

«Про него,— писал Мопассан,— нельзя сказать, что он был только наблюдателем или что он лишь точно воспроизводил картину жизни, как делали некоторые романисты после него; нет, он обладал такой гениальной интуицией и так правдиво воссоздал целое человечество, что все в него поверили и оно ожило перед нами... Персонажи Бальзака, до него не существовавшие, казалось, вышли из его книг и вступили в жизнь, ибо он создал полную иллюзию реальных людей, страстей и событий».

Не имитируй мир Бальзака внешний, окружающий мир, эта поразительная и прочная иллюзия не возникла бы, да и не было бы в ней такой надобности.

Сущность заключена в самом предмете, и Бальзаку желательно не только показать предмет, но и так показать, чтоб его узнали. И Бальзак создает макет, который похож на прототип, но не есть, конечно, его копия, потому что изменены размеры, степень эмоций, окрашенность восприятий. Это — способ выявить скрытое: за счет сатирического, символического, даже фантастического усиления; возможно (при заданных условиях) единственный способ...

В толстовской России все выглядело ина-

[10] Max Frisch. Tagebuch 1946—1949. Frankfurt 1965, S. 241.
[11] Peter Demetz. Marx, Engels und die Dichter. Frankfurt a. M—Berl., 1969, S. 169.
[12] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 32, стр. 186.
[13] Peter Demetz. Marx, Engels und die Dichter S. 169.
[14] Karl Gutzkow. Beiträge zur neusten Literatur. Stuttgart, 1836, Bd. II, S. 37.

че. Тут не было ни «классической» ясности, ни «классической» же последовательности капиталистического развития. И причиной тому вовсе не одна лишь вековая отсталость. В чем-то Россия даже ушла вперед по сравнению с Западной Европой — «упорядоченной», «уравновешенной», «самоуспокоенной»: ведь именно в Россию переместился центр мирового революционного движения. Здесь еще (но в то же время и у ж е!) отсутствовало нечто для Европы XIX века само собою разумеющееся — с т а б и л ь н о с т ь буржуазной системы, стабильность, которую пока не расшатали ни кризисы, ни войны, ни даже такие революции, как Парижская коммуна.

В России все складывалось по-иному — и во времена Толстого и Достоевского, и много ранее, а тем более на переломе столетий. «...Россия,— говорит горьковский Дронов,— страна не-бла-го-по-луч-ная... Насквозь неблагополучная. И правят в ней не Романовы, а Карамазовы. Бесы правят».

Но дело, разумеется, не в «бесовских наваждениях», а в несоответствиях характера вполне реального.

«...Самое отсталое землевладение, самая дикая деревня — самый передовой промышленный и финансовый капитализм!»[15],— так определял Ленин коренные пороки российской хозяйственной структуры (и, одновременно, предпосылки революции). Этот разрыв между городом и деревней, промышленностью и сельским хозяйством — специфическая особенность страны, путей ее истории. Но он и нечто большее. Тут налицо *противоречивость* — тотальная, всепроникающая, искажающая характер всех социальных отношений, как бы отторгающая все причины от всех следствий. А подобная противоречивость — неизменный спутник той стадии капитализма, которую Ленин назвал империализмом.

Выходит, что безнадежно отсталая империя Романовых и правда по-своему «обогнала» западный мир, даже оказалась в определенной мере «прообразом» его неизбежного будущего.

Обманчивость непосредственного, вещественного побуждала Толстого (как, между прочим, и Ленина, когда Ленин занимался неоднозначным Толстым!) принимать во внимание не просто факты, а их взаимодействие, сосредоточиваться на столкновениях явлений, на смысле, а не предмете, на внутреннем, а не внешнем.

Бальзак был критиком и историком своего общества; Толстой же для Ленина недаром — с р ы в а т е л ь м а с о к: Толстой в еще большей степени стремился нечто о б н а ж и т ь, ибо это «нечто» упорнее прячется.

Бальзак соревновался с наукой. И Энгельс сравнивал его с историками, экономистами, статистиками, а Маркс находил у него догадки о механизмах прибавочной стоимости... Толстой, напротив (хоть и очень непоследовательно, самому себе противореча), от науки себя отделял — по крайней мере, от наук описательных.

«Историк,— полагал он,— описывая сражения, говорит: левый фланг такого-то войска был двинут против деревни такой-то, сбил неприятеля, но принужден был отступить... Историк не может говорить иначе. А между тем для художника слова эти не имеют никакого смысла...

...Объездите все войска, тотчас после сражения, даже на другой, третий день... и спрашивайте у всех солдат, у старших и низших начальников о том, как было дело; вам будут рассказывать то, что испытали и видели все эти люди, и в вас образуется величественное, сложное, до бесконечности разнообразное и тяжелое, неясное впечатление; и ни от кого, еще менее от главнокомандующего, вы не узнаете, как было все дело».

О каких бы «баталиях» своей «Человеческой комедии» Бальзак ни повествовал — даже о битвах биржевых или семейных,— вел он себя в какой-то мере аналогично толстовскому историку: то есть прежде всего «реконструировал» цепь событий. Толстой же в первую очередь озабочен был воссозданием д у х а баталии. Причем дух этот он подвергал художественному исследованию, показывая противоречивую совокупность субъективных видений. Однако «совокупность» — это не так полнота материала, как совершенство его сочетаний, слагающихся в художественный образ.

«Он,— сказал Бальзак о Стендале,— не взялся за полное описание битвы при Ватерлоо, он прошелся по арьергарду и дал два-три эпизода, рисующие поражение наполеоновской армии, но столь мощен был удар его кисти, что мысль наша идет дальше: глаз охватывает все поле битвы и картину великого разгрома».

С еще большим основанием такое можно бы отнести к толстовским картинам Аустерлица или Бородина, да и вообще к «Войне и миру» как художественному целому. Но процитировать здесь слова Бальзака, сказанные о Стендале, старшем его современнике, по-своему тоже заманчиво. Ведь слова эти недвусмысленно говорят о том, что между двумя рассматриваемыми способами реалистического воссоздания действительности нет и не было ни пропасти, ни антагонизма. Они сосуществуют и взаимопроникают, если сосуществуют и взаимопроникают формы общественного бытия. Ибо манеры Бальзака или Толстого, конечно же, прежде всего зависят от исторического состояния мира. Новейший капитализм с его изломами и абсурдами, с его туманами отчуждения особенно действенно разоблачается с помощью не «бальзаковского», а «толстовского» способа. Так удивительно ли, что специфический аспект ленинской эстетики — это проблемы своеобразия художественного отражения сущего?

2

Эстетические выводы из ленинской теории отражения в равной мере приложимы к Бальзаку и Толстому, даже к Софоклу и

[15] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 417.

Горькому. Ибо теория эта — научный фундамент искусства как специфического вида человеческой деятельности. И все же есть, несомненно, свой глубокий исторический смысл в том, что разработана она была именно Лениным, именно в начале XX века.

Годы после поражения первой русской революции были годами оживления самых черных сил, годами разочарований, неверия, отчаяния в рядах колеблющихся, временно примкнувших к восстанию интеллигентов. Все это породило разгул, какой-то ведьмовский шабаш «веховской» и всякой прочей декадентщины — декадентщины, глубоко проникшей в область истории, философии, искусства и, как это ни парадоксально, затронувшей даже некоторые сферы марксистской теории. И создавая «Материализм и эмпириокритицизм», Ленин прежде всего ставил себе задачу «разыскать, на чем свихнулись люди, преподносящие под видом марксизма нечто невероятно сбивчивое, путаное и реакционное» [16]. Иначе говоря, книга эта рождена потребностями злободневной партийной (в том числе и внутрипартийной) борьбы.

В каком-нибудь богдановском «эмпириомонизме» Ленин разглядел основное звено — связь со всем мировым идеализмом и со всей метафизикой, всей эклектикой идеологии отмирающих классов; более того, Ленин вскрыл его, если можно так выразиться, «отрицательную» зависимость от новейшей революции в естествознании. «Реакционные поползновения,— писал он,— порождаются самим прогрессом науки» [17].

И все это не было простым расширением диапазона исследования. Лишь оказавшись внутри диалектического причинно-следственного ряда, каждый объект ленинской критики (и махизм и «энергетизм» Освальда, и Гельмгольцева «теория символов») мог быть осмыслен в совокупности своих значений: то есть и как некая преходящая конкретность, и как частица всеобщности — извечной борьбы между старым и новым, прогрессивным развитием и реакционным его толкованием.

В предисловии ко второму изданию книги (1920 г.) Ленин писал: «Я надеюсь, что оно будет небесполезно, независимо от полемики с русскими «махистами», как пособие для ознакомления с философией марксизма, диалектическим материализмом, а равно с философскими выводами из новейших открытий естествознания» [18].

И чем дальше отодвигался в прошлое непосредственный повод, побудивший автора в 1908 году взяться за перо, тем больший вес приобретало все то, что существует в его книге (да и прочих так или иначе к ней примыкающих философских сочинениях) «независимо от полемики с русскими «махистами».

«Философский идеализм,— читаем, например, в статье «К вопросу о диалектике»,— есть *только* чепуха с точки зрения материализма грубого, простого, метафизичного. Наоборот, с точки зрения *диалектического* материализма философский идеализм есть *одностороннее,* преувеличенное Überschwengliches (Dietzgen) развитие (раздувание, распухание) одной из черточек, сторон, граней познания в абсолют, *оторванный* от материи, от природы, обожествленный...

Познание человека не есть (respective не идет по) прямая линия, а кривая линия, бесконечно приближающаяся к ряду кругов, к спирали. Любой отрывок, обломок, кусочек этой кривой линии может быть превращен (односторонне превращен) в самостоятельную, целую, прямую линию, которая (если за деревьями не видеть леса) ведет тогда в болото, в поповщину (где ее з а к р е п л я е т классовый интерес господствующих классов)» [19].

Применительно к искусству — это характеристика гносеологических (да и идеологических тоже) корней декаданса. Но одновременно перед нами одна из важнейших, так сказать, позитивных позиций теории отражения. И ошибется тот, кто, быть может, подумает, будто о «кривой линии» познания Ленин упоминает лишь затем, чтоб удобнее перейти к разоблачению приемов ее идеалистического спрямления. В действительности ему столь же важно было утвердить диалектику, как заклеймить метафизику: сказал же он, что «новая физика свихнулась в идеализм, главным образом, именно потому, что физики не знали диалектики» [20]. И Ленин не уставал повторять: «Подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепка (=понятия) с нее *н е е с т ь* простой, непосредственный, зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, *включающий в себя* возможность отлета фантазии от жизни...» [21].

В этой заметке из «Философских тетрадей» (как и в первой статье о Толстом) Ленина, собственно говоря, занимают феномены не-«зеркально-мертвых» зеркал. И поскольку там речь шла о писателе, о литературе, осмеливаешься и здесь приложить непосредственно к искусству суждения будто сугубо философские, общетеоретические.

Да, «Лев Толстой, как зеркало русской революции» — нечто вроде моста, соединяющего литературу и искусство, науку о них с ленинской философией, ленинской революционной теорией. И лишь перейдя мост этот, так сказать, в обратном направлении, по-настоящему проникаешь в сферу эстетики ленинизма. Ибо выкристаллизовывалась она именно там — в пределах отнюдь не специально-эстетических, в окружении категорий как бы далеких учению о прекрасном: посреди живой, партийной, классовой, политической борьбы.

Л. Ульвигу и прочим, которые более по-

[16] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 11.
[17] Там же, стр. 326.
[18] Там же, стр. 12.
[19] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 322.
[20] Там же, т. 18, стр. 276—277.
[21] Там же, т. 29, стр. 330.

лувека назад твердили, что «материя исчезает», Ленин отвечал в «Материализме и эмпириокритицизме»:

«...Понятие материи... не означает гносеологически *ничего иного,* кроме как: объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отображаемая им...

...Как ни диковинно с точки зрения «здравого смысла» превращение невесомого эфира в весомую материю и обратно, как ни «странно» отсутствие у электрона всякой иной массы, кроме электромагнитной...— все это только лишнее *подтверждение* диалектического материализма». [22]

Но ведь в определенном смысле это и ответ некоторым новейшим противникам реализма в искусстве. Например, Рихарду Бринкману, который писал в 1957 году:

«Прежнее реалистическое представление о жизни распадается. Взаимоотношения субъекта-объекта, которые были характерны для произведений писателей предыдущего столетия и для формы их художественного изображения, перестают быть действенной или хотя бы возможной формой отношения человека к миру. Вещи уклоняются от возможности быть выраженными, язык не способен более их схватить».

И это ответ Вальтеру Енсу, заявившему в 1959 году:

«Окружающий мир не может быть уже передан в повествовании. Не напрасно распадается форма повествования... Тот, кто через сорок лет после Джойса все еще спокойно расширяет фабулу, спокойно ведет повествование, не испытывает сомнений насчет того, что было «после» и что «во время», кто развивает образ героя, верит в порядок и цель...— тот обитает в давно обветшалом доме».

Все то, чего, по Енсу, в искусстве быть уже не должно («герой», «фабула», «порядок», «цель»...), относится к стойким признакам реализма. Следовательно, перед нами кризис действительности, кризис реализма?

Ну, а если подойти к делу иначе, подойти диалектически — не окажется ли тогда, что перед нами кризис «вульгарного», «механистического» истолкования реализма?

В поучение всем тем, кто вопил об «исчезновении материи», Ленин привел мысль Энгельса, который «... говорит прямо, что «с каждым, составляющим эпоху открытием даже в естественно-исторической области» (не говоря уже об истории человечества) «материализм неизбежно должен изменять свою форму» [23].

А реализм в искусстве (хоть он, конечно, ни в коей мере не тождествен материализму в философии!) — разве не должен? Вот здесь, без сомнения, существует аналогия, опирающаяся ни на что иное, только на подвластность единым законам диалектики.

И Энгельс, и цитирующий его Ленин говорят о ф о р м е. «Форма существенна,— читаем в «Философских тетрадях».— Сущность формирована. Так или иначе в зависимости и от сущности...» [24] Это в равной мере распространяется на все мироздание— в том числе, разумеется, и на явления искусства.

С тем, что действительность XX столетия (которому была дарована величайшая социальная революция, но которое не было избавлено ни от трагедии двух мировых войн, ни от ужасов фашизма) — это несомненно новая историческая с у щ н о с т ь, никто спорить не станет. Так могли ли в таком случае сохранить свою неприкосновенность ф о р м ы ее художественного освоения и выражения? Надо думать, что нет!

Естественно, формы эти многообразны, ибо многолики проявления самой социальной действительности наших дней — ведь борьба, противоречия между старым и новым, прогрессивным и реакционным достигли ныне невиданной прежде интенсивности. Грандиозные эпические полотна сосуществуют с романами подчеркнуто лирического плана, произведения остросюжетные, натянутые, как звенящая струна, и уживаются и борются с вещами, где «приключением» оказывается головокружительная сложность, разорванность, нецельность архитектоники.

«На смену традиционному «роману действия»,— пишет Э. Найс,— пришел новейший психологический роман и воспроизведение потоков сознания... Внешняя действительность не воспринимается и не передается в ее чувственной поверхностной форме и в ее тотальности, а расчленяется и передается по частям...» [25]

То, о чем Найс пишет,— одно из наиболее заметных явлений в современной зарубежной прозе. Это легко показать на творчестве Джойса и Беккета, Пруста и Бютора, Фолкнера и Хемингуэя, Апдайка и Беллоу, Бёля и Фриша, Грина и Голдинга, Кальвино и Пратолини, Амаду и Фуэнтеса, Абэ и Хикмета.

Как видим, признаки, на которые указывает Найс, приложимы к самым различным писателям — от вселенского пессимиста Беккета до коммуниста Хикмета. И ясно, что на основании одних этих признаков всех названных писателей без разбору немыслимо исключить из сферы реализма, как поступали и даже сегодня еще поступают некоторые сторонники крайностей.

«Психология (изображение характеров) и фабула (изображение действия),— пишет один из них, Вольфганг Роте,— отступают перед подоплеками и тайнами бытия — мифами души и космоса. Художник спускается к глубочайшим горизонтам «я» и, тем самым, к тому вневременному пласту, из которого выходят все исторические формы» [26].

Здесь явственно проглядывает желание ввести в с е литературное развитие XX ве-

---

[22] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 276.

[23] Там же, стр. 265.

[24] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 129.

[25] Edgar Neis. Struktur und Thematik der traditionellen und modernen Erzählkunst Paderborn, 1965, S. 8—9.

[26] Wolfgang Rothe. Schriftsteller und totalitäre Welt. Bern u. München, 1966, S. 209.

ка в некое нереалистическое русло. Критик интерпретирует это развитие как многозначительное движение вспять — назад к «архаической мудрости» мифа. И он усматривает тут стремление разорвать путы социального бытия, презреть — во имя «извечного», «нерушимого», «неподвижного» — всякую конкретную человеческую реальность. Но исходит Роте из тех же примерно признаков художественной формы, на которые обращает внимание и Найс. В первую очередь из факта, что литература сегодня углубляется во внутренний мир человека, что она и объективную, вне нас существующую действительность нередко подает в качестве нашего личного переживания. Только Роте «заостряет», так сказать, эти признаки. То, что для многих художников есть форма (хотя, разумеется, и весьма «существенная» форма) выражения окружающей их новой реальности, он выдает за сущность «нового искусства», которое само для себя — «действительность».

Но на деле искусство XX века в подавляющей массе своей вовсе не декадентское искусство — не больное и не солипсистское. Его вызвала к жизни сложнейшая диалектика общественного развития эпохи — эпохи революционного перехода от капитализма к социализму.

Конспектируя «Науку логики» Гегеля, Ленин сделал следующую запись:

«Не та ли мысль, что объективна и кажимость, ибо в ней есть *одна из сторон объективного* мира? Не только Wesen, но и Schein объективны. Различие субъективного от объективного есть. НО И ОНО ИМЕЕТ СВОИ ГРАНИЦЫ» [27].

Мысль эта была, очевидно, очень важна, ибо в том же конспекте Ленин возвращался к ней дважды:

«...т. е. несущественное, кажущееся, поверхностное чаще исчезает, не так «плотно» держится, не так «крепко сидит», как «сущность». Etwa: движение реки — пена сверху и глубокие течения внизу. *Но и пена* есть выражение сущности!» [28]

И, наконец:

«Кажимость (кажущееся) есть *отражение* сущности в себе (ней) самой» [29].

Человек в мире новейших капиталистических отношений чувствует себя, выражаясь словами Э. Фромма, «винтиком большой машины, автоматом». Более того, ему представляется, будто он — пленник созданных им, но затем взбунтовавшихся и злобно его подавивших вещей. Но не пребывает ли он скорее в плену мистификации, «кажимости»? Ведь вещи эти, конечно же, по-прежнему бездушны, мертвы, а вовсе не активны и не коварны. И говорить об их власти над человеком можно лишь в смысле фигуральном, символическом — то есть в том смысле, какой наделяет их сам человек.

Но «кажимость (кажущееся) есть отражение сущности...» В данном случае — феномена отчуждения и того факта, что «общественное бытие и общественное сознание не тождественны», что, «вступая в общение, люди во всех сколько-нибудь сложных общественных формациях — и особенно в капиталистической общественной формации — не сознают того, какие общественные отношения при этом складываются, по каким законам они развиваются...» [30]. Однако ни отчуждение, ни нетождественность эта не заложены в самих вещах, предметах реального мира; они проявляются лишь через диалектику взаимоотношений между человеком и социальной системой, человеком и человеком. И «сфотографировать» их нельзя; их можно только отразить с большей или меньшей степенью опосредствования. Отражение не обязательно внешне похоже; оно ведь зеркало в том же смысле, в каком творчество Толстого, да и сам Толстой — «зеркало русской революции...»

Многие формы современного реализма и являются отражением такого именно рода: они имеют дело с «кажимостью», с «Schein», поскольку, решая свою задачу, представляют нам мир, каким видит его некое индивидуальное сознание, и не могут иначе. Оттого сегодняшний автор столь охотно и часто передает слово герою, и это «я», сцепляя случившиеся с ним события, не столько придерживается естественной хронологии, сколько следует логике предпринятого им поиска — поиска причин и смысла происходящего и происшедшего.

Однажды Ленин разговаривал с Горьким об «эксцентризме» западного театра начала века. «Тут есть,— сказал он,— какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а — интересно!» [31]

Это чуть ли не единственное ленинское суждение о новом, своеобразном, специфическом искусстве XX века. Оно при жизни Ленина лишь начинало складываться, и, в частности, из того вида театра, о котором шла у него с Горьким речь, только десятью — пятнадцатью годами позже выкристаллизовался «эпический театр» Бертольта Брехта. Однако материалистическая диалектика Ленина не просто допускала возможность его появления, она уже в определенном смысле и предвидела его.

3

Итак, процесс отражения — это, по Ленину, никак не пассивное копирование действительности; и концепция реализма, на ленинских взглядах базирующаяся, весьма да-

[27] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 89—90. Wesen — сущность, Schein — кажущееся (*нем.*).

[28] Там же, стр. 116. (Etwa — примерно. *Нем.*).

[29] Там же, стр. 119.

[30] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 343.

[31] «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М., 1967, стр. 644.

лека от унылой натуралистической описательности. Но отчего же тогда Эрнст Фишер в рецензии на книгу Роже Гароди «Реализм без берегов» так настаивает на «всестороннем размежевании с «теорией отражения»? [32] Что человеку, именующему себя марксистом, могло до такой степени не понравиться в ленинской теории, что даже самое ее название он поставил в кавычки?

Пожалуй, ответ на эти вопросы лучше всего поискать в книге, которую Фишер рецензировал и которая вызвала с его стороны почти безоговорочное одобрение. О «Реализме без берегов» и вообще о ложных и путаных эстетических взглядах Роже Гароди у нас уже немало писалось. Читатели, вероятно, помнят, что современное искусство для Гароди — результат «революции коперниковского масштаба, после которой мир стал вращаться вокруг человека». Это — искусство насквозь субъективное, мифотворческое, искусство, сущность которого состоит в том, «что создание «модели», начиная с описания совокупности человеческих отношений, является лишь п р и з н а к о м или ш и ф р о м р е а л ь н о с т и, выходящей за пределы всех объяснений...» (Разрядка моя.— *Д. З.*)

Вот тут и остановимся.

«Бесспорно,— писал Ленин,— что изображение никогда не может всецело сравняться с моделью, но одно дело изображение, другое дело символ, у с л о в н ы й з н а к. Изображение необходимо и неизбежно предполагает объективную реальность того, что «отображается». «Условный знак», символ, иероглиф суть понятия, вносящие совершенно ненужный элемент агностицизма» [33]. И Ленин критиковал выдающегося физика и физиолога Г. Л. Ф. Гельмгольца, который сказал: «...Я обозначил ощущения как *символы* внешних явлений и я отверг за ними всякую аналогию с вещами, которые они представляют» [34].

Но в определенном смысле ленинская критика Гельмгольцевой «теории символов» касается некоторых модернистов от искусства даже более, чем заблудившихся в трех философских соснах естествоиспытателей. Ведь Гельмгольц признавал, по крайней мере, верность человеческих представлений, «в смысле *практической* истины» [35]. И не мог иначе, когда изучал природу. И философские заблуждения не очень мешали ему ее изучать.

У искусства отношения с природой несколько иные. «Искусство,— выписывает Ленин из «Лекций о сущности религии» Фейербаха,— не требует признания его произведений за *действительность*» [36]. Это предполагает известную свободу обращения искусства с природой. Искусство, так сказать, «подражает» ей, тем самым ее о т р а ж а я. Но подобная свобода сопряжена и с неким риском, с опасностью утраты ориентиров, даже с постоянным искушением их от себя «отчуждать»...

Естествоиспытатель ставит эксперимент, результаты которого не зависят от его верных или ложных суждений об исследуемом явлении. Он способен даже «надстроить» над экспериментом фальшивую теорию. Но и в этом случае не волен изменить объективную данность опыта.

«Эксперимент» художника — его произведение. У художника нет иной возможности проверить себя на практике, кроме как сочинив его. Но сочиняя, он создает и «теорию». Она — не чужеродна, она внутри практики. Существовать друг от друга независимо они не могут.

Поэтому знак, иероглиф у естествоиспытателя и у художника — вещи разные. Художник вправе широко пользоваться символикой. Но вправе лишь до тех пор, пока она для него — с р е д с т в о осознания мира и его воссоздания.

Ведь создает художник не непосредственное бытие и не зеркально-мертвое, а живое, движущееся, эмоционально окрашенное и насыщенное ч е л о в е ч е с к и м с м ы с л о м отражение действительности. Символика — одна из ф о р м воплощения этого человеческого смысла, смысла, которого природа не знает и который ей, как таковой, совершенно чужд.

Такая символика — условность. И как всякая осознанная условность она и не требует, чтобы ее принимали за действительность. Не ждет, например, чтобы в ее «очеловечивании» природы видели реальность самой природы. Или чтобы «очеловечивание» это рассматривали как неспособность наших ощущений проникать в законы объективной, вне нас существующей жизни. Предполагает она лишь одно: наличие с п е ц и ф и к и и с к у с с т в а, вне круга которой искусство просто немыслимо.

Стоит, однако, художнику взять символ в том же смысле, в каком берет его естествоиспытатель Гельмгольц — то есть в качестве формулы нашей «гносеологической импотенции»,— и он тотчас же оказывается (с точки зрения своего миропонимания) далеко позади этого, да и всякого другого, естествоиспытателя.

«Имажистский поэтический метод,— говорит, например, Стивен Спендер,— проистекает из воздействия внешнего мира на внутреннюю чувствительность. Индивидуальное сознание является центром, на который влияет окружение. Современные экономические условия, политика и т. д. здесь равнозначны диссонансам в музыке, кричащим краскам, искаженным формам или отсутствию формы. Это... образует «климат» или «атмосферу» — моральную, интеллектуальную, эстетическую,— которая является комплексным результатом материальных или социальных обстоятельств, увиденных внутренним оком, точно так же, как физическое око видит цвета солнечного заката, представляющие собой результат поглощения воздухом пыли» [37].

[32] Ernst Fischer. Realismus ohne Ufer. "Weg und Ziel" 1963. N 11. S. 136.

[33] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 248.

[34] Там же, стр. 245.

[35] Там же.

[36] Там же, т. 29, стр. 53.

[37] Stephen Spender. The Struggle of Modern. London, 1963, p. 117.

Спендер, как и Гельмгольц, не отрицает объективности внешнего мира. Однако он (опять-таки как Гельмгольц) не уверен, что наши представления о мире миру этому соответствуют. Коль скоро «цвета солнечного заката» — не нечто реально существующее, а лишь трансформированный нашим глазом «результат поглощения воздухом пыли», то где вообще гарантия, что мы хоть что-нибудь на свете видим «правильно»? И почему, если гарантии такой нет, искусству не стать чем-то вроде «трансформирующего глаза» человечества? Почему бы ему не заменить отражение действительности существующей творением своей собственной, суверенной действительности?

И окружив себя иероглифами, знаками, «шифрами реальности», художник, который пойдет за Спендером и другими враждебными реализму теоретиками, лишается какой бы то ни было возможности проверить себя на практике. Ибо обречен «экспериментировать» только с этим материалом. А материал этот отторгает его от действительности, застит ему мир. Более того, его образы столь химерны, столь самопроизвольны и абстрактны, что из капризных субъективных «обозначений» чего-то неизбежно превращаются в зловещих, пугающе-определенных «посланцев» хаоса, всадников Апокалипсиса. Так возникает декадентский, больной, лихорадочно-фантастический миф — например, миф Сэмюэля Беккета. Он уже не продукт отражения. Или, в лучшем случае, такой продукт лишь в смысле чисто гносеологическом (как «...обрывок, обломок, кусочек... кривой линии», превращенной «...в самостоятельную, целую, прямую линию, которая... ведет тогда в болото, в поповщину...»). И дело здесь отнюдь не в форме изображения мира, даже не в стилистической манере его видения, а в принципиальном к нему отношении как к неизбывному хаосу, судорожно мчащейся неподвижности, абсурдной, даже трагикомичной бесцельности. Одним словом, дело в том, что нам вместо действительности преподносят миф о ней, искаженный и искажающий.

Именно мифотворчество — мифотворчество всякое — Гароди объявляет наиболее репрезентативной, многообещающей ветвью современного искусства. И тут ему (как и Эрнсту Фишеру) уже не по пути с Лениным, ленинизмом. Они (подобно развенчанным Лениным шесть десятилетий назад «эмпириокритикам») преподносят «под видом марксизма нечто невероятно сбивчивое, путаное и реакционное».

Взять хотя бы книгу Фишера «Искусство и сосуществование» (1966).

«...В качестве п о з н а н и я д е й с т в и т е л ь н о с т и,— читаем в этой книге,— поэзия, музыка, изобразительное искусство происходят не из сферы идеологии»[38]. Так для искусства завоевывается «свобода» от общества, от классов, даже (хоть и со многими оговорками) от истории. «Творчество испанца Пикассо...— говорит Фишер в одном месте,— возвещает великую и н т е г р а ц и ю, некую из взаимодействия всех классов, наций и систем формирующуюся «всеобщность»[39]; а в другом уточняет: «...то, что воздействует на художника,— это всегда т о т а л ь н о с т ь эпохи»[40]. И даже не эпохи, а «тотальность» вообще: «...Гамлет? Чем захватывает он нас? Как зеркало елизаветинской эпохи? Как представитель какой идеологии?.. Нет сомнения, что Ренессанс, Реформация, торговый капитал, ставший скептическим гуманизм и многое другое являлись п р е д п о с ы л к а м и этого и н т е л л и г е н т а, среди власти и убийства, сладострастия и насилия, мести и измены. Но сегодня? Его воздействие не ослабело, его актуальность не поблекла — но какое нам, как зрителям, дело до елизаветинских времен? Их надстройка? Их идеология? Гамлет — это н а ш Гамлет, его образ, его «Condition humaine»[41] взрывают исторически обусловленные «теперь» и «здесь».

А чью идеологическую надстройку являет собою противоречивое творчество Пикассо? Может быть, «декадентской буржуазии»? Или «колеблющегося мещанства»? Или современного рабочего класса? В с е стороны находят свое выражение во всем творчестве Пикассо»[42].

На первый взгляд такие мысли могут показаться почти бесспорными: Гамлет (скажем, в исполнении Смоктуновского) — это и правда «наш Гамлет», а вульгарно-социологическое «привязывание» художника способно сегодня вызвать лишь раздражение или улыбку. Но Фишер, по сути, играет на чувствах читателя (на любви к Гамлету и на нелюбви к вульгарной социологии), играет, чтобы как-то ослабить бездоказательность абсолютной внеисторичности Шекспира и полной надклассовости Пикассо.

Отношения искусства с действительностью сложны и непрямолинейны. Лишь догматики и вульгаризаторы не желают этого понимать. Но Фишер ведь не борется с вульгаризаторами; он ратует за беспартийность искусства.

Это особенно бросается в глаза, когда он обращается к проблеме декаданса. Нет, как таковой, декаданс Фишер не отрицает. Даже вполне охотно признает его существование в эпоху... кризисной античности. Но чем ближе к современности, тем либеральнее становится его отношение к упадочным явлениям искусства. А в условиях тотального отчуждения и самоотчуждения человека (оно присуще, по мнению Фишера, всем «индустриальным цивилизациям» вне зависимости от их конкретной социальной системы) естественной позицией художника

[38] Ernst Fischer. Kunst und Koexistenz. Reinbek bei Hamburg. 1966. S. 58.

[39] Ernst Fischer. Kunst und Koexistenz, S. 60.

[40] Там же, стр. 60—61.

[41] Condition humaine (*франц.*) — условия человеческого существования; возможно, что слова эти употреблены тут не без намека на одноименный роман Андре Мальро.

[42] Ernst Fischer. Kunst und Koexistenz, S. 60-61.

Д. ЗАТОНСКИЙ

ЗЕРКАЛА ИСКУССТВА

становится, мол, позиция «аутсайдера», позиция всеотрицателя и бескомпромиссного критика общества. И эта позиция, в свою очередь, как бы наперед оправдывает любой излом и искажение представляемой художником картины действительности.

«Если абсурдное,— пишет Фишер,— с такой настойчивостью утверждает себя в искусстве нашего столетия, это значит, что мир сорвался с петель и всякий смысл стал сомнительным» [43].

Так декаданс превращается в «безбрежный реализм» эпохи; более того, в единственную адекватную ей форму реализма.

Воистину Фишеру никак не обойтись без «всестороннего размежевания» с ленинизмом, потому что эстетика ленинизма его на каждом шагу опровергает.

По Фишеру, например, современный художник не может не стать принципиальным разрушителем и всеотрицателем. А вот что говорит Ленин касательно роли отрицания в диалектике:

«Не голое отрицание, не зряшное отрицание, *не скептическое* отрицание, колебание, сомнение характерно и существенно в диалектике,— которая, несомненно, содержит в себе элемент отрицания и притом как важнейший свой элемент,— нет, а отрицание, как момент связи, как момент развития, с удержанием положительного, т. е. без всяких колебаний, без всякой эклектики» [44].

Фишер лет пять-шесть тому назад выступал в качестве критика догматических взглядов в литературоведении, выступал на защиту тех новых форм реализма, которые иногда произвольно и без разбора записывали в декаданс. В то время он еще умел отделять Брехта от Беккета, Томаса Манна от Пруста или Джойса. И он (на страницах журнала «Зинн унд форм», органа Немецкой Академии искусств) резко полемизировал с экзистенциалистом Блеккером, выдававшим и Брехта, и Манна, и Маяковского за модернистских мифотворцев [45].

Ныне Фишер «реабилитировал» Беккета. И от себя еще записал в «мифотворцы» Бальзака, не говоря уже о Германе Мелвилле (которого, кстати, ранее защищал от посягательств Блеккера).

Объективно Фишер стал единомышленником Блеккера.

Ленинская эстетика противостоит и поползновениям иного, казалось бы, рода,— скажем, желанию подкопаться под реализм с чуть ли не «догматической» стороны.

Желанием таким проникнута, например, книга Люсьена Гольдмана «За социологию романа» (1964). В ее главе «Новый роман» и действительность» отстаивается мысль, что Ален Робб-Грийе и Натали Саррот — наиболее последовательные реалисты в современной Франции. Сама по себе мысль эта как будто не слишком оригинальна: «реализм без берегов» придумал еще Гароди. Но для Гароди Кафка — реалист именно потому, что он — мифотворец и «...видит и строит мир в образах и символах, воспринимает и показывает соответствия между вещами, соединяет в одно неразрывное целое опыт, мечту, вымысел, даже магию и в этом сверхвпечатлении, в этом наложении смыслов воскрешает для каждого из нас облик обыденных вещей...»

Гольдман же подходит к делу совсем по-другому, почти традиционалистски. С его точки зрения, реализм — это «...создание мира, структура которого аналогична фундаментальной структуре социальной действительности...» [46].

По причине некоторой своей прямолинейности гольдмановское определение выглядит слегка «старомодным». Но оно, во всяком случае, куда более «добротно», нежели туманно-сомнительные формулировки Гароди. Неясно, правда, как же подогнать под социологическое это определение Робб-Грийе или Саррот с их книгами — такими чуждыми проблемам общественного бытия?..

Впрочем, послушаем самого Гольдмана. Он делит буржуазную формацию на три исторических этапа: «либеральный» капитализм, империализм и государственно-монополистический капитализм. И каждому из них соответствует определенная ситуация индивида. Во времена свободной конкуренции личность еще что-то значила. Империализм ее подавил, приковал к экономическим формам. А новейшее общественное состояние лишило ее не только суверенитета, а и просто человеческой реальности.

Трем этапам социального развития соответствуют три стадии в эволюции романа. Первая тянулась от Сервантеса и до Достоевского. Вторая представлена именами Джойса, Кафки, Музиля. А третья — это Робб-Грийе. Собственно, он один, поскольку и Сартр, и Камю, и даже Саррот явились с некоторым опозданием, ибо, в сущности, место их в группе Кафки.

«Робб-Грийе,— поясняет это Гольдман,— выражает ту же реальность современного общества, но в форме совершенно новой. И у него исчезновение индивида — факт самоочевиднейший, однако он констатирует, что персонаж сей уже замещен иной автономной реальностью (которая не интересует Натали Саррот): вселенной, наполненной объектами» [47].

И Гольдман выводит своего Робб-Грийе из... Маркса:

«...Мне представляется знаменательным,— пишет он,— что в 1867 и даже в 1859 году, когда никто еще не задумывался над литературными проблемами, которые волнуют ныне Натали Саррот и Робб-Грийе, Карл Маркс, исследуя важнейшие изменения, происшедшие в структуре социальной жизни благодаря развитию экономики, рассматривал эти изменения именно в аспекте пары: «индивидуум» — «инертный объект» и подчеркнул, что коэффициент реальности,

[43] Ernst Fischer. Kunst und Koexistenz, S. 131.
[44] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 207.
[45] Ernst Fischer. Die Mistifikation der Wirklichkeit. "Sinn und Form", 1958, Hf. 1.
[46] Lucien Goldmann. Pour une sociologie du roman. Paris, 1964, p. 211.
[47] Там же, стр. 197.

автономия и активность во все прогрессирующей степени перемещаются с первого на второй. Это и есть знаменитая Марксова теория товарного фетишизма...»[48]

Гольдман, мягко говоря, произвольно толкует Маркса. И как раз то, что у Маркса речь шла о фетишизме, свидетельствует против Гольдмана. Создать себе фетиш — значит наделить предмет или явление смыслом и властью, им в действительности не присущими; чаще всего — мистического характера. Спору нет, эта аберрация индивидуального зрения может выглядеть вполне «реальной», даже ничуть не менее мучительной и тираничной, чем всякая другая реальность (в этом смысле Ленин и говорил, что «не только Wesen, но и Schein объективны...»). Личности, скажем, подавляемой денежными отношениями, совершенно безразлично, создала ли она их сама или они, произвольно возникнув, нахлынули на нее извне. Все равно она управлять ими не способна, и они опустошают, обесчеловечивают ее. В этом-то и состоит «дьявольская» искажающая сила отчуждения: фантомы становятся почти «материальными». А все-таки они — фантомы и никак не реальная ситуация пресловутой пары: «индивидуум» — «инертный объект».

«...Нелепо понимать эту чисто вещную связь,— писал Маркс,— как естественную неотделимую от природы индивидуальности (в противоположность рефлектированному познанию и воле) и имманентную ей. Эта связь — ее продукт. Она — исторический продукт. Она принадлежит определенной фазе ее развития. Отчужденность и самостоятельность, в которой эта связь еще существует по отношению к личностям, доказывает лишь то, что они еще находятся в процессе создания условий своей социальной жизни, а не начали этой жизни на основе этих условий»[49].

Ту же в сущности мысль (хоть и записанную по другому поводу) находим в «Философских тетрадях» Ленина:

«Деятельность человека, составившего себе объективную картину мира, изменяет внешнюю действительность, уничтожает ее определенность (= меняет те или иные ее стороны, качества) и таким образом отнимает у нее черты кажимости, внешности и ничтожности, делает ее само-в-себе и само-для-себя сущей (= объективно истинной)»[50].

Ленин, таким образом, не пренебрегает отчуждением (в качестве побочного явления материального прогресса): «деятельность человека» не только «изменяет внешнюю действительность», но и «уничтожает ее определенность». Однако Ленин одновременно настаивает на том, что результат этой деятельности в целом — более глубокое проникновение к тайнам сущего. Следовательно, возрастает человеческая способность управлять действительностью, а значит, и человеческая активность.

С этим никак не согласуешь «исчезновение индивида», каким его рисует Робб-Грийе и одобряет Гольдман.

Гольдман абсолютизирует буржуазные отношения, которые вовсе не так уж абсолютны, даже внутри самой буржуазной системы.

Но и все эти пороки гольдмановской логики не сделали бы из Робб-Грийе «реалиста», если б не еще одно обстоятельство. Похоже, что Гольдману кажется, будто со времен Бальзака качественно ничего не изменилось. По-прежнему, дескать, видимость социальной структуры капитализма отвечает ее сущности, и мир этот все еще следует «макетировать», повторяя контуры его осязаемых, прочных поверхностей. Только так можно объяснить себе, почему социолог Гольдман делает ставку на асоциального Робб-Грийе, у которого беспорядочно нагроможденные предметы ничем не характеризуются, кроме того, «что можно назвать их способностью быть «тут», и для которого нет большего врага, чем Бальзак.

Даже сам Робб-Грийе понимает, что вещь, не имеющая ни смысла, ни предназначения, волей-неволей становится вещью абсурдной, и есть в этом «для писателя определенный риск: вместе с подозрением в абсурдности возвращается метафизическая опасность. Бессмысленность, беспричинность, пустота непреодолимо притягивают к себе потустороннее и сверхреальное»[51].

Таков вообще механизм возникновения иррационального «этажа» над всяким крайним натурализмом. Если искусству нечего отражать или оно ничего отражать не хочет (что в общем одно и то же), так оно волей-неволей начинает выдумывать само себя.

■

Целью статьи было коснуться некоторых существеннейших проблем современного искусства, которые не решаются (да и не могут быть решены) вне ленинской теории отражения. Круг этих проблем, естественно, здесь не исчерпан.

Мир меняется, возникают новые аспекты познания, завязываются новые узлы идеологических споров; в связи с этим открываются новые точки приложения ленинской философии, ленинской эстетики. Но одно неизменно: философия эта и эта эстетика расширяют наши горизонты и помогают нам выигрывать споры.

[48] Lucien Goldmann. Pour une sociologie du roman. p. 189.

[49] К. Маркс Экономические рукописи 1857—1858 гг. «Архив Маркса и Энгельса», т. IV, стр. 97.

[50] В. И. Ленин Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 199.

[51] Alain Robbe-Grillet. Pour un nouveau roman. Paris, 1963, p. 144.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

РОБЕРТО ОБРЕГОН МОРАЛЕС

ЧЕЛОВЕК ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

Статья Роберто Обрегона Моралеса — слово поэта о поэтах. Слово молодого поэта, которому еще не исполнилось тридцати лет, о поэтах-современниках, принадлежащих старшим поколениям, и о тех, кто творил многие годы назад, уже признанных классиках. Слово гватемальского поэта о поэзии соседней с его родиной страны — Мексики. Уже по всему этому статья Обрегона Моралеса не может не привлечь внимания, но, разумеется, ценность ее заключается не только в этом.

Автор статьи, получив педагогическое и юридическое образование, учительствовал среди индейцев у себя на родине, потом приехал в Советский Союз, где окончил философский факультет Московского Государственного университета, и недавно возвратился в Латинскую Америку.

Роберто рано начал писать стихи, юного стихотворца вскоре заметила критика, и его произведения вошли в «Антологию гватемальской поэзии», затем последовали поэтические сборники — «Стихи начала жизни» (1961), «Прорицатель» (1964). Однако можно с полным правом сказать, что поэтической зрелости он достиг здесь, у нас, оставаясь по-прежнему очень самобытным, национальным поэтом-патриотом, в творчестве которого явно сказывается его индейское происхождение. Читатели «Иностранной литературы», очевидно, помнят циклы лирических стихов Роберто Обрегона Моралеса, опубликованные на страницах нашего журнала, представившего поэта русскому читателю. Позднее в Советском Союзе вышли в переводе П. Грушко его два поэтических сборника («Стихи из глины» — в издательстве «Молодая гвардия», в 1967 году, и «Кодексы» — в издательстве «Прогресс», год спустя).

В статье, написанной для «Иностранной литературы», Роберто Обрегон Моралес рассматривает — очень по-своему — творчество пяти виднейших поэтов, труд каждого из которых явился в известном смысле ступенью в развитии мексиканской поэзии нынешнего века. Их имена выбраны автором не случайно — они вполне заслуживают этого, хотя, понятно, можно было бы назвать имена и некоторых других поэтов, внесших значительный вклад в национальную литературу Мексики.

Проникнутые горячей любовью к родине, строки Рамона Лопеса Веларде, этого выдающегося «певца мексиканской души», утверждали национальное сознание мексиканца в бурное для его отечества время, время революционных битв против врагов нации и их пособников. Великий бард Энрике Гонсалес Мартинес, чуть ли не всю свою долгую жизнь посвятивший «чистой поэзии» — хотя и отмечались в ней те же мотивы, что были свойственны Лопесу Веларде,— уже на склоне лет поднялся вместе со всеми демократическими силами на борьбу против угрозы империалистической войны; ему, восьмидесятилетнему академику, избранному президентом Мексиканского национального комитета сторонников мира и председателем Американского континентального конгресса в защиту мира, большому другу нашей страны, принадлежат незабываемые, мудрые строки о дружбе между народами:

Зачем говоришь «Запад» и «Восток»?
Зачем рассекаешь человеческую надежду,
если из одного родника рождается море?

Своим долгом гражданина и поэта считает выступления против империализма, угрожающего и мексиканскому народу, Карлос Пельисер, полувековой литературный юбилей которого только что отмечен в Мексике,— нельзя не вспомнить, как он, поэт-католик, лично распространял на улицах мексиканской столицы «открытое письмо» послу США в Мексике с гневным протестом против политики агрессии и разбоя Соединенных Штатов. Ныне он — президент Латиноамериканского сообщества писателей.

Справедливо выделяет автор статьи творчество Октавио Паса — очень интересного и очень сложного поэта, поэта глубокой философской мысли, ныне, после демонстративного ухода с поста посла Мексики в Индии, встающего в первые ряды прогрессивной поэзии не только Мексики, но и всей Латинской Америки. Автор статьи говорит и о более молодых, но характерных своим особым звучанием поэтических голосах Росарио Кастельянос и Хаиме Сабинеса.

Роберто Обрегон Моралес вводит нас в богатый, красочный и своеобразный мир поэзии Мексики.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

Поэзия Латинской Америки — один из самых интересных феноменов духовной жизни нашего времени. Как самостоятельное явление, она начала определяться в ту пору, когда культура и литература континента преодолели свою зависимость от Испании, то есть лет через пятьдесят после того, как испанские колонии завоевали политическую независимость. О ее возникновении по-настоящему возвестила «Лазурь» Рубена Дарио, книга поистине новаторская.

Латиноамериканскую поэзию можно рассматривать как единое целое. Во-первых, потому, что она создается на испанском языке (только бразильская — на португальском и гаитянская — на французском). Во-вторых, потому, что смешение рас является определяющим процессом для всего континента, хотя в различных его районах преобладают те или иные этнические группы. И, в-третьих, потому, что разные страны Латинской Америки выдвинули поэтов, которых можно сравнить с маяками. Вобрав в свое творчество и преобразовав достижения мировой культуры, эти поэты освещают путь латиноамериканской культурной жизни в целом. Таковы Рубен Дарио (Никарагуа), Хосе Марти (Куба), Энрике Гонсалес Мартинес и Октавио Пас (Мексика), Висенте Уидобро и Пабло Неруда (Чили), Сесар Вальехо (Перу). То же самое происходит в прозе, в живописи, скульптуре и музыке.

Литература Латинской Америки представляет собою сумму национальных литератур, различия между которыми проявляются более в содержании, чем в художественной специфике. Роль национальных писателей определяется степенью их участия в культурном и социальном формировании нации, их стремлением воссоздать атмосферу и поднять социальные проблемы, общие для их соотечественников.

Рассматривая литературный процесс под этим углом зрения, мы увидим, что, пожалуй, только в одной стране литература на протяжении долгих лет сохраняет общие черты, создает сходные ценности и развивается, можно сказать, в одном русле. Этого нельзя сказать о других странах, где каждый художник идет своим путем и часто — в том направлении, которое определяется прежде всего его собственной индивидуальностью. Первое характерно для мексиканской литературы. Второе относится к литературам почти всех остальных стран Латинской Америки и прежде всего к тем, которые дали больших поэтов — например к чилийской.

Особый случай представляет собой Перу, где поэты идут себе и идут, а когда задумываются, то понимают, что все еще не вышли за пределы, очерченные громадной тенью Вальехо.

В странах Центральной Америки, в частности в Гватемале, поэты вначале всегда черпают из общего источника — древней гватемальской культуры, иначе говоря, культуры майя. Но, сделав несколько шагов, они в большинстве своем изменяют прошлому и, увлекаясь течениями, чуждыми их собственной природе, теряют перспективу. Один лишь Мигель Анхель Астуриас, поэт и прозаик, лауреат Ленинской премии мира и Нобелевской премии, сумел по-настоящему разрешить эту проблему.

Сделав эти предварительные замечания, я попытаюсь охарактеризовать мексиканскую поэзию как единственное в своем роде целостное явление.

В Мексике поколения поэтов сменяют друг друга, с отчетливой закономерностью развиваясь в постоянных направлениях. И, как это бывает всегда, творческая индивидуальность одного-двух выдающихся поэтов накладывает отпечаток на то поколение, к которому они принадлежат, или проецируется на последующее. Этот момент и составит отправной пункт нашего критического экскурса.

Описать такую преемственность — означает раскрыть глубинную связь, разглядеть социальный смысл движения сменяющих друг друга поэтических поколений, представленных наиболее выдающимися фигурами.

■

Утверждение, что латиноамериканский модернизм кончился со смертью Рубена Дарио (1916),— неполная правда. В действительно-

РОБЕРТО ОБРЕГОН МОРАЛЕС
ЧЕЛОВЕК ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

ЭНРИКЕ ГОНСАЛЕС МАРТИНЕС (1871—1952)

Постигнуть суть вещей, их глубину... [1]

Постигнуть суть вещей, их глубину:
не суетясь, пытливым светом ока
все в мире оценить — лазурь потока,
пунцовость роз и снега белизну.

Пусть все в тебе глубокие следы
оставит — меты тайные без счета:
и однозвучный говор водомета,
и грустное мигание звезды.

Эоловою арфой громко пой,
достигнув одиноких горных склонов,—
пусть ветер гневный, твои струны тронув,
даль огласит и болью, и мольбой.

Не дай себя связать слепой тщете
в людском загоне, где царит смятенье,
но дай душе тончайшее уменье
в безмолвье слышать, видеть в темноте.

Так полюби себя, соотнеся
небесный свет в душе с кромешным адом,
чтобы, в себе самом блуждая взглядом,
увидеть в этом мире все и вся.

И на туманный берег не спеша
ступить с твоею крохотной вселенной,
свой стих услышать — голос сокровенный,
в котором жизни теплится душа.

сти, для того чтобы литературная школа сдала свои позиции на всех фронтах, на ее месте должна возникнуть если не новая школа, то во всяком случае иная концепция поэзии и новая ее направленность.

Любопытно, что уже в последних стихотворениях Рубена Дарио звучит нота рефлексии, которая станет затем основным тоном поэзии, омрачившей и затмившей блеск латиноамериканского модернизма.

В Мексике эта новая поэзия заявила о себе стихами Энрике Гонсалеса Мартинеса.

Гонсалес Мартинес родился в Гвадалахаре, столице штата Халиско. Сын школьного учителя и простой, душевно чистой женщины, обладавшей сильным характером, он нашел в своем доме благоприятную атмосферу для осуществления творческого призвания. Мексиканская провинция, где прошло его детство, оказала большое влияние на его творчество: уединение и тишина сделали его задумчивым юношей, а впоследствии поэтом, устремляющим мысленный взор в непроницаемую даль. Он стал врачом, и эта профессия никогда не вступала в противоречие с его литературной деятельностью. Впоследствии он был также дипломатом. Печататься начал всерьез в 1914 году и с самого начала привлек к себе восхищенное внимание и нашел последователей. Хотя перед лицом политических проблем, волновавших его родину, он не раз оставался безучастным (что, возможно, объяснялось его семейным воспитанием, безмятежно спокойной домашней обстановкой), начиная с двадцатых годов он выступает в Испании и в Америке против теорий немецких расистов и империалистических посягательств, предвидя, какой катастрофой для человечества обернется нацизм. Одна из его последних поэм, «Вавилон», посвящена проблемам нашего времени: в ней поэт возвышает свой голос против войны, за всемирное братство, за мир и благо всех народов. Его поэзия развивалась целеустремленно и последовательно. Я постараюсь раскрыть самое существенное в его творчестве.

Душа человека изобилует богатствами; модернисты, воспевавшие внешнюю красоту природы, оставляли их в тени; Дарио угадал эти глубины духовной красоты лишь в стихотворении «Так суждено».

В новой поэзии внутренний мир человека, поэта, выходит на первый план. Создание поэтического произведения становится процессом духовного сосредоточения, движением извне вовнутрь и изнутри — к миру. Поэтому-то Гонсалес Мартинес советует: «Избегай всего, что заглушают и затемняют / человеческие толпы, внизу, в загонах, / и настраивай свою душу, пока она сможет / слушать молчание и видеть темноту».

Однако речь здесь идет отнюдь не о пренебрежении к объективной действительности, к окружающему миру и не о противопоставлении жизни внешней и нашего сознания. Нет. Природа, предметный мир могут многое сказать нам на своем языке вещественных, конкретных отношений. Однако, пройдя через наше восприятие, они обогащаются, обретают новую широту. Гонсалес Мартинес осмысляет предметный мир, воспринимаемый нашими чувствами, переплавляя его в сгущенную поэтическую речь и придавая ему движение, повинующееся аполлонову взору поэтического сознания, которое в конечном счете наделяет человека высшим пониманием сущего: «Просвистела стрела и вонзилась в тайные / глубины тела; / однако стон был глубже раны. / Хрустальная струя блеснула яркой нитью света в пещере темной... / Голос песни стал чище. / В бесконечной сети горизонтов / жизнь устремилась вперед скачками, / пересекая пропасти и одолевая горы. / Порыв мечты взлетал все выше».

Все внимание поэзии Гонсалеса Мартинеса отдано человеку. И в период формирования национального самосознания (начало XX века), когда наша литература лишь подражала европейским манерам и латиноамериканец развлекался воспроизведением чужих идей, задачей этой поэзии внутреннего сосредоточения было открытие и, что важней всего, утверждение индивидуального

[1] Стихи, которыми мы сопровождаем статью Роберто Обрегона Моралеса, даны в переводах П. Грушко.

характера, самобытности нового человека Латинской Америки. И хотя на первый взгляд может показаться, что эта поэзия чрезмерно углубилась в сферу субъективного, она сыграла положительную роль. Гонсалес Мартинес имеет для нас — при всем различии масштабов — примерно то же значение, какое в античности имел Протагор для греческого общества рабовладельческой демократии. Мнение современной гносеологии о Протагоре известно — его представляют только как релятивиста. Однако в его время сказать, что «человек есть мера всех вещей», означало высвободить греческого гражданина из тенет мифологии и, следовательно, занять позицию революционную и гуманную. Гонсалес Мартинес отворачивается от всех чуждых течений, от тех культурных ценностей и литературных направлений, которые, будучи неспособными воплотить душу латиноамериканца, пытались выразить ее существо, искажая ее и в конечном счете оставляя ей лишь грустную роль — служить предлогом для чисто эстетических исканий. Поэтический голос Гонсалеса Мартинеса начинает звучать в период, когда мексиканская революция 10-х годов, взволновав народ политическими лозунгами, распространившимися на огромной территории, вдруг заставила мексиканца понять, что он — гражданин Мексики и обладает своей самобытной душой и национальными традициями.

Поэзия Гонсалеса Мартинеса — это самосознание латиноамериканца, который начинает искать себя, вопрошать себя самого. Это поэзия освобождения, восстановления цельности человека. Ясность и простота его стиха напоминают порой испанских романтиков. Его духовная высота, спокойное течение мыслей, облеченных в кристально четкие формы, позволяют сравнить его строфы, состоящие из безупречно зарифмованных стихов, с концентрическими кругами — порождениями поэтической души, которая пытается изменить мир, ее окружающий.

■

Поэзия Энрике Гонсалеса Мартинеса — это один из тех источников, к которым припадают современные мексиканские поэты.

Но, говоря об источниках современной мексиканской поэзии, нельзя не остановиться и на Рамоне Лопесе Веларде (1888—1921).

Рамон Лопес Веларде — человек из провинции. Всю жизнь он оставался внутренне связан с нею; в его величии есть нечто от детской наивности — его детство прошло в спокойной и простой деревенской обстановке. Деревня в его творчестве приобретает характер символа; она является источником его первых опытов, аккумулирует жизненные впечатления, претворившиеся впоследствии в поэтические созвучия. Лопес Веларде был по профессии адвокат. Изучение права оставило глубокий след в его манере писать — лаконичной, сжатой, точной — и в самом его мышлении, гибком и проникновенном. Он написал очень мало. Он стоял вда-

РАМОН ЛОПЕС ВЕЛАРДЕ (1888—1921)

Нежная отчизна

(Отрывки)

Пролог

Я, распевавший, словно сладкий кенар,
о самом сокровенном,— сделал шаг
и, в круг вступая, голос свой напряг,
точь-в-точь как подражает басу тенор,
чтоб низкою руладой горловой
хоть ноту вставить в славный подвиг твой.

Я поплыву в народный океан,
гребя веслом с той легкою сноровкой,
с которой загребал своей винтовкой,
плывя через Ла-Манш, гонец-шуан.

Скажу, волнуясь и чуть-чуть несвязно:
Отчизна, ты безгрешна и алмазна.

Любимая Отчизна, разреши
облечь тебя в напев лесной глуши,
где ты меня тесала с колыбели
под мерный вызвон топоров в лесах,
под смех и клики девушек и птах —
клювастых птах из плотницкой артели.

Первый акт

Здесь каждая минута над столицей
парит в ландо глазастою девицей.
А в селах, где павлиньей вереницей
вышагивают голуби чуть свет,
ленивый бой часов — как звон монет.

Страна, твои истерзанные дали
в стеклярусе и в платьях из перкали.

Отчизна, дом твой так велик доныне,
что поезд, вдаль спешащий по равнине,—
игрушка пестрая на рождество.
А в несусветной толчее перронов
твой взгляд метиски, робко сердце тронув,
в просторы синие влечет его.

. . . . . .

А свадебное небо с канонадой,
пьянящей нас неистовой усладой!
Гром наших туч, тревожащий просторы,
с ума сводящий нас и наши горы...
Ты ливень на поля бросаешь, словно
с господних просек скатываешь бревна...

РОБЕРТО ОВРЕГОН МОРАЛЕС

ЧЕЛОВЕК ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

ли от литературных групп, был поэтом одиноким и обособленным (полная противоположность Гонсалесу Мартинесу, хотя последний и возводил в культ тишину и одиночество)

Лопеса Веларде часто называют поэтом «адамова типа». И действительно, он рождается как поэт, давая новые имена вещам и чувствам. Подобно Адаму, Лопес Веларде видит перед собой природу, еще неназванную. И названия, которые он дает вещам,— первые. В поэзии Рамона Лопеса Веларде все сверкает, будто сейчас лишь созданное.

Критики обычно видят в нем двух поэтов: один — поэт провинциальной темы, другой — поэт герметический, исследователь своей души и своих чувств. Но в действительности есть только один поэт — Рамон Лопес Веларде, обеими ногами стоящий на мексиканской почве и наделенный мексиканской душой, какой бы загадочной и сложной она ни казалась.

Если в поэзии Гонсалеса Мартинеса, о котором сказано выше, несмотря на ее глубину и позитивную роль, ощущается некоторая заданиость, то Лопес Веларде идет непосредственно от конкретного — мысли и ощущения. Вдвоем они образуют основу мексиканской поэзии нашего века.

Я не намерен вступать в полемику о том, где у Рамона Лопеса Веларде поэзия сельская и где урбанистическая, где национальная и где всечеловеческая. Его стихи на провинциальные темы по своей обобщенности, самобытности и выразительности могут без оговорок быть причислены к лучшим образцам поэзии нашего времени: «Звенящую, как серебро, скудель / ты делаешь копилкою простою, / а на заре, среди родных земель, / в прогулках с их зеркальной чистотою / пекарня пахнет булкою святою». Беседуя со своей родиной, поэт отождествляет себя с нею.

Рамона Лопеса Веларде по праву можно назвать поэтом мексиканской революции, хотя он не «революционный» поэт и его поэзия не порождена мексиканской революцией подобно настенной живописи. Но в его стихах, и в особенности в его «Нежной отчизне», всякий, кто знаком с историей революции 10-х годов и ее литературой, почувствует атмосферу тех лет.

Поэтическая выразительность Лопеса Веларде таит в себе взрывчатую силу, достигаемую тем, что поэт создает свои произведения из материала, принадлежащего различным пластам языка: в его стихах риторическое сталкивается с обыденным, академичное — с разговорным, изысканное — с народным, чувствительное — с фривольным. Это поэзия, оплодотворяющая воображение, возбуждающая ассоциации. А в ее глубинах — таинственная душа, могучие инстинкты, источник жизненных сил, который обогащает и терзает поэта, вливаясь в то, что составляет основную проблематику его творчества: дуализм жизни. Речь идет о поэтическом осмыслении старой проблемы: дух и материя (плоть), добро и зло, любовь и смерть, составляющие основу одной из великих традиций литературы испанского языка, начиная с мистиков и до ее разрешения в творчестве Вальехо. (Техника, форма и выразительные средства выбираются поэтом в соответствии с его мироощущением: Вальехо не случайно пользовался приемами тезиса и антитезиса, прибегал к оксюморонам и т. п., обычным для испанских мистиков. Как для всякого большого поэта, форма для него — это тоже живой элемент, насущная необходимость.)

И для Рамона Лопеса Веларде все это не было чисто литературной проблемой. Его поэзия и его жизнь — единое целое.

Наряду с явным влиянием Бодлера, ощутимым у Лопеса Веларде, на его формировании как поэта сказались веяния мистицизма, распространившиеся в западном полушарии в первые десятилетия века.

Единство мира может быть выражено только в существовании двух раздельных начал. Согласие между ними, между добром и злом, невозможно, и подчинение второго первому, как этого требует христианская религия, недостижимо. Также немыслимо примирение плоти и духа, возможно лишь их единство, достижимое лишь в любви, в конкретных отношениях между мужчиной и женщиной. Чтобы почувствовать себя единым существом, два человека должны взаимно отталкиваться, отличаться друг от друга, быть разными.

Рамон Лопес Веларде — поэт любви. И, как логическое следствие, в его поэзии звучит тема смерти. Для того чтобы любовь выражала сущность жизни, с нею рядом должно быть ее отрицание — смерть, столь же реальная. Обращаясь к сенсотлю, птице, поющей в преддверии ночи и тишины, как он сам — у входа в мир темных инстинктов, поэт пишет: «...И меня печалит, / что он не знает, что блаженство любви — это скачка / сердца без узды по обрыву / смерти». Любимые символы поэта — «крест и багряный лес». Во «Псе святого Роха» он говорит о себе самом: «со взглядом, устремленным к небу, и факелом в пасти». Однако мистика его эротична. А его эротика религиозна. «Мои поцелуи движутся по тебе, как вереницы молящихся / поверх кощунственного покрова черепов, / как по соблазнительной кости домино».

В его стихах временами чувствуется жестокость, версификация бывает ритмически неправильной, рифмы — ассонансными. Сочетание тем зачастую чрезмерно изысканное. Существительное постоянно гальванизируется прилагательным. Порою сквозит насмешка, издевка. Но всегда налицо высокая поэтичность.

Лопес Веларде — духовный аскет и мизантроп. Страстно любивший и чувственно влюбленный, он не пожелал иметь детей. Он называет нерожденного им сына своим «шедевром», ибо произвести на свет сына означало бы продолжать прославление нынешнего состояния мира, в котором царят ужас и красота, поэзия и мерзость, ненависть и злодейство.

Несомненно, в его поэзии скрытно присутствует признание дуалистического нача-

ла в мире, и именно таково его миропонимание. В поэзии Лопеса Веларде фатальный дуализм капиталистического мира признается как status vitae[2]. Однако главное, как считает поэт, в том, что добру не дано победить зло, духу — победить плоть. Речь идет не о примирении. Решение — в единстве. Лопес Веларде приходит к нему через любовь. Его символ — женщина. Он решает проблему на свой лад, в соответствии со своим поэтическим темпераментом и духовным складом. Дуализм мира в поэзии Лопеса Веларде — это лишь средство познания и духовного освобождения.

Подобно испанским мистикам, Лопес Веларде поднимается над землей, над мрачным царством инстинкта, с помощью «космического флюида»—любви, воплощенной в женщине. Но поэт воспевает не просто женское начало мира, отвлеченный женский образ. Он страстно влюблен. Он страдает от любви конкретной, земной. Кроме того, он наполняет свои стихи образами окружающего мира и уделяет в нем место женщинам своей среды, своей провинции. Некоторым его поэзия кажется герметической. Однако она в высочайшей степени материальна, и вещи в ней вступают в живую беседу с человеком. Его поэзия — это самовыражение реального человека, личности, которая живет, погруженная в проблемы своего сознания, и сознает это.

■

В то время когда создавалась поэзия Лопеса Веларде, казавшаяся поэзией для немногих, в те же двадцатые годы начал звучать и другой голос, кристально ясный и понятный всем. Этот голос принадлежал Карлосу Пельисеру (род. в 1899 г.).

В качестве протеста против модернизма, и в частности против тени Дарио, возникла целая куча «измов» (почти всегда исходивших из Франции), которые создали удушливую атмосферу, взбаламутили, загрязнили и отравили культурную жизнь Латинской Америки. В Мексике получил отклик дадаизм в форме «эстридентизма», который так же, как его европейский прообраз, был всего лишь «новой манерой садиться», иначе говоря, литературой, призванной эпатировать барышень и благовоспитанных людей. В таких обстоятельствах появление журнала «Контемпоранео» (1928) шло вразрез с господствующим положением вещей. Вокруг журнала объединились видные поэты — Вильяуррутиа, Горостиса и другие. К ним примкнул Пельисер. Это поколение объединяет идея специфического назначения искусства как художественной деятельности, в результате которой создаются произведения, способные жить независимо от автора. Кроме того, общей чертой всех поэтов этой группы являются трагический тон и пристрастие к теме смерти. Тем не менее, участвуя в издании «Контемпоранео», они оставались по преимуществу одиночками и продолжали идти каждый своим путем. Пельисер выделяется среди них не только потому, что его темы располагаются в иных сферах, чем темы других поэтов его поколения, но и потому, что, исходя из понимания поэзии, характерного для его поколения, он обогнал свое время и его творчество оказалось более значительным, чем произведения его товарищей.

Карлос Пельисер научился у Лопеса Веларде двум вещам: поэтическому языку, слову, понимаемому как нечто трансцендентальное, основополагающее, и искусству персонализации. Следуя в этом направлении, он достигает совершенства. Поэт, родившийся в тропиках, воссоздает поэзию растительного мира. Его мысли, состояние его души воплощаются в образах растений и тропической природы: «И лагуна, что купается сидя, / и река, что купается на ходу, / и колодец в патио, / превратившийся в солнечный телескоп». В другом стихотворении: «и посею в немощные ночи, когда тебя нет рядом, / пшеницу моей песни...» Кажется, будто мексиканская флора покорила его как некая могучая религия. Природа слита с человеком, человек — с природой: «Осенний ветер / — это лишь глубокий / вздох нашей груди». В стихах Пельисера возрождается традиция поэтов, писавших на латинском языке в колониальную эпоху, прежде всего — Рафаэля Ландивара, который в свою очередь был усердным читателем Вергилия. Именно о нем вспоминаешь, когда Пельисер описывает воду: «Иной водопад скачет как дитя, / иной только грезит».

Читая прозрачные, ясные и красочные стихи Пельисера, отчетливо видишь цвета, даже когда они только названы. Пельисер — поэт цвета. Если для позднего Дарио главным был ритм мыслей, то у Пельисера цвета гармонично сочетаются со всей природой, ритмически переплетаясь. Поэзия Пельисера многими нитями связана с мексиканским монументальным искусством, которое уже к тридцатым годам представляло собою революцию в живописи. И все то, что для Пельисера было самым сокровенным, проступающее в его поэзии ощущение цвета осуществил в своих полотнах Карлос Мерида, который, использовав достижения абстракционизма, создал живопись, полную неожиданностей, гармонические образы, напоминающие сочетанием красок ткани и ковры индейцев, восходящие к традициям майя. Пельисер говорит: «Был бы я живописцем, / большего не желаю / Одними красками / я создал бы целую цивилизацию. / Голубая стала бы / красной, а оранжевая — серой...»

Бесспорно, что поэзия доколумбова периода, которую в последние годы с успехом переводят на испанский язык, оказывает влияние на современную поэзию Мексики.

Для ацтекских поэтов цвет — существенное качество предмета и не может быть воображен отдельно. Цвет как понятие для

[2] Состояние жизни (*лат.*).

РОБЕРТО ОБРЕГОН МОРАЛЕС
ЧЕЛОВЕК ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

КАРЛОС ПЕЛЬИСЕР
(род. в 1899 г.)

Смотри, как вдаль уплывают...

Смотри, как вдаль уплывают эти осенние тучи,
неторопко и просторно по тихому морю скользят.
Смотри, как вдаль уплывают эти осенние тучи —
легендарные бриги, которые вскоре вернутся назад.

Вечер настолько светел, что люди вышли за двери,
всплескивают руками: вечер-то нынче какой!
Порывистые узоры на небесной материи
вышиты в этих сумерках чьей-то искусной рукой.

За горизонт задевает осенних туч вереница
(легендарные бриги, которые вскоре вернутся назад),
застыли в строгом порядке, но вражеский флот не боится:
со вчерашнего дня заштилело...
Не шелохнется сад.

Сентябрем называют парня, который закинул невод,
не думая об улове... Смотрит на мир с тоской...
Видишь первую звездочку? Можешь снять ее с неба,
если тебе по сердцу безбрежность дали морской.

Жертвенный камень

Латиноамериканская поэма
(Отрывок)

Моя Америка,
ты карта на моем столе рабочем.
Я пядь за пядью всю тебя истрогал.
Каких бы див тебе я напророчил,
когда бы стал твоим пророком!
Я взвешиваю на ладонях
мозаичную соразмерность стран.
И, как мальчишка-идолопоклонник,
ласкаю пальцами отроги Анд...

Твои закаты от Буэнос-Айреса
до Мехико — мои опекуны.
Чьей щедростью ты мне в наследство даришься
для торжества моей весны?
В ночах высоких, проведенных вместе,
моя любовь к тебе заключена.
И молодость моя — медовый месяц,
страсть пахаря над муками зерна...

них немыслим. И когда цвет начинает отделяться от предмета, он наполняется религиозным смыслом, становится символом. В поэзии Пельисера цвет — самостоятельная сущность, он дается во всей своей чистоте, сам по себе. Поэтому предметы окрашиваются «мазками взгляда», что дает возможность передать пейзаж, отраженный в поэтическом произведении. «Дайте мне цвет, и вы получите мир»... «Что в красках, то живое / и забвению неподвластно».

Вся поэзия Карлоса Пельисера — это музыкальный поток, дионисийский, роскошный мир, где чувства достигают своей полноты: «Я хотел бы иметь глаза на ладонях, / чтобы сразу видеть все».

Главный герой поэзии Пельисера — пейзаж. Тропики, пьянящий лес, переливающийся через край как «бокал света», внезапно предстают перед нами: «Часы становятся все тоньше: / из одного выходят десять. / Это тропики, дивные и зловещие. / Здесь никто не знает, который час». Однако поэт, погруженный в растительный мир, срастаясь с ним корнями и братаясь с деревьями, вдруг сетует: «Тропики, зачем вы мне дали / руки, полные красок?».

Под влиянием идей Васконселоса[3] в поэзии Пельисера звучит тема ибероамериканизма. Он верит в родину, как ее понимал Боливар, верит в единую судьбу латиноамериканских стран. И многие свои стихи он посвящает южноамериканским темам. Его поэтическому взору рисуется южноамериканская фауна, в своих стихах он охватывает пейзажи и богатства всего континента. Его поэма «Жертвенный камень» скорее напоминает киноленту, заснятую с самолета (известно, что некоторые его стихи действительно написаны в самолете), и очень часто его описания континента напоминают уроки географии. И в подобных стихах у Пельисера, без сомнения, есть самобытные и высокопоэтичные строки, в которых обнаруживается также его внутренняя связь с чисто американским, более того — индейским патриотизмом.

Наши антиимпериалистические традиции ведут начало еще со времени Боливара. Почти век спустя Рубен Дарио не перестает тревожиться, видя колоссальное усиление могущества североамериканской империи. История говорит об этом еще красноречивей: Мексика — первая страна, которая ощутила в своем теле когти чудовища. Тень США мелькала на фоне революции 10-х годов. И это — второй мотив, звучащий в поэзии Пельисера. Однако, по сравнению с Дарио, Пельисер в своем антиимпериализме был робок, пуглив: «Ганг подымается спиралью по Гималаям, / неся яхты мультимиллионеров-янки, / которые наконец, господи, наконец-то, утратили золото слова». Или другие, еще более вялые строки: «Я умираю от желания / бежать / от самого себя. / Как будто я наелся яблок, / привезенных янки»...

Карлоса Пельисера не назовешь провидцем, и в основе его поэзии нет особо слож-

[3] Хосе Васконселос (1882—1959) — мексиканский философ и общественный деятель.

ных проблем. Поэту дан мир, этот мир он и воспевает. Вернее, живописует. И делает это великолепно, то традиционным, рифмованным стихом, то стихом свободным, ассонансным, но всегда ритмичным, музыкальным и прозрачным. Его поэзия — магическая, дионисийская. Религиозные вопросы — еще один мотив его творчества — не заслуживают серьезного внимания. Пельисера-человека ничто не мучит. Лучший рецепт для него — вера. «Верую во Христа как в бога, как в единственную существенную реальность в истории нашей планеты; все прочее—искусство, наука и т. д.— случайно, второстепенно и анекдотично»,— признание, не нуждающееся в комментариях.

Стихи Пельисера не только оказали влияние на современную мексиканскую поэзию, но также глубоко и прочно вошли в народное сознание. Поэт, всеми порами и чувствами воспринимая дарованный ему мир, погружается в него и создает поэзию плотскую, здоровую, простую и чуждую дерзаний: «Уйдем от всего, кроме вечной весны, / чтобы мы снова могли войти в реку, / нагим телом ощутить воду, / полные девственной отваги».

■

После революции 10-х годов Мексика — возможно, самая стабильная в политическом отношении из стран Латинской Америки, буржуазно-демократический характер ее строя сохраняется уже свыше сорока лет.

В этих условиях интеллигенция в своем большинстве находится на службе у государства. Многие поэты и писатели занимают общественные и дипломатические должности. Иными словами, существует в той или иной форме некое сотрудничество между интеллектуалами и политическим режимом страны. Это приводит к тому, что лучшая часть мексиканской поэзии, наиболее сложная, занимается человеком как личностью с точки зрения поэтического «я», углубляя форму и содержание в чисто эстетическом плане, постоянно стремясь достигнуть общечеловеческого, отворачиваясь от других аспектов действительности или ведя себя так, словно в мире все устроено отлично. Однако практика свидетельствует, что поскольку эта поэзия самобытно и искусно решает поставленную перед собой задачу, то какой бы далекой ни казалась она от насущных проблем существующего общества, ей удается отразить историческую реальность в самых тонких нюансах, и подчас даже более живо, чем это могла бы сделать поэзия, прямолинейно откликающаяся на социальные события.

Я не собираюсь противопоставлять различные направления, но лишь хочу дифференцировать задачи, которые ставит себе поэзия в различных сферах национальной жизни. Несомненно, что некоторые стороны общественной жизни ускользают от внимания мексиканских поэтов.

Отсюда и возникли упреки тех критиков, которые обвинили своих поэтов в «беспочвенности», причем не только кое-кого из сверстников Пельисера, но также Октавио Паса и некоторых поэтов последнего поколения.

Октавио Пас возразил, что «беспочвенность внутренне присуща» мексиканской (и латиноамериканской) литературе. Завоевав Америку, говорит Пас, завоеватель насаждает на новых землях свою культуру и искусство. Литература, принесенная нам испанцами, это литература испанского Возрождения, которую еще на самом полуострове называли беспочвенной за ее итальянские корни. Провансальская поэзия — нечто невыносимое для строгого вкуса. Так что принесенное нам конкистадорами еще в Испании именовалось «беспочвенным». И это — наша традиция.

Действительно, поэзия испанского Возрождения была «беспочвенной» по отношению к предшествующей кастильской поэзии. (На Боскана смотрели с презрением, когда он вводил итальянский одиннадцатисложный стих, октаву, все достижения Петрарки и его последователей, которые в конечном счете обновили испанскую поэзию.) Однако, пересаженная на американский континент, эта поэзия утрачивает свою «беспочвенность» и сама становится истоком. Она перестает быть звеном и превращается в начало новой цепи. Земля в конце концов завоевывает завоевателя. И с самого начала испанец, его видение мира, его литература и обычаи подвергаются трансформации. Начинается длительный процесс этнического и культурного скрещивания. В дальнейшем присоединяются влияния других европейских народов.

«Беспочвенность» не означает отрицания традиций. И тем более — пренебрежения к какой-либо области социальной действительности. На мой взгляд, поистине «беспочвенным» является тот поэт, который, сознавая себя посланцем и имея что возвестить, вступает в компромисс с самим собой и отказывается исполнить свою миссию. Впрочем, в счет идут лишь истинная поэзия, истинное искусство. А они так или иначе всегда уходят корнями в свою эпоху.

Октавио Пас (род. в 1914 г.) сегодня бесспорно — самый значительный поэт Мексики. Не только потому, что это поэт очень тонкий, с чрезвычайно обостренной чувствительностью, волшебной интуицией и высоким мастерством поэтического языка, но также благодаря его критическому мышлению и постоянной заботе о мексиканской литературе, стремлению указать верное направление мексиканским поэтам младших поколений.

Октавио Пас получил образование в США и Испании. Его первое произведение — «Лесная луна» — было напечатано в 1933 году. Свое призвание, как человек и поэт, он нашел в Испании в 1936 году, опубликовав «Они не пройдут!». Его отличают широкие познания в современной науке, в частности философии. Человек чрезвычайно деятельный, Октавио Пас был одним из основателей

РОБЕРТО ОВРЕГОН МОРАЛЕС
ЧЕЛОВЕК ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

ОКТАВИО ПАС
(род. в 1914 г.)

Нет ни Потом, ни Прежде...

Нет ни Потом, ни Прежде. Разве я
живу сегодня в том, что раньше прожил?
ЧТО ПРОЖИЛ! Разве был я? Все текуче:
что прожил, я доныне умерщвляю.
У времени нет края: снова губы,
минуты, смерть и небо, снова ад,
врата в ничто, куда никто не входит.
Нет края, рая, нет воскресных дней.
В конце недели Бог тебя не ждет.
Он спит, его наш гомон не разбудит.
Его безмолвье наше пробуждает.
Когда уже ничто не может петь
и все смолкает — кровь, куранты, звезды,—
Бог веки разомкнет, и мы вернемся
во царствие его небытия.

Зерна для гимна

День разжимает руку:
три тучи
и эта горсточка слов.

Улица

По улице, бескрайней и безмолвной,
брожу в потемках, падаю, споткнувшись,
встаю и слепо по листве опавшей
ступаю, по немым камням, а кто-то
по ним ступает за моей спиной:
остановлюсь, и он замрет, бегу —
он тоже. Обернешься — никого.
Все в темноте, и выхода не видно,
и я кружу, кружу, но за углами
все та же улица, где не меня
подстерегают, не за мной бегут,
а я — за кем-то, кто упал, споткнувшись,
встал и в лицо мне молвит: никого.

журнала «Тальер» («Мастерская»), который выходил с 1938 по 1941 год и в котором выступали такие видные поэты его поколения, как Уэрта и Альварес. Некоторые критики понимали «Тальер» в буквальном смысле слова, как мастерскую, где делаются или фабрикуются произведения искусства, то есть истолковывали это название в том смысле, что поэзия есть в первую очередь профессия, ремесло. Октавио Пас поспешил разъяснить, что такие претензии необоснованны. «Тальер» в соответствии со своим названием стремился создать вокруг себя демократическую атмосферу, чтобы привлечь всех поэтов, независимо от их воззрений и происхождения.

Как и многие писатели Латинской Америки, Пас был мексиканским дипломатическим представителем в различных странах мира.

Некоторые критики испытывают своего рода ностальгию, вспоминая поэзию Октавио Паса, рожденную гражданской войной в Испании. Но тот этап не нашел продолжения в последующем творчестве Октавио Паса.

Октавио Пас поднимается на высоты поэзии тогда, когда спускается в глубины своего «я», постигая сущность действительности в процессе самопознания. Он сам говорит об уроке, которым явилось для него знакомство с поэзией Луиса Сернуды, научившей его высказывать «свою собственную правду».

Поэзия для Паса — это познание: «Разбуди меня совсем, / дай мне грезить твоими снами, / смажь глаза твоим маслом, / чтобы, познав тебя, я познал себя». Но прежде всего — это органически присущая человеку деятельность. Поэтическое творчество — это действие. Его цель — найти изначальное слово, преодолеть дистанцию между человеком и миром: «Знать — это грезить; грезить — это действовать. Поэзия предает огню все стихи. Нет больше слов, нет образов. Уничтожено расстояние между человеком и предметом, называть — значит творить, воображать — рождать» (стихотворение в прозе).

Октавио Пас сознает отчуждение современного человека, утрату единства человека с миром, что в крайних, патологических формах выражено в искусстве буржуазного общества; порой он сурово осуждает это общество, обвиняя его в неспособности воспринимать чудо искусства и в пренебрежении к поэту, занимающему жалкое место в капиталистическом мире. Миссия поэта, по мнению Паса, состоит в том, чтобы посредством изначального слова восстановить утраченное единство. Поэт своим поэтическим трудом помогает человеку осознать необходимость выбора. Для Паса осознание необходимости выбора — это акт воли, и свобода дается прежде всего внутренним, индивидуальным решением. Полное ее достижение свершается в священный миг поэтического творчества.

Поэт утверждает магические ценности искусства; стремление заставить человека измениться делает его поэтом революционным по преимуществу.

«Дерзай: / Свобода — это выбор по необходимости, / Будь луком и стрелой, тетивой и стоном». Эти стихи — ключевые для поэзии Октавио Паса.

Русло поэзии Октавио Паса определяется тогда, когда она вступает в соприкосновение с остатками сюрреализма, а сам поэт — в личное общение с сюрреалистской группой Бретона во Франции. К марксистскому тезису «изменить действительность» Пас вместе с группой Бретона добавляет: «изменить человека». Экзистенциалистская установка на то, чтобы вырвать конкретного человека из настоящего, «сейчас», увидеть в нем сгусток его социально-исторического контекста,

его прошлого и будущего, делает творчество Паса «клинической» поэзией, которая, однако, не лечит, которая исследует, но безрезультатно. Единственное, что он открывает и углубляет,— область индивидуального сознания. Это движение, схваченное в одной точке, покой как отрицание и утверждение бесконечности движения.

Пас — ревностный почитатель Новалиса и немецкого романтизма. В его идеях (преодоление отчуждения; полное развитие способностей человека), в его стремлении к тождеству, которое должно нам быть открыто первозданным словом (магически, посредством поэзии), мы столкнемся, если заглянем поглубже, с эстетикой Шеллинга.

Стиль Паса раскрывается в белом стихе, четко ритмизованном. Поэту принадлежит много стихотворений в прозе. Очень часто он пользуется внутренним монологом. Это поэт медитации, размышлений. Порою ощущается в нем созерцательность, порою экспрессионизм. Бесспорно, однако, что движущей силой его творений является метафора. Пас разрабатывает ее с мастерством и блеском. Он устанавливает прочные связи идей и предметов, которые прежде казались нам несовместимыми. Временами он злоупотребляет этим; его метафора режет слух, становится многословной, кричащей, и тогда она как бы испаряется. С другой стороны, он превосходно использует мексиканский фольклор. В его поэзии ощущается атмосфера таинственных индейских традиций, восходящих к поэзии доколумбовых времен, к безмолвию мертвых городов майя и ацтеков. В «Разрозненных камнях (предметный урок)» он пишет: «Окаменевшая вода. / Старый Тлалок спит в ней, / грезя о ливнях» — и дальше, в «В Ушмале»: «На площади, огромной, как солнце, / отдыхает и пляшет каменное солнце, / нагое под солнцем, тоже нагим». Магическое восприятие, опирающееся на неожиданные ассоциации, порою затягивает поэта в сюрреалистическую игру образами. Но надо отметить, что эта игра отнюдь не бессознательная. Напротив, она — продукт усиленного интеллектуального труда и чисто культурных (чтобы не сказать литературных) ассоциаций.

Оттенок религиозности, который усматривают в поэзии Октавио Паса иные критики, это всего лишь попытка превратить поэзию в некий культ (придать ей могущество и самостоятельность, чтобы она могла исполнить свою миссию преображения человека), превратить ее в священнодействие, которое, по сути, своей жаждой материального противоположно христианской религии. «Все слова умерли от жажды. Никто не сможет насытиться этими обточенными временем останками, даже моими останками, моими пороками. Надежда, голодный орел, оставь меня на этой скале, схожей с молчанием. А ты, ветер, веющий из Прошлого, дуй сильнее, рассей эту горстку слогов, чтобы они обрели воздушность и прозрачность. О, если б стать словом, струей воздуха в чистых устах, каплей воды на жаждущих губах!» (стихотворение в прозе).

Октавио Пас утверждает, что для современного поэта его крест и его проклятие — в рефлексивности его творчества, в том, что он «смотрит, как он смотрит». Иными словами, его критическая позиция по отношению к самому себе и по отношению к миру. Однако это лишь предпосылка к тому, что в действительности должно стать основным в творчестве современного поэта, бытие которого следует определить не как обособленное «поэтическое сознание», а как существование в данный момент истории в качестве воспреемника и продолжателя не только литературных традиций и идей человечества, но также — различных ступеней развития сознания: космогонического, магического, мистического и научного видения мира. Доказательство в том, что в современной поэзии метафора становится не только средством выражения эмоций, но также несет в себе обобщающую мысль.

Октавио Пас может по праву быть назван современным поэтом, хотя у него отсутствует одна черта, присущая почти всей современной поэзии Запада: ирония.

Поэт любви не может отказаться от создания чувственной поэзии. Для Паса, поэта любви, поэта чувства, очень важную роль играет зеркало. Зеркало принимает различные формы: воды, женщины, самой поэзии. Октавио Пас не страдает нарциссизмом. Он не просто развлекается зрелищем своего отраженного образа, но созерцает себя в своем двойнике, изучает свое второе «я», глядит на себя в этот миг, вмещающий все его прошлое и будущее.

Воспевая женщину, он прежде всего стремится открыть в ней женское начало вселенной, творческое начало жизни: «На одном краю горит половинка луны. Это уже не драгоценность, но плод, созревающий в лучах своего внутреннего солнца». И далее: «Половинка плода — эта половинка луны, созревающей под солнцем женского взгляда». Тема любви, точнее — женского начала вселенной, сочетается с темой смерти, становящейся неким зеркалом, в которое смотрится жизнь.

Находясь в Индии в качестве посла Мексики, Октавио Пас занялся изучением индуистской философии и литературы. В дальнейшем в сфере его интересов оказались конфуцианство, таоизм и восточные культуры. Многие из его стихов отмечены созерцательной умиротворенностью, что находится в противоречии с его кипучим темпераментом, всегда изливавшимся в потоке метафор. Как возможно сосуществование этого спокойствия, с которым он размышляет о восточной мудрости, и бурной страсти поэта, воскликнувшего: «Одного простого слога хватило бы, чтобы взорвать мир!»? Впрочем, его индийские стихи уже не имеют той свежести, какая была в его первых произведениях, особенно в книге «Свобода под честное слово», лучшей из написанных им.

РОБЕРТО ОБРЕГОН МОРАЛЕС
ЧЕЛОВЕК ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

РОСАРИО КАСТЕЛЬЯНОС
(род. в 1925 г.)

Вахта незамужней

Быть одинокой гадко... Целый день
ей щеку заливает смертный стыд.
(Но прячется в тени щека другая.)

У незамужней пепельные будни,
бесславные, бесплодные дела,
и в пору, когда сходится родня,
у очага вдруг слышен
стон женщины,
кричащей в беспредельное пространство,
где каждая скала и каждый ствол,
изглоданный пожарами, и ветка
корявая — как бы судья,
свидетель без души и состраданья.

С исходом дня она вся замирает
на смертном ложе.
Испарина страданья увлажняет
простыни,
безлюдье наполняют диалоги
и выдуманные мужчины...

И незамужняя все ждет, все ждет.
И все не может
родиться в своем сыне, в его тельце,
не может в этом тельце умереть —
в планете этой, древней, неисследованной,
но занесенной астрономом в список,
хоть он ее ни разу и не видел...

Прильнув к туманным линзам, незамужняя
(...померкший мир...) помадой
на губах бескровных
наводит кровь...

И утру улыбается — одна.

Прокаженный

Как часто, когда с человеком
хорошо обойдется другой человек,
в нем просыпается жажда убийства
(вот он — тайный лик благодарности!),
обласканный ничем не выдаст обиды,
но она его отравляет.

Человек, отмеченный милостью...
Одолженье
не помещается в мире, где главный
закон —
борьба, истребленье.

Как часто это бывает... Как часто...

■

В последних поколениях поэтов выделяются Росарио Кастельянос и Хайме Сабинес, родившиеся оба в 1925 году.

Эти два поэта принадлежат к поколению, группировавшемуся вокруг журнала «Тьерра нуэва» (1940—1942). Основное устремление этого поколения — «возврат» к «Контемпоранео». Поэты «Тьерра нуэва» сосредоточивают свой интерес на внутреннем мире человека, не чуждаются поисков в области формы; они стараются создать «чистую» поэзию, то есть поэзию без знамен и трибун. Один из наиболее известных поэтов этой группы — Али Чумасеро, но в действительности самыми значительными ее представителями являются Кастельянос и Сабинес, творчества которых я бегло коснусь.

Росарио Кастельянос, снискавшая известность своей прозой, как поэт родилась, пытаясь разобраться в загадке, которую представляет мексиканец, продукт скрещения культур и рас. Тема ее первых стихотворений — индейцы. Но от древнего мира индейцев остались только ничтожные следы, от их городов — камни, а от их расовых черт — смуглое лицо и замкнутая душа. И здесь — отправной пункт следующего периода творчества поэтессы, посвященного предметам и явлениям, рассказывающим о том, что уже не существует. Это становится ведущей чертой ее поэтического видения.

Окружающий мир не дается Росарио Кастельянос. И она не стремится его ухватить. Напротив, она сосредоточивается в самой себе, углубляется в свои ощущения. Не из реальных предметов, а из рожденных ими ощущений вырастает, как правило, каркас ее произведений: «И я дрожу, как ветка, / под бременем песни / и на миг прерванного полета». Слово никогда не сможет связать нас с действительностью: «Ибо слово — это привкус, оставленный на нашем языке вечностью, / и потому я говорю»... И в другом месте: «Слово — это лишь / образ, искаженный в зеркале». То, что недоступно нашим ощущениям, что ускользает из сети наших чувств, из капкана наших эмоций, не существует на деле: «Мы убиваем то, что любим, а все другое / никогда не было живым». Поэтому существование — это нечто нереальное, призрачное, в нем сливаются действительность и мечта, смерть и жизнь. Это великолепно выражено в изысканном ноктюрне: «Для жизни — времени слишком много, / для мудрости — вовсе нет. / Зачем мы пришли сюда ночью, глубокой ночью? / Мы можем лишь грезить, умирать, / грезить, что умираем, / и порою на миг пробуждаться».

И все же временами в поэзии Росарио Кастельянос два лика жизни сталкиваются, и дуализм мира обнаруживает себя единственно для того, чтобы утвердить реальность бытия и бесконечности, чудо жизни: «О, радость быть двумя! В двух берегах / течет река, играя, / на двух крыльях птица / поднимается в воздушную высь». А несогласие с тем, что для утверждения жизни должна существовать смерть, ведет в никуда и по-

рождает у Росарио Кастельянос неодолимый ужас перед бесплодием.

И все же мир, окружающий поэтессу, проникает в ее стихи, преследует ее во внутренней ее замкнутости и выглядывает изо всех углов. Росарио Кастельянос замечает, что в обществе, где она живет, «у труда обличье наказания» и у радости «непристойный вид грабежа».

Порою поэтесса пробуждается на зов действительности. Но никогда не ищет контакта с нею. Напротив, она постоянно старается подчеркнуть различия, установить дистанцию, что лишает ее всякой страстности и наделяет спокойствием. Но не легкомыслием.

Хотя Росарио Кастельянос не упоминает о боге и чужда религиозной тематики, она поэтесса религиозного чувства и принадлежит к тому племени утонченных поэтов, которое родилось с Хуаной Инес де ла Крус. Это поэзия религиозного дыхания, несколько пассивная и покорная, но и в ней прорывается местами образ жестокой действительности. Ведь в буржуазном обществе великодущие — почти всегда проявление превосходства, власти. Доброта часто сродни оскорблению. Принимающий благодеяние — почти всегда бедней благодетеля. Делать добро — значит подчеркивать различия. Ее стихи говорят нам не о порочности бедняка, но о лицемерии буржуазной благотворительности и морали.

Росарио Кастельянос изучала философию и литературу в Испании. Теперь она живет в Мексике и много пишет. Среди молодых она принадлежит к самым серьезным и значительным поэтам. Наиболее зрелая ее книга носит название «Мертвенно-бледный свет».

Хайме Сабинес — поэт одиночества. Это поэт оригинальный, герметический, он анализирует проблемы, волнующие его совесть, отождествляет себя с чужим страданием; до настоящего времени, вероятно, никто в Латинской Америке не усвоил лучше его уроки Вальехо.

В свободных стихах Сабинеса — его тревога, его печальная поэзия, поэзия одинокого человека: «Ветер отдыхает на листьях, / вода — в глазах, / нам нет отдыха нигде».

ХАЙМЕ САБИНЕС
(род. в 1925 г.)

Влюбленные

Влюбленные молчат.
Любовь — тончайшее молчанье,
самое трепетное, невыносимое...
Влюбленные все время что-то ищут,
расстаются, меняют что-то в чем-то,
забывают...
Их сердце говорит им, что они
так ничего и не найдут.
Они и не находят — ищут.

Временами он, в порыве отчаяния, достигает поразительной пластичности, как, например, в следующих стихах: «Одиночество, отметь меня своей босой стопой, / дави мое сердце, как гроздья, / и наполни мои уста вином зрелости». Он поэт чувства и воспевает любовь в стихах, насыщенных эротикой: «Я привил бы свои губы / к ее ногам — две к двум». Во всех своих стихотворениях он как бы беседует сам с собой. Сабинес пользуется разговорным языком не в чисто формальных целях, но для интимной выразительности — это манера его поэтической речи, его органическое средство общения с читателем. Поэт размышляющий и любящий уединение, он мало пишет; до сих пор самая известная его книга — «Часы». Однако его поэзия движется в глубины человеческой души, и Хайме Сабинес — один из наиболее интересных представителей своего поколения.

Самые молодые поэты Мексики устремились в русло поэзии социальной, гражданской, революционной, поэзии протеста. Возможно, потому, что виднейшие ее представители, Монтес де Ока и Баньюэлос, пришли из провинции, из внутренних районов Мексики, где социальная несправедливость постоянно напоминает о себе. Однако творчество этих поэтов заслуживает отдельного разговора.

Перевод с испанского Е. Л.

А. САХАЛТУЕВ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ ЧИТАЕТ ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА

(По материалам яснополянской библиотеки Л. Н. Толстого)

К 100-летию со дня смерти Диккенса

Чарльз Диккенс был одним из любимейших писателей Толстого. Еще в юности на него произвел огромное впечатление «Давид Копперфильд». Понравилась ему и лекция Диккенса о воспитании, которую он слушал в Лондоне в феврале 1861 года. Лекция не могла не заинтересовать Толстого. Как известно, в тот период Лев Николаевич много сил и времени отдавал занятиям в основанной им яснополянской школе.

Чарльз Диккенс был близок Толстому своей любовью к людям, правдивым отображением жизни и, кроме того, взглядами на воспитание, выраженными в его творчестве.

Английский писатель считал, что искусственное, чересчур раннее пичканье знаниями нежного и слабого еще ума ребенка приносит непоправимый вред, испытывал отвращение к школьной муштре. Эти педагогические идеи получили свое художественное воплощение в романе «Домби и сын». Рассказав о доведенных до одурения Тутсе и Бриггсе, о смерти маленького Поля Домби, перенапрягшегося при занятиях в учебном заведении доктора Блимберга, Диккенс выступил против так называемого классического образования, которое на практике часто сводилось к бестолковому зазубриванию текстов латинских и греческих авторов.

С неменьшей силой обрушился Диккенс в романе «Тяжелые времена» и на узкоэмпирическую систему обучения, изгонявшую научные обобщения и творческую фантазию, признававшую лишь «факты, факты и только факты», которую насаждала миссис Гредграйнд. А в романе «Жизнь и приключения Николаса Никлби» писатель резко осудил процветавшую в йоркширских школах палочную систему, введенную проходимцем Сквирсом.

Толстому, который чутко и осторожно подходил к раскрывавшимся перед ним, школьным учителем, душам крестьянских детей, Толстому, который считал, что в его время общество не имело права навязывать ребенку свои, во многом извращенные, представления, человеку, полностью отрицавшему телесные наказания,— эти взгляды Диккенса были несомненно близки.

Великому русскому писателю был близок гуманизм Чарльза Диккенса, его сочувствие бедным и угнетенным, страдающим и обиженным, его вера в торжество добра.

Толстой ценил образность, юмор Диккенса — в частности, юмор «Посмертных записок Пиквикского клуба»,— считал его «настоящим учителем литературного языка».

В «Записке» к Черткову, по поводу издания книжек «Посредника» (1885), Толстой замечает о переводах романов английского писателя: «Стоит того попытать это и именно на Диккенсе передать всю тонкость иронии и чувства — выучить понимать оттенки. Для этого нет лучше Диккенса». В ноябре того же 1885 года Толстой высказывает такое суждение об английском писателе: «В последнее время я только перечитывал романы Диккенса — «Крошка Доррит», «Холодный дом». По-моему, Диккенс еще вполне не оценен. Мы Диккенса не знаем, но какая это сила! Прежде эти романы мне казались тяжелы и скучны, но теперь — нет. Что это за силач! У него на сцене десять лиц, и вы, читая, ни про одно не забываете: каждое так и бьет вам в глаза! Все эти английские учреждения являются у него в ироническом свете, все одето такой иронией!.. Герои у него, по-моему, не лорды и т. п., а ободранные, с лицом, попорченным оспой, люди — вот

его настоящие герои. Его роман «Оливер Твист» — прекрасный...»

Среди произведений Диккенса, хранящихся в яснополянской библиотеке[1], имеется роман «Холодный дом», сброшюрованный из семи отдельных оттисков, взятых из журнала «Отечественные записки» за 1854 год. В этом экземпляре есть характерные для Толстого двойные загибы уголков страниц и подчеркивания, сделанные при чтении[2]. Внимание Толстого привлекла сцена, в которой выведены владелец «Галереи-тира» кавалерист мистер Джордж и его слуга Фил Сквод (гл. XXVI «Стрелки»)[3]. Он отчеркнвает в начале главы черным карандашом и ногтем утверждение: «Страшен демон под грубой рубашкой или под грубым балахоном, но еще страшнее он, еще опаснее, еще нечувствительнее под белой манишкой, с золотой булавкой, под именем джентльмена, за карточным столом, за бильярдом с кием в руках, с краткими сведениями о векселях, билетах и заемных письмах; еще невыносимее он в этой форме, чем в какой бы то ни было другой».

Заинтересовался Толстой и проникнутым народным юмором рассказом Фила Сквода, прошедшего все испытания трудовой жизни, обожженного и израненного (как будто бы на войне побывал!), обладающего прямым, открытым характером. Толстой отчеркивает часть его «спича»: «А после годов с дюжину работал я в темной кузнице; народ там был не очень добрый, да в газовом заведении чуть-чуть было не сгорел...» и т. д. Отчеркнуто и то место речи, где Фил Сквод говорит о полученной им жизненной закалке: «И коли нужна цель, и ее нет, пусть стреляют мне в рожу. Ее не испортят, пусть стреляют! Если нужно боксироваться, да не с кем, пусть боксируют меня; пусть стучат в голову—нипочем! Если нужно для силы бросать тяжесть вверх, как в Корнвалле, Девоншайре или Ланкшайре, пусть бросают меня — не бойсь! Не расшибут, меня подбрасывали на все лады — ничего!»

В английском тексте романа «Холодный дом» («Bleak House») в главе XI, с ироническим (по отношению к лицемерному «обществу») заглавием «Возлюбленный брат наш», в которой рассказывается о смерти от неумеренной дозы опиума бедного, одинокого сорокапятилетнего переписчика, скрывавшегося под псевдонимом Немо — капитана Хаундона, Диккенс, обращаясь к погибшему, желает, чтобы «он поднялся призраком возмездия у одра многих болящих», явился «постыдным свидетельством будущим векам о том времени, когда цивилизация и варварство совместно вели на поводу наш хвастливый остров».

Толстой отчеркивает черным карандашом строки, которым соответствует следующий русский перевод английского текста: «Внемли, ночь, внемли, тьма, тем лучше будет, чем скорей вы придете, чем дольше останетесь в таком месте, как это! Внемлите, редкие огни в окнах безобразных домов, а вы, творящие в них беззаконие, творите его, хотя бы отгородившись от грозного зрелища! Внемли, пламя газа, так угрюмо горящее над железными воротами, в отравленном воздухе, что покрыл их колдовской мазью, слизистой на ощупь! К каждому прохожему взывай: «Загляни сюда!»

Это обличение лицемерной морали буржуазного общества отчасти перекликается с толстовским «Люцерном».

Перекликается с толстовской критикой буржуазного суда и показанная в романе Диккенса бесконечная тяжба «Джорндис против Джорндиса», от которой выигрывают только судьи, собирая пошлины. Внимание Толстого привлекла и фигура маленького дворника, мальчика Джо. Строки в главе XI, в которых говорится о забитости и — вследствие этого — неразвитости мальчика, Толстой отчеркивает черным карандашом. Соответствующий русский текст: «Зовут — Джо. Так и зовут, а больше никак. Что все имеют имя и фамилию, он не знает. Никогда и не слыхивал».

Привлекают внимание Толстого и яркие картины другой «человеческой комедии». В английском тексте романа Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита»[4] на ряде страниц сделаны «двойные» загибы уголков, свидетельствующие об интересе писателя к тексту.

На странице 351 загнут вдвое нижний угол ее (соответственно в русском издании страницы 394—395). Диккенс изображает разгул тщеславия и лицемерия в связи с похоронами богача Энтони Чезлвита (брата Мартина Чезлвита-старшего). На похоронах искренне горюет об умершем один лишь старший конторщик Чаффи. Остальные же — сын Энтони, Пекснифф, гробовщик мистер Моулл, доктор, присутствующие на пышных похоронах,— обделывают свои дела, позируют и лицемерят. С большой художественной силой Диккенс изображает безутешное горе старого, преданного служащего. «Я любил его,— плакал старик, бросаясь на могилу после того, как все уже было кончено.— Он был очень добр ко мне. О мой дорогой старый друг и хозяин!»

Не успев похоронить отца, сильно перетрусивший Джонас (он считает, что отравил отца) обретает свои обычные, наглые манеры. Джонас начинает сватать дочь Пекснифа.

---

[1] Автор этой статьи выражает свою признательность заведующей библиотекой музея-усадьбы Ясная Поляна А. В. Векслер, любезно поделившейся с ним выписками помет Л. Н. Толстого из английского текста сочинений Диккенса и их переводами.

[2] В 1885 г. Толстой читал роман «Холодный дом» по-английски, о чем писал своей старшей дочери Татьяне Львовне (П. С. С., юбил. изд., т. 63, стр. 293).

[3] Чарльз Диккенс. Собр. соч. в 30 томах. М., 1960, т. 17, стр. 201—202.

[4] Life and Adventures of Martin Chezzlewit. Leipzig. 1844.

А. САХАЛТУЕВ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ ЧИТАЕТ ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА

Эту торговлю двух лицемеров (показанную в главе XX, иронически названной «...глава о любви») Толстой также отмечает двойным загибом уголка 353—354 страниц английского текста романа.

Затем следует беспримерная по своему цинизму сцена, когда Джонас делает предложение младшей дочке Пекснифа, «веселой» Мерси в присутствии старшей его дочери — Черити, за которой Джонас ухаживал. Стр. 365 английского текста, на которой показано завершение объяснения, где Джонас выторговывает у «архитектора» лишнюю тысячу фунтов приданого, и появление Тома Пинча — с известием о приближении к дому Пекснифа Мартина Чезлвита-старшего,— Толстой также отмечает двойным загибом уголка.

Заинтересовала Толстого и сцена, когда Мартин Чезлвит и Марк Тепли в сопровождении генерала Сайерса Чока отправляются к агенту по продаже земельных участков мистеру Скэддеру, который предлагает им участок на болоте, в районе будущего города со звучным и многообещающим названием Эдем (в дальнейшем из этого «Эдема» измученные Мартин и Марк еле «уносят ноги»). На стр. 383—384 английского текста мы видим двойной загиб уголка [5].

И, наконец, в первом томе английского текста «Жизни и приключений Мартина Чезлвита» обращает на себя внимание Толстого картина болезни молодого человека— помощника врача Льюкома, лежащего в горячке в гостинице «Бык» и пестуемого корыстной сиделкой миссис Гэмп. Больной в бреду пронзительно кричит: «Чезлвит! Джонас! Нет!» Льюком, обнаружив, что он не в состоянии вернуть долг Джонасу Чезлвиту передает ему яд, которым тот собирался отравить отца — Энтони Чезлвита: А затем, будучи тяжелобольным, Льюком страдает от угрызений совести. На стр. 449—450, на которых изображена картина болезни Льюкома, двойной загиб уголка [6].

В томе 91 лейпцигского издания 1846 г. (Collection of British Authors Tauchnitz Edition) напечатана «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса; Толстой подчеркнул в ней предложение, которым обрисован тяжелый лондонский туман, что в русском переводе звучит так: «...можно было подумать, что сама Природа открыла где-то пивоварню и варит пиво к празднику».

Кроме того, Толстым сделаны подчеркивания черным карандашом отдельных слов в большом абзаце, в котором дана характеристика скряги Скруджа.

Зачем Толстой подчеркивал отдельные слова в английском тексте? Такие слова, как the grinde — точильный (в предложении «the grinde-stone, Scrooge!» — «точильный камень, Скрудж!»); squeezing — выжимать, сжимать: shrivelled — сморщиваться, съеживаться, сжаться; shrewdly, shrewd — проницательный, ловкий; Christmas — Рождество. И выражения «on his eyebrows, and his wiry chin» — «его брови и его заостренный подбородок» и «chill him» в предложении «no wintery weather chill him» — «никакой мороз его не пробирал».

Зачем он это делает?

Здесь следует вспомнить приведенные выше высказывания Толстого о том, что именно на Диккенсе лучше всего «выучиться понимать оттенки». В том же рассказе Толстой после слов «с дурным глазом» (собаки — поводыри слепцов, завидев Скруджа, стремились утащить своего хозяина в подворотню, а потом долго виляли хвостом, как бы говоря: «Да по мне, человек без глаз, как ты, хозяин, куда лучше, чем с дурным глазом») ставит крест; он подчеркивает последние слова «and swallowed up the whole» в предложении, которому соответствует русский текст: «Однако нет — лицо Марли, умершего семь лет назад, возникло вдруг перед ним, ожившее вновь, как некогда жезл пророка, *и заслонило все остальное*».

Интересуясь Диккенсом и высоко ценя его, Толстой читал и перечитывал произведения великого английского писателя по крайней мере трижды: в молодости, в пятидесятых годах прошлого века; в 1885 году, подбирая материал для издательства «Посредник», деятельность которого он тогда направлял; и в старости, в 1905 году, составляя календарь, так называемый «Круг чтения» [7].

Издательство «Посредник», по совету Толстого, выпустило в сокращенном и переработанном виде произведения Диккенса. Оно придало книжкам привлекавшие широкого читателя того времени интригующие и разъясняющие содержание заголовки. «Любовь в тюрьме, или Маленькая Доррит» («Крошка Доррит»), «Дочь каторжника, или Из кузницы в богатство» («Большие ожидания»), «Страшные видения, или Воскресшая душа» («Рождественская ночь»), «Дети богача» («Домби и сын»). «Оливер Твист» в издании «Посредника» назывался «Воровская шайка. Приключения бедного Оливера Твиста» (М., 1900).

Толстой воспринимал Диккенса как живого, духовно близкого человека. Предвкушая удовольствие от чтения Диккенса, Толстой говорил своим домашним в 1905 году: «Там он (Диккенс.— *А. С.*) сидит в моей комнате, дожидается меня. Как хорошо! ...Он любит слабых и бедных и везде презирает богатых» [8].

В своем эстетическом трактате «Что такое искусство?» (1898) Толстой относил произведения Диккенса к высшему роду искусства, способствующему единению людей.

---

[5] Русский текст соответственно в томе 10 собр. соч. Диккенса, стр. 428—429.

[6] Там же, стр. 500—501.

[7] В январе 1905 г. Толстой читал в оригинале «Лавку древностей».

[8] Д. П. Маковицкий. «Яснополянские записки». М., 1923, вып. 2, стр. 25, запись от 4 февраля 1905 года.

ПУБЛИЦИСТИКА

С. КОНДРАШОВ

ЯРОСТНАЯ КАЛИФОРНИЯ

Из американских впечатлений

— Вася, старик,— кричу я в телефонную трубку,— и еще закажи миллионера. И слышу хрипловатый, энергичный, насмешливый голос:

— Что, брат, миллионера тебе захотелось?..

Не так уж трудно «заказать» миллионера, если путешествуешь по Штатам с рекомендательными письмами знакомого редактора «Бизнес уик» и к тому же сам — корреспондент «Экономической газеты», каковым и являлся Василий Иванович Громека. Кроме того, в Америке, если верить знатокам, девяносто тысяч миллионеров, больше, чем, к примеру, зубных врачей, хотя известно, что никто в мире не приучен так заботиться о зубах и улыбке, как американцы. Наконец речь идет о миллионере из Лос-Анджелеса, из Южной Калифорнии, где этот подвид плодится, пожалуй, даже быстрее, чем на нефтяных полях Техаса.

Уже несколько недель Василий Иванович в пути — с женой Таней и машиной марки «фьюри», изделием автомобильной корпорации «Крайслер». В трансконтинентальном пути.

Сидя за письменным столом в Нью-Йорке, я завидую Василию Ивановичу, который словно дразнит меня звонками из разных городов. Я тоже давно мечтал о неспешном трансконтинентальном путешествии по Америке. Помешала текучка, беличье вращенье корреспондента ежедневной газеты на орбитах страны, где события догоняют, перегоняют и захлестывают друг друга и людей, призванных следить за ними. Помешала боязнь покуситься на время, которое принадлежит «Известиям». И, что скрывать, обманула вечное, неразумное, но неискоренимое российское ощущение, что все впереди и некуда торопиться. Теперь позади шесть с половиной американских лет, а впереди — всего лишь месяц, сроки отъезда согласованы, преемник сидит в Москве на чемоданах. Уже несбыточна давнишняя мечта, но лучше что-то, чем ничего, и я с радостью хватаюсь за предложение коллеги проехаться по Калифорнии — от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско через Йосемитский национальный парк и курортный городок Кармел на Тихом океане.

Миллионер, заказанный по телефону,— штришок программы. Без Калифорнии не обойтись, если всерьез интересуешься Америкой. Это быстро развивающийся, самый населенный из пятидесяти штатов. Там живет почти десять процентов американцев, и многие из них уверены, что именно Калифорния, а не дряхлеющий Нью-Йорк, будет лидировать в последней трети нашего века и, как бога за бороду, первой потрогает век XXI.

■

И вот 21 мая 1968 года — давайте определимся во времени — рейсом номер один компании «Транс уорлд эрлайнс» лечу в Лос-Анджелес. Лечу, а не еду — четыре тысячи километров за пять часов. И Америка ли за овалом иллюминатора? Тучки небесные — вечные странники закрыли белесым космополитическим ковром все национальные приметы лежащей внизу земли.

Но в чреве «Ди Си-8» Америка в двух популярных ее ипостасях — комфорта и рекламы. Комфорт скромненький, туристского класса,— чистенько, но тесновато, ног не вытянуть, правый свой локоть удерживаешь, блюдя границу с соседом на общем

Из книги «Американцы в Америке», готовящейся к печати в издательстве «Известия».

подлокотнике кресла. Словом, как в Аэрофлоте. Но этого скупо отмеренного комфорта касается дирижерская палочка рекламы и с минимумом затрат приносит максимум психологического эффекта, превращая рядовой комфорт в экстра. Нужно, правда, твое согласие, твое участие, пусть подсознательное, в некоем ритуальном таинстве современного культа сервиса.

Итак, ты летишь туристским классом, и досадный червячок неполноценности нет-нет да и шевельнется в тебе. Какие, однако, пустяки! Легкий сеанс психотерапии — и нет туристского класса, хотя осталось то же тесное кресло и локоть соседа по-прежнему елозит на разграничительной меже,— милый девичий голосок, которому ты заказывал по телефону билет, интригующе подключил тебя к клубу избранных, прошелестев в ухо: «Это будет полет с иностранным акцентом. В пути вас ждет обед из трех блюд и фильм «День злого револьвера».

Этим не исчерпаны приятные метаморфозы, ибо на той же ярмарке тщеславия твой крылатый корабль переименован в «пентхауз», а что такое пентхауз, как не мечта миллионов, как не роскошное жилище богачей на самых верхних этажах манхеттенских домов, где лифт для тебя одного и твоих домочадцев и огромные балконы-солярии, воздух почище, шума поменьше, деревья в кадках под окнами — те самые деревья в поднебесье, которые смущают людей, впервые задирающих головы перед небоскребами.

«Пентхауз Манхеттена» — фирменная марка рейса, которым доставляет тебя в Лос-Анджелес компания TWA, и это не пустой звук, а почти действительность. Ты желанный гость на некоем рауте: свет в кабине интимно приглушен, золото сладострастно вспыхивает на вечерних туалетах стюардесс, и разве трудно забыть, что золото это снимут и выбросят в мусорную корзину уже в лос-анджелесском аэропорту — оно синтетически-бумажное, одноразовое.

Включайся в эту игру, прикупив за доллар стакан виски с содой. Включайся... И уже развернут в проходе миниатюрный экран, и кинолуч, высветив высокие спинки кресел и затылки впереди сидящих пассажиров, начал предсказанную повесть о дне злого револьвера. Напрягшись четырьмя своими двигателями, прекрасная рабочая машина, переименованная в пентхауз, стремится на запад в ледяных, уже темных высотах, а ногам твоим тепло, над головой плывут раскаленные кинематографически красивые пески где-то в Аризоне, недалеко от Мексики, и, утопая в этих песках, двое длинноногих бродяг с револьверами потешают тебя глупыми кровавыми приключениями...

Где же я? В кабине самолета? В манхеттенском пентхаузе? В аризонских песках? Кто я: пассажир, летящий по своим делам и заботам, невольный гость на вечеринке, где мило хозяйничают вот эти, в золоте и с высокими прическами, девушки — покрасивее для первого класса, поплоше для остальных,— или кинолюбитель-оригинал, смакующий историю злого револьвера на высоте десяти и на скорости в восемьсот километров?

И как странно, как кощунственно, черт побери, что меня не увлекает перспективная идея кинопроката в самолете, которая со временем и с известным запозданием придет, я думаю, и в Аэрофлот, а пока здесь, в американском небе, да еще на трансокеанских трассах развивает великую рекламную концепцию жизни как сплошного удовольствия и развлечения! Не потому ли, что этот реактивный кинопрокат сродни громкоговорителю на городской площади или транзистору в руках глупого энтузиаста, убивающего лесную тишину? В дороге, как ни коротка она, хочется по старинке побыть с самим собой, без киноактеров Глена Форда и Артура Кеннеди и даже без игры в пентхауз. А может, я просто устал от рекламных штучек, пожив в стране, где людей кормят и кормят всяческой, но преимущественно коммерческой, информацией? А может быть, все дело в данном дурацком фильме, в контрасте между вульгарностью вкусов и динамизмом технического прогресса, буднично забросившего кинопрокат в чрево рейсового самолета? Будь иным преобладающий вкус, иным, наверно, был бы и фильм.

Я сую в кармашек кресла наушники в целлофановом пакетике, принесенные стюардессой, и вынимаю блокнот со старыми записями о Лос-Анджелесе. Не дает, однако, покоя эта пара в серых штанах на фоне красивых желтых песков, слепящего солнца и глухих мексиканских построек. Поглядываю на экран, не надевая наушников и мстительно обрекая пару на немоту. Они беззвучно разевают рты, беззвучно стреляют, выхватывая свои револьверы,— который из них злой? — беззвучно страдают, привязанные к кольям, плашмя распростертые на жгучих песках под жгучим солнцем. По моей воле они все делают молча — спасают от индейцев пленительно беспомощных белых леди с детьми, убивают краснокожих, а потом коварного и тучного злодея-мексиканца в сомбреро, а потом даже капрала американской армии и всюду пока выходят сухими из киноводы среди пустыни.

В старом блокноте мало записей о Лос-Анджелесе.

В апреле—мае 1962 года мы с товарищем пересекли Америку поездом из Нью-Йорка до Сиэтла, где открывалась международная выставка «Век XXI», а потом спустились южнее — в Портленд (штат Орегон), Рино (штат Невада) и в Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

На Лос-Анджелес выпало два облегченно-туристских дня. Привечал нас Совет международных дел — общественная добровольная организация с чересчур громким именем и деловым гостеприимством для иностранцев-транзитников, решивших мельком поглазеть на местные диковины. Чем был для нас Лос-Анджелес? Жалким соперником обаятельного Сан-Франциско. Безвестным и безликим городом, приютившим знаменитый Голливуд. И так же, как в Каире ездят к великим пирамидам Гизы, так мы поехали к «Китайскому театру», где с конца 20-х годов на плитах перед входом увековечивали в бетоне отпечатки рук, туфель и ботинок голливудских кинозвезд — экстравагантный, уже вышедший из моды, недолговечный способ расчеркнуться в истории.

Запомнился еще визит в лос-анджелесскую штаб-квартиру «Общества Джона Берча». Помещение на улице Серана, 618, было невелико и пусто. На столе и стеллажах литература — двадцать выпусков берчистского издания «Американское мнение», которое обличает коммунистов, либералов, Африку, Азию, Латинскую Америку и многое-многое другое. В книжном шкафу красовались за стеклом портретик невзрачного капитана Джона Берча, именем которого названо общество, и непременный звездно-полосатый флаг — флагу-то присягают все, от крайне правых до крайне левых.

Во второй комнате болтала по телефону молодая особа, довольно привлекательная. Набрав брошюрок, мы подошли к ней, и, когда она повесила трубку, мой товарищ, не тратя времени на психологическую подготовку, сказал: «Может быть, вас это удивит, но мы советские журналисты». Это удивило ее, да так, что багровые круги пошли по лицу Жаннет Маклоски, любимой дочери мелкого бизнесмена из Колорадо, сидевшей там за столом не ради долларов, а по призванию. Но никогда не приуменьшай выдержки американца, особенно американца, который по роду своих занятий общается с прессой. Жаннет Маклоски быстро справилась с волнением, хотя прелестный майский полдень обрушил на нее колоссальную проблему: как перепрыгнуть от теоретической ненависти к своим врагам к конкретной ненависти к двум довольно молодым, любезным, приличным, что называется, людям, не внушающим особого страха? В жизни своей Жаннет лишь раз видела живую американскую коммунистку, да и ту мельком.

Тем не менее, не забывая улыбаться, она бесплатно нагрузила нас полным собранием берчистской литературы, а также «Коммунистическим манифестом» в издании «Общества Джона Берча».

— Мы изучаем тех, против кого боремся,— сказала Жаннет.— Может быть, и вы чему-нибудь научитесь из наших публикаций.

На том мы и расстались — не только с Жаннет Маклоски, но и с Лос-Анджелесом, потому что спешили к самолету. Мы мчались по улицам, по автострадам Голливуд-фривей и Харбор-фривей, а за нами, меняясь местами, выскакивая из поперечных улиц, закладывая сложные виражи, шли три машины с агентами ФБР, и, достоверности ради, я записал номера двух из них. В машинах было шесть человек, и каждый по профессиональной натасканности на крамолу и рвению «охотников за ведьмами» годился в наставники молоденькой берчистке: уходя в отставку, штатные сыщики частенько становятся активистами и агитаторами «Общества Джона Берча»...

Между тем в «Пентхаузе Манхеттена» день злого револьвера близился к концу. И спрятав блокнот, я с удивлением вижу, что не к «хэппи-энд» катится история, а к трагической развязке. Злой-то револьвер у того бродяги, роль которого играет опытный киноковбой Глен Форд. И когда вдвоем они все-таки одолели пустыню и пришли в маленький пыльный городок, его товарищ (известный драматический актер Артур Кеннеди) решил убить Форда, но в последнее мгновение сам был сражен пулей из злого револьвера. Был сражен и квалифицированно прокрутился на городской площади, вскинулся в предсмертном вздохе, затем первоклассно согнулся и финально рухнул, откинув длинные ноги в походных бутсах.

Так пассажиры скоротали полтора часа и тысячи полторы километров, и не успели Артура Кеннеди, голубчика, протащить в пыли за длинные ноги сквозь невозмутимую толпу на площади кинематографического городишка прошлого века, как под крылом нашего «Ди Си-8» феерическими электроплитками заплясали (если вспомнить метафору современного поэта) огни вечернего Лос-Анджелеса 1968 года — бегущие огни автострад, неоновое ритмичное мигание реклам и вывесок, свет жилищ и подсветка домашних бассейнов для плавания. Ослепительный прожектор самолета добавил свое в это пиршество, и среди сонмища огней пилот без промаха нашел синие приземистые фонари, окаймлявшие мрак посадочной полосы, и мягко посадил машину на исчерченный тяжелыми шасси бетон аэродрома, пропускающего в год пятнадцать миллионов пассажиров, и, покачав нас в поясных ремнях, как к домашнему гаражу, подрулил к тому району аэродромного комплекса, где всюду сияли буквы TWA, сообщил местное время и погоду, поблагодарил нас за то, что мы прибегли к услугам TWA, и, попрощавшись, попросил не забывать три магические буквы, когда нужда или охота снова позовут в воздух.

А буквы множились, закрепляясь в памяти,— на боках багажной тележки, подскочившей к грузовому люку, на карманах, спинах, шлемах рабочих в белых полотняных комбинезонах, на гармошке раздвижного коридора, который четырехугольным жерлом надвигался на открывшуюся дверь самолета. И сказав «гудбай» двум девушкам

в золотых платьях, устало доигрывавшим у двери роль хозяек, я шагнул на ковер коридора-гармошки под неведомо откуда льющуюся негромкую, мелодичную, нежно-успокоительную музыку, которая внушала: в этом будничном путешествии не было, как ты видел, ничего страшного, но, если ты все-таки переволновался, прислушайся, стряхни напряжение, ведь ты на земле, и хотя, увы, выходишь из-под нашей опеки, мы надеемся, что все у тебя будет ладиться, все будет так же спокойно и безопасно, как в небе между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом.

После предпосадочного запрета первая, земная, сладкая сигарета. Лента транспортера сбрасывает чемоданы на медленно вращающийся широкий металлический круг. Громкий смех, поцелуи и тумаки каких-то воссоединившихся друзей. Завидно. А ты один, лишенный опеки TWA и еще не определившийся на месте, где когда-то был и где, однако, все внове,— настороженный, чужой человек.

Впрочем, где-то среди моря огней, которое открылось с борта скользившего вниз самолета, должен быть один дружеский огонек. Беру такси и говорю молодому таксисту из мексиканцев: «Бульвар Ла Сьенега, 1775, Саут». Такси вливается каплей света в вечернюю холодную таинственность автострад и через миллионы других частиц света несет свою каплю к сине-красному неону мотеля «Аннес», к вывеске, которая сжатым для автомобилиста языком сообщает о «свободных комнатах, ТВ, фоне (телефоне), подогретом бассейне — верх комфорта по умеренным ценам».

Там мои товарищи и их темно-синяя «фьюри» — фурия, благородная, целеустремленная ярость двухсот лошадиных сил. Мы будем неразлучны полторы недели, а потом «фьюри» скроется за поворотом Турк-стрит, Василий Иванович и Таня начнут обратный трансконтинентальный пробег по северному маршруту, оставив меня одного в Сан-Франциско.

■

Утром, едва мы успели навестить закусочную на углу, управиться с омлетом, тягучим, как спагетти, и перелистать самые стоящие из полутора сотен страниц пухлой будничной «Лос-Анджелес таймс» (в воскресном выпуске этой процветающей газеты не меньше пятисот страниц), как к мотелю «Аннес» подкатил полуспортивный приземистый «мустанг». Из него вышел мужчина среднего роста, лет сорока с лишним, помолодому легкий и верткий, с острым, будто слегка обугленным лицом — Том Селф, заведующий отделением «Бизнес уик» в Лос-Анджелесе, наш главный гид и опекун. Через пять минут мы были друг для друга Томом, Василием, Станиславом, без фамилий и приставок «мистер»,— приятелями, связанными одним делом.

Для начала Том, разумеется, вытащил из кармана пиджака сложенный вчетверо листок бумаги — нашу программу. Солнечное утро манило на бульвар Ла Сьенега, но программа диктовала скорость и темп. Раз согласился жить по закону американской деловитости, пеняй на себя: твой день расчертят по минутам, а пешие прогулки, праздношатание по незнакомому городу — блажь, на взгляд деловых людей.

Итак, мы выскочили на автостраду. Том прибавил газу и перевел машину в левый, самый скоростной ряд. «Мустанг» зашуршал шинами по ребристым бугоркам, которыми на лос-анджелесских автострадах обозначены разделительные линии. Машины шли по четыре ряда в обе стороны. Нью-йоркских предупреждений о максимуме скорости не было, а минимум был в пятьдесят миль — восемьдесят километров.

И на огромных зеленых щитах — указателях съездов, въездов и развязок — замелькали названия соседних городов, как некий поминальник католических святых, доказывающий, что первыми из европейцев Калифорнию осваивали францисканские монахи: Сан-Фернандо, Сан-Габриэль, Сан-Бернэрдино, Санта-Диего, Санта-Ана, Санта-Моника и т. д. Мы пересекли границу Лос-Анджелеса, въехали в другой город, но так и не видели ничего похожего на сельскую местность, все тот же городской пейзаж мелькал справа и слева — с домами, фабричными корпусами, стальными плетениями нефтеперегонных заводов, бензостанциями, торговыми комплексами.

Тянулся и тянулся один нескончаемый город: мегаполис — многоград.

Так и пошло...

Четыре дня сумасшедших фривеев и разных оффисов, а когда график нашей поездки, утвержденный госдепартаментом, продиктовал разлуку с Лос-Анджелесом, мы простились с веселым Томом и федеральная дорога № 27, словно катапульта, забросила нас назад, в глубину континента, за четыреста миль от Лос-Анджелеса. И только там в мирном селеньице Фиш-Кэмп и под гигантскими секвойями на южной окраине Йосемитского парка застопорилось время, и, прокрутив в памяти эти сумасшедшие дни, я словно похлопал себя по карманам: а не забыл ли чего?

Забыл чуть ли не главное — осмотреть Лос-Анджелес самыми надежными в мире глазами пешехода. Город мелькал за окном машины. Как и краткость знакомства, этот взгляд из «мустанга» и «фьюри» подрывает мои полномочия у дотошного читателя, который любит не только все осмотреть, но по возможности и ощупать. Правда, у меня есть союзники — лос-анджелесцы, воспринимающие свой город с колес. Разве не позволительно заезжему человеку взглянуть на Лос-Анджелес так, как смотрят его жители?

Как известно, в маленьких и не очень маленьких городах автомобильной Америки пешеход еще с конца двадцатых годов вытесняется как анахронизм, за пре-

делами торговых и деловых центров тротуары зарастают травой или вообще отсутствуют — пешеходные дорожки не нужны, люди переместились на мостовые, в машины. Но в таких городах-гигантах, как Нью-Йорк и Чикаго, в таких «компактных» городах, как Сан-Франциско, жители еще не разучились ходить пешком, по тротуарам, хотя бы потому, что негде поставить машину, платные автостоянки дороги, а общественный транспорт довольно широко развит. Среди крупных городов Лос-Анджелес — исключение. Пешеход там — большая редкость, как в маленьких городах.

Так что же дурного в том, чтобы смотреть Лос-Анджелес по лос-анджелесски? Свидание с миллионером? Нырнули в подземный гараж «Сенчури-сити» и прямо из подземелья поднялись на «музифицированном» лифте в оффис на семнадцатом этаже. Нефтеперегонный завод «Ричфилд-Атлантик» осматривали из директорской машины, с директором за рулем, пешком прошли лишь в помещение пульта управления, ибо машина не проходила в дверь. Перед университетским городком легкая застекленная будка пропускного пункта. Университетский полицейский, чертя карандашом по карте-схеме, объясняет, как проехать к нужному зданию, где оставить машину. На бульваре Ла Сьенега подкатываешь под козырек ресторана, ключ — бою в фирменной накидке, он позаботится о машине, отведя ее на стоянку для гостей, а когда пообедаешь, подаст машину ко входу.

Правда, в Диснейлэнде мы на пару часов разлучились с «мустангом» Тома, постаравшись покрепче запомнить ряд и место на стоянке, где были тысячи машин. Том Селф страдал. Предощущая долгую ходьбу и мозоли на автомобилизированных ногах, захватил пару разношенных легких ботинок.

Между прочим, Том рассказал нам, что в Диснейлэнд приезжают не только развлечься, но и по делу, обменяться опытом crowd management — управления толпой. Умение максимально быстро и организованно пропустить десятки тысяч людей немаловажно в век массовых зрелищ и больших людских скоплений. Очереди, оказывается, есть научные и ненаучные. Даже не зная теории, нетрудно догадаться, что научно организованные очереди — это такие очереди, которых пока нельзя избежать, но зато можно заставить быстро двигаться, экономя время и нервы стоящих. Ненаучные очереди не нуждаются в характеристике и, увы, слишком хорошо нам известны. Простейший пример, когда труд продавца за прилавком организован, как и десятилетия назад, продукты не расфасованы — роскошь, на которую в Штатах идут лишь магазины деликатесов, рассчитанные на гурманов-богачей,— а кассовые аппараты не обучены автоматически выводить сумму выбитого и сдачу (что давно делают их собратья в Америке), заставляя кассиршу щелкать на допотопных счетах и расходовать на каждого покупателя в три-четыре раза больше времени, чем в очереди рациональной.

Но вернусь к лос-анджелесским впечатлениям. Какой отличительный знак у этого города?

Широкий, нарядный, заставленный громадами банков и корпораций Уилшир-бульвар известен на Западном побережье США так же, как на Атлантическом — Пятая авеню или Медисон-авеню в Нью-Йорке. Иметь здесь контору престижно, земля по дороговизне уступает лишь манхеттенской. Но нет, это не символ Лос-Анджелеса.

Так, может быть, Голливуд? Может быть, но только для заезжих чудаков, живущих инерцией давних представлений. Нигде, пожалуй, не говорят о Голливуде с большей насмешкой, чем в Лос-Анджелесе, с насмешкой и даже досадой на наивную экзальтацию гостей, с ходу высыпающих свои надоевшие вопросы о Голливуде. Как не понять эту досаду? Золотой век Голливуда был короток и уже кончился, а Лос-Анджелес — устремленный в будущее, самый быстрорастущий из крупных американских городов. По населению (три миллиона в собственно Лос-Анджелесе) он стоит на третьем месте после Нью-Йорка и Чикаго. По объему промышленной продукции обогнал Чикаго еще в 1964 году. Впереди один Нью-Йорк, и кто поручится, что «имперский город» сохранит свое первенство. А Голливуд? Он в перманентном кризисе после прихода массового телевизора — самом скорбном для него, финансовом, кризисе. С довоенного времени население США выросло на одну треть, цена кинобилетов — вдвое за 60-е годы, а кассовые сборы кинотеатров сократились на одну четверть с 1946 года. Развитие техники породило кинематограф, а теперь интенсивно старит его. Как железнодорожные вокзалы во многих американских городах сражены аэропортами и автострадами, так и огромные роскошные кинодворцы ветшают полупустыми, ибо любители зрелищ удобно расположились на диванах у семейных телеэкранов. Голливуд еле выжил, вступив младшим партнером в унизительную сделку со своим злейшим врагом, приспособив павильоны и рабочую силу для производства телешоу и телефильмов, хотя по-прежнему его лихорадит и годовые совокупные дефициты кинокорпораций вертятся вокруг губительной цифры в сто миллионов долларов. Его фальшь и вульгарная красивость, потакание дешевому вкусу во многом развенчаны, и не случаен феномен «независимого кинематографа», возникший в последние годы, закономерны отчаянные попытки найти дорогу к молодому бунтующему зрителю и необычный в устах кинодельцов лозунг «Поставить звезд на место!». Звезды с их капризами и миллионными контрактами перестали быть рентабельными, пора супербоевиков на библейские темы прошла, в повестке дня — экономия и еще раз

экономия, фильмы с «невысокими бюджетами», сокращение штатов, перетряска руководящих кадров.

Нет, не годится Голливуд в символы Лос-Анджелеса.

Так, может быть, «Сенчури-сити», о котором много говорят, который любят показывать — элегантный микрогород стоимостью в полмиллиарда долларов: 28 административных зданий, 22 жилых, отель на восемьсот номеров, большой торговый центр. К моменту нашего посещения «Сенчури-сити» в основном был построен; нечто вроде тамошнего Нового Арбата, только для Лос-Анджелеса он не единичен и, к сожалению нашему, более качествен.

«Сенчури-сити» — это «Горо́д столетия», хотя сама его история предостерегает от панибратства с будущим: ведь, к слову сказать, совсем недавно владельцем земли, на которой он стоит, была кинокорпорация «Двадцатый век — Фокс», считавшая, что именно кинематографу принадлежит XX век. Но уже во второй трети века ей пришлось приторговывать землицей, запасенной впрок, и удачливая алюминиевая корпорация «АЛКОА» возвела теперь свой «Город столетия», полагая, что ее продукт окажется долговечнее. Но и этот проблематичный город будущего — лишь штрих Лос-Анджелеса.

Раздосадованные давнишними упреками в том, что лос-анджелесцы — вульгарные бизнесмены, без вкуса и любви к искусству, богатые меценаты вложили миллионы в великолепный, изящный комплекс «Мюзик-сентер». Примечательный для сегодняшней Америки факт, но отнюдь не главная достопримечательность Лос-Анджелеса.

Хватит, однако, загадок. Символа Лос-Анджелеса не найти среди домов, улиц, архитектурных комплексов. Я согласен с теми, кто видит его в знаменитых freeways — в дорогах. Странный для города символ — дороги, но необычны дороги, необычен сам город, необычен и век, в который заглядывает он первым в Америке. Это мощные жгуты фривеев фотографируют с воздуха, когда хотят передать зрительный образ Лос-Анджелеса. По главной лос-анджелесской достопримечательности ездят миллионы людей, она ложится под колеса миллионов автомашин...

■

Лос-Анджелес потерялся среди своих дорог, очерк о нем «связать» трудно. И чем труднее рационально «подытожить» его, тем больше дорожишь сквозным, пронизывающим все ощущением — неотвязным ощущением скорости и темпа, бега мощных машин, освобожденных от пут светофоров. О Лос-Анджелесе можно, конечно, рассказать статистикой. Но цифры, хотя к их помощи придется прибегнуть,— мертвы, если они отражают действительность другую, незнакомую. Читателю трудно соотнести их со своим опытом.

Не ради красного словца пришли мне на ум две метафоры. Люди слились со своими автомашинами. Люди на фривеях, как кентавры,— не мифические, но необыкновенные. Вот они несутся и сзади, и спереди, и по бокам от тебя, нагнув гривы голов, нависнув над баранкой, слившись с корпусом машины, выдвинув вперед щит ветрового стекла. Но если мифический кентавр был как бы на грани между животным и человеком, как бы перерастал в человека, отделяясь от животного, то кентавр лос-анджелесский уже «перерастает» человека. Во что?

И другая метафора, рожденная фривеями. Уже через день-другой ощущение перманентной скорости так пропитывает тебя, что, кажется, совсем не удивишься, увидя за следующим плавным виражом фантастический космодром с ракетой, нацеленной в зенит, и — ты вполне подготовлен к этому чуду — влетишь, не замедляя движения, в космический корабль, а все остальное будет лишь деталью, не новым качеством, а лишь количественным приращением до второй космической скорости. И растворишься во Вселенной. Распылишься. Атомизируешься... Во имя чего?

Даже Нью-Йорк, который всегда казался мне сложным концентрированным выражением Америки, вдруг предстал из Лос-Анджелеса этаким могучим, кряжистым, но уже усталым старцем, которому не поспеть за молодцом, чуть ли не сколком «старой доброй Европы».

Но что же такое конкретнее фривеи, этот вещественный и символический образ Лос-Анджелеса? Freeway — свободный путь. Свободный от светофоров и других ограничений скорости. Свободный и от тех американских будочников, которым автомобилист из окна остановившейся машины протягивает свои центы, а то и доллары, от металлических сеток-автоматов, которые надо ублажить четвертаком, чтобы зажегся зеленый разрешающий глаз. Фривеи бесплатны — в отличие от многих американских автострад. Бесплатны в том буквальном смысле, что за езду по ним не надо платить,— за них платят налогами на дорожное строительство и на бензин.

Это весьма фундаментальные, первоклассные бетонированные автострады средней ценой в три миллиона долларов за милю (бывает и дороже — фривей между центром Лос-Анджелеса и городом Санта-Моникой обошелся по двенадцати миллионов долларов за милю). Стоимость строительства покрывается из бюджета штата Калифорния, за счет федеральных ассигнований, автомобилистами, платящими налог в семь центов с каждого купленного галлона бензина, а также за счет других специальных налогов.

Лос-анджелесские фривеи не уникальны — по добротности, качеству, ширине у них много соперников в Америке, которая привыкла удивлять мир, а не самое себя, фривеями, хайвеями, тернпайками, экспрессвеями и проч. И многие американские города продуваются сквозняками бессветофорных автострад. Но нигде, пожалуй, фривеи не вторгаются так лихо и свободно в пределы большого города, как в Лос-Анджелесе, нигде они не задают тон так властно, нигде так не хозяйничают.

Примером пояснить это трудно, так как у нас, кажется, нет таких автострад. Но для наглядности представьте, предположим, Садовое кольцо в Москве. Удлините его до восьмисот километров (к 1980 году протяженность фривеев в графствах Лос-Анджелес, Вентура и Ориндж составит две с половиной тысячи километров, на всю систему ассигновано 5,2 миллиарда долларов), разрежьте на неравные отрезки и, сочленив их мощными, взлетающими или ныряющими под землю развязками, пустите на все четыре стороны света.

Уберите с этого американизированного Садового кольца светофоры, а скорость в 70 миль (112 км.) в час пусть будет рядовой скоростью. Сметите, сломайте, выровняйте подряд все, что мешает стремительному рывку фривея в пространство, отодвиньте уцелевшее подальше от его обочин, образовав широкую зону отчуждения,— при строительстве 27-километрового фривея Санта-Моника за компенсацию в 95 миллионов долларов уничтожили 4129 жилых домов, банков, предприятий, церквей, магазинов и выселили около 15 тысяч жителей.

В центре вместо резервной полосы соорудите металлические барьеры, задача которых принять на себя удар потерявшей управление машины и не дать ей врезаться во встречный поток — худшая из возможных катастроф, а по обочинам — такие же барьеры и металлические сетки. Свободный путь абсолютно свободен от всего живого, что не на колесах. Эти бетонные полосы шириной в семьдесят метров разлинуйте на восемь рядов — по четыре в каждую сторону.

Дайте фривеям с десяток звучных названий городов и графств, с которыми они соединяют Лос-Анджелес: Санта-Моника, Вентура, Пасадена, Сан-Диего, Харбор, Лонг-Бич, Голливуд и т. д.

И, наконец, набросьте их мощную сетку на небольшую часть Южной Калифорнии. Площадь графства Лос-Анджелес — десять тысяч квадратных километров. На этой площади собственно Лос-Анджелес царит почти над сотней младших братьев-сателлитов, над хаотичным конгломератом городов, городков и городишек. К тому же границы их причудливы. В «мегаполисе» Большого Лос-Анджелеса — семь миллионов жителей. И четыре миллиона автомашин — самая высокая в США, да, видимо, и в мире, концентрация.

Крупным городом Лос-Анджелес стал в эпоху массового автомобиля, наступившую в Америке в 20-х годах. С 1910 года население Нью-Йорка и Чикаго увеличилось менее чем вдвое, Лос-Анджелеса — почти в десять раз. Старые города, сложившиеся до автомашины, не могли не развивать общественный транспорт, строили подземки и надземки. Лос-Анджелес по существу начал с индивидуального авто. Город рос не ввысь, как Нью-Йорк и Чикаго, а вширь, и со временем неизбежно пришла очередь фривеев и космические масштабы его автомобилизации.

Три четверти работающих ездят на работу в собственных машинах. Типичный житель между делом, а точнее — между работой и домом, одолевает в день по сто и больше миль, и не из любви к своему авто, а в силу необходимости. Разбросанный город, экономически тесно связанный с округой, вынуждает его к повышенной мобильности. А сеть фривеев дает ему известную независимость: он может жить в десятках миль от места работы. Он мобилен не только в выборе работы и жилья, но и на отдыхе. Горы, океанские пляжи, стадионы и ипподромы в соседних городах — все в пределах досягаемости, если его дом недалеко от одного из фривеев: въехав на свой фривей, он уже подключен ко всей их сети.

За разбросанность города, разумеется, надо платить. После известного мятежа в августе 1965 года в негритянском гетто Уоттс писали, в частности, о том, какая прямая взаимосвязь существует между высокой безработицей негров, разбросанностью Лос-Анджелеса и никудышным городским транспортом. Вот один из жестких парадоксов автомобилизированной Америки: человек должен иметь машину даже для того, чтобы искать себе кусок хлеба, работу. Парадокс этот малопонятен со стороны, но безмашинные негры как бы замурованы в своем Уоттсе, даже если колонки газетных объявлений предлагают работу за пределами гетто. Между прочим, в сравнении с огромными суммами, отпускаемыми на сооружение фривеев, помощь лос-анджелесским беднякам мизерна. Явление достаточно типичное: власти охотнее и щедрее расходуют бюджетные деньги на разного рода услуги (включая и услуги в виде автострад) «среднему классу», чем на жизненно важные потребности бедняков в работе, пище, жилье. Такой подход, как ни странно, оправдывают соображениями справедливости: «средний класс» многочисленнее бедняцкой прослойки, платит больше налогов, а раз так, то его «налоговые доллары» должны идти на удовлетворение его же нужд...

Америка немыслима без дорог, динамики больших городов и, разумеется, машин. Лос-Анджелес кажется крайним, почти абсолютным синтезом этих трех физи-

ческих элементов американской цивилизации, Америка глядится в него как в волшебное зеркало, пытаясь угадать свое будущее, и... частенько в оторопи отшатывается от этого роудсвилля — дорогограда. В гимне его ревущих денно и нощно фривеев не только упоение, но и тревога.

■

Как объяснить, что чрезмерная автомобилизация, как и недостаточная, тоже несет с собой проблемы — другие, но немалые? Объяснить читателю, который, скорее всего, мечтает о собственной автомашине? Как объяснить человеку, не знающему, что такое попробовать вздохнуть полной грудью на углу 50-й улицы и Авеню Америкус в пять вечера в июле, что московский, отнюдь не чистый, воздух кажется деревенским после нью-йоркского? Или что такое нервы, когда ты опаздываешь на деловое свидание и, чертыхаясь, кружишь по улицам, пытаясь куда-то всунуть свой «шевроле», а машины стоят бампер к бамперу и слева и справа у бровок тротуаров и свободные места есть лишь там, где столбы с запретительными знаками, и очереди машин даже у подземных платных парковок? Или что ты не можешь проникнуться величием Гудзона, текущего под окнами твоей нью-йоркской квартиры,— «глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина»,— потому что величие перебито неумолчным ревом машин — день и ночь, день и ночь — на прибрежной автостраде, и тебе уже не до величия, а лишь бы, измочаленному, заткнуть уши ватой и ночью выспаться хотя бы в относительной, ненадежной тишине? И однажды вырвешься из Нью-Йорка в путешествие за тишиной, но и глушь американская — сплошь в автомашинах, и в провинциальных мотелях тебя будут преследовать — день и ночь, день и ночь — шелест шин по асфальту, щелканье дверок, взвизги тормозов, «аромат» выхлопных газов и дьявольский, обухом по голове, свист «траков» — тяжелых дизельных грузовиков с прицепами. И как минута счастья, сбереженная в памяти на всю жизнь, всплывет некое — в отпуске от Нью-Йорка — рандеву с самой, бог ты мой, обыкновенной мартовской снежной поляной среди тихих берез и под тихим, задумчиво пасмурным небом подмосковной Пахры: «Тишины хочу, тишины... нервы, что ли, обожжены?..»

Но не индивидуальна ли эта проблема тишины и не хочет ли автор, у которого, видно, сдавали нервы, навязать свои эмпирические ненаучные ощущения? Нет, не индивидуальна, и наука уже спешит на помощь со своими децибелами, потому что миллионы встревоженных эмпириков призывают ее как авторитетного судью. Децибелы — это единицы, в которых измеряется уровень шума. Восемьдесят пять децибелов — вот опасная граница, переход которой, по мнению ученых, может угрожать глухотой при условии постоянства шума, а также заболеваниями сердечно-сосудистыми, желез внутренней секреции и дыхательных путей, нервными расстройствами и повышенной раздражительностью. За последние шестнадцать лет уровень шума, которым окружен городской житель Америки, удвоился. А специалисты, изучавшие вопрос по поручению нью-йоркского мэра Джона Линдсея, пришли к драматическому заключению, что шум в Нью-Йорке «достиг уровня достаточной интенсивности, непрерывности и постоянства, чтобы создать угрозу жизни городских жителей».

Массовый индивидуальный автомобиль — не сегодняшний, а завтрашний день для нас, и в этом случае, как и во многих других, наши проблемы совсем другого свойства, чем у американцев. Он нужен, вне всякого сомнения, как и хорошие дороги, он уже запланирован в строящихся и реконструируемых заводах, хотя понадобятся многие годы и даже десятилетия, чтобы приблизиться к американской насыщенности автомашиной, если вообще она может быть эталоном (по официальной статистике 1966 года 79 процентов семей в США имели автомашины, а каждая четвертая — две и больше).

Массовый автомобиль нужен, и тем не менее ответ на вопрос, добро или зло автомобиль, более категоричен и однозначен в нашей стране, чем в Америке, которая громко стонет на весь мир, что автомашины притесняют людей, хотя и не собирается от них отказываться. Явления технического прогресса одноцветно голубые лишь в теории, а в практическом неконтролируемом их развитии голубизну частенько заволакивают грозовые тучи так называемых побочных последствий, тучи реально ядовитые. Эта тема слишком обширна для путевых впечатлений, в последние два года Америка подняла ее на уровень университетов, комиссий конгресса, озабоченных губернаторов, специальных президентских посланий и — что весьма примечательно — растущего, неоформленного, но широкого общественного движения. Защита environment — окружающей среды — от покушений человека стала предметом национальной дискуссии и объектом приложения сил.

Восемьдесят с лишним миллионов машин на дорогах Америки дают сейчас в год более девяноста миллионов тонн выхлопных газов — вот, в частности, в чем проблема, вот в чем, вкратце говоря, побочное следствие автомобилизации. Если брать air pollution — заражение воздуха в арифметическом исчислении, то на долю автомобильных двигателей падает шестьдесят процентов вины, то есть шестьдесят процентов ядовитых газов, причем они-то отравляют воздух на уровне человеческой носоглотки.

Пример Лос-Анджелеса разителен. Не так уж давно его сухой теплый климат рекомендовался легочным больным. Сейчас за такую рекомендацию врача по справедливости могли бы лишить диплома. Чистый воздух убит автомобилем и индустрией, а лос-анджелесский смог — этот, по остроумному выражению, видимый воздух — знаменит в Америке куда как больше лондонского. Впервые смог зарегистрировали 8 сентября 1943 года. С тех пор густой коричневый туман считают «климатическим компонентом» низины, в которой выбросы четырех миллионов автомашин вступают во взаимодействие с лучами южного солнца, порождая фотохимический окислитель, как по-научному называется смог. От него жухнут листья на деревьях, разъедаются резина, хлопчатобумажные ткани и легкие (эмфизема легких — самое быстрорастущее заболевание в США), краснеют веки раздраженных глаз и, как предупреждают ученые, убывает знаменитое плодородие калифорнийской почвы, так как содержание окисей азота в воздухе возросло почти в полтора раза, а это сказывается на качестве света, доходящего до земли. Из-за него в лос-анджелесских школах частенько отменяют уроки физкультуры — при интенсивно зараженном воздухе бесчеловечна команда «вдохните глубоко», и зарядка вряд ли уместна в условиях приближения к душегубке.

Знаток поневоле нью-йоркского, я не отведал лос-анджелесского смога. Были лишь разговоры о нем. При нас небо вело себя прилично, и наши знакомые, получив передышку — как первозданно звучит в Лос-Анджелесе это слово,— не столько жаловались, сколько шутили, глядя на небо. Позднее из космической хроники я узнал, что с божественной высоты в сорок тысяч километров экипаж «Аполлона-10» увидел грязное пятно там, где полагалось лежать Лос-Анджелесу.

«Семнадцать лет назад машин было мало, смога не было, подземка работала, городской транспорт был жив, небеса — ясными, голубыми, неотразимыми. Это действительно была земля обетованная. Сейчас ясное небо такая редкость, что когда видишь его после дождя, сердцу тяжко от воспоминаний о давно минувших днях»,— грустью и фатализмом веет от этих слов калифорнийского старожила, известного писателя Рэя Бредбери.

А вот другая, чисто лос-анджелесская печаль киноактера Джека Леммона, озабоченного уничтожением красоты «золотого штата»: «Они хотят проложить фривей через Биверли-Хиллз, а это все равно что искромсать картину Рембрандта. Говорят, что проложить фривей под землей намного дороже. О'кей, пусть будет дороже, но оставьте красоту в покое. Я не считаю, что ничего нет на свете красивее, чем кратчайшее расстояние между двумя точками».

Эти жалобы на небеса и землю можно множить и множить. На первый взгляд, в заявлении Джека Леммона есть налет снобизма, но было бы опрометчиво — издалека и по незнанию — занести его в разряд тех, кто с жиру бесится. Он не одинок. Многие чувствуют себя в плену автомашин и фривеев. У многих обостренный критический взгляд.

С одним из критиков-патриотов я встретился сначала заочно, купив его только что вышедшую книгу «Как убить золотой штат», а потом и очно — в его доме. Журналист-фотограф Уильям Бронсон родился в штате Калифорния, работает в небольшом журнальчике «Плач Калифорнии», и этим-то плачем полна его книга и больше трехсот фотографий, опубликованных в ней. Красота любимого штата затуманивалась на его глазах, как голубизна неба от пелены смога, как гармоничная форма яичной скорлупы, вдребезги разлетевшаяся под клювом гадкого утенка — слепого, неудержимого «прогресса»,— само это слово Бронсон окрашивает иронией, считая, что им прикрываются беззастенчивые дельцы, сделав его синонимом прибыли во что бы то ни стало. Для этого калифорнийца автострады подобны Джаггернауту, оставляющему за собой бетонные пустыни на месте лесов, полей и человеческих поселений, тысячи и тысячи рекламных щитов, частоколом мелькающих вдоль улиц и обочин,— «торгашество в небе», которое посягает на чувство прекрасного и на нормы морали, поскольку основано оно на бахвальстве, а то и прямой лжи, которое «незаконно нарушает наше уединение и наше право путешествовать по своей стране, не будучи изводимыми постоянными призывами: «Купи! Купи! Купи!»

У Бронсона припасены резкие слова против тех, «кто делает деньги в процессе отравления и уничтожения богатств Калифорнии». Отправная его точка — критика «потребительского общества». «Калифорния первой в мире вступила в век массового изобилия и стала наглядным свидетельством неограниченной способности человека осквернять и уничтожать все в поисках наиболее высокого уровня жизни,— пишет Бронсон.— Я ставлю под вопрос ценность все большего и большего числа товаров, если эти товары получены за счет чистого воздуха, пресной воды, птичьего пения, незагроможденных горизонтов и в конце концов нашего собственного здоровья».

Когда мы встретились в Беркли под Сан-Франциско в старомодном каменном особняке Бронсонов, хозяин был приветливо-подозрителен. Ему польстило, что едва ли не первым читателем его книги оказался иностранец. Но картину убиения «золотого штата» он предназначал соотечественникам, и неожиданный международный резонанс внушал Бронсону опаску — как бы его не использовали против Калифор-

нии и Америки. В разговоре он был осторожнее, чем в книге, как бы дезавуировал собственную свою критику. Саркастического запала против бизнеса и других врагов калифорнийской красоты уже не было на устах человека, сидевшего напротив меня в тяжелом кресле.

Потом он прибегнул к контраргументам, взятым из советских газет и журналов, и среди них фигурировал внушительный контраргумент Байкала. Признаюсь, возражать ему было не слишком легко, и дело спасала скорее недостаточная осведомленность Бронсона, а не отсутствие примеров. В конце концов, а точнее — в начале начал вопрос не в словесной пикировке на Клермон-бульваре, а в умении на деле беречь мать-природу, и в этом смысле нам еще предстоит реализовать великие преимущества социализма перед частнособственнической стихией капитализма.

Но я отвлекся от Лос-Анджелеса и того обвинительного счета, который предъявляют его жители. Есть вещи почти неуловимые, из области психологии. Жалуются, что в городе нет community — общины, сообщества, соседских связей, отношений человеческого общежития. Когда американскому журналисту редакция дает задание написать об отшельничестве и отчуждении американцев, Лос-Анджелес сразу же приходит ему на ум — сложившаяся репутация. И он с гарантией найдет то, что нужно, как нашел, например, корреспондент «Ньюсуик» для номера о «больных, больных городах» Америки. Вот комментарий 32-летнего техасца, некоего Роберта Керра, переехавшего в Лос-Анджелес за большим долларом и хорошей работой: «Два впечатления как пощечины — решимость торговцев запустить руки в твой карман и никакой дружбы». Жена согласна с ним: «Одиночество здесь хуже всего. Мы жили во многих городах, но здесь впервые не можем обзавестись друзьями. У соседей то же самое».

Итак, Лос-Анджелес не только разорван фривеями. В мегаполисе при дороге разорвана теплота соседства, приятельства, дружбы. Явление это — всеамериканское, и тоска Роберта Керра по техасским друзьям, пожалуй, лишь иллюстрирует удивительно емкую мудрость: там хорошо, где нас нет. Но в Лос-Анджелесе еще шире амплитуда между необычайной мобильностью, казалось бы снимающей само понятие изолированности, и отшельничеством современных пустынников, забившихся в семейные раковины. Ядовитую радиацию отчуждения не измеришь никакими счетчиками Гейгера, но она — неоспоримый и массовый факт. Потерянность, одиночество и неприкаянность возрастают прямо пропорционально скоплениям человеческих масс, усложненности, высокому темпу и механистичности жизни, помноженным на капиталистическую организацию общества.

...Однажды после очередной встречи мы неслись по фривею Сан-Диего в центр города, в оффис Тома Селфа. Был шестой час вечера — час «пик», повсюду бушевали стада машин, спешивших в домашние стойла. Том, сидевший за рулем, съехал с фривея, замер на красный у светофора. Слева у самого перекрестка стояла разбитая машина, свежеразбитая,— разлетевшееся вдребезги ветровое стекло припудрило мостовую, капот задран и сплюснут, вдавленный радиатор, обнаженные внутренности мотора. Сбоку уже подкатила полицейская машина, а за ней стояла еще одна, тоже подбитая.

— Слава богу, пострадавших нет,— сказал Вася.

Дали зеленый, мы тронулись. Я мельком взглянул на расширившуюся сцену. Жертва была. За последней машиной на тротуаре лежал человек, аккуратно, покорно. Жертва была, но машины не медлили, не останавливались. «Единица» отчуждения, связанного не только с правилами движения, спешкой, напором других машин, но и с тем, что все привычно, с многоопытностью, с огромным количеством информации — в том числе и самой драматической,— которая обрушивается на человека каждый день, наконец, с законом самосохранения, с экономией душевной и мозговой энергии. Ранен он или убит? — какая разница. Ранен, убит — о несчастном на тротуаре думали не больше, чем о человеке, убитом понарошку на телеэкране. Да и можно ли иначе? Автомобильные катастрофы — привычное дело. Чертыхнешь полицейского, приказавшего замедлить скорость, короткий взгляд на жертву — и снова глаза на дорогу, слух — на радионовость, которую мозг уже уравнял с «единицей» информации, только что добытой тобой как очевидцем. Пока доедешь до дому, несчастный на тротуаре уже вылетит из головы. Не донесешь его до разговора с женой за обеденным столом...

Но разве не так же бывает в Нью-Йорке, разве не видели мы этого в Москве? Увы, бывает, видели. В Лос-Анджелесе это показалось еще естественнее, логичнее, прямо согласовывалось с обликом и темпом города.

Через день в университете Южной Калифорнии мы беседовали с профессором Луи Дэвисом, главой нового по своей идее «социально-технологического» отделения. Отделение, первое такого рода в США, открыли за год до нашего визита. Ученые — наполовину естественники, наполовину гуманитарии — бьются там над специфической задачей: как применить математическую методологию систем управления при решении социальных вопросов. Как, например, помочь английским судовладельцам внедрить усовершенствованные методы погрузочно-разгрузочных работ, если это наталкивается на психологическое противодействие профсоюза грузчиков? Как обеспечить

высокую производительность труда на алюминиевом заводе, построенном в сельской местности, если сельская местность почему-то пагубно влияет на производительность?

Профессор Дэвис, сухонький любезный мужчина, оперировал и местным примером: как использовать системы управления при катастрофах на дорогах, как быстрее и рациональнее помочь пострадавшим в условиях напряженного автомобильного движения и пробок на фривеях?

Вспомнив эпизод на перекрестке, я еще раз подумал об амплитуде Лос-Анджелеса: от жертвы на тротуаре до «социально-технологического» специалиста, для которого эта жертва — всего лишь элемент решаемого уравнения. Старомодная помощь ближнему, попавшему в беду, исчезает, во-первых, потому, что на нее не остается времени и энергии, потому, что она вообще не согласуется со стилем и темпом жизни. Во-вторых, она неэффективна, кустарна — потуги случайных одиночек в век, когда и автомобильные катастрофы поставлены на некий поток. На смену идут «социально-технологические системы», увязывающие реакции людей и машин, наука, математика. Да, выход в науке. Но она не управляет стихией машин и фривеев. Она берет на себя скромную задачу сгладить и уравнять наиболее крайние, жестокие проявления этой стихии.

■

Тома Селфа, опытного журналиста, тертого калача, почти двадцать лет вертящегося в деловом мире Лос-Анджелеса, удивить трудно. Он насмешлив и ироничен, но сейчас мы едем на свидание с мистером Генри Синглтоном, и Том преисполнен любовного восхищения. У него типично американское — шляпу долой перед человеком, делающим большой доллар, перед чудом предприимчивости в эпоху позднего капитализма и господства гигантских корпораций, когда места за столом заняты — локоть к локтю — и к пирогу не протолкаться. Восторг Тома чист и бескорыстен: ему чуда не сотворить, но кто отберет право поклоняться чуду, если к тому же чудотворец — среди твоих хороших знакомых? Генри Синглтон и есть тот самый материализованный миллионер, которого я заказывал по телефону. По прикидкам Тома, он лично стоит порядка тридцати миллионов долларов.

Генри Синглтон — основатель, президент и председатель совета директоров корпорации «Телидайн», производящей сложные электронные и полупроводниковые устройства. Какие? Электроника — плоть от плоти военной индустрии, и мы не вправе задавать лишние вопросы. Синглтон не скрывает, однако, что у него большой бизнес с Пентагоном. «Телидайн» в списке ста фирм, имеющих самые крупные заказы от Пентагона.

Опытный инженер, знаток электроники, он основал свою корпорацию в 1961 году. С риском разориться, в одиночку вложил все сбережения — триста тысяч долларов. Сейчас это не семейная, а акционерная компания, и ее акции можно приобрести на нью-йоркской фондовой бирже. В 1968 году ею продано продукции на сумму более восьмисот миллионов долларов.

...Мы ныряем на «мустанге» в подземный гараж «Сенчури-сити» и выходим из лифта на 17-м этаже в респектабельно-безличной приемной с ковром «от стены до стены», столом орехового дерева, за которым сидит секретарша, кожаными тяжелыми креслами, никелированными пепельницами на ножках, глянцевыми обложками рекламных брошюрок. Высокий, мужественного вида красавец вышел навстречу нам. Лет сорока семи — сорока восьми, но юношески прямой и стройный. Ни складочки на одежде, ни следа обрюзглости, и лишь слегка потускневшая кожа лица, морщины на переносице и у глаз да красивая седина в коротко постриженных волосах выдают возраст молодца.

Мы снова в лифте, а потом вчетвером идем в ресторан отеля «Сенчури-сити», и миллионер шагает, чуть-чуть поводя руками, прижатыми к бокам, сохраняя и на ходу этакую боксерскую стойку, чувствуя на себе наши взгляды, зная, что для двух красных репортеров он демонстрирует собой «миллионера из Лос-Анджелеса». Обеденный час, в ресторане людно, но стол заказан, и приход Генри Синглтона не вызвал ажиотажа. Обслуживают хорошо и быстро, однако не лучше и не быстрее других, без лакейской суеты и подобострастия: мало ли миллионеров в Лос-Анджелесе?

У корпорации «Телидайн» два десятка заводов, тридцать семь тысяч рабочих и инженеров. Заводы территориально разбросаны, и не случайно: распыленность рабочей силы выгодна предпринимателю, препятствует созданию профсоюза, а значит, и забастовкам. Профсоюз — обуза, и Синглтон, не стесняясь, говорит об этом.

У него лично сейчас три процента акций — больше, чем у кого-либо, но контроль над корпорацией он осуществляет не через процент акций, а через свое положение основателя, благодаря техническому и административному авторитету. Вообще сейчас тенденция такова, что крупнейшими акционерами являются не отдельные лица, а фонды и другие корпорации. Что касается служащих и рабочих «Телидайн», то на них распространяется система льгот: к каждым четырем купленным акциям пятую приплюсовывают бесплатно. Для сотни top people — людей, занимающих высшие посты в корпорации,— есть экстра-привилегии, закрепляющие лояльность уме-

лых и нужных администраторов и специалистов. Каждый из этой верхней сотни имеет право приобрести определенное число акций по нынешней их биржевой цене, но не платя ни цента, как бы в кредит. Он заплатит потом, в будущем, когда стоимость этих акций поднимется, предположим, с десяти до тридцати тысяч долларов. Заплатит по прежней цене — лишь десять тысяч.

— Следите ли вы, мистер Синглтон, за тем, чтобы ни у кого не было больше акций, чем у вас? Не опасаетесь ли вы, что кто-то другой перехватит контроль над вашей корпорацией?

Это вопрос в нарушение неписаных правил. В мире бизнеса свои суеверия, и я вижу тень раздражения на лице миллионера. Слегка встряхнул красивой головой, поглядел острее и тверже, но руки так же спокойно лежат на скатерти, а в ответе — скрытый вызов. Нет, не боится, а если и перехватят контроль, ну что же, ничего смертельно опасного, он готов к этому.

— Купить же «Телидайн» будет трудновато: сейчас это обойдется, пожалуй, миллиарда в полтора...

«...Пожалуй, миллиарда в полтора...» Эти небрежно оброненные слова громыхнули над столом, нота гордости, некий промежуточный, но немалый итог жизни. Миллиарда в полтора... Ведь на эту фантастическую сумму — не ходя далеко за примерами — можно купить и этот ресторан с диванами и стульями под красный сафьян, с метрдотелем и официантами, да что за мелочи — ресторан,— весь отель, весь, пожалуй, комплекс «Сенчури-сити» с десятками элегантных зданий — жемчужину Лос-Анджелеса.

Попробуй-ка купить!

Злорадство адресовано конкурентам. Они были и есть, этот внешне спокойный человек — в напряжении рыночной борьбы, хотя рассказ его прост, по-солдатски эпичен. Главное, рассказывает он об истоках чуда, о первых месяцах, было в том, чтобы предложить не совершенно новый п р о д у к т — такое крайне редко, а п р о д у к т, уже имеющий спрос на рынке, но перспективный и качественный. Помогли обширные связи в Пентагоне, с другими заказчиками. Его знали как отменного специалиста, его продукту доверяли.

Конкурентам не удалось задушить «Телидайн» в колыбели. Теперь попробуй! Корпорация процветает, стоимость акций растет, положение стабильно, репутация продукта хорошая. (Позднее, просматривая в журнале «Форчун» список пятисот крупнейших корпораций США, я убедился, как здорово шагнула за 1968 год «Телидайн» — на 124-е место со 191-го, которое она занимала в 1967 году.) Синглтон умеет удерживать ценных людей, и приманки с акциями — не единственные. Очень важно привлекать способную молодежь. Молодежь — это будущее. Сколько раз слышал я этот афоризм из уст американских дельцов! Молодежь — это будущие большие прибыли в век невиданно быстрого технического развития. Инвестиции в пытливые, незакисшие молодые мозги — из самых выгодных. Посланцы «Телидайн» ездят по университетам, ищут, вербуют и сманивают блестящих студентов.

Сам специалист, Генри Синглтон знает, как прибыльны настоящие специалисты. Экономить доллары на их окладах — это ехать на рыбалку с гнилой сетью. Делец новой формации ценит науку, ведет дело крупно, понимает, что низкие зарплаты означают низкое качество работников, низкие прибыли и в конце концов банкротство в ожесточенной конкурентной борьбе.

Генри Синглтон смотрит на свою страну как на своеобразное, огромное и сложное предприятие, которым должны управлять дельцы от экономики и дельцы от политики.

...Пусты кофейные чашки, покончено с ленчем и вопросами. Предъявив официанту одну из своих кредитных карточек, Синглтон расчеркнулся под счетом. Мы возвращаемся к небоскребу средней величины, где на 17-м этаже правит президент и председатель совета директоров корпорации «Телидайн». Вот он, рядом со мной, локти по-боксерски прижаты к бокам, и люди, снующие по магазинам на площади «Сенчури-сити», не подозревают, что мимо шествует чудотворец. Велик мир...

— Мистер Синглтон, недавно в газете «Уолл-стрит джорнэл» я прочел, что корпорации испытывают трудности при вербовке на работу студентов-выпускников. Что, студенты не хотят служить военному бизнесу? Верно ли это?

— Нет, неверно. Мало ли что пишут в газетах. Не верьте им.

Честно говоря, мне не хочется так вот и расстаться с этим миллионером, подмывает как-то зацепить полированную поверхность, преодолеть деловую одномерность, вызвать его на какие-то эмоции — их не было в нашей беседе. И я чувствую, как напрягся красавец, как он слегка раздражен.

— А как с «Доу кемикл»? — не отстаю я.

— Вы имеете в виду этот шум насчет напалма? — оборачивается он ко мне.

Я подтверждаю: да, я имею в виду этот «шум», эти протесты в университетах против корпорации «Доу кемикл», поставляющей напалм для американских войск во Вьетнаме эти осады вербовщиков «Доу кемикл» в университетских городках, эти их побеги через окна под улюлюканье студентов.

И тогда не мне, а в сторону, все-таки щадя меня как человека непричастного, как, наконец, иностранца, с которым надо быть вежливым, в сторону тех, кто позорит

его страну и осмеливается опровергать его, Генри Синглтона, принципы и его чудо, он бросает негромкую злую реплику:

— Bunch of educators!

Bunch of educators, что буквально означает горстка воспитателей, кучка профессоров, но в злой враждебной интонации прозвучало безошибочно как шайка моралистов-гуманистов.

Ну что ж, отрешенно подумал я, ты добился своего, вызвал эмоции, на миг вывел из себя этого сдержанного человека и понял, что дальнейший разговор бесполезен; его безапелляционный тон как бы подводил черту, и ты оказался на другой стороне — с теми, кого отвергает миллионер, а ты считаешь надеждой Америки. Конечно, Генри Синглтону смешны, глупы и нелепы все эти моралисты-гуманисты, для него это саботажники, пытающиеся блокировать движение бизнеса, который, конечно же, сметет их с дороги. А кроме того, если их подраспустить, они могут замахнуться и на его, работающее на войну, детище. «Бизнес Америки есть бизнес»,— говорил президент Кулидж. Бизнес, и не более того. И если рухнет этот принцип, то и он, Генри Синглтон, упадет с верхней ступеньки иерархической лестницы.

Он готов был поболтать с нами в своем оффисе, но, увы, мы спешили на очередную встречу, к другим деловым людям, и под мелодичное позвякиванье мягко сошлись створки музифицированного лифта, скрыв лос-анджелесского миллионера, заказанного по телефону из Нью-Йорка через Хьюстон.

«Доу кемикл» — далеко не первая спица в колеснице «военно-промышленного комплекса». В том самом списке ста крупнейших подрядчиков Пентагона, где «Телидайн» была на 68-м месте, «Доу кемикл» стоит в конце, под номером 98, но ее п р о д у к т, превращающий живых людей в страшные факелы, стал символом грязной войны и бесчеловечности наживающегося на ней бизнеса, оттенил честный протест одних, казенно-патриотическую солидарность других и равнодушие третьих.

Среди продукции «Доу кемикл» удельный вес дешевого в производстве напалма ничтожно мал, меньше одного процента в товарном обороте. Почему кричат о напалме? — деланно недоумевают руководители «Доу кемикл». Почему забывают о другом, почему не славят удобства, которые мы несем в миллионы американских домов? Зайдите в супермаркет, здесь же, на лос-анджелесской площади «Сенчури сити» и вы найдете продукты «Доу кемикл» — тончайшие, крепчайшие прозрачные ленты из пластика. Рулончиками длиной по двести и больше футов они уложены в картонные брусы и по одному из краешков бруса пропущена мелкозубая пилочка — о зубчики обрывается лента, ровно столько, сколько вам угодно. Лентой обертывают чикен сандвич — бутерброд с курицей, укладывая его в портфель школьника. Она незаменима для дома, для семьи: банки с соком, тарелки и судки с пищей, ветчину, масло, овощи заворачивают в нее, чтобы дольше хранить в холодильнике. А вот «саран рэп» — прозрачная огнеупорная бумага из пластика, выдерживающая жар духовки. Цыпленок, баранья нога, кусок телятины, обернутые в саран рэп и брошенные в духовку, жарятся в собственном соку.

Итак, далекий человек за Тихим океаном в конвульсиях с кожей сдирает пылающее напалмовое желе, изготовленное так, что его невозможно отлепить. Цыпленок аппетитно томится в духовке американской домохозяйки. Напалм и саран рэп выпускаются в соседних цехах, а может быть, и в одном. Извлекши из жаркого плена, хрустящего, истекающего соком цыпленка едят, может быть, перед телеэкраном, на который усилиями телекорреспондентов доставлены живые человеческие факелы, люди, подвергнутые обработке другим п р о д у к т о м «Доу кемикл». Любой продукт законен, коль скоро на него есть спрос, ибо бизнес Америки есть бизнес, и разве вина «Доу кемикл», что те далекие черноволосые, маленькие и без американской улыбки люди на телеэкране родились не в той стране, которая сбрасывает напалм, а в той, на которую сбрасывают напалм?

На кухне в своей нью-йоркской квартире я увидел изящный картонный брус и на одной из его граней маленькие буковки: «Доу кемикл». Я выбросил его в мусоропровод и наказал жене быть повнимательнее, не покупать ничего с постыдным клеймом. Но, несмотря на шумные протесты, прибыли «Доу кемикл» растут, и не за счет напалма — на ее мирный товар прежний большой спрос.

В 1965 году, когда бесчинствовали алабамские расисты, покойный Мартин Лютер Кинг призвал к общенациональному бойкоту алабамских товаров. Из этого ничего не вышло. Теперь не удается бойкот «Доу кемикл». Американец дорожит удобствами, даже мелкими, и что за блажь подвергать остракизму корпорацию, делающую свое дело, и дело патриотическое. Если летчик без угрызений совести сбрасывает канистры с напалмом, почему угрызения должен испытывать производитель напалма, а тем более потребитель саран рэп? Каждый делает свое дело, каждый хочет жить и иметь кусок хлеба, намазанный американским маслом второй половины XX века, то есть и машину, и дом, и цветной телевизор, пикники по уик-эндам, праздничные петарды 4 июля, в День независимости, детей в колледжах и деньги на летние отпуска, чтобы слетать в старушку Европу и ботинком человека из новой империи потыкать в древние камни Колизея. И зачем отказываться от мелких удобств «Доу кемикл», вносящей свой посильный вклад в американское процветание?

И все это заложено в коротенькой реплике о bunch of educators.

Генри Синглтон — не единственный чудотворец, он мелкая сошка рядом с новыми миллиардерами типа нефтяных магнатов Гетти и Ханта, но его чудо характерно для 60-х годов, как и место этого чудотворства — Лос-Анджелес, Южная Калифорния. Имя этому чуду — гонка вооружений, а еще конкретнее — aerospace industry, то есть современная, преимущественно военная, индустрия самолетостроения, ракетостроения и электроники.

Почему за послевоенные годы население графства Лос-Анджелес почти удвоилось и росло вдвое быстрее, чем в среднем по стране, быстрее чем в любом другом крупном городе,— три процента среднего прироста в год? Почему там средние годовые доходы выше, чем в других районах США? Послушаем, как отвечает на эти вопросы специальный полуконфиденциальный доклад об экономике Большого Лос-Анджелеса, подготовленный знающими специалистами «Бэнк оф Америка» — крупнейшего банка Соединенных Штатов и всего капиталистического мира:

«Графство Лос-Анджелес является экономическим центром юго-запада США. Лишь семь из пятидесяти штатов нашей страны превосходят это графство по населению...— говорится в докладе.— Лишь четверть века назад графство было известно главным образом благодаря своей киноиндустрии, сельскохозяйственному производству и туристским развлечениям. Сегодня оно приобрело всемирную репутацию одного из ведущих индустриальных, финансовых и торговых комплексов нашей страны. Лишь немногие районы США претерпели такие колоссальные изменения за этот период. Благоприятные естественные ресурсы, наличие рабочей силы и капитала, расширяющийся региональный и национальный рынок — все это способствовало экономическому росту теперешней гигантской метрополии. После второй мировой войны все основные отрасли экономики, за исключением сельского хозяйства, внесли свой вклад в экономический подъем района, но темп задавало быстрое расширение оборонной индустрии».

«Наивысший уровень занятости» доклад зарегистрировал в 1965 году, когда «увеличилось производство гражданских самолетов, а также число правительственных заказов на продукцию для обороны и космоса». Вьетнамские эскалации успели состарить эти выкладки, ибо на очереди были полумиллионный экспедиционный корпус в Южном Вьетнаме, потребность в тысячах боевых самолетов и вертолетов, до тридцати миллиардов долларов расходов на вьетнамскую войну в год, общий военный бюджет, который в 1965 году президент Джонсон обещал «заморозить» на уровне 49 миллиардов и который президент Никсон унаследовал в размере 80 миллиардов.

Я не просился в закрытые для советских людей районы, которым несть числа в этой главной военной кузнице Америки, не видел военных заводов, но знаю, что по их сборочным линиям Южная Калифорния прогоняет и «холодную войну», и «малые войны», и подготовку на случай ядерной войны, и космическую эру, тесно увязанную с нуждами «обороны», и лунные экспедиции, потому что из 24 миллиардов, затраченных на то, чтобы оставить в безводном Море Спокойствия следы термических башмаков Нейла Армстронга, немало перепало тем же людям, продукция которых перепахивает бомбами рисовые поля и джунгли Вьетнама. А если так, то не нанизаны ли герои-астронавты на ту же длинную цепочку американской жизни, что и их соотечественники, которые не отвергают благо саран рэп из-за того, что «Доу кемикл» производит зло напалма?

Кипучий, ультрадинамичный, сверхамериканский город, куда люди приезжают за заработком и счастьем, где будущее проступает в виде самодовлеющих скоростей, где даже герл с порочно-обжигающими глазами из стриптизни на бульваре Ла Сьенега вращает ягодицами в общем механически отрешенном темпе,— этот Лос-Анджелес заставляет напряженно задуматься над сложными взаимосвязями века. Оттуда мир виден как производственный комбинат с конвейерной линией, перекинутой через Тихий океан: на одном конце ее выбивают у человека жалкую плошку с рисом, а на другом выходит красивенький домик в рассрочку, бассейн для плавания, машина последней марки, своя яхта.

■

«Тихий американец» Грэхема Грина был опубликован в 1955 году, тогда, когда французы уже расшибли себе лоб о Вьетнам, а американцы лишь пробовали ногой трясину, засылая в Сайгон советников и агентов ЦРУ, замаскированных под сотрудников миссий экономической помощи. Я прочел этот роман с запозданием на десять лет, в пору эскалаций Джонсона, и подивился художнической и политической зоркости писателя. В «тихом американце» Пайле, сыне профессора — знатока подводной эрозии, воспитаннике Гарварда, разведчике, который делает ставку на «третью силу» — генерала Тхе и не знает, чему больше огорчаться, когда не вовремя произошел устроенный им взрыв на сайгонской площади: безногому обрубку, дергавшемуся, как зарезанная курица, мертвому ребенку на руках безутешной матери или своим ботинкам, забрызганным кровью («Придется отдать их почистить, прежде чем идти к посланнику»),— в этом Пайле точно схвачен тип нового миссионера. «Он был покрыт

непроницаемой броней благих намерений и невежества»,— говорит о нем английский журналист Фаулер. Именно непроницаемой броней. Именно благих намерений — ведь он наивно, но искренне хотел осчастливить вьетнамцев американской демократией. И именно невежества, но невежества особого рода — ученого, наукообразного и потому еще более самоуверенного и опасного. Помните преклонение Пайла перед неким Йорком Гардингом, «серьезным» политическим писателем? После того как Пайла отправили к праотцам, Фаулер осматривает его книжную полку, на которой полное собрание сочинений Гардинга — «Угроза демократии», «Миссия Запада», «Наступление красного Китая». Пайлу незачем было приглядываться к чужой жизни — ее досконально изучили и классифицировали ученые-соотечественники. «Он видел только то, о чем ему прожужжали уши на лекциях, а наставники его одурачили. Даже видя мертвеца, он не замечал его ран и бубнил: «Красная опасность» или «Воин демократии»...

Грин в зародыше разглядел одну из самых уродливых черт американской интервенции во Вьетнаме — ее наукообразность. Потом полмиллиона американцев, уже не тихих, сошли на вьетнамскую землю и приступили к массированному перевоспитанию вьетнамцев по рекомендациям тихих своих соотечественников — ученых профессоров, к экспериментам над целой нацией.

В подтверждение приведу один факт. Он хорошо известен в Америке, но я сошлюсь на «гранд-даму» американской литературы Мэри Маккарти, которая, судя по ее язвительным эссе, поехала во Вьетнам и для того, чтобы своими глазами увидеть соотечественников в роли интервентов, и заодно для того, чтобы опровергнуть Джона Стейнбека с его дифирамбами американским летчикам: он сравнивал их со знаменитым виртуозом-виолончелистом Пабло Казальсом, любуясь, к а к они делают свое дело, и не желая видеть, ч т о это за дело.

Касаясь предыстории грязной войны — первой войны, которую Америка вела «по науке», госпожа Маккарти пишет: «Поведение противника изучалось под университетскими микроскопами, образцами были перебежчики в свободный мир. Однако практического опыта недоставало до тех пор, пока война во Вьетнаме не создала лабораторию для испытания нового оружия — академического варианта «Б-52» или шариковой бомбы «Лэйзи дог»... Сразу после Женевских соглашений полувоенные профессора зачастили во Вьетнам, и первым из них был Уэсли Фишел, профессор Мичиганского университета, которого считают изобретателем Нго Динь Дьема... В 1961 году, в год создания специальных частей (более известных под именем «зеленых беретов».— **С. К.**), экономист из Стенфордского университета Юджин Стейли, чье имя связано теперь с идеей стратегических поселений, разработал свой план...»

Дальше следует описание этого плана, достойного Йорка Гардинга, вдохновителя «тихого американца» Пайла:

«План Стейли не мог, конечно, прийти в голову рядовому вашингтонскому чиновнику... С профессорской любовью к диаграммам, он разделил страну на желтые зоны, голубые зоны и красные зоны; желтые зоны, контролируемые правительством (и доступные для американской помощи), голубые — сомнительные и красные — вьетконговские. Его план заключался в том, чтобы переместить население — если оно поддавалось перемещению — в Зоны Процветания, в которых для начала предполагалось создать пятнадцать тысяч образцовых поселений, сильно укрепленных и окруженных колючей проволокой. При пылком сотрудничестве генерала Максуэлла Тейлора было построено около двух с половиной тысяч поселений а-ля Стейли. Жизнь в них до последней детали была расчерчена по диаграммам. Каждый житель обязан был купить и носить специальную форму — четыре разные цветовые комбинации в зависимости от возраста и пола — и иметь два опознавательных документа, один для перемещения внутри поселения, другой — чтобы выйти за его пределы. Стража закрывала ворота в семь вечера и открывала в шесть утра. У людей, согласившихся переселиться в стратегические поселения, дома сжигались, а поля опрыскивались ядовитыми химикалиями с тем, чтобы оставить Вьетконгу выжженную зону,— это было первое широкое приложение науки химии к политической борьбе. Американское правительство, разумеется, платило компенсацию.

Те, кто не соглашался покинуть место жительства, перемещались силой, а их деревни и урожаи все равно сжигались и опрыскивались; часть воспротивившихся крестьян и деревенских старейшин были в назидание другим казнены вьетнамской армией... Профессор Стейли, вне сомнения, не несет ответственность за эксцессы в реализации его программы; он лишь разработал тоталитарные чертежи для вьетнамских и американских советников, основываясь на своем собственном опыте в этой стране».

Какова судьба плана Стейли? По замечанию Мэри Маккарти, он оказался «величайшим подарком, преподнесенным Соединенными Штатами Вьетконгу». Жители поджигали стратегические поселения, восставая против концлагерей американского типа, а когда Нго Динь Дьем был убит сайгонскими генералами, чудовищный плод кабинетного ума был совсем похерен и профессор Стейли, равно как и «изобретатель» Нго Динь Дьема профессор Фишел, были преданы забвению, уступив место... другим профессорам и другим планам.

С тех пор как Гарвард, если вернуться к роману Грина, послал своего питомца

Пайла в Сайгон, многое изменилось в Америке, многосложно усвоившей уроки вьетнамской войны. И Гарвард, и Стенфорд, Беркли, Колумбийский университет в Нью-Йорке, десятки, если не сотни колледжей и университетов по всей стране видели восстания студентов против «пентагонизации» науки. Но проблема не снята. У Вашингтона не переводятся дипломированные, добровольные, но больше платные помощники, готовые экспериментировать на целых народах. Эпизод из жития профессора Стейли — лишь присказка к истории «РЭНД корпорейшн», с которой мне хочется познакомить читателя хотя бы вкратце.

Это заведение в городе Санта-Моника, в получасе езды от центра Лос-Анджелеса, окружено ореолом всемирной известности. Одни находят там оракулов, прозревающих XXI век, другие — империалистических алхимиков.

Мы подъехали к двум ничем не примечательным, стандартно модерным зданиям, соединенным друг с другом. Кисточки пальм на автостоянке шевелились от ветра с Тихого океана — океан в квартале от «РЭНД» словно приобщал ее к своей глобальности. Внутри скромно, чисто, голо. У сотрудников лбы и взгляды интеллектуалов, вместо сигарет — трубки, пиджаки повешены на спинки кресел. Жаргон научный, технико-политический, причем многие новейшие термины, вроде multideath — мультисмерть — или overkill — сверхубийство, родились в стенах «РЭНД» и ей подобных учреждений. Разговор академически спокоен и рассудителен.

Ничего особенного, нет даже заборов и решеток на окнах, хотя это одна из секретнейших организаций Америки. Но у входа — не у самой двери, а в вестибюле пятиэтажного зигзагообразного здания — нас встретил и из-за стола поманил к себе взглядом дюжий охранник, по виду из тех, что стерегут помещения американских банков. По телефону вызвал человека в штатском, отвечающего за безопасность. Рэндовцы дорожат вольным воздухом университетов, из которых они вышли, а обученные люди берегут их секретные идеи, как доллары и золото в банках.

В двух зданиях (в подвале, кстати, размещен крупный вычислительный центр с богатой электронной памятью и прямыми выходами к клиентам) работает около 1200 человек, из них половина — специалисты высокой квалификации: инженеры, экономисты, математики, физики, знатоки политических наук, эксперты в области метеорологии, истории, психологии, лингвистики, физической химии, социологии и т. д. Это think tank, что означает — резервуар мысли, мозговой трест, мыслехранилище. Метод работы в «РЭНД» включает в себя как исследования отдельных специалистов, так и групповые, совокупные, так сказать, межведомственные усилия людей разного профиля, собранных под одной крышей,— в этом-то, собственно, главная идея мыслехранилища. Усложняющийся век и взрыв информации диктуют невиданные скорости и объемы электронной памяти, а также попытки преодолеть необходимую, но и сковывающую специализацию, которая дробит человеческое знание на множество изолированных отсеков. На стыке специальностей, при вольной игре ума, преодолевающего преграды специализации, искрами пробегают смелые идеи. К прожектору, бьющему в одну точку, добавлен локатор, озирающий весь горизонт.

Знакомясь с материалами о «РЭНД корпорейшн»,— а заочное знакомство началось задолго до визита,— я испытывал двойственное чувство, известное советским людям, побывавшим в Америке, стране чрезвычайно изобретательной и отнюдь не застывшей: с одной стороны, достойны одобрения и дух изобретательства, и разного рода новшества, на которые горазды американцы — враги всякой косности, с другой — нередко удивляешься, а порой и ужасаешься целям, ради которых эти новшества применяются.

«РЭНД корпорейшн» считают первым в Соединенных Штатах think tank, но позвольте временно покинуть Калифорнию и перенестись под Нью-Йорк, в живописный городишко Кротон-он-Хадсон (Кротон-на-Гудзоне), где в идиллической тишине расположен на зеленых холмах другой think tank — Гудзоновский институт. Директором там Герман Кан, самый известный питомец «РЭНД». Этот мысленный перелет я совершаю, чтобы подробнее разъяснить идею мыслехранилищ: визит в Гудзоновский институт был обстоятельнее.

— Мы,— говорил президент института Макс Сингер,— независимые посредники между правительством и разного рода экспертами.

Независимость — коронное слово в его разъяснениях, но независимость особого рода, направленная не на подрыв устоев капиталистического государства и идеологии, а на их укрепление. Это просвещенные слуги истэблишмент, который кормит их заказами, оплачивает их идеи из федерального бюджета, но сохраняет за ними самостоятельное мнение и независимость от административной, иерархической лестницы. По словам Сингера, сила и эффективность Гудзоновского института и ему подобных заведений в том, что они «вне правительства» — частные корпорации экспертов и мыслителей и, не будучи в отношениях служебного подчинения, не боясь недовольства властей предержащих, не опасаясь за место — то есть освободившись от качеств чиновников, зависящих от расположения начальства,— могут высказывать правительству и разным его ведомствам самые разные, в том числе и неприятные, точки зрения. Кроме того, как уже говорилось, сотрудники института, являясь специалистами в своих областях, сознательно развивают в себе этакий дилетантизм, как бы отходят от своих профессий, стремясь к широте и нескованности взгляда.

Защищая принцип непредубежденного и свежего взгляда, Макс Сингер приводил примеры не только из вашингтонской сферы: среди клиентов института есть промышленные корпорации, городские муниципалитеты. Взять, к примеру, крупнейшую сталелитейную корпорацию «Юнайтед Стейтс стил» или другую большую корпорацию, говорил он. Высшие ее администраторы слишком заняты текучкой, у них физически нет времени взглянуть на дело шире, с точки зрения завтрашнего дня. Кому же поручается эта важнейшая задача? Экспертам-консультантам той же корпорации, не занимающим высокого положения. Предположим, что они пришли к важным, верным и смелым решениям. Но прислушаются ли к ним всерьез? У них нет достаточного авторитета, тогда как у учреждений типа Гудзоновского института авторитет велик — прежде всего авторитет его главы и директора Германа Кана.

Вернемся к «РЭНД» — не только к методу, но и целям. И к вопросу о том, кто черпает из этого резервуара. Проект «РЭНД» (сокращение от слов «Research and Development» — исследование и развитие) возник в марте 1946 года по инициативе начальника штаба ВВС США генерала Арнольда, желавшего и после войны оставить группу ученых при бомбардировщиках и первых атомных бомбах для «продолжения программы научного изучения и исследования с целью рекомендации военно-воздушным силам предпочтительных методов, техники и средств».

На государственной службе оклады в то время были слишком малы, чтобы прельстить ученых, и потому на первых порах генерал Арнольд пристроил свой проект филиалом к авиационной корпорации «Дуглас эркрафт компани». Первый доклад, вышедший из «РЭНД», сразу как быка за рога взял будущее: «Предварительная конструкция экспериментального космического корабля, вращающегося вокруг Земли».

В 1948 году «РЭНД» стала «независимой неприбыльной корпорацией», субсидируемой Фондом Форда и более живучей, чем материнская «Дуглас эркрафт компани», недавно слившаяся с авиационной корпорацией «Макдоннел». В ее стенах выросла плеяда «стратегических мыслителей». В списке своих заслуг «РЭНД» числит, например, изучение вопроса о дислокации баз американских стратегических бомбардировщиков, предпринятое экономистом-статистиком Албертом Уолстеттером. Ученый, не имеющий прямого отношения к Пентагону и ВВС, в начале пятидесятых годов подверг сомнению концепцию, согласно которой упор делался на заморские базы. Изучив вопрос на разных уровнях, «РЭНД» рекомендовала Пентагону пересмотреть эту концепцию и сконцентрировать действующие базы стратегической авиации на территории США, отведя заморским базам роль перевалочных и заправочных. Уолстеттер и его коллеги провели около ста совещаний с военными и правительственными чинами прежде, чем их совет был принят.

В официальном отчете «РЭНД» за 1966 год сообщается, что с ВВС — главным клиентом корпорации, которому было посвящено 70% ее «усилий»,— заключено новое пятилетнее соглашение, по которому «РЭНД» получает заказы на 75 миллионов долларов. 23% «усилий» отдано другим ведомствам Пентагона и НАСА — правительственному агентству по космосу. По оплаченным заданиям своих клиентов «РЭНД» подготовила в 1966 году 335 меморандумов и 8 докладов во вопросам стратегическим, тактическим и «контрповстанческим», политическим (от «культурной революции» в Китае до аграрного развития в Перу), научно-техническим, по системам связи и т. д.

«Стратегические исследования», сообщает отчет, касались широкого круга проблем — от новых концепций стратегии и дислокации вооруженных сил до практических рекомендаций по увеличению эффективности существующего ядерного и авиационного потенциала. Изучали, например, «последствия ядерной войны с точки зрения биологической и окружающей среды... степень первоначальных жертв среди населения, исходя из гипотетических нападений разных масштабов, и последствия неравномерностей в выживании различных групп населения для их деятельности в период после нападения...»

«Контрповстанческие исследования» были в основном посвящены Вьетнаму: «...Наше внимание по необходимости было сосредоточено на Юго-Восточной Азии, но наши исследования по контрвосстаниям предназначены также для использования в других районах, где могут произойти восстания, для извлечения из вьетнамского опыта таких уроков, которые могут быть применены в других районах.

Изучение политики и практики Вьетконга намного увеличилось за 1966 год. Ряд аналитических исследований был почти готов к концу года, включая изучение операций Вьетконга на уровне деревни, вьетконговскую практику рекрутирования, роль коммунистической партии в Национальном фронте освобождения, воздействие бомбежек Северного Вьетнама на мораль северовьетнамских сил, действующих на Юге. Исследования, ведущиеся в настоящее время, включают изучение действий нескольких батальонов Вьетконга в дельте реки Меконг, поведения беженцев, эффекта применения гербицидов и операций по обезлесению, экономической стратегии и деятельности Вьетконга...»

Сколько людей — дополнительно и дешевле — убито по их рекомендации? У «РЭНД» еще нет метода, который определял бы коэффициент ее полезности путем учета загубленных вьетнамских жизней и сэкономленных американских. Но атмосфера общественного остракизма густеет над милитаризованной наукой, и «РЭНД» остро нуждается в гражданской маскировке, чтобы сгладить скандальную репутацию,

даже чтобы уцелеть. Речь опять же о молодых, одаренных людях — при нынешних восстаниях против милитаризации университетов их все труднее заполучить, потому что все-таки работает ветхозаветный принцип: мне отмщение, и аз воздам...

Через год после короткого визита в «РЭНД» я узнал из американской печати, что шесть ее сотрудников публично, хотя и в качестве частных лиц, выступили против продолжения вьетнамской войны, настаивая даже на одностороннем выводе американских войск,— не по моральным соображениям, а убедившись, что военная победа недостижима, а сама война политически невыгодна и нецелесообразна. Теперь «РЭНД», не отказываясь от ВВС — своего главного заказчика, рекламирует начинания в области мирной. Одним из них был заказ на шестьсот тысяч долларов от мэра Нью-Йорка с поручением применить комплексные методы к нью-йоркским проблемам, внести рекомендации по вопросам пожаров, полиции, здравоохранения, жилищного строительства. И «РЭНД» снарядила экспедицию не за Тихий океан, а на Атлантическое побережье США, открыла выездную штаб-квартиру на Медисон-авеню, и глава группы с характерной, уверенной небрежностью заявил: «Если вы утверждаете, что Нью-Йорк делает на нас ставку, я вынужден буду согласиться».

Нью-Йорк делает ставку на их «методологическое искусство». Пока они изучали операции партизан на уровне вьетнамской деревни, масса проблем накопилась в американских городах: горят кварталы в дни негритянских мятежей, полиция бессильна сладить с преступностью, отравленным воздухом все труднее дышать, через автомобильные пробки — пробиваться. В отчете «РЭНД» за 1968 год после военных проблем следуют «домашние», а в списке клиентов за авиационными генералами стоит мэр Нью-Йорка.

■

С Германом Каном мне довелось встретиться незадолго до поездки в Лос-Анджелес. В день визита в Гудзоновский институт директор был в отъезде, но Макс Сингер, президент и главный администратор, обещал свидание с патроном и сдержал обещание. Герман Кан в общем охотно идет на беседы с советскими журналистами, хотя по опыту знает, что наш брат его не щадит — «стратегический мыслитель», автор книг «Мысля о немыслимом», «О термоядерной войне», «Об эскалации», «Год 2000-й: рамки для предположений» выше этих мелочей. А кроме того, американцы частенько безразличны к характеру славы: скандальная, но пусть будет! Исходя от противника, она не помешает, а скорее поможет при получении заказов, а наш футуролог и термоядерный сценарист работает по заданиям клиентов. Например, его книга «Об эскалации», ужаснувшая многих скрупулезным подсчетом всех возможных сорока четырех ступенек в ад — от «мнимого кризиса» до финального «спазма», представляет конечный результат заказа корпорации «Мартин Мариэтта».

Нас, вдвоем с Георгием Николаевичем Остроумовым, ответственным секретарем редакции «Известий» и научным популяризатором по влечению, Герман Кан принял в манхеттенском особняке «Центра межамериканских отношений». Центр возглавляет банкир Дэвид Рокфеллер, один из пяти братьев, которые как бы курируют Латинскую Америку от имени американского капитала и правительства. Кан консультирует этот центр, как и ряд других организаций, приплюсовывая гонорары к годовому директорскому окладу в 35 тысяч долларов в Гудзоновском институте (сам он считает, что мог бы делать вдвое больше денег, и действительно, по американским масштабам сумма невелика для человека его известности).

Кирпичный особняк на Парк-авеню, 680, до 1962 года занимало советское представительство при ООН. В последний раз я заходил туда, когда представительство уже переехало в большой дом неподалеку; особняк был в запустении, в темных коридорах витал дух коммунальных квартир. Как водится в Нью-Йорке, переживающем строительный бум, этот крепкий еще дом хотели пустить на слом, чтобы очистить место для многоэтажного доходного модерна, но нашлась сердобольная и богатая дама — любительница недревней американской старины, не пожалела полутора-двух миллионов долларов. И вот все сияло великолепной барской чистотой, внутри и снаружи блистало пуще прежнего. Латиноамериканского обличья швейцар демонстрировал добрые намерения Дэвида Рокфеллера. Откинув бархатную веревочку, преграждавшую путь на спиральную, под красным ковром, лестницу, он провел нас на второй этаж в знакомую залу. В комнатке слева — начищенная медь каминной решетки, нежно-желтые антикварные стулья, мягкие, обитые бархатом кресла и два сияющих зеркала — из-за столика в углу поднялся навстречу приветливый господин.

Пиджак через спинку стула, живот, как гора, перепоясанная ремешком по гребню, руки раскиданы по сторонам, как это бывает у толстяков, глаза острые и очень живые, голова неожиданно маленькая — неубранная, лысоватая, стушеванная объемным животом. Герман Кан.

Ему нет и пятидесяти, трехсотфунтовый живчик — без бороды и величавости, совсем не отшельник, не созерцатель. Где вы, древние мудрецы?

Сели в углу, мы вдвоем на диване, он напротив на стуле, съежившемся под тяжелой тушей. Толстяк излучал готовность ответить на все вопросы, и вид его, веселый, даже озорной, говорил: а ну давай, давай, ребята, ваши семечки...

И первое «семечко» поступило от Остроумова — о реальности прогнозов, о том, есть ли примеры, подтверждающие их надежность. Кан отвечал трезво, убедительно, обнаруживая эрудицию и ум:

— Есть разного рода предсказания, наиболее надежные — в области техники. Например, на пять лет вперед правильно предсказывали силу лазера, размеры памяти электронно-вычислительных машин. Главная трудность — в определении скорости технического прогресса, в том, как на текущем, на нынешнем скажется появление нового. Затруднительны и экономические предсказания. Деловой цикл с его взлетами и падениями мы не беремся предсказывать. Производственные мощности в условиях полной занятости предсказать можно. Число работающих — легко. Производительность — труднее, и я уже упоминал причину: из-за того, что трудно предвидеть темпы технического прогресса в целом. В какой-то мере можно предсказывать количество рабочего времени. В США ежегодно число рабочих часов уменьшается в среднем на один процент, в настоящее время — на одну треть процента. Сейчас средняя рабочая неделя — сорок часов, две тысячи часов в год на работника, что вполне достаточно. По моим прогнозам, к концу века американец будет работать 1000—1500 часов в год. Консервативные оценки дают 1800 часов, радикальные — 800. Я — умеренный оптимист.

Затем он вступил в зыбкую область политики, общественного климата и настроений, сдвигов в психологии, людских привычках и образе жизни, и тут мазки пошли поразмашистее, расплывчатее, «абстракционнее», в картине выпадали такие «детали», как организация американского общества, корпорации, профсоюзы, социальные группы, а оставался лишь некий род человеческий в лице того его племени, что живет в Северной Америке между Канадой и Мексикой. За окном была пора студенческих волнений, вторгшихся в математическое мышление Германа Кана, и он включил «человеческую разболтанность» в свои рассуждения, объясняя ее высоким уровнем жизни, тем, что элементарный кусок хлеба не требует прежних усилий, что нагрузка «социального дарвинизма» облегчена, а авторитет правительства в этой атмосфере заметно падает. Картина была не лишена интереса.

— Больше всего нас интересуют политические предсказания,— говорил он.— В текущем плане наш прогноз в отношении США довольно оптимистичен, хотя мы не исключаем внутренних потрясений, в которых главный фактор — отсутствие угрозы извне. Угроза извне сплачивает людей, приучает их к реальности.

Сейчас в США физически можно прожить, а точнее — выжить, на десять долларов в неделю, пятьсот долларов в год, конечно, если вы готовы опуститься на уровень хиппи. При желании вы сможете найти неквалифицированную и необременительную работу на пятьсот долларов в год и быть хиппи. Отправляйтесь, например, в Нижний Манхеттен сортировать почту, там наполовину заняты негры, наполовину хиппи. Хиппи, как вы знаете, живут в коммунальных квартирах, «семьями» человек по двадцать. Работают, так сказать, посменно: месяц работает один, месяц — другой и т. д. И прокармливают остальных, дают им возможность не работать. Факт их существования доказывает, что выжить сейчас сравнительно легко.

В XIX веке на правительство смотрели как на орудие подавления и источник распределения благ. Теперь американцы склонны видеть в правительстве и источник глупости. Такое отношение быстро растет. Люди не просто хотят правительство получше, они хотят совершенное правительство. Если мир сохранится, эти тенденции усилятся. Всякие ограничения, вводимые правительством, будут вызывать новое сопротивление. В большинстве стран аналогичный процесс затормаживается соображениями национальной безопасности. Но мы предсказываем усиление нигилизма и цинизма, если не произойдет чего-то такого, что бросит людей друг к другу, объединит их.

Необходима оговорка: в работах своих Герман Кан намного сложнее, чем в укороченном пересказе одной его беседы, шире и одновременно детальнее, фантазия его, опирающаяся на недюжинную эрудицию, буйствует, но устремлена не в одну сторону, а в разные, и со всех сторон он защищен броней вариантов — может быть так, а может быть и по-другому. Мне хочется хотя бы в малой степени передать строй мышления этого ходячего феномена. Он математик, служащий политике, работающий на свой класс, но не связанный его застарелыми идеологическими догмами. От морали, в широком смысле этого слова, Кан свободен. Он как наемник, ландскнехт от науки, который, кроме платы, требует от нанимателя одного — чтобы его, Кана, ум не находился в простое и чтобы его не сковывали.

В Америке люди прогрессивные, а также «лирики» из гуманистов и либералов презирают интеллектуала Кана за ревностное служение Пентагону и ВВС, видят в нем ученого монстра, лишенного общественной совести. У него же свой зуб на интеллигенцию, революционную и либеральную, этих возбудителей общественного недовольства, а также боязнь внутренних потрясений в «подопечных» Америке странах, и, сидя в рокфеллеровском заведении, он хотел бы уничтожить революционный фермент — врага своей науки. Герман Кан замыслил новый вклад в «психологическую войну», новую попытку интеллектуальных манипуляций человеческим сознанием в интересах, конечно, своих клиентов. Вот какую схему набрасывал он.

— Я собираюсь написать работу, которая перевернет все прежние представления,— с неприсущим ему драматизмом заявил Герман Кан.— Мы должны перейти от «идеологии разрыва» (gap ideology) к «идеологии прогресса» (progress ideology).

Позвольте проиллюстрировать это примером. Говорят, что двадцать лет назад детская смертность у американских негров была вдвое выше, чем у белых, а сейчас — в четыре раза выше. Это и верно и неверно, потому что такие относительные подсчеты не показывают, насколько детская смертность среди негров сократилась в абсолютных цифрах. Разве теперь положение хуже? Что лучше для негра: когда — я беру условные цифры — умирает двести негритянских детей на родившиеся десять тысяч, а среди белых сто, или когда умирает двадцать негритянских детей из десяти тысяч, а у белых — пять? Фактически положение негра в десять раз улучшилось, хотя, если сравнивать с цифрами для белых, детская смертность среди негров выросла вдвое. Вот пример неправильной идеологии, акцентирующей разрыв. Ее надо заменить идеологией, акцентирующей прогресс. Ведь люди хотят не столько сократить разрыв с другими, сколько улучшить свое положение. «Идеологию разрыва» выдвигают по политическим причинам.

Вот еще пример. Мой отец был бедняком, работал руками, я помню его мозоли. А я работаю головой. Мне деньги легче достаются. Но, может быть, Дэвид Рокфеллер смотрит на меня как на бедняка. Он, наверное, в тысячу раз богаче меня. Может быть, он думает, что я ему завидую, что хочу забрать его деньги. А зачем мне его деньги, ведь я себя бедняком не считаю. Впрочем, Дэвид Рокфеллер так не думает. Я его знаю, он хороший человек,— оговаривается Кан, видимо, побоявшись, что мы поймем его слишком буквально.— Но многие богатые боятся бедных. Так же и с нациями. Американцы думают, что им завидуют.

Если взять Латинскую Америку, то, кроме интеллектуалов, мало кто обеспокоен разрывом в положении имущих и бедняков. Латиноамериканский крестьянин не сравнивает свою жизнь и доходы с американскими. Он определяет свое положение сравнением с тем, как жил его отец, как живут соседи в деревне, соотечественники в городе. Города развиваются быстрее, деревня — медленнее. Человек, пришедший из деревни в город, живет в трущобах, но молчит. Он скован традицией, в частности, религиозной. Но если дети его, то есть второе поколение, тоже остаются в трущобах, жди беды, недовольства, волнений. Революционеры пользуются этим недовольством. Студенты из богатых семей, испытывая комплекс вины, идут в деревни, в народ, но там не признают «идеологии разрыва». Крестьянин стабилен, нереволюционен, отвергает городские идеи...

Итак, отделить революционера-интеллигента от крестьянина или рабочего, а точнее — убить этого революционера в зародыше, еще в университете, убедить его посредством ученых трактатов, что «комплекс вины» неоправдан, нерационален и излишне отягощает жизнь. И снят революционный дух, уничтожен фермент брожения. И, уверяет Кан, всем легче — студенту, сбитому с толку «идеологией разрыва», пеону, который удовлетворен «идеологией прогресса», латифундисту, которого отныне ничто и никто не тревожит. И латиноамериканским инвестициям братьев Рокфеллеров, пригласивших Германа Кана в качестве консультанта. Все счастливы...

Сам Герман Кан, как человек, отвергающий все, что отвергает его наука, избавлен от «комплекса вины». Я не морализирую, а просто отмечаю факт. Но что такое «комплекс вины»? Не заменил ли этот высушенный ученый эвфемизм такие старомодные понятия, как сострадание, живая, а не математическая причастность к боли другого человека, чувство справедливости, неравнодушное биение сердца, совесть? Не о комплексе ли вины говорил Сент-Экзюпери: «Быть человеком — это и значит чувствовать, что ты за все в ответе. Сгорать от стыда за нищету, хотя она как будто существует и не по твоей вине...»

Боже, к Герману Кану — и с таким душещипательным романтизмом? Я всего лишь спрашиваю: были ли у вас предсказания по ходу вьетнамской войны и как они оправдались?

Он отвечает, и в его ответах опять же есть верное и точное, есть умение просто говорить о сложных вещах. И все-таки близорукость и ложь, неумение или нежелание видеть истинные причины американского провала.

Да, предсказания были, в 1962—1963 годах он и его коллеги довольно верно оценивали положение, но Вашингтон не внял их рекомендациям. Лично он считал в ту пору, что можно добиться военной победы, если вести войну более эффективно. Нет, не путем эскалации, хотя его и причисляют к «ястребам». Как воюют американцы? Он перечисляет недостатки. Вся американская армия — а в ней сейчас 550 тысяч человек — сменяется каждый год, потому что, по существующему положению, солдат проводит на поле боя не больше года. Вычтите еще месяц отпуска, на который он тоже имеет право. Получаем новый состав воюющих американцев через каждые одиннадцать месяцев. Не успеют одни обрести боевой опыт, привыкнуть к специфическим условиям, стать зрелыми солдатами, как на смену идут другие. Во Вьетнаме американцы, по мнению Кана, воюют хуже, чем в своих колониальных войнах конца прошлого — начала нынешнего века. Тогда в солдаты шли из охотников, траперов, ковбоев, фермеров. Теперь в массе — привыкшие к комфорту, изнеженные городские жители городской страны, не годящиеся для джунглей, для войны особого, «контрповстанческого», типа. Да и генералы «не увлечены» такой войной, обучены для других войн: «Генералы, скажу вам по секрету, хуже полковников». Еще одна проблема, обременительная во вьетнамских условиях,— американская страсть к тех-

нике. Говорят о вертолетной войне, но вертолеты иногда мешают. Вот пример: надо было перебросить батальон на расстояние четырех миль. Пешим ходом час. Но вызвали вертолеты — ушло три часа.

Он только что вернулся из очередной поездки в Южный Вьетнам. Не говорит о характере миссии, мы не спрашиваем. В организованном его воображении есть еще, наверное, живые и яростные картины.

— Я был на холме с буддистом из одной секты и вместе смотрели, как внизу американские самолеты сбрасывали напалм на вьетконговцев. Я расист в том плане, что для меня лучше, когда горят не американцы, а другие,— довольный хохоток.— Но и мне было жутко от этих человеческих факелов внизу. «Напалм — это все-таки ужасно»,— сказал я этому буддисту. Знаете, что он мне ответил: «Я хотел бы, чтобы он был еще горячее...»

В отличие от гриновского американца Пайла Герман Кан вряд ли верит в миссию свободы и демократии, но он игнорирует социальную подоплеку войны, моральный дух Национального фронта освобождения, ненависть к американцам, как ко всяким интервентам, несправедливый — с американской стороны — характер войны.

— Конечно, мы убили много людей, больше, чем следовало бы. Злоупотребляем артиллерией. Но неверно, что уничтожаем страну. Целую страну уничтожить довольно трудно, даже если бы мы этого захотели. Ха-ха-ха...

Я смотрю на этого приятного в общении толстяка и думаю: действительно людоед? Или людовед? Приходит на ум удачно пущенное словцо. Прагматист-людовед, готовый послушно эволюционировать до людоеда, если такое заказано и целесообразно. Да, целесообразно, ибо в нем беспредельно торжествует практичный, здравый смысл, здравый с его точки зрения и точки зрения заказчиков, а они могущественны. Но пышет, черт побери, добродушием и радушием, располагает откровенностью и открытостью человека, которого ничто не гнетет, который освобожден от всяких нравственных тормозов, как — судя по рецензиям — древнеримские язычники из фильма Феллини «Сатирикон». Только этот язычник XX века лично не марает рук, не возьмется за то, чтобы кого-то задушить или зарезать.

...Мы простились, поблагодарив за науку. Уже спеша на совещание, Герман Кан вытащил из чемоданчика и вручил нам нечто вроде памятки, которую он раздавал «некоторым людям из Сайгона». Листок плотной бумаги, который можно держать на столе, сунуть, перегнув, в командирскую сумку, в портфель. Убористый, отпечатанный на гектографе текст с обеих сторон. Я пробежал его с одной стороны: там перечислялись 12 типов восстаний, пять их «главных целей», четыре подхода к восстаниям, а равно и контрвосстаниям, шесть характерных черт «хорошего военного плана» и т. д.

Мы спустились по ковру вниз, вышли из особняка и ждали зеленого светофора на углу 68-й улицы и Парк-авеню. К часу «пик» движение густело. После кондиционированного воздуха в кабинете Кана на майской теплыни дышалось труднее, но все-таки, хоть и зараженный нью-йоркскими миазмами, это был натуральный воздух. Я перевернул листок другой стороной и прочел заголовок: «Главные (и почти универсальные) принципы контрповстанческой войны». Первыми шли принципы политические:

«1. Будь «победителем» или, по меньшей мере,

2. Обычно выгляди как победитель и

3. Никогда не выгляди побежденным. Во всяком случае

4. Выгляди компетентным, убежденным и сильным.

5. Направляй пропаганду в цель, учитывая взгляды противника, а не свои собственные.

6. Проводи выборочные и популярные реформы, давай много обещаний на будущее.

7. Выборочное, рациональное, последовательное и «легализованное» использование террора и насилия...»

И так далее, вплоть до пункта одиннадцатого.

Толстяк не хотел расставаться с нами. Толстяк спускался с небес до политических азов, уча своей премудрости тихих и шумных американцев, заблудившихся во вьетнамских джунглях. Толстяк выдавал секреты своей популярности, своего гипноза...

■

Национальный секвойный парк. Рыже-красноватые колонны гигантских секвой. Зелень их наверху, в поднебесье. Внизу, на человечьем уровне они голы и чисты, красновато лоснятся на солнце, будто некие благожелательные существа оттерли эти колонны своими швабрами, прежде чем передать достойными экспонатами на всемирную выставку земной красоты. Солнце, как в храме, цедит рассеянные щадящие лучи. Вздымаясь над папоротниками — два мертвеца, два павших воина. Когда-то они рухнули навзничь в этот распадок и, переломившись, лежат рядом с живыми. Они серые, пепельные, слоистые. Их корни торчат над землей, как сопла древних поверженных ракет. Не отрываясь от земли, секвойи движутся во времени, ракеты Сьерра-Невадских гор. Сколько же насчитали, сколько навили они годовых колец на красновато-пурпурной древесине под этой своей обманчивой трухлявой, растирающейся в пальцах корой?

Оградка извивается причудливыми загогулинами, чтобы люди не топтали землю над корнями. За оградкой «самое большое живущее растение на земле» — секвойя имени генерала Шермана. Как анкета, аккуратная деревянная табличка с цифрами: возраст 3000—3500 лет, вес 1319 тонн, рост 272,4 фута, окружность внизу 101,6 фута, диаметр 36,5 фута, диаметр самой большой ветви 6,8 фута, высота до первой большой ветви 130 футов, объем ствола 50 010 квадратных футов.

Йосемитский национальный парк. Роща Марипоза, тоже не простая, а секвойная роща, и американцы, с иронической теплотой завязывая отношения с гигантами, прозвали их «большими деревьями».

Секвойи — как пришельцы из другого мира. Никто из нас не видел этого мира, все отшумело из того, что было в их юности, остались лишь горы и реки и сама сырая земля. Сверстники других пород давно вымерли, прахом ушли в землю. А они достойно и отчужденно проносят себя среди новых и новых поколений, умеющим слышать говоря мудро и просто: ну что ж, поживем, поглядим еще... И это прикосновение к тысячелетиям уменьшает, но и лечит. Помогает точнее определиться в скупо отмеренном веке...

Ездим по парку в тени лесных — отличных, асфальтированных — дорог, ловя по сторонам, среди сосен, стволы секвой, радуясь, что уже узнаем их издалека, даже не глядя в поднебесье. Впрочем, по нашим понятиям это совсем не парк, а заповедник площадью в 1200 квадратных миль на западных склонах Сьерра-Невады. Воскресенье, и в Йосемитах много людей, не на ногах, а в машинах. Дорожные знаки и вывески, многочисленные путеводители пересыпаны цифрами, разными сведениями и советами соблюдать скорость не более сорока пяти миль в час и отводить на каждые тридцать миль дороги не менее одного часа. Из полутора миллионов людей, приезжающих в Йосемиты каждый год, почти все транзитники, на день-два. «Во время автомобильных турне,— уговаривают их авторы путеводителя,— не забывайте иногда покидать свою машину и пройтись пешком под деревьями и к водопадам, созерцать скалы и луга — это будет величайшим вознаграждением за вашу поездку».

И люди спешиваются, идут к обзорным площадкам, чтобы, поняв бессилие фотоаппаратов и кинокамер, замолчать, облокотившись на железные поручни, и с километровой высоты вбирать в себя чашу Йосемитской долины — леса, дороги, строения, голубые зеркальца бассейнов для плавания и, главное, далекий слитный грохот водопадов, блестящими лентами низвергающихся со скал, и сами гранитные скалы, взявшие в кольцо долину.

Скалы еще царственнее, когда спускаешься по шоссе в долину, и недвижные издалека ленты водопадов — уже летучие белые космы, и радуга дрожит у самой земли.

Сто лет назад Джон Муир, известный натуралист и защитник природы, которому Калифорния многим обязана, писал своему другу поэту Ральфу Уолдо Эмерсону: «Я приглашаю вас помолиться вместе со мной Природе в высоких храмах короны великой Сьерры, вознесшейся над нашим святым Йосемитом. Это вам ничего не будет стоить, кроме времени, да и времени займет очень немного, потому что вы будете рядом с Вечностью». 67-летний Эмерсон внял патетическому приглашению и, преодолев нелегкие тогда невзгоды путешествия, побывал в Йосемитах. В мае 1871 года он записал в свой дневник первые впечатления: «В Йосемитах величие гор, кажется, не имеет равных в мире, ибо они обнажили себя, как атлеты на состязании, и стоят перпендикулярными гранитными стенами во весь свой рост со снежными шапками свободы на головах».

Скалы остались теми же, и вот уже больше ста лет в Йосемитах не рубят секвойи. Избавившись от покушений человека, большие деревья могут положиться на свою непревзойденную жизненную силу — иммунитет от вредителей, объясняемый богатым содержанием тонина в древесине, и неуязвимость для огня, которую дает кора с жароупорными свойствами асбеста. Секвойи — редкий дар, природа вручила его лишь Калифорнии. «Монархи леса», рядом с которыми даже баобабы выглядят подростками, разбросаны поодиночке и рощами в Центральной Калифорнии, по западным склонам Сьерра-Невады, на высоте от четырех до восьми тысяч футов. Каждый год в феврале—марте, когда снег еще лежит в горах, ярко-желтые цветы распускаются в поднебесье, миллионы семян льются на землю в маленьких, по четыре—шесть сантиметров длиной, шишечках. У каждого семени, как утверждают ученые, шансов развиться в гиганта менее одного на миллиард. Однако секвойе как породе будущее обеспечено.

Секвойи — под охраной и в собственности государства, за кордонами национальных парков так же, как гейзеры Йеллоустоуна, озера в горах Гранд-Титон, Гранд-Каньон в долине Колорадо, Ниагарские водопады. В Америке не один десяток национальных парков и парков штатов — заповедных княжеств природы, открытых для всех за небольшую въездную плату или бесплатно, рассеченных хорошими дорогами и пешеходными тропами, с отелями, кемпингами, столами для пикников, ресторанами, кафетериями, мусорными баками возле каждой площадки-остановки, с туалетами, фотоальбомами, сувенирами, слайдами, бензозаправочными станциями и даже бумажными пакетами для мусора, которые выдают автомобилистам при въезде в парк,

и даже с полуручными медведями, которые выходят на шоссе к машинам, например в Йеллоустоунском парке.

Эти заповедники — бесспорная гордость Америки. Американцы как бы вглядываются в лицо той земли, куда пришли пионеры, в девственную природу, которую люди так сложно, а порой и неблагодарно трансформировали. Там Америка даже отвергает самое себя: конкуренция и вульгарная реклама упразднены, обслуживание посетителей — отели, рестораны, бензозаправки — отданы корпорациям-концессионерам, которые регулируются и контролируются Национальной парковой службой.

...В Йосемитском парке многоликая Калифорния обернулась к нам ликом прекрасным.

Но ведь и мы транзитники.

В путь! Ведь мы все еще путешествуем и лишь двое суток, как из Лос-Анджелеса. Пора вернуться к дорожной канве, от которой так отвлекся автор, хотя многое, очень многое лежит рядом с дорогой, если вбираешь ее не только глазами: вдруг приходит в голову, например, что, может быть, тот самый «комплекс вины», который отрицает Герман Кан, и помог американцам сберечь секвойи. А госдепартамент, закрыв нам прямой путь в Сан-Франциско по тихоокеанскому побережью, вдвое удлинил наш пробег, но, слава богу, добавил соблазна побывать в Йосемитском парке, и мы сделали этот отрадный четырехсотмильный бросок к секвойям.

Теперь еще триста миль с утра до раннего вечера — сначала простились с горами, потом плодородная долина вокруг города Фресно, потом выжженное унылое плоскогорье, серые ленты дорог, маханье нефтяных качалок и солнце, ставшее горячим и безжалостным над пустыней Габиланских гор. Мы едем, и расстояние, как всегда, длиннее, чем казалось по карте. Сверяемся с номерами дорог, накручиваем мили, а не впечатления. Потерянность в пустыне, невольное опасение как бы не заблудиться, хотя где же заблудиться на нумерованных дорогах, вверх и вниз по холмам, солнце, жалящее через ветровое стекло, жаркие сиденья и в полдень сонная скука Кинг-сити, откуда — пошло, пошло, три ряда в одну, три в другую сторону — рывок по федеральной 101-й до Кармела, где остановка еще на полтора дня.

Кармел — маленький, на пять тысяч жителей, городок на берегу океана, в 130 милях к югу от Сан-Франциско. Еще один сюрприз, еще одно очарование, лирическая интермедия между двумя фактическими столицами Калифорнии. Место из тех, где к радости примешаны вина и неловкость — что сам посмотрел, понаслаждался, а жена и дети заперты в каменном мешке Манхеттена, близкие и друзья твои не видели этой прелести.

Океан в Кармеле не что-то, лежащее слева или справа от дороги и мешающее спрямить ее, не место для городской свалки.

Мы поспешили на пляж, песок был чист и мягок, но вода холодной, обжигающей,— с Тихим океаном не шути и поздней весной. Две амазонки скакали по песку, у самой воды. Игра молодости, резвости лошадей и океанской волны, такой безразличной, но в общем готовой подкатиться к копытам, обдать брызгами смеющиеся девичьи лица.

Океан работал, вздыхая и накатывая волны шумя тем своим шумом, который не нарушает тишины.

Океан объединял, и ты уже не русский в далекой стране, а человек среди людей и возле стихии.

Океан все облагораживал: какие кругом красивые, симпатичные, грациозные люди. Пришел молодой бородач в тяжелых походных ботинках, бросился на песок, раскинул руки и успокоился, смотрит в небо, как блудный сын на потолок вновь обретенного родительского дома.

— Кармел — это состояние духа,— говорит нам мистер Плакстон.

Изречение, неожиданное для финансового клерка мэрии, но и мистер Плакстон не похож на обычного клерка. С усмешкой говорит, что, по общепринятым категориям, он — из неудачников: был водопроводчиком, торговым агентом, теперь скромный клерк. Не богат. «А разве деньги самое важное?» Неудачник, он поставил состояние духа над деньгами и обрел его в Кармеле, где, по словам мистера Плакстона, можно избежать «регламентации», то есть того жесткого действия общественного механизма, который, несмотря на всю пестроту Америки, неумолимо загоняет человека на отведенную ему полочку в соответствии с размерами банковского счета, клубом, к которому он принадлежит, кварталом, где он живет, маркой его машины, стоимостью дома и т. д. и т. п.

Брожу по Кармелу. Пожалуй, мистер Плакстон прав. Да, это состояние духа. Уютное поселение, сбегающее к океану. Низенькие домишки, изящно оформленные магазинчики, маленькие картинные галереи. Улочки, не стесняющиеся выглядеть милыми закоулками, искривившие тротуары, чтобы спасти сосны. Неоновая реклама запрещена, даже уличных фонарей нет, а бензозаправочные станции спрятаны под идиллические черепичные крыши. Здесь хорошо человеку, уставшему от голой, мертвящей функциональности городов, продиктованных автомобилем. Кармел — это не для машин, а для людей. Это опровержение Лос-Анджелеса, хотя и неубедительное, если сравнить их размеры. Это завистливая оглядка на Европу и попытка убежать от стан-

дартной Америки. Где же истина? Приобретая что-то важное и нужное, человек всегда что-то теряет и часто — тоже важное и нужное. Так неужели спасение в том, что приходит другое поколение и просто не знает, что потеряно?

Лицо Кармела определила трагедия — сан-францисское землетрясение 1906 года. Оставшись без крова, туда переселилась группа художников, писателей и музыкантов. Они-то и решили, как гласит официальная городская история, «сохранить природную красоту и редкое очарование поселения в лесу над белым песчаным пляжем». Библиотека, клуб искусств, театр возникли в городке, сосны и кедры были посажены вдоль берега, а параллельно шли «ожесточенные битвы между культурной и деловой группами населения». В 1922 году создали первую комиссию по городскому планированию, обязав ее оградить Кармел от «нежелательных коммерческих начинаний». Едва ли не самой главной вехой было приглашение в 1928 году профессионального градопланировщика, который, спасая город от надвигавшейся гегемонии автомашины, вынес сквозную автомагистраль за его черту. Бизнесмены восстали, свергли городской совет, требуя введения дороги в город, тем не менее в 1929 году был принят городской закон, провозгласивший, что коммерческие интересы «навсегда» будут подчинены интересам жителей.

Жители Кармела, с гордостью сообщает городская справка, «посмели быть непохожими на других».

Кармел убежал от Америки, но Америка льнет к нему, и именно потому, что он осмелился быть непохожим. Боб Мартин, владелец отеля «Розита лодж», в котором мы остановились, рассказывает, что в сезон, с июня по октябрь, здесь столпотворение: машины, бампер к бамперу, сверху от дороги № 1 вниз до пляжа, и такая же вереница обратно. Медленно движется автоочередь в Кармел мили на полторы длиной, посмотрят на чудо, подивятся или вздохнут и опять в стандартную страну, но из машин доллар за долларом оседает в Кармеле — в 53 ресторанах, 46 мотелях и отелях, во всех 932 заведениях, которым выданы лицензии на бизнес. По семьдесят — восемьдесят тысяч машин проходит тогда через Кармел каждый день, говорит нам мэр. Город делает бизнес на неповторимости и артистичности. Кармелские дельцы, боявшиеся прогореть на непохожести, отменно компенсированы.

Впрочем, гарантию очарования мистер Плакстон усматривает не только в стойкости жителей, но и в опеке неких «милосердных баронов».

— Есть у нас своя клика, там на полуострове. Сэм Морс — у него контрольный пакет в компании «Дел Монте пропертиз», владеющей парком. Фиш, крупный землевладелец. Оппенгеймер тоже богатый собственник. Они не пускают аутсайдеров...

Слава растет, земля дорожает. Дом Плакстона в 1944 году стоил восемь тысяч долларов, через двадцать лет за него давали 32 тысячи. Художники и писатели, может быть, что-то еще значат, но процент их ничтожен, другие люди переняли эстафету из их рук. Мэр сообщил, что около четверти кармельцев — военные в отставке, от майоров и выше, 15 процентов — пожилые бизнесмены, удалившиеся от дел.

...В последний раз утренние сосны и густо-голубое, сохранившее ночную сочность небо Кармела. Утреннее шаркание машин по кривым улочкам, тяжелые еще со сна лица людей.

До Сан-Франциско около двух часов езды, в основном по федеральной дороге № 101. Это большой автомобильный тракт через плодородную долину, хорошо известный водителям огромных грузовиков с прицепами. Дорога — как улица. Врезается в города и городишки. Зеленые поля, виноградники, справа — порыжевшие невысокие горы. Калифорния, между прочим, производит восемьдесят процентов американских сухих вин.

Хорош Сан-Франциско, когда прилетаешь туда из Нью-Йорка, но сейчас зеленые щиты дорожных указателей и учащающийся ритм автострад летели навстречу, как петля аркана на шею коня, побаловавшегося под йосемитскими секвойями и на песке кармелского пляжа.

(Окончание следует)

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

БЕЗ ПРИКРАС

Последнее десятилетие в литературном процессе на Западе (прежде всего в Западной Германии и США) отмечено явным повышением интереса к самым различным формам документального жанра. При этом документальные жанры даже начинают «теснить» жанры беллетристические, свидетельствуя об очевидном недоверии как читателей, так и литераторов к принципу художественного вымысла, фантазии и прежде всего — формального экспериментирования, погони за новыми, невиданными, необычайными средствами языкового выражения. «Модерн» выходит из моды. На повестку дня встает «голый факт», требование «аутентичности», строгая приверженность только тем истинам, которые зафиксированы документально.

В США это новое веяние особенно резко выступает именно как перелом, поворот сознания,— потому что там к документальным жанрам приходят писатели, отличавшиеся ранее особым «своеволием» творческой манеры и подчеркнутой субъективностью художественного мышления. После повышенной экзальтированности своих ранних романов и новелл с их невротическими героями — чудаками и фантазерами — Трумэн Капоте пишет документальную повесть «Обыкновенное убийство» [1]. После разнообразных эксцентрических эскапад к хроникальному жанру приходит Норман Мейлер («Марш в ночи»). В Западной Германии этот жанр более самостоятелен, он уже может опираться на солидную традицию — от Гейнара Кипхардта, в свое время «пришедшего» в этот жанр из «обыкновенной» беллетристики, до современных публицистов, с самого начала посвятивших себя жанру репортажа, «протокола», «показания» (Гюнтер Вальраф, Эрика Рунге, Александр Клюге).

Подобное направление литературного интереса знаменательно. Оно сигнализирует прежде всего о том, что западные писатели, судя по всему, действительно устали от литературного субъективизма, от бесконечного самовоспроизводства принципа формального эксперимента, от лихорадочной чехарды писательских манер. Недаром в германоязычных литературах Запада на этом полюсе предметом писательской рефлексии все чаще становилась принципиальная «невыразимость» мира, буквально невозможность писать, утрата и цельности человеческой личности, и идентичности человеческого слова. Писатели судорожно примеряли маски и биографии (Макс Фриш), терялись перед ассортиментом многочисленных и взаимоисключающих точек зрения (Уве Йонсон, Мартин Вальзер), пока, наконец, самые нетерпеливые не махнули рукой на все эти проклятые вопросы и не начали просто разлагать синтаксис и морфологию языка, играть мертвыми, обессмысленными осколками фраз и слов (Петер Хандке, Ойген Гомрингер). В такой атмосфере обращение к другой крайности — предельной фактографичности — понятно по меньшей мере психологически.

Но у этого интереса есть и четкая социальная доминанта. Как правило, писателям не безразлично, к каким «голым фактам» обратиться. Документы интересуют их не сами по себе, не только как чисто формальный противовес принципу безудержного субъективистского экспериментирования,— чаще всего писатели обращаются к фактам из жизни социальных низов, даже к фактам социального протеста и классовой борьбы. Отрицаемый ими литературный субъективизм недвусмысленно связывается с высокомерной элитарностью, воспринимается ими не как сугубо литературный эксперимент, а

[1] См. «Иностранную литературу» №№ 2—4 за 1966 г.

как вольное или невольное служение интересам богатых, сытых, процветающих. Напротив, документальная литература в своей массе — литература в прямом смысле этого слова антикапиталистическая, обличительная, она — обвинительный протокол современному буржуазному общественному строю. И есть основания думать, что не случайно документальный жанр приобрел такое большое значение именно в США и ФРГ — странах, в которых современный капитализм обладает, пожалуй, наиболее высоким «потенциалом агрессивности» и в которых в то же время особенно ощутимо его стремление к «сформированному» обществу, к созданию фетиша «просперити».

О сложной проблематике этого литературного движения, о перспективах документального жанра и присущих ему противоречиях рассказывает опубликованная западногерманским еженедельником «Цейт» подборка материалов, которую открывает статья критика Дитера Э. Циммера «Так называемая документальная литература». Далее помещаются рецензии на ряд документальных книг — в частности, на две последние книги Вальрафа[2] и на сборник репортажей Эрики Рунге[3] (и Вальраф, и Рунге принадлежат к дортмундской «Группе 61»).

Все критики подчеркивают ярко выраженную социально-просветительскую тенденцию этой литературы.

«Общим для всех документальных произведений,— пишет Дитер Циммер,— является не какой-либо формальный критерий, а скорее тенденция: они все хотят рассказать о малоизвестных, замалчиваемых или отрицаемых социальных и исторических реальностях; например, они предоставляют слово самим униженным и обойденным, чтобы тем самым пробудить в публике политическое сознание. Речь идет, таким образом, преимущественно о просоциалистической литературе, хотя со значительными идеологическими различиями; документальные книги являются дополнительными иллюстрациями к существующим социальным теориям. Так что лучше говорить здесь о публицистической литературе. Ее наличие свидетельствует об упущениях публицистики».

Перечисляя тематику новой книги Вальрафа «Тринадцать нежелательных репортажей» (различные приемы полицейской слежки в случае с прогрессивными организациями ФРГ и в случае с неофашистской национал-демократической партией; студенческие волнения в Западном Берлине летом 1967 года; условия жизни в гамбургской ночлежке и т. д.), Хорст Крюгер пишет:

«Автор явно задался целью подвести исчерпывающий публицистический баланс всему нашему общественному устройству. При этом он начинает с периферийных явлений, выбирает как будто исключительно единичные случаи на этой периферии — движимый верной мыслью, что структура необычного позволяет сделать выводы и о «нормальном состоянии»... Приводя иногда страшные, иногда смешные факты, Вальраф воссоздает социальный климат нашего государства. Он вовсе не описывает отдельные недостатки, которые можно было бы устранить без труда. Его диагноз всегда симптоматичен. За официальными лозунгами о безопасности, свободе, благосостоянии и демократическом порядке он обнаруживает прямо противоположную реальность. На отдельных характерных участках он приоткрывает маскировочное покрывало благополучия, наброшенное на дисгармонию этого общества. Он каждый раз извлекает на свет частичку скрываемой от нас истины. Даже если это было известно и раньше, это было не широко известно и не в таких подробностях».

И далее Крюгер отмечает:

«Именно потому, что репортажи Вальрафа так широко разветвлены в социологическом и географическом смысле, изображаемые им модели поведения и мыслительные структуры являются типичными. Их общая черта — антидемократизм. В них проявляются как тоталитарные государственные традиции, так и совершенно отчетливые, очевидные экономические интересы. Они служат сохранению господства привилегированных, недопущению равенства шансов и социальной зрелости. Эксплуатация и тоталитарные принципы поведения, дискриминация политических меньшинств, технический и персональный перевес аппаратов власти — Вальраф убедительно показывает, что все это чрезвычайно реальные факторы в нашем государстве».

Еще более заостренной социальная проблематика выступает в другой книге Вальрафа — «Эпилоги. Сценическая документация». Здесь автор применяет средства текстового монтажа. В первой части — «Уличные демонстрации» — официальным версиям (высказываниям прессы и политиков) противопоставляются свидетельства очевидцев. Вторая часть — «Политическое правосудие» — рассказывает об особенно вопиющих случаях из практики не известных широкой публике судебных процессов против коммунистов. В третьей сцене ходовым лозунгам о «социальном партнерстве» противопоставляются реальные условия на промышленных предприятиях.

[1] См. «Иностранную литературу» №№ 1—2 за 1969 г.
[2] См. «Иностранную литературу» № 5 за 1970 г.

В то же время критики обнаруживают и некоторые тревожные тенденции в тематике документальной литературы. Крюгер отмечает у отдельных документалистов повышенный интерес к «из ряда вон выходящим случаям», «жестокий вкус к эксцентрике». Так, Урсула Трауберг в своей книге «Предсуществование» изображает физических и социальных уродов: карликов, маньяков, убийц и т. д.

«Социальное просветительство,— пишет Крюгер в этой связи,— слишком явно переходит здесь в артистический интерес к необычайным казусам... Интересными оказываемся не ты и я, не первый попавшийся человек, как утверждается, а совершенно необыкновенные, шокирующие, эксцентрические исключения. Надо отыскать вот такой именно тип, такого оригинала, чудака где-нибудь на периферии, в провинции — найти удивительный экземпляр социальной куисткамеры. Вот за таким едут, ловят его: «Ну, пускай теперь говорит, магнитофон включен». Я спрашиваю себя: какая часть социальной действительности манипулируется подобным образом? Здесь над сырьем трудятся умелые, тонкие руки — задолго до того, как они начинают кромсать магнитофонную ленту и монтировать. Голая истина здесь всегда причесана, как в стриптизе».

На другую внутреннюю слабость некоторых документальных книг указывает Хельга Новак в рецензии на сборник репортажей Эрики Рунге «Ботропские показания». Хотя Эрика Рунге правдиво изобразила рабочих, они выступают в ее книге скорее как объекты писательского наблюдения, а не как потенциальные борцы с существующими условиями. Здесь мы уже можем наблюдать, как критический интерес, пробужденный социально-разоблачительной документальной литературой, в свою очередь пытается стимулировать ее социальную активность, призывая сделать новый шаг — от протокола к революционной агитации.

«Мы знали и знаем,— пишет Хельга Новак,— что существующие отношения собственности с самого начала предполагают наличие неимущих классов и что мы вовсе еще не открываем для них ворота в царство демократии, когда даем им слово. Мы переварим самые резкие высказывания, если они останутся только высказываниями,— даже если они сотрясают устои. Ведь некоторые жители Ботропа говорят об общественной собственности на средства производства, о национализации шахт — хотя никто не говорит прямо об экспроприации. До сих пор никакие повышения зарплаты, никакие социальные реформы и демократические жесты... не ликвидировали противоположности между классами. А пока существуют такие противоположности, демократии не будет».

Сложность проблематики документальной литературы обнаруживается и в ее отношении к собственно художественной литературе, к беллетристике.

«То, что писатели больше не «творят», что время искусства прошло,— пишет Крюгер,— это с некоторого времени воспринимается как непреложный и общеизвестный факт. Фантазия, стиль, художественный вкус — добродетели, которыми мы до сих пор восхищались в писателях от Пруста до Ингеборг Бахман,— ныне считаются пороками: красоту теперь можно найти лишь в изображении классовой структуры общества, аутентичным теперь считается только сам материал: ну давай говори, голубчик, магнитофон включен».

Такую позицию литературного самобичевания демонстрирует Хельга Новак в своей рецензии на книгу Рунге:

«После этой книги мне стало стыдно за то, что я вознамерилась было заниматься изящной словесностью... Искусство как стиль, как особая (якобы сугубо индивидуальная) форма скрывает в себе одну из самых вопиющих неправд — допущение, что сегодня еще существуют индивидуумы в старом смысле этого слова. Мы живем в эпоху униформ, потому что мы живем в эпоху крупной индустрии. От этого нас не спасет никакая специализация,— даже если мы в целях самосохранения назовем ее стилистическим направлением».

Совершенно очевидно, что такое противопоставление не просто полемически заострено, но еще и в полном смысле этого слова догматично. Убеждение в том, что «индустриальный век» уничтожил само понятие индивидуальности, уже во многом послужило основой для лихорадочных поисков литературных эрзацев индивидуальности в области чисто формального экспериментирования. Стоит ли документальной литературе, протестующей против такого экспериментирования, брать на вооружение его же философский аргумент — к тому же аргумент, явно принадлежащий больше к сфере обывательского литературного сознания? Ведь одно дело — стремление буржуазного мира вытравить в человеке индивидуальность (такое стремление действительно существует), а другое дело — писательское отношение к этой тенденции. Разве не исконный долг писателя — утверждать право человека на развитие своей индивидуальности, бороться с ее насильственным уничтожением и разве не похоже на огорчительную капитуляцию признание этой нивелировки личности как непреложного закона и даже руководства к практическому занятию своим писательским ремеслом?

Наиболее проницательные литераторы видят это противоречие и опровергают такое схематическое противопоставление искусства документу хотя бы уже с чисто формальной точки зрения, доказывая, что ни один документалист не в состоянии перестать быть личностью, творцом, даже в процессе самой как будто бы беспристрастной фиксации фактов. Выше уже цитировалось замечание Крюгера о том, что над «сырьем» в этом жанре «трудятся умелые, тонкие руки». Эту же мысль развивает и Дитер Циммер:

«Понятие документальной литературы обязано своим происхождением современной склонности литераторов говорить сухим, скупым языком и тем самым придавать своим произведениям впечатление научности... Но документальная литература никогда не представляет нам чистые, неискаженные реальные факты. Самый последовательный, самый безыскусный документалист по необходимости вмешивается в свой материал: он приглашает людей к объективу, микрофону или пишущей машинке и ставит их тем самым в исключительную ситуацию; он задает вопросы, отбирает, аранжирует. Документальная литература никогда не поставляет чистой, неподдельной реальности».

Он же обращает внимание документалистов и на существенный гносеологический изъян их теории в ее самом радикальном виде:

«Аутентичное не обязательно должно быть истинным. Аутентичностью обладают и заблуждения и ложь. Истинность чего-то просто аутентичного, пунктуально правдивого становится очевидной только тогда, когда оно приводится в каузальные связи и ими проверяется. Документальная литература может незаметно для себя заменить аутентичными неправдами выдуманные истины той самой литературы, которой она не доверяет».

Однако все эти высказывания пока что подвергают сомнению лишь претензии документальной литературы на абсолютную аутентичность, молчаливо соглашаясь с ее попыткой ниспровергнуть искусство, объявить его устарелым, скомпрометированным, фальшивым. Сколь велика должна быть у этих писателей усталость от субъективизма в современной литературе, если они готовы покончить с искусством вообще, лишь бы вернуться к «аутентичной истине»!

Мы не будем сейчас приводить имена талантливых западных писателей XX века, умевших говорить социальную правду языком искусства, многочисленными средствами художественной индивидуализации и типизации. Нынешние критики искусства, конечно, сами вспомнят их имена, когда разберутся в истинных причинах своего недоверия к литературе, когда отделят понятие субъективистского произвола от понятия творческой индивидуальности писателя. Мы напомним только о том, что все это однажды уже было. Столетие назад писатели-натуралисты во Франции и Германии противопоставляли литературному «приукрашиванию жизни» стремление к строгой научности, «математической верности» литературы, и Золя произнес шокирующе смелые слова о том, что «истина может гулять голою и не нуждается ни в какой драпировке». Натурализм был поначалу хорошим противоядием от субъективистских излишеств. Кстати, и натуралисты с той же логичностью пришли к осознанию необходимости отражать жизнь и быт социальных низов, прежде всего нового общественного класса — пролетариата. Золя писал «Жерминаль» и «Западню», Гауптман писал «Ткачей», и даже братья Гонкуры вначале с полной убежденностью заявляли, что «слезы, которыми плачут в низших классах, способны трогать нас так же, как слезы, которыми плачут в высшем свете». Но принцип «голого факта», абсолютного отречения от писательской индивидуальности, как известно, так и остался чисто теоретической утопией, так и не проявился в литературе в чистом виде: просто писатели осознали необходимость более трезво проверять гармонию своей фантазии прозой реальной жизни. И именно эта бесстрашная приверженность истине стала «активом» натуралистов, их вкладом в духовную историю рубежа XIX—XX веков.

Современная документальная литература в большинстве случаев движима тем же благородным стремлением показать истину без прикрас, рассказать фактическую правду о социальном неблагополучии в «процветающем» буржуазном обществе. Она тоже противоядие от излишеств субъективизма. Но ее существование вовсе не обязано исключать искусство, творчество. Просто искусство не обязательно должно быть ложью. Можно рассказать о рафинированной эксплуатации рабочих в современной Западной Германии лаконичным языком репортажей Вальрафа — и можно рассказать о ней языком художественной типизации, как это делает Макс фон дер Грюн в своих романах из шахтерской жизни. Можно разоблачать западногерманский неофашизм и милитаризм, как это делает тот же Вальраф, рассказывая о бундесвере или о национал-демократической партии,— и можно делать это сугубо литературными средствами, как, например, Генрих Бёль. Истина не настаивает на единственности формы. Истину, как говорил Брехт, можно тысячей способов показать и тысячей способов утаить.

А. КАРЕЛЬСКИЙ

Документ времени

В год, когда исполняется 25 лет победы над фашизмом, мы с особым чувством возвращаемся к произведениям искусства, созданным после окончания войны, где радость победы и горечь потерь выявлены с убеждающей силой. Теперь они — документы времени: гранитные монументы, графические серии, живописные полотна, запечатлевшие этапы борьбы с фашизмом. В Народной Польше — это десятки памятников, среди самых известных — памятники героям Вестерплятте в Гданьске и героям Варшавы, это цикл полотен Ксаверия Дуниковского «Освенцим», альбом «Камни кричат» Бронислава Войцеха Линке.

Имя Бронислава Войцеха Линке (1906—1962)[1] знают далеко за рубежами его родины. Недавно в варшавском издательстве «Arkady» вышла монография, посвященная его творчеству. Ее автор, видный мастер книжной иллюстрации Шимон Кобылинский, прослеживает творческий путь этого своеобразного, «горького» мастера.

Известная польская писательница Мария Домбров-

ВОЙНА БУДЕТ? 1940 г.

[1] См. «Иностранную литературу» № 6, 1961 и № 3, 1966 г.

ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ.
Из цикла «Камни кричат». 1949 г.

МАСКА. ВАРШАВА. 1947 г.

К статье Л. Уразовой «Документ времени».

БАЛЕТ. Из цикла «Камни кричат», 1949 г.

ГОЛГОФА. 1958 г.

ГОЛОВА. 1961 г.

ская в предисловии к альбому «Камни кричат» в свое время точно определила обличительный характер этой серии и своеобразие творческого взгляда художника: «Зло, наиболее ярко воплотившееся в насилиях и преступлениях гитлеризма, Линке обнажает с яростной беспощадностью, клеймит и осуждает». И еще: «Для него имеет значение только собственное видение мира, который представляется ему обращенным к людям не своей парадной стороной, а грубой, сложной, жестокой изнанкой».

Борьба с разрушительными силами зла — вот пафос искусства Линке, начиная с первых его работ художника-публициста, публиковавшего на страницах журналов сатирические рисунки. Позиции художника определились еще в начале 30-х годов: он отверг существующий строй капитализма, он обличал его античеловеческую сущность. Оружием борьбы он избрал метафору и символ. Уже в ранних работах художника звучат скорбь и гнев, возмущение и боль. Будущее панской Польши Линке видел в трагическом свете, словно предчувствовал роковой сентябрь 1939 года. Одним из первых среди польских художников группы «Фригийский колпак», связанной с Коммунистической рабочей партией, он открыто выступил против германского фашизма, предупреждая о той угрозе, которую он несет человечеству. Враги запомнили имя художника, и летом 1940 года на волнах вроцлавской радиостанции стали раздаваться угрозы фашистов. Сразу же после взятия Варшавы гестаповцы разгромили мастерскую Линке: они не могли простить ему карикатур на Гитлера. Когда весной 1946 года художник вернулся в Варшаву, город лежал в развалинах.

Рассказывая о работе над серией «Камни кричат», Шимон Кобылинский приводит цитату из дневника художника: «Для передачи атмосферы следует выбрать соответствующий фрагмент Варшавы, подробно зафиксированный фотографией. Надо отправиться на место действия с фотографией и скорректировать ее с действительностью». Эти короткие рабочие записи в тетрадях и блокнотах не рассчитаны на чужой глаз. «Во время каждого путешествия по освобожденной Варшаве,—пишет Кобылинский,— Линке фотографировал, рисовал, описывал, в течение всего первого года после возвращения на родину он переживал каждую деталь как потрясение»... Об этом потрясении вспоминает в некрологе на смерть Линке его близкий друг писатель Войцех Жукровский.

Руины Варшавы и потрясенный Линке... Воспоминания друзей художника помогают читателю сквозь толщу временного слоя в четверть века увидеть их наедине... Увидеть, как, завороженный, бродил он часами по городу, чужому и до боли близкому, как он прокладывал трассы среди развалин, силясь отыскать знакомые здания. Так ищут тела близких на поле боя. В дождь, в сыром тумане гигантскими призраками скелетов вставали перед ним эти руины. Вслушиваясь в звенящую тишину мертвого города, Линке пытался проникнуть за ту невидимую черту, которая отделяла настоящее от прошлого. Временами ему казалось, что камни стонут,— это ветер завывал в подвалах. Линке осторожно касался рукой каменных стен. Выбоины от

НЕНАСТЬЕ. Из цикла «Камни кричат». 1946 г.

снарядов и осколков зияли как раны, ободранная штукатурка свисала, словно содранная кожа, рваными артериями застыли железные трубы коммуникаций. Не скелетами, а ранеными повстанцами виделись теперь художнику разрушенные дома. Так начал рождаться замысел серии рисунков «Камни кричат». Здесь все условно — в этом странном, ирреальном мире, который потрясает воображение своей конкретностью, объемностью, трехмерностью пространства. Такое восприятие свойственно скульптору. А Линке, обладавший пластическим даром, уже тогда делал первые наброски огромного монумента. Один из эскизов к нему — лист «Движение Сопротивления»: каменный гигант сжимает в руках меч. (Через семнадцать лет меч отмщения поднимет бронзовая «Варшавская Ника», установленная Марианом Конечным на Театральной площади столицы,— замысел Линке остался неосуществленным.)

Серия «Камни кричат» открывает особый мир, где каждый образ — это символ и метафора, фантасмагоричные, саркастичные, гротескные — почти босховские по духу.

Шимон Кобылинский пишет, что всю жизнь художника вдохновляла услышанная где-то фраза о значении силы воли в борьбе с физической немочью: еще ребенком после тяжелой операции он почти ослеп. Силой воли он подавлял болезнь. В последние годы жизни, когда болезнь грозила Линке окончательной слепотой, он с иронией говорил друзьям о своих работах: «Да, для незрячего это неплохо, я — самый талантливый художник среди незрячих». И тогда становится понятно, почему «главные герои» его последних работ — глаза, огромные, пытливо смотрящие прямо в душу,— «Красная голова», «Белая голова».

Главенствующий мотив последних записок в дневнике — короткое, лаконичное «Не успею». Он торопился, не щадя себя. Не щадил он и своих зрителей.

Изображая безумный, жестокий мир, в котором камни кричат, а люди каменеют, Линке взывал к человеческому разуму и человеческому сердцу.

Творчество Бронислава Войцеха Линке — документ времени.

Справедливыми кажутся слова Войцеха Жукровского, которыми он заканчивает статью-некролог: «...поколения будут всматриваться в его произведения, находя в них величие и ужас атомной эпохи. Я верю в настоящее величие этого искусства».

ЛЮДМИЛА УРАЗОВА

НАШИ ГОСТИ

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ...

Августовским днем 1951 года Александр Фадеев представлял советским писателям Назыма Хикмета. Турецкий поэт только что вырвался из страны, где он родился, на языке которой писал свои стихи, но где ему грозила в те годы смерть.

После первых приветствий Назым Хикмет снял пиджак, повесил его на спинку стула и предложил:

— Что же, давайте работать!

И сразу заговорил о поэзии, о своих товарищах по перу, передовых турецких писателях. И среди первых он назвал имя мало кому известного тогда молодого новеллиста Орхана Кемаля.

Вскоре в доме Назыма Хикмета собрались друзья, понимавшие по-турецки. Поэт раскрыл маленькую книжку и стал читать рассказ о бедном мальчике из стамбульского пригорода, который радуется как невиданному лакомству рыбе, купленной отцом. Время от времени Назым вскидывал на слушателей глаза, желая удостовериться, оценили ли они великолепный народный язык, юмор и лаконичность автора, сумевшего в три странички уместить жизнь целого квартала. Автором рассказа был Орхан Кемаль.

Прошло почти двадцать лет. И вот Орхан Кемаль, впервые выехавший за пределы Турции,— в Москве, в редакции «Иностранной литературы».

За эти годы изданы десятки его книг, переведенных на многие языки и в первую очередь на русский. Пьесы Орхана Кемаля идут в лучших театрах Анкары и Стамбула. Имя писателя прочно вошло в историю турецкой прозы.

Изменилась и Турция — писателей уже не сажают в тюрьму по первому доносу, социалистические идеи, некогда объявленные вне закона, все больше овладевают умами, становятся основой организованного движения.

Изменился и сам Орхан Кемаль. Это уже не тот мастеровой парень, страстный футболист и задира, который глядит на нас со старых фотографий. Крупнейший романист страны, он долго был одним из немногих писателей, зарабатывавших на жизнь своим пером. Изнурительный труд по двенадцать-четырнадцать часов в сутки, годы лишений и тюрем сделали свое дело. Морщины прорезали его лицо, от залысин и без того высокий, крутой лоб стал еще выше. Но глубоко посаженные острые глаза по-прежнему молодо сверкают из-под густых с проседью бровей.

Нет на свете Назыма Хикмета. Но первой фразой, сказанной Орханом Кемалем после взаимных приветствий, была та самая, что произнес девятнадцать лет назад в Москве его учитель:

— Что ж, давайте работать! Я в вашем распоряжении.

Орхан Кемаль недавно выпустил книгу «Три с половиной года с Назымом Хикметом». Эти годы он провел вместе с поэтом в одной камере брусской тюрьмы, где прошел свои университеты и где единственным профессором был Назым Хикмет. Он обучал Орхана Кемаля французскому языку и знакомил с основами политэкономии, следил за первыми литературными опытами молодого писателя и делился своими мыслями об искусстве. После выхода Орхана Кемаля на волю Назым Хикмет — он провел в брусской тюрьме еще семь лет — писал ему:

Номер уже находился в печати, когда поступило сообщение о тяжелой утрате, понесенной турецкой литературой,— безвременной кончине Орхана Кемаля.

«Не забывай, что в литературе очень полезно с полной ясностью представлять себе, что ты берешь, что можешь взять от предшественников, что они по этому поводу думали, что думаешь и что — впервые — делаешь ты сам. В тебе великолепные задатки романиста, рассказчика. И нет никаких причин, почему ты мог бы потерпеть неудачу. Ты храбр, тебе, правда, немного не хватает образования. Но это можно возместить — ты же каждый день нос к носу сталкиваешься с самой неприкрытой, голой реальностью. И если впредь будешь работать так же много, как сейчас, то в недалеком будущем подаришь турецкому народу и всем народам земли великолепные произведения. Я очень в тебя верю».

Минувшие десятилетия показали, насколько прав был Назым Хикмет.

Так же, как некогда его учитель, Орхан Кемаль начал разговор с рассказа о своих товарищах по перу. По его словам, ныне в турецкой литературе противоборствуют два направления: социальное, как его называют в стране, и идеалистическое, то есть буржуазное. В каждом из этих направлений есть свой авангард, стремящийся создать нечто новое, не бывалое прежде в литературе.

— В Турции также идут разговоры об отмирании романа, но мне думается, разговоры эти в значительной мере дань западной моде. Конечно, гоняясь за новизной формы, авангардисты и социального и буржуазного направлений суживают возможности искусства говорить правду. Разница, однако, состоит в том, что писатели социального направления на этом много теряют, а буржуазные писатели выигрывают, ибо возможность ничего не сказать — их единственный шанс удержаться на поверхности.

Для них,— усмехается Орхан Кемаль,— словесные выкрутасы — хлеб насущный.

В Турции ныне идет острая антиимпериалистическая борьба. Литература социальная, по словам писателя, отражает эту борьбу, стремится помочь массам. И, естественно, вместе с новым содержанием в литературу приходят и новые формы.

По мнению нашего гостя, подавляющее большинство талантливых прозаиков и поэтов, и прежде всего молодых, так или иначе участвует в национальной антиимпериалистической борьбе, которая ширится в Турции. В качестве наиболее ярких примеров он называет творчество романиста Факира Байкурта, поэзию Фазыла Хюсню Дагларджи, Ахмеда Арифа Кансу.

Несмотря на предупреждение Орхана Кемаля, что он предпочитает не говорить о себе, мы просим его рассказать о собственных творческих планах.

Недавно вышел в свет роман Орхана Кемаля «Инспектор инспекторов».

В Турции, говорит писатель, выходит сейчас очень много книг, а снобы, как всегда, норовят высказать свою осведомленность обо всем на свете, не приложив к этому никакого труда. Не прочитав романа, они пустили слух, что его книга — копия гоголевского «Ревизора». Но, кроме, пожалуй, совпадения названий, эти произведения, говорит О. Кемаль, совершенно непохожи.

— У меня это история шарлатана, причем шарлатана типично турецкого, который стал депутатом меджлиса. Начал он свою карьеру с того, что, входя в провинциальную кофейню или останавливаясь в отеле, подзывал к себе хозяина и указывал на какой-нибудь беспорядок. «Просто как гражданин, а не как какой-нибудь начальник или важная персона». Эта фраза раскрывала перед ним все двери.

Продолжение романа под названием «Игрок в три листика» сейчас печатается из номера в номер в одной из газет. Он кончается выступлением героя в меджлисе. Третий роман этой серии у писателя еще, по его словам, в голове.

— В этой трилогии я хотел показать те изменения, которые произошли в Турции в 50—60-х годах. Один мой приятель, тоже литератор, рассказал мне, что встретил как-то знакомого, полковника генерального штаба, между прочим, и спросил его, что он читает. «Понимаешь, читаю роман одной большевистской сволочи! Но такие верные вещи пишет, что оторваться не могу!»

Речь шла о романе Орхана Кемаля «Инспектор инспекторов».

Однажды в издательстве к Орхану Кемалю подошел чиновник и, справившись, он ли автор романа про инспекторов, рассказал, что сам он ревизор и есть у него друзья-ревизоры, которые каждый вечер собираются то у одного, то у другого в гостях и читают вслух роман «Инспектор инспекторов». По их общему мнению, Орхан Кемаль должен был сам непременно быть ревизором: откуда бы иначе ему знать такие подробности?!

Орхан Кемаль переменил в жизни много профессий. Он был судомойкой в рабочих столовых, счетоводом на фабрике, строительным рабочим, гардеробщиком, литературным негром, рабочим сцены. Но вот инспектором — не удостоился.

Речь зашла о том, в каких условиях приходится работать писателям Турции. И мы услышали один из ненаписанных рассказов Кемаля о жизни, о себе.

Лет двадцать тому назад, рассказывает Орхан Кемаль, он приехал из провинции в Стамбул с женой и пятью детьми. К тому времени уже было опубликовано несколько его книг, написанных во время службы в армии, и он полагал, что, как человека, известного в литературных кругах, его встретят с почетом: не зря же о его книгах были написаны хвалебные статьи и рецензии.

— Но, конечно, никто меня не встречал ни с цветами, ни без оных. Ничего обнадеживающего не дало мне и близкое знакомство со стамбульскими литераторами. Вскоре я убедился, что прокормиться пером невозможно, и стал искать работу.

Но хотя я готов был делать все, что угодно, найти работу было нелегко: ведь я сидел в тюрьме, и эта «слава» повсюду следовала за мной. Как-то я зашел к Назыму. Он сам только что был выпущен на волю. У него сидел его давний знакомый, журналист Валя Нуретдин. Я рассказал о своих бедах. Валя Нуретдин посоветовал: «Видишь вот там, за новым зданием почты, лавки оптовых торговцев? Войди в одну из них и скажи: я турецкий писатель, у меня дети, я не могу их прокормить. Дайте мне в долг товары, я буду их продавать вразнос!» Нуретдин был в литературных и коммерческих делах человек тертый. И, конечно, он просто хотел от меня отделаться. Я не последовал его совету. Нанялся писать репортажи для газет и журналов, статейки, рассказы, миниатюры, получал за них гроши. Семья голодала...

У Орхана Кемаля есть рассказ «72-я камера», написанный по тюремным впечатлениям. Несколько лет назад на основе этого рассказа писатель создал пьесу, и вот уже три года она не сходит со столичных сцен, играют ее и профессиональные и любительские труппы, разъезжающие по Анатолии.

— Этот рассказ,— говорит писатель,— долго жил в моем подсознании, воспоминания одолевали меня, я должен был их высказать. Не раз я брался за перо, но ничего не выходило. И вот однажды ночью, когда на улице шел снег и дети дрожали от холода, хотя мы с женой навалили на них все тряпье, что нашлось в доме, я раздобыл полтора литра керосину и зажег лампу. Лампа почему-то страшно гудела и больше грела, чем светила. Всю ночь я с необычайным воодушевлением писал рассказ, и, когда он был окончен, я, подняв глаза, увидел, что в стакане замерзла вода. Но рассказ мне очень понравился. Он звучал для меня как песня. Я разбудил жену и детей и с восторгом прочел им рассказ от начала до конца... На следующее утро я прошел пешком шесть километров до улицы Бабаали, где помещаются издательства и редакции, вошел в первый попавшийся журнал и бросил рукопись на стол хозяину.

— Берите,— говорю,— это шедевр!

Хозяин не привык, чтобы с ним так разговаривали. Глянул на рукопись.

— У меня есть эксперт по литературе. Пусть он прочитает, а ты приходи за ответом завтра.

Я надеялся получить хоть маленький аванс — дома ни хлеба, ни денег. Но делать было нечего.

На следующий день привратник возвратил мне рукопись, не пустив в редакцию.

Я отправился в газету «Дюнья». Там рукопись понравилась. На следующий день мне показали рисунки к рассказу и, если мне не изменяет память, вручили аванс в сто лир. Сколько всего нужно было купить на эти деньги! Я ходил по лавкам, стараясь выбрать лишь самое необходимое, а денег все равно не хватало...

Когда рассказ был напечатан и имел успех, очнулся хозяин журнала, которому я сначала его предлагал. Прислал письмо, в котором сообщал, что, как выяснилось, его эксперт ишак и потому уволен, и предлагал мне издать рассказ отдельной книгой. Рассказ вскоре вышел в двух изданиях, и, кажется, я получил за него в общей сложности пятьсот лир.

Я думаю, что ответил на ваш вопрос, как живется писателям в Турции, ибо все мои товарищи прошли по этой дороге.

Орхан Кемаль писал рассказы за десять лир, за пять и даже за три. Ходил домой пешком, зажав деньги в кулаке, чтобы не тратиться на транспорт.

— Вы знаете,— говорит писатель,— я доволен своей судьбой, хотя было в ней все: и нищета, и преследования. Но они меня не сломили, а закалили. К сожалению, не многим удалось, пройдя через такую мясорубку, устоять на ногах и остаться в литературе... Теперь, конечно, не сравнить с тем, что было двадцать лет назад, когда меня и арестовывали, и сажали в тюрьму. Но даже аресты помогли мне понять, что я не один в мире, что у меня есть друзья, ибо доходили до меня протесты из Европы и Америки...

Когда 27 мая 1960 года было свергнуто профашистское правительство Мендереса, Орхан Кемаль был весьма читаемым романистом. Через день в газету, где работал писатель, пришел Валя Нуретдин. После переворота его отовсюду выгнали, он искал работу.

— Что делать, не знаю! Остался без гроша в кармане. Ни курева, ни крова над головой!

— Вот тут,— рассказывает Орхан Кемаль,— я ему и ответил: «Видишь, дорогой, за почтой есть лавки оптовых торговцев? Скажи, что ты известный турецкий писатель, остался без работы. Проси у торговцев дать тебе товары в долг, будешь продавать их вразнос!»

Уже после отъезда Орхана Кемаля из Москвы мы узнали, что за книгу рассказов «Прежде хлеб» он удостоен премии Общества турецкого языка, созданного основателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком.

Анкарский Художественный театр, коллектив которого считает себя продолжателем дела Станиславского, организовал «Неделю Орхана Кемаля». В Анкаре и Стамбуле исполнялись пьесы писателя, устраивались выставки его книг, читались лекции о его творчестве. В эти дни в турецких газетах появились фотографии, где Орхан Кемаль на официальном торжестве по случаю вручения ему премии оказался рядом с человеком, который в то время, когда писатель сидел в тюрьме вместе с Назымом Хикметом, был президентом Турции. Что ж, воистину времена меняются...

РАДИЙ ФИШ

ЧИТАЯ «ИГРУ В БИСЕР»

Герман Гессе. Игра в бисер. Перевод с немецкого Д. Каравкиной и Вс. Розанова. Предисловие Е. Маркович. Редакция перевода, комментарии и перевод стихов С. Аверинцева. Москва, «Художественная литература», 1969. 543 стр.

В 1943 году, в год переломной схватки с обрушившейся на мир фашистской чумой, живший в Швейцарии Герман Гессе закончил книгу об удивительной стране Касталии, своеобразной обители интеллектуалов, которые, обособившись от остального мира, исполняют назначенное им судьбой дело: хранить в чистоте и культивировать духовные ценности.

Однако роман Гессе отнюдь не был попыткой уйти от тревог и забот современности; читатели по справедливости нашли в нем своеобразный, даже злободневный отклик, и автор не преувеличивал, называя свою книгу в одном из писем 1955 года отповедью фашизму, попыткой восславить духовность в «чумном, отравленном мире».

Нетрудно узнать горькие и трагические приметы нашего века в том описании «воинственной» эпохи, которое с сарказмом дает умудренный рассказчик из будущего, откуда-то из XXIII столетия: порабощенные народы, разрушенные города, глумление над личностью.

В других контекстах эта эпоха названа «фельетонистической» — слово, которое призвано характеризовать судорожность существования западного мира в периоды между войнами и потрясениями — с преобладающим желанием закрыть глаза, убежать от нерешенных проблем и ужасающих предчувствий гибели в возможно более безобидный мир видимости. «Фельетон» здесь — обобщенный термин не только для разнообразного чтива, не способного стать духовным достоянием, но и для всего того, что сейчас бы назвали «массовой культурой»,— символ деградации и духовного оскудения.

И вот даже в такой обстановке сохранились и выжили отдельные группы людей, исполненных решимости «хранить верность духу и сделать все от них зависящее, дабы в целости и сохранности пронести через это лихолетье зерно доброй традиции, дисциплины, методики, интеллектуальной честности». На исходе «воинственной», «фельетонистической» эпохи именно эти рыцари и энтузиасты решили объединиться в особое сообщество, которое со временем и превратилось в тот самый Орден, в удивительную провинцию Касталию (по названию мифологического Кастальского ключа на Парнасе), автономно существующую внутри маленького нешумного государства (очевидно, Швейцарии).

Гессе мало заботится о реальных приметах времени, обозначенного им как XXIII век; оно для него — чистая условность. Над Касталией не то что не проносятся ракеты или бог весть какие еще увлекательные механизмы — здесь вообще не слышно гула мотора, здесь ездят на лошадях, и дальше радио, транслирующего ежегодную торжественную Игру в бисер, техническое воображение писателя не идет. Касталия интересовала автора, по его собственным словам, не как образ будущего, а как «вечная, платоновская, в различных степенях уже

нередко открытая и увиденная на земле идея», своеобразная попытка воплотить мечту Платона об универсальной Академии, где избранные мудрецы будут в тишине, по собственному вкусу заниматься всеми существующими науками.

Правда, что касается «всех» наук, то представить их сведенными в одну замкнутую Академию было гораздо проще во времена Платона, чем в эпоху ядерных реакторов и синхрофазотронов; эти громоздкие предметы как-то даже не вписываются в ландшафт скромной Педагогической провинции.

Область инженерно-технического знания, неотделимая от индустрии и потребностей экономики, вообще чужда этому аристократическому миру, настороженно и ревниво оберегающему свою отгороженность от мира внешнего. Такова первая и немаловажная поправка к идее всеобъемлющей Академии.

Наиболее почтенные и культивируемые в Касталии науки — это музыка, классическая филология, математика. Именно науки, потому что даже музыкой здесь занимаются не как искусством.

Из музыки, как и из архитектуры, математики или астрономии, извлекаются числа и соразмерности, знаки, формулы и пропорции, все это становится в конечном счете материалом для сопоставления и сравнения, ибо главное искусство касталийцев — всеобщее, всеобъемлющее, культурно-историческое, космическое сравнение, игра «со всеми смыслами и ценностями нашей культуры». Именно так обозначено основное содержание таинственной Игры в бисер, или Игры стеклянных бус,— символа Касталии и главного ее духовного достояния.

Начавшись с незамысловатого наглядного пособия для музыкантов, Игра эта постепенно усложнялась, обрастала все новыми и новыми значениями из самых разных дисциплин, и через многие десятилетия превратилась наконец в самодовлеющую область знания, в особое умение, в некий универсальный язык, способный «выразить и связать друг с другом смыслы и результаты почти всех научных дисциплин». И хотя косвенные объяснения, при всей их добросовестной обстоятельности, не могут все же раскрыть перед нами, непосвященными, существа Игры во всей ее конкретности, мы проникаемся заведомой почтительностью перед этим тончайше разработанным эзотерическим знанием, грандиозным символом абстрактного и рафинированного интеллектуализма. Мы готовы почувствовать, сколь вздорным, суетным, сумбурным должен казаться адептам Игры, познавшим высшую упорядоченность и гармонию, весь этот мир за пределами Касталии, с его биржами, конкуренцией, фабриками, с его политическими партиями, судопроизводством, борьбой за существование.

Для рассказчика как бы само собой разумеется, что носительницей духовных ценностей является именно гуманитарная культура; техника же выглядит внешней стороной цивилизации, средством, обеспечивающим источник существования, но не целью.

Взгляд этот распространен не только среди касталийцев, и с ним закономерно бывает связано стремление уйти от этой машинной бездуховности, уединиться на экзотическом острове или в обители буддийских монахов, которые давно знают, что для приобщения к высшим истинам и подлинному блаженству не надобно индустрии.

Многое в Касталии действительно родственно быту буддийских монастырей.

Интерес Германа Гессе к Востоку общеизвестен и подчеркнут в «Игре в бисер» особенно. Восточные религиозно-философские доктрины особенно привлекали его своей предельной сосредоточенностью на сфере возвышенных духовных ценностей и пренебрежением к сфере материальной. Такое самосознание с особенной наглядностью противостоит суетности «фельетонистической» эпохи, когда люди были беспомощны «перед лицом смерти, страха, боли, голода». Они изобрели прекрасные механизмы, они поклонялись технике — но они «не изыскивали времени и сил для того, чтобы преодолеть страх, побороть боязнь смерти, они жили судорожно, они не верили в будущее».

Как выигрывают в такой перспективе касталийцы! Уж они-то могут преодолеть страх и побороть боязнь смерти; изощренные в медитации и йоге, они наверняка (хоть это и не упомянуто) способны усилием духа перебороть даже боль...

Ну, а вот голод?.. При всем нежелании задерживаться на мелочах, мы не можем не заметить, как многозначительно из второго процитированного нами перечисления — на одной и той же странице — выпадает словечко о голоде. Об этом как-то неловко даже говорить перед утонченными касталийцами, тем более что сами-то они довольствуются малостью — рассказчику явно приятно описывать их скромные трапезы: хлеб, фрукты, лепешки, молоко, чай, суп, сухари, фруктовый сок...— ну а все-таки: даже через столетия после «фельетонистической» эпохи остались же еще такие, которые не имеют даже этого?.. Увы, остались, рассказчик ничего и не скрывает — а нам почему-то вспоминается, что буддийские мудрецы как раз и обитают в странах, где голод — массовое явление...

И при всем нашем респекте к Касталии мы вдруг начинаем подозревать, что идея такой «обители духа» не лишена самодовольства, высокомерия и эгоистичности, а главное, она начинает нам казаться — как это ни странно — далековатой от подлинных высот духа, ибо слишком мало в ней тепла, подлинной любви к жизни и к людям.

Не будем, конечно, лукаво преувеличивать свою проницательность: противоречивость Касталии обнаруживается нами отнюдь не без помощи автора. По ходу чтения романа возникает впечатление, что от главы к главе, даже чуть ли не от страницы к

странице, меняется отношение самого писателя к своему детищу. Исследователи творчества Гессе давно уже отмечали эту характерную черту его литературной техники: постоянную подвижность авторской точки зрения, при которой в почти каждый следующий момент мы видим предмет изображения в иной смысловой перспективе, чем в предыдущей.

«Было время, когда я... завидовал вам,— с горечью признается главному персонажу романа Магистру Игры Иозефу Кнехту его друг и постоянный оппонент Плинио Дезиньори,— вечно исполненным светлой радости, вечно играющим, вечно наслаждающимся собственным бытием, смотрел на вас, как на богов, недоступных страданию, как на сверхчеловеков. В другие дни вы мне казались достойными то жалости, то презрения, бесполыми, искусственно обреченными на вечное детство, ребячливыми и ребяческими в своем бесстрастном, тщательно отгороженном, чистенько убранном игрушечном мирке... где всю жизнь играют в пристойные, неопасные, бескровные игры... Разве это не искусственный, стерилизованный и по-школьному ограниченный мир, половинчатый и призрачный, в котором вы здесь трусливо прозябаете, мир без пороков и страстей, без голода, без соков и соли?.. Малодушные, благополучные, не знающие ни забот о куске хлеба, ни слишком обременительных обязанностей, вы ведете паразитическое существование и от скуки забавляетесь своими учеными изысканиями, подсчитываете слоги и буквы, занимаетесь музыкой и Игрой, а в это время там, в мирской грязи, несчастные, затравленные люди живут настоящей жизнью и делают настоящее дело».

Наверно, Гессе не без горечи записывал эти запальчивые слова, внося поправку за поправкой в столь дорогую ему идею — стократно дорогую в те жестокие и тягостные времена, когда писалась «Игра в бисер». Но первоосновой его писательского кредо недаром была интеллектуальная честность — он не мог остановить свое исследование на полпути.

Конечно, романи Гессе многозначен и многопланов; мы здесь попробовали кратко проследить развитие лишь одной из множества его идей — но идеи сквозной и, пожалуй, самой важной для книги. Не случайно в конце концов писатель уводит из Касталии и своего любимого героя Иозефа Кнехта, образцового некогда касталийца, прошедшего по всем ступеням орденской иерархии — от первоначального школярства до высшей должности Магистра Игры (история этого последовательного возвышения, а затем внезапного разрыва Кнехта с Орденом и смерти его составляет внешнюю, сюжетную канву романа).

Причины этого ухода тоже сложны и неоднозначны, и все же один вывод становится несомненным для читателя: неприятие «чумного, отравленного мира», отвращение к его злу и бездушию, которые нашли свое максимальное воплощение в фашизме, не может и не должно вести к уходу от проблем этого мира. Ведь проблемы от этого не исчезнут, а эгоистично спрятаться от них в область пусть даже самой прекрасной духовности — не слишком ли это похоже на интеллектуальное дезертирство?

И не это ли имел в виду высоко ценивший творчество Г. Гессе Томас Манн, когда писал ему в 1945 году: «Я полагаю, что ничто живое не существует сегодня вне политики. Отказ от нее — тоже политика, которая тем самым играет на руку злому делу»?

М. ХАРИТОНОВ

«ИНАЯ, ВЫСШАЯ ПОВИННОСТЬ»

Элио Витторини. Люди и нелюди. Роман. Перевод с итальянского С. Ошерова. Послесловие Ц. Кин. Москва, «Молодая гвардия», 1969. 207 стр.

В автобиографии Элио Витторини читаем: «О жизни при немецкой оккупации стоит написать... я начал бороться за свободу, не зная, как нажимать на гашетку». К этому признанию другой итальянский писатель Итало Кальвино сделал очень важное примечание: «Миланские группы патриотического действия (ГПД) уже получили свой роман — «Люди и нелюди» Витторини, а мы, партизаны с гор, также хотели иметь свой роман». «Получили свой роман», как — получили свое оружие!..

Сопротивление Витторини фашизму началось еще до 8 сентября 1943 года — задолго до того, как маршал Бадольо сообщил о безоговорочной капитуляции и немецкие дивизии оккупировали Италию. В 1938—1939 годах флорентийский журнал «Леттература» опубликовал «Сицилианские беседы», повсеместно признанные лучшим произведением писателя. Непосредственным толчком к написанию этой повести послужили фашистский мятеж и гражданская война в Испании, побудившие Витторини отложить только что начатый роман «Эрика и ее братья». Но протест созревал уже с тех пор, когда в 1922 году Муссолини захватил власть, а в 1926 году ввел так называемые «исключительные законы», заявив о необходимости создания фашистского искусства. И когда «Сицилианские беседы» в 1943 году вышли в Брюсселе, бельгийская печать Сопротивления писала о них: «К нам пришла из фашистской страны антифашистская книга — крик скорби и протеста всех угнетенных».

«Род человеческий — пропащий», настойчиво, почти назойливо, по нескольку раз со страницы, звучит в экспозиции «Бесед». Для Сильвестро, главного героя, все потеряло интерес: и «призывы крикливых газет», и друзья, и жена с дочерью. «Это ужасно: тревога без надежды. Верить, что род человеческий — пропащий, и не иметь сил чем-нибудь помочь — это все равно что пропа-

дать вместе с ним». Сильвестро — полутруп, человек, пытающийся еще мыслить, но начисто лишенный способности к действию. Случайный спутник его, сицилианский крестьянин, говорит: «Думаю, человек созрел для другого... Не только для того, чтоб не воровать, не убивать да еще быть добрым гражданином... Думаю, он созрел для другого, для иной, высшей повинности».

Так простой крестьянин становится Великим Ломбардцем, олицетворяющим народ. Он несет в себе здоровое духовное начало, дает направление угнетенной энергии Сильвестро, ставит перед ним цель; и поэтому нет ничего неестественного в том, что человек, подобный Сильвестро 1936 года, станет в 1944 году безымянным борцом Сопротивления (Эн-2), главным героем романа «Люди и нелюди».

Но что же такое — народ, что такое «род человеческий», кажущаяся гибель которого так угнетает Сильвестро? О том, что это — вопрос вопросов для Витторини, свидетельствует продолжение и развитие заявленной в «Беседах» темы в романе со столь декларативным, категорическим названием. Кто же — «люди», а кто — «нелюди»?..

Мы читаем в «Сицилианских беседах»: «...человеческий род не весь является человеческим родом, а только тот, кого преследуют... больше человеческого у больного, у голодного, и больше принадлежит к роду человеческому именно род человеческий, который умирает от голода». И та же мысль — почти дословно! — в «Людях и нелюдях»: «Мы говорим: человек. И думаем о тех, кто падает, кто гибнет, кто плачет и голодает, кто дрожит от холода, о тех, кто болеи, кого преследуют и убивают...»

Значит, мы видим нищего — и причисляем его к роду человеческому. Вот покрытое струпьями подобие человека — и оно тоже Человек. И замерзающий, и утопающий, и раненый... Но ведь не все солдаты Гитлера — миллионеры, а утонуть или умереть от ран могут в равной степени и бедняк и Форд.

Если в «Сицилианских беседах» Витторини делает только заявку на проблему, всего лишь первую посылку к рассуждению, то в романе тема эта разветвляется и исследуется во всех возможных аспектах. Повествование цементируется здесь «сквозным» авторским монологом, в котором страсть публициста сливается с мудростью философа, а писатель предстает перед нами без забрала литературных условностей.

Витторини говорит дальше:

«Может быть, Гитлер все равно написал бы то, что он написал, и Розенберг тоже; может быть, они написали бы бред в десять раз хуже. Но я хотел бы посмотреть, если бы в человеке не была заложена способность делать то, что делает Клемм (капитан гестапо.— *Н. К.*) — поймать человека, раздеть его, отдать на съедение собакам,— я хотел бы посмотреть, что стало бы в мире с их бредом».

Обратим внимание: Гитлер и Розенберг безоговорочно исключены из списков «рода человеческого». Даже возможности такой не допускается. Но как быть с остальными, с «исполнителями» «бреда»? Значит, зверство присуще природе человеческой?.. И что противопоставить зверю на его кровавом пути? Рассуждения о гуманности вряд ли остановят его. Может, бороться против него его же методами, «отказавшись от самих себя, перестав быть самими собой»? Может, «наш человек» тоже должен быть «способен отдать одного из них на съедение собакам», ведь «и мы иногда имеем право пользоваться их оружием»?...

«В этом пункте мы и ошиблись»,— заявляет Витторини.

Итальянские патриоты убивают оккупантов, убивают в силу необходимости, защищая свое национальное и человеческое достоинство, свою свободу. Гитлеровцы хозяйничают на чужой земле, расстреливают безвинных и безоружных жителей: десять безоружных за одного вооруженного, десять расстрелянных за одного убитого в бою. И десять человек — за собаку, убитую к тому же в целях самозащиты... Почему же эти люди, восставшие против фашизма, не стали жестокими? — спрашивает один из героев, ведь перед ними — зверь, терзающий беззащитных. Почему же они не ожесточились?..

Рабочий, только что вступивший в Сопротивление, получает возможность уничтожить гитлеровца — почти без риска для себя и для организации. Получает такую возможность и — отказывается от нее...

«— Он был такой грустный... Мне показалось, он рабочий.

— А кто тебе что говорит?» — успокаивает его Орацио, товарищ по оружию.

«— Я тоже был солдатом,— сказал рабочий.

— Никто тебе ничего не говорит.

— Меня посылали в Россию.

— Да кто тебе что говорит?..

— Я буду лучше учиться,— сказал рабочий.

— Чему?

— Быть молодцом.

Орацио засмеялся.

— А разве и это тоже не значит — быть молодцом? — сказал он».

Очевидно, не случайно именно эта сцена, именно эти слова венчают роман с таким недвусмысленным названием.

Еще одно важное «свидетельское показание» на этом бескомпромиссном процессе, проводимом Витторини, дает опять-таки народ — в лице рядовой своей представительницы, Сельвы: «Мы для того и делаем наше дело, чтобы люди были счастливы. Какой был бы в нем смысл, если бы оно делалось не для счастья людей?.. Какой смысл был бы в наших подпольных листках?.. А все товарищи, которых расстреляли! Они ради чего погибли бы? Был бы в этом смысл?.. Если имеет смысл делать что-нибудь, то

только ради счастья, чтобы оно было у всех людей».

Круг рассуждений писателя замкнулся. Отметим для себя эти слова о счастье и вернемся еще раз к вопросу о том, кто же все-таки «люди» и кто — «нелюди». Витторини пишет:

«Мы исходим из предпосылки, что человечно лишь то, что человеком выстрадано, чем он платит по счету. Голод, например. Мы говорим, что голодать — человечно. Или дрожать от холода. А одолеть голод, вырваться из стужи, дышать воздухом земли, владеть землею, деревьями, реками, зерном, городами, победить волка и смотреть в лицо миру? И это тоже человечно, говорим мы. Нести в душе бога отчаявшегося, иметь за плечами призрак...— это человечно. Но и нести в душе бога счастливого — тоже человечно».

Итак, одна философия — философия человека. И есть еще другая — философия волка, философия существа, способного натравить на человека собак и спокойно наблюдать, как они пожирают его. Есть философия капитана Клемма, уверенного в том, что если наступили последние дни для него, то наступили они и для всего мира. Не только уверенного в этом, но и всячески содействующего подобному исходу (вспомним: один к десяти). Есть точка зрения Клемма, для которого «китайцы не в счет. Ну, кто их станет считать, этих китайцев?» Индийцы? «А они разве в счет? Индийцы тоже не в счет». Есть и способ действия капитана Клемма, о котором Гракко, боец Сопротивления, говорит: «Попасть в девочку, в старика, в двух пятнадцатилетних подростков, в женщину, в другую женщину — ведь это лучший способ попасть в человека».

«Тот, кто стрелял, был волком...» — заключает Гракко.

Беспощаден Витторини и ко всякого рода предателям, коллаборационистам, продавшим собственную душу и свой народ за сытный обед... И эта ветвь «рода человеческого» не произрастает из ничего. В «Сицилианских беседах» острым сатирическим пером нарисованы почти гротескные, однако вполне реальные образы двух полицейских. Это — люди с обезьяньим мышлением, приученные к одному: хватать, арестовывать, сажать инакомыслящих.

У Витторини, как мы уже заметили, многие персонажи лишены своих «метрических» имен; Великий Ломбардец из повести или Черный Пес из романа — имена эти являются своеобразной характеристикой действующего лица: первый — представитель народа, второй — крайнее проявление фашизма; Эн-2 лишен имени врагом, как тысячи других людей, вынужденных скрываться, менять адреса, кочевать по стране; все они — типы, обобщения, люди-символы; типизированы и эти двое полицейских, но единственные имена-характеристики, найденные для них писателем: С Усами и Без Усов. Большего они не заслуживают, ибо других отличительных признаков у них нет.

В «Беседах» С Усами и Без Усов верой и правдой служат «своему» фашизму. Но ситуация меняется, страну оккупирует фашизм «чужой»,— и в «Людях и нелюдях» мы уже узнаем наших знакомых в префекте Пипино и в комиссаре полиции Джузеппе-Марии. Для существа, привыкшего бездумно выполнять приказы, не так уж важно, из чьих уст они исходят.

Витторини рисует очень выразительную сцену, в которой показывает отношение народа к этим выродкам: в ответ на приглашение одного из ополченцев отведать вкусного немецкого блюда парень из толпы заявляет: «Чтоб я попробовал?.. Ведь я же не людоед!»

Естествен в «Сицилианских беседах» язык иносказания — произведение должно было любой ценой попасть к современнику, оно писалось прежде всего для него, его целью было — пробудить в угнетенных и отчаявшихся чувство «иной, высшей повинности»... «Люди и нелюди» создавались в других условиях: писатель-подпольщик создавал «подпольный» роман. Здесь — «открытый текст», здесь другой адрес — товарищи по оружию. Взволнованный монолог автора, проходящий через всю книгу,— истинная высокая поэзия, поэзия гражданина, философа и публициста.

Витторини-прозаик формировался как писатель в период разнузданной фашистской пропаганды, политических гонений, в период, когда итальянские литераторы, казалось, стояли перед альтернативой — петь гимн диктатуре или изолироваться от действительности, использовать ее лишь как сырье для причудливой фантазии художника, как поступали в этих условиях некоторые писатели. К счастью — для себя и для нас,— Элио Витторини нашел третий, единственно достойный поэта путь: его слово встало в ряды непокоренных, его произведения стали «своими книгами» для борцов за освобождение.

НИКОЛАЙ КОТЕНКО

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

МИНИАТЮРЫ ВАСИЛЕ РЕБРЯНУ

Vasile Rebreanu. Tiganca alba. Bucureşti, Editura Tineretului, 1968.
Vasile Rebreanu. Carcul sălbatic. Tribuna, № 19, 8 mai, 1969.

Не так давно во французском городе Орлеане в рабочем клубе я видела моноспектакль юноши-танцора. Полуобнаженный торс, босые ноги на дощатой сцене, терновый венец, красная капля цветка в черных волосах — и никаких декораций. Все предельно просто и символично.

Скупыми средствами танца и мимики ак-

тер изобразил человеческую жизнь: просветленность любви, ужас перед войной и истреблением, муки труда и творчества, взлеты и падения человека... Эти танцевальные миниатюры напомнили мне другие миниатюры — румынского прозаика Ребряну.

Новеллы В. Ребряну привлекают жизненной правдой и художественным исполнением. Писатель никогда не говорит читателю ничего в форме прямого суждения, а старается передать мысль иносказанием, аллегорией.

Василе Ребряну проявил себя мастером так называемого «малого жанра». Как новеллист он предпочитает миниатюру.

Ребряну относится к среднему поколению писателей, представленному утвердившимися в современной румынской литературе именами Николае Веля, Фэнуша Нягу, Думитру Раду Попеску, Штефана Бэнулеску, Петре Сэлкудяну и многих других. Он — выпускник Бухарестского университета. Писать начал еще на студенческой скамье. Первым его неопубликованным произведением была поэма в прозе, посвященная Максиму Горькому, а напечатанным — рассказ «Отныне жизнь». Как и многих сегодняшних румынских писателей, В. Ребряну влечет театр и кино, для которых он пишет пьесы и киносценарии.

Советский читатель знаком с его творчеством по рассказам, помещенным в сборниках произведений румынских писателей «Солнце для каждого» и «Шальное лето».

Новая книга рассказов, «Белая цыганка», позволяет уловить тематическое и жанровое своеобразие новеллистики В. Ребряну. Это не первая книга «миниатюр» румынского прозаика. Ранее он опубликовал сборники «Осеннее утро», «В разгаре дня», «Рыжая кошка и ангелы», «Зовут мужей звезды».

В прозе В. Ребряну преобладают три темы, преломленные сквозь призму крестьянского бытия,— детство, война, смерть.

Детство берется писателем в контрастных ипостасях. Светлая, лирическая по тональности — открытие мира ребенком, пробуждение неосознанных еще чувств и состояний нежности, детской влюбленности («Рыжая кошка и ангелы», «Начало лета», «Плодородие»). Мрачная, чаще всего трагическая ипостась детства — столкновение детей с войной, преломление войны в детском сознании. Разговоры на селе об ушедших на фронт, похоронные, плач женщин, свидание с калекой-отцом, потерявшим на фронте ногу.

Ребенок сталкивается с ужасами войны, видя, как погибает самое близкое и доступное ему — животные. В рассказе «Жеребенок» хохочущие гитлеровцы ради потехи загоняют за колючую изгородь из акаций жеребенка и убивают его. Так безжалостно врывается война в неомраченность детства, в жизнь маленьких героев Ребряну. Размышления художника о человеке перед лицом развязанной фашистами войны, смерти, уничтожения цивилизации вырастают у Василе Ребряну до отрицания всякой захватнической войны.

В новеллах В. Ребряну о второй мировой войне мы не найдем прямого описания расстрелов, расправ фашистов над людьми, концлагерей. Писатель через судьбы «маленького человека» показывает другое — преступную абсурдность войны. Одинокий старик написал в письме кому-то: «Дорогой мой, Гитлер проиграет войну. Так и знай». И его замучали допросами («Кто мне подарит утро?»). Это не героический поступок, не осознанная борьба с оккупантами. Случайность, беда или вина «маленького человека». Об этом тоже рассказывает В. Ребряну.

Изображение смерти на войне переплетается у В. Ребряну с философскими раздумьями о смерти вообще. В одних рассказах, написанных в традициях румынской классической литературы о крестьянах, смерть — результат социальной драмы, когда брат убивает брата из-за земли («Горькая земля»). В других отражены народные представления о смерти: Смерть Параскива о пяти головах, о ста пальцах; у смерти и тени нет; идет она по улице — собаки не залают; пройдет по воде — ног не замочит... («Черная собака»). Есть у В. Ребряну новеллы, в которых смерть персонифицируется, уподобляется крестьянам, их внешнему облику, манере держаться, разговаривать.

Иногда безудержная фантазия захватывает автора, и он увлекается придумыванием новых «обличий» смерти: смерть — белая цыганка, красивая бледнолицая женщина в лимузине, симпатичная глухая старуха, нищенка...

Над судьбами человека и земли, природы и животных заставляет задуматься румынский прозаик.

Проза Ребряну не психологическая, а скорее изобразительная, и такая манера его больше роднит с живописцем. Он прекрасный колорист. Подчас цвет играет и симво-

лическую роль: коричневый—приход фашизма («Коричневый»), нагнетание желтого предвещает гибель фашистов в пустыне («Страшные призраки мучают нас...»), белый — олицетворяет чистоту деревенской девушки Медены («Яблоко»).

И для того, чтобы изображение было емче, порою у него переплетается реальное и условное. Писатель широко применяет наплывы воспоминаний, переплетение сна, болезни, бреда с реальностью, эмоциональное сближение реальности с символами, аллегориями, взятыми из румынского фольклора.

В одной из статей В. Ребряну писал о фольклорных традициях в румынской литературе, о том, что «чувство природы, близость к ней, персонификация ее характерны для мировосприятия румынского народа». Персонификация природы становится для самого Василе Ребряну одним из способов художественного постижения мира и особенностью творческого письма. Превосходный тому пример — недавно опубликованный в клужском литературном еженедельнике «Трибуна» рассказ «Дикий круг».

...Пантера охотится на олененка. Природа — словно в сговоре с ней. Деревья, вода, как притаившиеся враждебные существа, окружают олененка. Круг сжимается. Гибель неизбежна. И важно, что весь рассказ воспринимается читателями как протест против этой гибели. Писатель пишет во имя жизни, защищает все живое.

Отдельные художественные приемы новеллистики В. Ребряну и его романа «Добрый палач» вызвали споры среди румынских критиков. Одни считают, что писатель заимствует средства изображения у театра абсурда, называют его прозу «революцией в лаборатории», «литературным экспериментом», требуют от художника «бóльшей серьезности». Другие, наоборот, расценивают положительно поиски новых изобразительных средств, защищают прозаика от обвинений в «модернизме».

Мне кажется, что, размышляя или споря о специфике прозы В. Ребряну, иногда забывают о ее корнях, а они-то как раз реалистические.

В. Ребряну — писатель своего поколения, поколения 60-х годов. В его книгах, как и в творчестве его сверстников и совсем молодых литераторов, острее видна реакция на художественную и языковую безликость, на иные литературные схемы и штампы недавнего прошлого.

Как почти у каждого писателя, у В. Ребряну есть удачи, есть и художественные просчеты. Прозаика можно упрекнуть в излишнем порою увлечении формальными приемами, чисто словесными поисками. Подчас автор впадает, как мне кажется, в натурализм, прибегая к чрезмерно детализированному описанию душевных и физиологических состояний.

Но свобода, раскованность фантазии, душевное богатство, вся гамма художественных средств говорят о самобытности дарования писателя.

Л. ДОЛГОШЕВА

ВСЕОБЩАЯ РАСПРОДАЖА И БУНТ МОЛОДЕЖИ

Ana Maria Matute. La trampa. Barcelona, Ediciones destino, 1969.

Ана Мария Матуте работала над трилогией «Торгаши» около десяти лет. Роман «Первые воспоминания» вышел в 1960 году. Вторая часть — «Солдаты плачут ночью» — в 1964. (Недавно русский перевод этой книги вышел в издательстве «Художественная литература».) И наконец завершающий роман — «Ловушка» — появился летом 1969 года. Только «Ловушка» прояснила читателю замысел всей трилогии. Пока были известны лишь два первых романа, их взаимосвязь оставалась непонятной, их объединяло разве что место действия — остров Мальорка — и несколько персонажей. Протагонисты в обеих книгах не совпадали, да и сюжеты казались несоизмеримыми: какие-то детские игры в «Первых воспоминаниях» — и «гибель всерьез» на фронтах гражданской войны в романе «Солдаты плачут ночью».

Весьма вероятно, что и для самой писательницы идея трилогии окончательно оформилась лишь в ходе работы над «Ловушкой». Книга эта очень актуальная и, несмотря на сложность психологического рисунка, даже публицистическая. Это размышление о сегодняшней западной молодежи, о бунте молодежи. Притом «Ловушка» написана не сверстником бунтарей, декларирующим правоту свою и своих товарищей. Она написана взрослым человеком, умным и справедливым человеком, обладающим достаточно широким мышлением, чтобы судить о молодежи исторически. Вот это историческое суждение о сегодняшней молодежи и есть зерно, из которого выросла трилогия. Ради этого историзма писательница принялась за трилогию о современности «с начала» — с 1936 года. Что же касается актуальности «Ловушки», то ею Матуте обязана впечатлениям самых последних лет и, в частности, впечатлениям от встреч с американскими студентами во время поездки в США, предпринятой ею в начале 1969 года по приглашению американского университета. «Ловушка» была закончена в США.

Все три романа написаны по-разному, в разном стилистическом ключе. «Первые воспоминания» похожи на музыкальную прелюдию. Линейная простота повествования напоминает ясную чистоту клавира, доносящего главную мелодию. Роман «Солдаты плачут ночью» симфоничен: гражданская война — крестовый час истории Испании, и время сгущается, втягивая в себя всю предшествующую жизнь героев. Здесь решается судьба и тех, кто погибнет, и тех, кто останется жить, и даже тех, кто только потом родится. Повествование развертывается просторно, автор не скупится на краски и эмоциональные акценты. И вот «Ловушка» — «дневник в беспорядке», как названы несколько глав из этой книги. Беспорядок

опустошения, бессмыслицы, боли. Беспорядок — ибо человек понял, что он потерял все, и потерял бесповоротно.

По мере того как читатель приближается к концу последней книги, три таких разных романа стягиваются в его восприятии воедино. Этому способствует одно писательское качество Аны Марии Матуте — ее отношение к психологии вообще и к психологии отрочества в особенности. Душевное движение становится в ее глазах подвигом или предательством — иногда даже вне размеров его реальных последствий. Впрочем, Матуте всегда видит и реальные последствия. Внутреннее и внешнее, скрытое в нас и содеянное нами она судит всегда одним и тем же судом.

Героиня первого и последнего романа трилогии — Матья, в «Первых воспоминаниях» — четырнадцатилетняя девочка, в «Ловушке» — усталая сорокалетняя женщина, та самая, что ведет беспорядочный дневник. Матуте и в других ее книгах интересовал подросток в тот момент, когда он переходит из детского мира во взрослый, и все — игры, мечты, чувства — наполняется, часто незаметно для него самого и всегда незаметно для окружающих, новым значением. «Забавы»,— говорят взрослые, не понимая, что речь идет уже не о детских шалостях, а о формировании характера человека, может быть, о том, что определит его судьбу. Матуте как раз умеет показать в подростке и смешных переживаниях подростка судьбу взрослого.

Вот Борха, двоюродный брат и товарищ детских игр Матьи,— обаятельный юный подлец, достойный наследник своего папаши, полковника франкистской армии, который, как хвастается сын, «может приказать всех расстрелять». Борха за одно лето переходит от мальчишеских проделок, драк и мелкого воровства у родных к обдуманному и низкому предательству, стоившему свободы другому мальчику. Мануэля, которого он несправедливо обвинил в воровстве, Борха ненавидит как плебея, сына расстрелянного республиканца. Борха уходит из детства вполне сформировавшимся подлецом. Но глазами писательницы мы видим, что этот мальчик был безмерно одинок, что естественная жажда мужского идеала и мальчишеская ревность никем не были направлены в русло благородного соперничества. Холодные слезы Борхи в минуту прощания с Матьей напоминают нам, что этот характер безнадежно и непоправимо искалечен средой.

В девочке Матье собрано все поэтичное, что мировая литература вкладывала в образы подростков: расставание с детством, с куклой, с андерсеновской русалочкой и Питером-Пэном и первое приближение к тайне пола. Матуте не отказывает Матье в искренности, порывистости, мечтательности — но беспощадно докапывается до ее слабости. В то последнее утро детства, когда Матья примкнула к предательству, когда она смолчала, зная, что Мануэль не виновен, завязался ее характер.

Усталой сорокалетней женщине в «Ловушке» Матуте тоже не отказывает в обаянии, оригинальности, глубине. Матья остро чувствует и отвергает пошлость и суету, она умна и самокритична, безжалостна в анализе и самоанализе. Но... так же малодушно, как в отрочестве от друга, отречется она от слабого и больного мужа и положит начало отчуждению своему от сына — продаст их обоих за комфортабельное одиночество, за легкую жизнь, хотя бы эта легкая жизнь состояла в возможности уютно отдаваться экзистенциалистской тоске по поводу мирового абсурда. «Первые воспоминания» заканчиваются тем, что, уезжая с Мальорки, Матья слышит тревожный крик петуха, как будто «оплакивавшего какое-то таинственное проигранное дело». И через много лет в своем беспорядочном, бормочущем дневнике она поймет, что этим проигранным делом была ее жизнь, что в то утро, когда она предала Мануэля, она потеряла не только друга, но и более дорогое, самое дорогое, что у нее еще будет,— сына.

Ее сын, Медвежонок, как его называют в семье, будет любить ее снисходительной и чуть иронической любовью, но откажет ей в доверии и праве руководить его жизнью и сам распорядится этой жизнью, пожертвовав ею ради бунта. Бесцельного, в сущности, бунта...

Медвежонок не похож на тех молодых бунтарей, каких мы можем представить себе по сообщениям западной прессы, по кинофильмам и книгам многих западных писателей. В нем нет ни истеричности битников, ни театральности хиппи. Это серьезный, скромный и подтянутый мальчик, удивляющий взрослых своей выдержкой. Он будет хорошим архитектором, говорят про него,— так твердо и четко проводит он линию на ватмане. Выросший среди благополучия, он ничуть не одержим комплексом социальной вины: легко и с удовольствием пользуется он «доджем», подаренным бабушкой, или дядиной яхтой. И тем не менее, не колеблясь, идет он на террористический акт, не прячась, ждет ареста. Дело в том, что Медвежонок бесповоротно убежден в полной, абсолютной вымороченности того порядка вещей, какой его окружает. В его глазах этот порядок не может быть спасен или оправдан ни благами цивилизации, которые он предоставляет, ни «обносками» джентльменства, которые донашивает.

Медвежонка все любят, все балуют: мать, бабушка, дядя, тетя — но с безошибочной интуицией юности он угадывает в их любви поверхностность, привычку, эгоистическое равнодушие. Во всех обращенных к нему словах он слышит ложь, ханжество — и только слова о разрушении кажутся ему подлинными и живыми. И потому—чем скорее, тем лучше.

Внук испанцев-эмигрантов, Медвежонок родился и вырос в США и только юношей приехал на родину, в Испанию. Американ-

ская среда, американское воспитание (воплощенные в образе «американской бабушки» Беверли, щедрой и расчетливой, по-семейному радушной и бесчувственной, гордо-независимой, а по сути лишенной индивидуальности) — вот что зажгло в Медвежонке сосредоточенную ненависть к буржуазному способу жить, думать и чувствовать. В Испании, стране, стоящей на пороге социальных перемен, Медвежонок ищет людей действия — таких, каких он не знал в США. И ему кажется, что он их встретил...

В «Ловушке» раскрывается смысл названия, которое писательница дала всей трилогии,— «Торгаши». Торгаши тут все. Матья ценой разлуки с сыном покупает себе удобства и покой. Марио, учитель и наставник Медвежонка, обманывает льнущую к нему молодежь: у него нет ни цели, ни программы восстания, единственное, чего он добивается,— отомстить за свою испорченную жизнь. Марио разрабатывает план покушения на агента, когда-то выдавшего его, Марио, отца, а ребятам морочит голову, уверяя их в значительности этого субъекта и в необходимости устранить его для успеха грядущей революции. Марио кажется Медвежонку и другим юношам борцом и трибуном, вождем, которому они беззаветно верят,— на самом деле он продает им только свою личную злобу, свою горечь и усталость. И все остальные персонажи торгуют помаленьку — кто своим телом, кто своими правами. Отношения купли-продажи устанавливались в буржуазном обществе на все материальные и духовные ценности.

Но есть нечто, ускользающее из этой системы купли-продажи,— это бунт молодежи, ничего не меняющий бунт. «Потерять время» — так названы в книге главы о Медвежонке. Да не только время, жизнь они готовы потерять и ничего не получить взамен. Только они — двадцатилетние, с большими неуклюжими руками, еще покрытыми царапинами от детских игр,— не торгуют. Зато их героизм присваивают, продают и покупают другие. Правы ли они, двадцатилетние, в своем бескорыстном и бесцельном бунте? На этот вопрос нелегко ответить, но Ана Мария Матуте отвечает положительно. Обманутый Медвежонок своим выстрелом не положит начало всеобщему восстанию, он убивает не всесильного владыку, а жалкого ничтожного человечка, возможно, даже вышедшего на пенсию и безмятежно наслаждающегося красотами Мальорки. Но этот человечек — в прошлом агент тайной полиции, выслеживавший республиканцев, предавший многих на пытки и смерть, и потому выстрел Медвежонка морально оправдан. Так и бунт молодежи при всей его бесцельности в глазах писательницы нравственно оправдан — как возмездие обесплодившему себя обществу.

До сих пор мы говорили о первом и последнем романах трилогии, объединенных прямой сюжетной связью. Но есть еще второй роман — «Солдаты плачут ночью». В этой книге юноша Мануэль (когда-то преданный Борхой и Матьей) и девушка Марта, пережившие много тяжкого, грязного и унизительного, встречают человека, ставшего для них воплощением идеала,— коммуниста Джезу. Джеза схвачен и расстрелян фашистами. Мануэль и Марта еще могут сохранить себе жизнь, уйти с отступающими частями республиканской армии. Но они отказываются от спасения и предпочитают погибнуть в пустом доме в оставленной врагу деревне, до последнего патрона отстреливаясь от приближающихся франкистов. Их нравственный максимализм не удовлетворяется иной клятвой в верности обретенному идеалу, кроме как клятвой собственной жизнью.

Особняком стоящий в трилогии рассказ о судьбе, вере и гибели Мануэля и Марты выступает как нравственный эталон для всех судеб, развернутых в повествовании. Прямо или скрыто писательница все время сопоставляет (либо деталями подсказывает нам такое сопоставление) поступки и побуждения людей нашего дня с тем, что произошло в годы гражданской войны. В монологе Матьи Медвежонок неизменно соединяется с Мануэлем, решение и выстрел Медвежонка — с безвестной гибелью Мануэля на последнем рубеже Республики. И там и тут самопожертвование — равно прекрасное, но и равно бесполезное? Логика книг Матуте подводит именно к такому выводу. Матуте хорошо видит преемственность освободительного движения, неразрывную цепь поколений, передающих друг другу заповедь борьбы,— но эта преемственность не практическая, а нравственная. Не программу борьбы за осуществление идеала передает Медвежонку Мануэль — но лишь высокую готовность идти в этой борьбе до конца, отринуть компромисс, отвернуться от лазеек для спасения, не ждать победы и вознаграждения за свой героизм.

Конечно, взгляд Матуте на «потенциал борьбы» в сегодняшнем обществе не бесспорен. За пределами книги осталось широкое антифранкистское движение — роман Матуте сосредоточен на протесте молодых, тех молодых, которых принято в последнее время называть «новыми левыми». Другие формы неприятия буржуазной действительности (будь то духовный абсентеизм Матьи или политические спекуляции Марио) показаны как самообман и самопродажа. В ее книге молодежь одинока — и оттого ее бунт разбивается о глухую стену тупика. И оттого с отчаянием — но и с болезненной надеждой — взывает писательница последней фразой книги: «Медвежонок, где ты? Где ты теперь? Куда ты идешь?»

Для того чтобы понять, куда идет испанская молодежь, нужны честные свидетельства, нужны взволнованные и глубокие размышления. Именно такова трилогия Аны Марии Матуте. Не исчерпав и, разумеется, не разрешив проблем современной молодежи, Ана Мария Матуте дала нам возможность увидеть и прочувствовать нравственные стимулы молодежного бунта и тем объяснить его привлекательность не только для

юношей, но и для зрелых людей, бесповоротно разочаровавшихся в западном обществе.

И. ТЕРТЕРЯН

ФРАЗЫ И ШТАМПЫ

K. Capek. V zajeti slov. Praha, Svoboda, 1969.

Каждое посмертное издание произведений большого писателя не может не вызвать какого-то особого волнения. Кажется, будто снова звучит живой голос автора, будто он сообщает читателям то, что еще не успел сказать при жизни. И в книге Карела Чапека «В плену слов», изданной в Чехословакии в 1969 году, мы узнаем знакомый голос чешского писателя, слышим его мудрую, чуть насмешливую речь, находим его сердечную доброту и трезвое понимание слабостей человеческих.

Книга составлена согласно замыслу автора, который он не успел осуществить при жизни. Ее первая часть — это фельетоны, объединенные общей темой и вышедшие в 1920 году под заголовком «Критика слов». Вторая часть состоит из материалов, разбросанных по различным периодическим изданиям и никогда не издававшихся в виде книги. Наконец, последний раздел книги — «Из жизни слов» посвящен специальным лингвистическим вопросам происхождения и бытования тех или иных словосочетаний.

Несомненно, что замечательный мастер языка, о котором его друг и сверстник чешский писатель Э. Басс писал: «Чапек любил родной язык, пестовал и культивировал его с такой же заботой, как прекраснейшее и редчайшее растение в своем саднке»,— способен рассказать немало интересного о своей работе над словом. Но Чапек подходит к жизни слова в этой книге совсем с иной стороны. В фельетоне «Если бы я был лингвистом», открывающем книгу вместо предисловия, Чапек пишет, что лингвистический анализ может стать «духовной диагностикой» и что, «вскрыв дефекты, злоупотребления, бессмыслицы и неточности словесного выражения, можно найти подобные же недостатки в социальном мышлении». В эту сторону и направлено внимание писателя.

Чапек всю жизнь много работал для газет, он писал статьи, фельетоны, юморески, эпиграммы. Хорошо зная подводные камни журналистского ремесла, Чапек считал самым опасным из них — пустую риторику, газетный штамп. «Никакой обман не компрометирует человеческое мышление так, как пустая фраза»,— писал он.

В этой книге Чапека мы найдем целое исследование о фразерстве, написанное со свойственным чешскому писателю юмором. «Простое, деловитое, искреннее высказывание не может стать штампом, даже если его повторяют миллионы уст ежедневно. Из сообщения, что у него умерла тетя, не создаст штампа даже самый отчаянный трепач. Только вся беда в том, что трепач этим никогда не ограничится, он обязательно провозгласит, что неумолимый рок вырвал из наших рядов его возлюбленную тетушку».

Чапек внимательно исследует «философию штампа». Он отмечает, что фраза, превратившаяся в штамп, никогда не рассчитана на то, чтобы ее понимали дословно («если говорится, что наш народ стонет под бременем налогов, то при этом вовсе не имеется в виду, что на улицах слышны стенания, вопли и рыдания налогоплательщиков»). Поскольку такая фраза всегда содержит в себе преувеличение, она имеет, по выражению Чапека, «моральное алиби» и не подлежит контролю с точки зрения соответствия фактов. Но в то же время, поскольку каждый порядочный штамп совершенно стерт, его нельзя выдавать и за эстетическую ценность. «И хуже всего то,— заключает Чапек,— что штамп даже нельзя разоблачить, как ложь или ошибку, по своей абсолютной пустоте он вне лжи и вне правды». Но он мешает искать и выражать истину, и в этом его страшный грех.

Материал для подобных наблюдений Чапеку давала хорошо ему известная практика чехословацкой буржуазной прессы и буржуазного парламентаризма.

Чапек вступает в борьбу со штампом, пытаясь «остранить» фразу, требуя от нее несвойственных ей деловых, конкретных ответов. Например: «Каждый может заявить: «В нас живы великие заветы Яна Гуса». Но кто решится заявить: «Во мне живы великие заветы Яна Гуса»?» Конкретизируя таким же образом излюбленное заявление ораторов той поры, что они говорят «от имени всех» или «от имени каждого честного чеха», Чапек приходит к выводу, что такое заявление вовсе не требует знания того, что на самом деле думают «все».

Права индивидуума неотделимы для Чапека от его обязанностей, и, обличая ту опасность, которая таилась в замене самостоятельной мысли штампованными фразами, Чапек неизменно возвращается к очень важной для него проблеме личной ответственности. «Слово «мы» употребляется в бурные эпохи... Это слово проникнуто духом солидарности. Ободряющее слово... Но оно имеет свой дефект; оно удобно и ни к чему не обязывает. Никакое «мы» не спасет тебя, если я не дам хотя бы луковицу. «Я» — слово практическое, обязывающее и действенное. Оно бесконечно скромнее, чем «мы», это слово тяжелое и беспокоящее; «я» — выражение совести и действия». Впрочем, в этом противопоставлении сказалось известное недоверие Чапека к силе и возможностям коллектива.

Чапек касается острейших социальных неустройств своего времени. Интересен в этом смысле его фельетон 1933 года, посвященный излюбленному лозунгу чехословацких националистических групп: «Мы хотим быть хозяевами в своем доме». И этот претенци-

озный лозунг Чапек переводит в конкретный бытовой план: «Быть хозяином в своем доме — вовсе не значит покрикивать, разгуливая по коридору, чтобы каждый сразу видел, кто тут хозяин; быть хозяином — значит заботиться о доме, чтобы не текла крыша, не облупливались стены, чтобы дом был красивый, чистый и содержался в идеальном порядке». И, развивая свою мысль дальше, Чапек делает вывод, что «люди в нищем подвале не могут, конечно, чувствовать себя хозяевами», в то время как хозяином в собственном доме должен быть весь народ.

В начале 30-х годов, в эпоху экономического кризиса в Чехословакии, Чапек особенно напряженно задумывается над вопросами социального неравенства. Впрочем, в этих размышлениях часто сказывается известная ограниченность мировоззрения Чапека, порой мешавшая ему находить верные ответы. Так, он полагает, что если бы вместо слов «классовая борьба» употреблялся, скажем, термин «материальные интересы» или «жажда справедливости», то «мир был бы гораздо более доброжелательным и даже более щедрым».

В размышлениях Чапека о фразах и штампах всегда чувствуется отзвук эпохи. Он все более ясно понимает, что штамп может при определенных общественных условиях сыграть очень печальную роль, так как «став заменителем образования, мышления, чувств, опыта, убеждений, веры, он помогает фальсифицировать все духовные ценности». В 1933 году, когда были написаны эти слова, Чапек мог наблюдать, как после прихода к власти фашизма в Германии бредовая демагогия начинала осуществляться на практике В антифашистских статьях этих лет Чапек с горечью констатирует, что фашисты сумели поставить на широкую ногу процесс оглупления масс. И в рассуждениях Чапека о штампе вместо добродушного юмора начинают звучать трагические ноты. Особенно горький смысл приобретают размышления Чапека в 1938 году, когда опасность нависла непосредственно над его родиной.

В размышлениях о штампах Чапек затрагивает самые разные области их употребления. Так, в главке «Вопрос или проблема» Чапек иронически советует: «Не говори — «стол», а лучше — «проблема стола», не рассуждай о драме, а лучше о «вопросах драмы» (нельзя не признать актуальность этого соображения и для нашей научной и критической терминологии!). Для того чтобы говорить о действительных фактах, продолжает Чапек, «надо иметь уверенность или хотя бы опыт, тогда как при разговорах о проблемах предпочтительнее неуверенность и хотя бы неопытность».

Использование словечка «слишком» дает Чапеку случай поиздеваться над мещанским пристрастием к золотой середине, на этот раз в области эстетики: над теми, кто считает «Шекспира слишком неклассическим, Корнеля слишком классическим, Гюго слишком романтическим, Золя слишком реалистическим... стихи слишком короткими, а роман слишком длинным...» Известно, с каким отвращением относился Чапек к сентиментально-мещанской литературной продукции. В «Критике слов», в главе под заголовком «Смерть», Чапек протестует... о нет, не против смерти, а против непомерно высокой смертности в литературе. Он воскликает с комическим пафосом: «Как хотите, но я не могу признать, скажем, необходимость эффектной развязки достаточным моральным оправданием для убийства автором своего героя. Я вообще отрицаю неограниченное право автора на человеческую жизнь». А в шутливом рассуждении об употреблении слова «холодный» Чапек неожиданно обретает подлинный пафос, говоря о силе разума: «Инстинкт безошибочно осуществляет то, что делалось в течение десятилетий, тогда как разум ведет при минимальном успехе к новым свершениям. И поэтому я прошу вас, ради всего святого, уважайте разум и не называйте его холодным. Напротив, добрый, здоровый рассудок согревается от трения о те обстоятельства и ситуации, которые он преодолевает. Он изобретателен, как ребенок, и скромен, как настоящий труженик... Он предоставляет вам бесконечную возможность приключений и ошибок, но также возможность выбора».

Чапек писал в статье «Если бы я был лингвистом»: «Человеческая речь является таким же прямым и достоверным проявлением нашей духовной жизни, как стук сердца и обмен веществ — проявлением нашего физического существования». И замечания Чапека по поводу «заболеваний и дефектов» человеческой речи полны такой же любовью к людям, как и все его творчество.

И. БЕРНШТЕЙН

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

ЦЕНА ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Мэна Колторп, известная советским читателям как автор романа «Красильня», повествующего о жизни австралийских рабочих, создала новое произведение — роман «Дезертиры», изданный Австрало-Азиатским книжным обществом. Тема его — борьба внутри лейбористской партии Австралии. Главный герой произведения — профсоюзный организатор Стив Трегор, который «клюнул» на приманки и посулы правых. Он оказался слишком слабым и неустойчивым в своей жизненной позиции и, порывая с прежними идеалами, с людьми, определившими в прошлом его выбор — участие в рабочем движении,— стал объектом подкупа. Один из наиболее сильных эпизодов романа, по мнению рецензента газеты «Трибюн»,— встреча Стива с бывшими друзьями и единомышленниками: они не желают разговаривать с ним, а он не в силах взглянуть им в глаза.

Интересный аспект романа — разногласия между человеком, сыгравшим главную роль в политическом перерождении Стива, и его сыном Мэнни. Мэнни молод и питает иллюзии относительно лейбористской партии. Чувство сыновней привязанности борется в его душе с пониманием несправедливости, виновником которой является его отец. Он покидает отца, чтобы найти в жизни свой путь.

В романе затронута и вьетнамская тема. Лейбористские лидеры, как известно, поддерживают политику агрессии против вьетнамского народа и стремятся нейтрализовать рост антивоенных настроений в стране. Тем не менее молодежь принимает участие в кампании за прекращение войны, в демонстрациях против введения всеобщей воинской повинности и отправки австралийских войск в Юго-Восточную Азию.

«Дезертиры»,— пишет рецензент «Трибюн»,— книга, которую следует прочесть всем, кто интересуется Австралией и рабочим движением сегодня, а также тем честным молодым людям, которые сопротивляются призыву на военную службу».

АВСТРИЯ

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ЧИТАТЬ?

Из всех литературных жанров роман по-прежнему пользуется в Австрии наибольшим успехом. К такому выводу, по сообщению корреспондента гамбургской газеты «Вельт», пришел Институт изучения рынка Фесселя в результате анализа общественного мнения. За истекший год специальной литературы было продано вдвое, а научной фантастики — в сорок раз меньше, чем романов. Опрос вскрыл весьма неутешительные факты: оказалось, что лишь 21% австрийцев регулярно читают книги; в 1969 г. 37% опрошенных прочитали всего одну книгу, а 42% доставили себе это удовольствие более двух лет назад... На вопрос: «Сколько книг вы приобрели за последний год?» — 65% ответили: «Ни одной».

«Опубликование данных этого катастрофического теста,— пишет корреспондент,— вызвало тотчас соответствующую реакцию министерства просвещения, которое заявило, что снижение читательского интереса объясняется «наряду с многими другими факторами» также причинами материального характера».

АНГЛИЯ

КОЕ-ЧТО О ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Пьеса молодого английского драматурга Питера Никольса «Здоровье нации» сразу же привлекла внимание критики. Действие ее развертывается в больничной палате. Усталый меди-

цинский персонал занят личными делами, больные ничего не знают о своем состоянии, поскольку медицинская этика запрещает говорить им правду. Боятся смерти старики, но умирает в палате самый молодой. Никто этого не замечает, потому что вся палата смотрит по телевидению передачу о сложнейшей и, конечно же, успешной пересадке почки, взятой у жертвующей собой ради больного медсестры. «Выше голову, вы еще живы»,— заученно шутит врач. «Господь не оставит вас, и вы скоро поправитесь»,— привычно повторяют посетители.

Жанр постановки рецензенты определяют ныне модным термином «экстравагантный». Театральный критик еженедельника «Обзёрвер» Рональд Врайден назвал пьесу «документальным ревю», в котором автор «столкнул пародию с действительностью»... «Телевизионному мифу о героях в белых халатах, всегда побеждающих смерть, драматург противопоставил больничные будни,— писал критик.— С одной стороны, Николс стремился развенчать сентиментальность нашего желания видеть в медицине мягкую ковровую дорожку на пути к могиле, с другой — ему претит жестокий юмор медиков, в котором наши больницы предстают в виде фабрик групов... Николс изобразил в микрокосме своей пьесы современную Англию с ее затасканными штампами, ипохондрией, вялой и потрепанной благопристойностью».

По мнению рецензента журнала «Плейз энд плейерз» Хелен Доусон, авторская сатира достигает цели благодаря высокому уровню постановки и игры актеров. Автор с таким мастерством обрисовал персонажи, в пьесе столько ярких сатирических моментов, что лишь тогда, когда падает занавес, зритель осознает, сколь глубокие и далеко не веселые проблемы в ней затронуты.

Критики дают высокую оценку работе постановщика Майкла Блэйкмора, который, по словам Рональда Брайдена, «доказал своей постановкой, что он — одна из наиболее обещающих восходящих звезд театра»...

Медицинский брат Барнет — один из центральных персонажей спектакля «Здоровье нации» в исполнении Джима Дейла.

(Журнал «Плейз энд плейерз»)

КИНОХРОНИКА — ЖЕРТВА КОНКУРЕНЦИИ

В течение более 50 лет одна из крупнейших кинокомпаний — «Ассошиэйтед бритиш пикчерс корпорейшн» — выпускала кинохронику «Патэ ньюс». После второй мировой войны компания начала испытывать все возрастающую конкуренцию телевидения. Выпуски кинохроники начали дополнять цветным приложением. Однако со временем и это перестало помогать — владельцы кинотеатров все чаще отказывались показывать хронику, отдавая предпочтение рекламным объявлениям. В результате в последние годы компания ежегодно терпела убыток около ста тысяч фунтов стерлингов. Ныне руководство компании решило отказаться от выпуска кинохроники и сосредоточить усилия на производстве художественных фильмов.

АРГЕНТИНА

ПРЕМИИ ФЕСТИВАЛЯ В МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА

Жюри X Международного кинофестиваля, проходившего в городе Мар-дель-Плата, удостоило главной премии — «Большой Кондор» — бразильский фильм «Макунаима».

Премия «Кондор» единодушно присуждена советскому художественному фильму «Не горюй» (совместное производство студий

«Мосфильм» и «Грузия-фильм») — «за гуманизм, юмор и яркую галерею образов», как сказано в решении жюри. Корреспондент газеты «Пренса» назвал «Не горюй» одним из лучших фильмов фестиваля, а обозреватель газеты «Кларин» отмечал великолепную игру советских актеров.

Премия за лучший сценарий присуждена польскому фильму «Структура кристалла». Премии за лучшую режиссуру удостоен фильм «Последнее лето» (США).

По сообщениям печати, интерес зрителей неизменно вызывали фильмы социалистических стран: Польши, Румынии, Чехословакии, Венгрии, Югославии.

БОЛГАРИЯ

В ТЕАТРЕ «СЛЕЗА И СМЕХ»

Корреспондент еженедельника «Народна култура» Димитр Канушев сообщает о новых постановках софийского театра «Слеза и смех». В репертуар театра, отмечает он, вошли многие острополитические пьесы, в том числе: «Процесс Ричарда Уэверли» Рольфа Шнайдера (о пилоте, сбросившем атомную бомбу над Хиросимой), «Макбёрд» Барбары Гарсон (об осуждении в США вьетнамской войны), «Враги» М. Горького. Среди последних постановок — «Ленин входит в наш дом», новая пьеса Георгия Караславова. По словам Канушева, это произведение о сельской бедноте, о классовом расслоении в болгарском селе сразу после Октябрьской революции, когда в Болгарии начался подъем революционных сил.

Ленин не является непосредственно действующим лицом пьесы (зритель видит только его портрет на стене), но вождь мирового пролетариата и его дело формируют сознание героев, решительным образом влияют на их судьбы.

По мнению корреспондента еженедельника, постановочному коллективу под руководством режиссера Н. Сейкова «удалось постичь атмосферу времени, верно раскрыть его основные конфликты, исчерпывающе показать взаимоотношения между героями». Канушев называет эту постановку «большим успехом театра».

Корреспондент высоко оценивает работу Светослава Карабоикова, исполнителя центральной роли — Делчо Делева. Актер «не только психологически убедительно раскрывает характер своего героя, но и дает представление о масштабах потрясений и перемен, происходящих в его сознании». Высоко оценивается и игра артиста Пенчо Петрова, который сумел создать колоритный образ сельского богача.

ВЕНГРИЯ

РОМАН ПАЛА САБО О ДЕРЕВНЕ

Пал Сабо — писатель старшего поколения — в прошлом году выпустил роман «Каждый круг замыкается», в основу которого был положен автобиографический материал. Недавно на прилавках книжных магазинов появилась новая книга Сабо.

Действие романа «Хорошеющие бедняки» развертывается после освобождения Венгрии от фашизма в песчаных степях между Дунаем и Тиссой. Жители хутора, который постепенно превращается в деревню, вступают на путь коллективного хозяйства. Основатели сельскохозяйственного производственного кооператива — бывшие батраки, получившие после земельной реформы по нескольку хольдов помещичьей земли. Одни из них сразу понимают выгоду коллективного ведения хозяйства, в других пересиливает страстное желание быть хозяином на «своей» земле, их путь в кооператив далеко не прост.

Пал Сабо, по словам рецензента газеты «Непсабадшаг», хорошо знает венгерскую деревню, прекрасно разбирается в человеческих отношениях, выводит в своем романе людей разных, но каждый из них воплощает в себе частицу общевенгерского, народного, типичного. Хорошо, по мнению рецензента, показана в романе и молодежь, которая вступила в сознательную жизнь уже после освобождения.

НА БУДАПЕШТСКИХ СЦЕНАХ

Нынешний сезон в будапештских театрах стал, по мнению обозревателей, органическим продолжением ежегодного фестиваля искусств, в котором приняли участие не только венгерские, но и зарубежные драматические, музыкальные и танцевальные коллективы. Из классических произведений интерес представляет инсценировка романа Жигмонда Мориц «Будь честным до самой смерти» в театре «Талия» (режиссер Карой Казимир). Одну из ведущих ролей в этой постановке — роль мальчика Миши Нилаша — исполняет студентка Лили Монори.

Среди зарубежных классиков и современных авторов на театральных афишах — имена Шекспира, Шиллера, Ибсена, Чехова, Булгакова, Розова. Зрители тепло встретили постановку пьесы Алексея Толстого «Ракета». Хотя действие пьесы происходит в начале века, говорит режиссер театра имени Мадача Имре Керени, по своему духу она очень современна.

Многие пьесы посвящены проблемам молодежи. Характерна в этом отношении драма ветерана венгерской литературы Эндре Иллеша «Крашеные небеса», которая идет в Театре имени Мадача.

Внимание критики привлекла драма Шандора Эрдейи «Мозаика», поставленная режиссером Театра имени Йожефа Каптона Ласло Бабарци. Постановка и в самом деле напоминает мозаику — ее действие складывается из эпизодов, разыгрываемых в разных частях сцены. Имре Шинкович, признанный одним из самых популярных актеров прошлого года, создал убедительный образ директо-

ра научно-исследовательского института Тёрека — великолепного организатора, не сумевшего, однако, выдержать тяжкого груза житейских неурядиц и интриг.

Проблемы морали затрагивают пьесы Тибора Дери «Зеркало» (театр «Вичсинхаз»), Ференца Каринти «Мечты на горе Геллерт» (Театр имени Мадача), Иштвана Чурки «Кто будет хозяйкой бала» (студия театра «Талия»). Едва ли не самый большой успех в нынешнем сезоне выпал на долю комедии Эндре Фейеша «Игнац Воно» (Театр имени Мадача). Это — грустная и вместе с тем веселая история «маленького человека», который всю жизнь покорно служил господам, не задумываясь над своей горькой и нелепой судьбой.

В оперном театре тепло была принята новая опера Эмиля Петровича «Преступление и наказание» по роману Достоевского (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 3, 1970).

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА

ПОДЪЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В декабре 1966 г. в Республике Верхняя Вольта было создано литературно-художественное общество. Это событие знаменовало собой подъем культурной жизни страны. С тех пор в Уагадугу было проведено уже два фестиваля национальной культуры.

Литературно-художественное общество возглавляет известный у себя на родине и за рубежом поэт и прозаик Огюстен-Сонде Кулибали. Ему активно помогают художник Жюльен Уэдраого, историк Ки-Зербо, журналист Франсуа Бассоле и другие деятели культуры.

Кулибали — автор романов «Берега реки Тонтомбили», «Медовый месяц в аду», «Святые ошибки» и сборников стихов «Полночь-солнце», «Черный рай», «Когда поет негр». Сборник «Полночь-солнце» был в 1965 г. удостоен премии французского литературного журнала «Анкр вив».

Кулибали заканчивает новый роман «Преступные боги», в котором поднимает острые социальные проблемы — безработицы, детской преступности и другие.

ДРВ

СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ РАБОТНИКОВ КИНО

В Ханое состоялся учредительный съезд Ассоциации работников кинематографии Вьетнама, которая входит в Ассоциацию литературы и искусства. Цель ее — «создать национальное киноискусство, служить делу борьбы против империалистической агрессии США, делу строительства социализма в Северном Вьетнаме, освобождение Юга, объединение родины. Новая организация будет способствовать укреплению солидарности и дружбы с народами социалистических стран и со всеми народами, выступающими за мир и справедливость на земле».

Сейчас действуют четыре крупные киностудии в ДРВ и две киностудии в освобожденных районах Южного Вьетнама. Ханойская студия художественных фильмов с 1959 г. выпустила 30 кинопроизведений, многие из которых удостоены премий на международных кинофестивалях. Студия документального кино дала 847 документальных, хроникальных и научно-популярных фильмов, отражающих жизнь и борьбу вьетнамского народа. Студия мультипликационных фильмов, основанная в 1960 г., выпустила 29 фильмов. Киностудия «Армия», награжденная двумя боевыми орденами, создала более 200 фильмов — документальных, хроникальных и художественных.

Больших успехов добились также студии, работающие в освобожденных районах Южного Вьетнама. Кинооператоры вместе с частями Народных вооруженных сил освобождения участвуют в боях против американо-сайгонских войск, снимают героические будни патриотов в освобожденных районах. Самая молодая киностудия — «Армия освобождения», начавшая свою работу в 1965 г.,— уже выпустила 15 документальных и хроникальных фильмов.

В ДРВ насчитываются сотни бригад, работающих на стационарных и передвижных киноустановках. Киносеансы проводятся в рабочих и крестьянских клубах, в горных селениях, на боевых позициях и в открытом море, на рыбацких судах. Даже в годы самых жестоких бомбардировок американской авиацией ДРВ просмотры проходили регулярно: для этого были оборудованы подземные клубы и специальные киноплощадки в джунглях и в горах.

ГДР

ДВОЕ НА СЦЕНЕ

Рецензент Ингрид Зейфарт пишет в журнале «Театер дер цейт» о новой пьесе Райнера Керндля «Я встретил девушку» (о Керндле см. «Иностранную литературу» № 12, 1963; № 9, 1966 и № 2, 1968). Драматург, известный до сих пор как автор серьезных, изобилующих конфликтами пьес, на этот раз создал веселую комедию с двумя действующими лицами. Пьеса заставляет зрителя вместе с героями глубоко размышлять о жизни, ее ценности и смысле.

...Два человека встречаются впервые, проводят вместе несколько часов и расходятся — возможно, навсегда. Он — писатель, приезжавший на предприятие читать свое новое произведение, она — молодая девушка-электрик, которая идет к писателю со своими вопросами, считая его знатоком жизни. Между тем писатель сам находится в состоянии кризиса и ищет ответа на волнующие его

вопросы. В их диалоге, удачно построенном, девушка показывает себя сильной натурой. В философском споре о жизни выявляется ее оптимистическое мироощущение, ее активность и, напротив, пассивность и пессимизм писателя.

«Эта встреча обогатила обоих,— пишет рецензент еженедельника «Зонntаг».— Они расходятся, и каждый из них что-то уясняет для себя, делает какие-то выводы, становится более жизнеспособным».

В рецензиях, помещенных в разных периодических изданиях, отмечается удача режиссера Фрица Вестфаля, поставившего эту пьесу в Дрездене, в театре «Клейне комёдие».

НОВЫЕ ЛАУРЕАТЫ

В связи с 20-летием Немецкой Академии искусств были присуждены премии имени Генриха Манна. Премии получили: писатель Фриц Зельбман за книгу «Альтернатива — баланс — кредо» (хроника немецкой истории), Жанна и Курт Штерн за книги о Вьетнаме, Мартин Фиртель за роман «Санкт Урбан».

Премия имени Кете Кольвиц была присуждена Герхарду Кеттнеру за творческие достижения в области графики.

ФИЛЬМЫ СТУДИИ ДЕФА

Студия ДЕФА готовит кинокартину о немецких антифашистах, об их борьбе против нацизма. Фильм посвящен группе Шульце-Бойзена и Харнака «Красная капелла», которая выпускала листовки, призывавшие к борьбе против гитлеризма, помогала семьям антифашистов, передавала Советской Армии ценные сведения. Руководители «Красной капеллы» и некоторые рядовые члены попали в руки гестапо и погибли. В октябре прошлого года многие члены этой организации были награждены орденами Советского Союза.

В съемках фильма «Красная капелла» участвуют известные актеры ГДР — Хорст Дринда, Хорст Шульце, Гюнтер Симон.

На студии ДЕФА создан фильм, посвященный 25-й годовщине со дня освобождения Германии от фашизма. Он рассказывает о людях, которые постепенно выходили из-под влияния гитлеровской пропаганды и начинали бороться за новую Германию. В другом фильме, который тоже появится в нынешнем году, рассказывается о трудной, почетной и ответственной службе воинов Национальной народной армии ГДР.

Сцена из спектакля «Я встретил девушку» в дрезденском театре «Клейне комёдие». Роли исполняют Дорит Геблер и Иохен Кречмар.

(Еженедельник «Зонntаг»)

ИНДИЯ

В ПОДДЕРЖКУ ВЬЕТНАМА

«Народ, который может создавать выдающуюся литературу даже в годы смертельной схватки с врагом, непобедим!» — заявила видная писательница Махадеви Верма в Аллахабаде на встрече писательской общественности Индии с послом Демократической Республики Вьетнам. Она обратилась к участникам собрания с призывом активно переводить на индийские языки лучшие национальные произведения, издающиеся во Вьетнаме.

Много добрых слов прозвучало с трибуны в адрес героического вьетнамского народа. Известные новеллисты Амрит Рай и Э. Хуссайн заявили от имени индийских писателей о готовности оказывать всемерную помощь вьетнамским братьям.

Накануне этой встречи 27 крупнейших прозаиков и поэтов страны выступили с обращением о поддержке справедливой борьбы вьетнамского народа против американской агрессии. Среди подписавших этот документ — Сумитранандан Пант, Упендранатх Ашк, Махадеви Верма, Амрит Рай и другие.

ИРАН

НОВОЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Печать сообщает о подготовке издания новой 20-томной энциклопедии «Мировая иранистика». Этот фундаментальный научный труд рассчитан как на специалистов, так и на широкий круг читателей и даст возможность познакомиться с иранской культурой, историей и наукой. Немалое место отводится культурным связям Ирана с зарубежными странами, а также современному состоянию изучения проблем

ГОЛЛАНДИЯ

«Память о Москве» — так назвал свою ксилогравюру художник-любитель Кейс Фос из голландского местечка Барнхэм, посетивший Советский Союз летом 1969 года. Его работы, навеянные этой поездкой, экспонировались в городе Лохеме и были с интересом встречены посетителями. Ксилогравюра «Память о Москве» получена редакцией в оригинале.

Ирана в научных центрах мира.

«Мировая иранистика», первый том которой вышел в свет, издается Библиотекой Пехлеви и секретариатом Международного союза иранистов. Выпуску новой энциклопедии предшествовали научные форумы, в том числе международный конгресс, состоявшийся в августе—сентябре 1966 г. В его работе приняла участие группа советских ученых — представителей Академии наук СССР, Академий наук Азербайджанской, Грузинской, Таджикской и Узбекской Советских Республик.

Научная общественность Ирана высоко оценивает русскую и советскую иранистику. Как заявил недавно директор Библиотеки Пехлеви доктор Шаджаэддин Шафа, «иранский народ никогда не забудет про тот огромный вклад, который вносят советские востоковеды в дело изучения и популяризации истории, литературы и культуры Ирана».

ИСПАНИЯ

ДАР ПИКАССО

Пабло Пикассо решил направить в дар барселонскому музею «Беренгер де Агилар» более 800 своих рисунков, картин и гравюр. После приобретения такого редкостного драгоценного подарка, как отмечают обозреватели, «Беренгер де Агилар» станет обладателем богатейшей в мире коллекции работ Пикассо.

По сообщению «Нью-Йорк таймс», в «барселонский дар» входят ранние работы художника, созданные в «испанский» период. Среди них наиболее значительные полотна — «Первое причастие» и «Наука и милосердие».

КНИГИ НА КАТАЛОНСКОМ ЯЗЫКЕ

«Национальным институтом испанской книги» выпущено справочное издание под названием «Льибрес эн катала» («Книги на каталонском языке»). Это — систематический каталог имеющихся в продаже книг на каталонском языке. Всего в каталоге 4019 названий книг по самой различной тематике, из которых около 1700 — литературные произведения и литературоведческие работы.

Специальный раздел посвящен русской и советской литературе. Произведения русских писателей появились на каталонском язы-

ке в самом начале XX века. В то время на каталонский язык были переведены отдельные произведения Л. Толстого, Тургенева, Горького, Л. Андреева. Особенно много переводов делалось в 30-е годы — в период республиканской Испании, когда Каталония пользовалась широкой автономией. Тогда каталонцы познакомились с Пушкиным, Гоголем, Чеховым, Куприным, с произведениями советских писателей.

С конца 30-х годов в каталонской литературе наступает период застоя и упадка. В это время книги на каталонском почти не выходят. Только с середины 50-х годов начинается некоторое оживление, прежде всего в поэзии. Растет число переводов с иностранных языков, среди которых не последнее место занимает русский. В конце 50-х и первой половине 60-х годов на каталонском языке выходят «Война и мир» Л. Толстого, «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание» Достоевского, «Вишневый сад» Чехова, переиздаются «Ревизор» и «Шинель» Гоголя.

Совсем недавно на каталонском языке появились «Анна Каренина» Л. Толстого и «Детство» Горького.

Из произведений советской литературы каталонцы смогли в последнее время познакомиться с «Тихим Доном» Шолохова, с произведеннями Е. Евтушенко и Ю. Семенова.

В переводе произведений русской классики велика заслуга видных каталонских писателей и поэтов. Так, например, «Ревизор» и «Шинель» Гоголя были переведены на каталонский еще в 30-е годы знаменитым поэтом и деятелем культуры Карлесом Рибой, который в свое время чрезвычайно много сделал для ознакомления своего народа с шедеврами мировой литературы. (В частности, им были переведены на каталонский «Одиссея» Гомера, трагедии Эсхила и Софокла, сказки братьев Гримм.) «Вишневый сад» и одноактные комедии Чехова переведены известным поэтом и драматургом Жоаном Оливером (настоящее его имя — Пере Кварт), роман «Братья Карамазовы» — поэтом Жоаном Салесом.

Много сделали для ознакомления каталонцев с русской литературой переводчики Карлес Капдевила, Андреу Нин и Жозеп Мария Гуэль.

«КАРМЕН» — НОВЫЙ ФИЛЬМ БАРДЕМА

Как сообщает печать, Хуан Антонио Бардем, известный советскому зрителю по фильмам «Главная улица» и «Смерть велосипедиста», приступил к работе над фильмом «Кармен» по повести Проспера Мериме. Как всегда, в основе фильма Бардема лежит чисто нравственный конфликт.

«Это будет повествование о чувстве, которое сводит с ума человека и уничтожает его»,— сказал режиссер представителю испанской газеты «Пуэбло».

Его Кармен — современная девушка, она не будет работать на табачной фабрике, она будет жить в деревне под Мадридом, а по ночам приходить в столицу за «легким» заработком. В столице Кармен встретит полицейского Хосе.

По словам Бардема, в ее образе не будет ни таинственности, ни романтичности, он будет предельно ясен.

Для исполнения главной роли приглашена молодая испанская артистка Росио Дуркаль.

Рассказывая о своем новом замысле, Бардем подчеркнул, что считает себя приверженцем реалистического, доступного широким массам искусства.

ИТАЛИЯ

КИНЕМАТОГРАФИСТЫ О СУДЬБАХ НЕОРЕАЛИЗМА

В римском кинотеатре «Жолли» состоялась серия просмотров фильма «Рим — открытый город» — первого фильма, поставленного в Италии после падения фашизма, произведения, вошедшего в историю итальянского и мирового кино как шедевр неореализма и страстный документ движения Сопротивления. Просмотры носили юбилейный характер — их организовала по случаю двадцатипятилетия создания фильма римская газета «Паэзе сера», отмечавшая в те же дни двадцатилетие своего существования. Кинотеатр заполняли главным образом молодые зрители, впервые получившие возможность посмотреть этот антифашистский фильм, повествующий о борьбе римских подпольщиков в годы гитлеровской оккупации. Среди публики, восторженно встретившей кинокартину, было также немало пожилых людей — участников показаниых в фильме событий. Зрители устроили овацию присутствовавшей на одном из просмотров актрисе Анне Маньяни — исполнительнице главной женской ролн в этой картнне, жены рабочего-подпольщика, простой римской женщины Пины, гибнущей от пули эсэсовца.

Постановщика фильма — режиссера Роберто Росселлини, отошедшего последние годы от кнно и работающего для телевидения, в то время не было в Риме — он находился в Соединенных Штатах, где собирал материал для серии задуманных им телефильмов об американской студенческой молодежи. В то время, когда зрители рукоплескали созданному им в 1945 г. шедевру и Ннннарелле (так в Риме любовно называют Анну Маньяни), режиссер дал интервью для печатн в городе Хьюстоне; при этом Росселлини несколько пренебрежительно высказался о неореализме, одним из главных зачинателей которого был он сам. Росселлини, в частности, сказал: «Ныне я уже не имею отношения к неореалистическим фильмам или как их там сегодня называют... Произошла трансформация суждений и вкусов, и филь-

мы такого рода, возможно, теперь не были бы даже понятны». При этом режиссер все же добавил: «Хотя эти фильмы, и прежде всего «Рим — открытый город», еще сохраняют, по прошествии стольких лет, свою художественную ценность».

Редакция «Паэзе сера» попросила Анну Маньяни прокомментировать высказывания Росселлини. Вот это короткое интервью:

— Синьора Маньяни, вы читали американское интервью Росселлини, у вас имеются какие-нибудь замечания в связи с ним?

— Я могу только сказать, что у всякого, кто его прочтет, оно, несомненно, может вызвать некоторое удивление. Я лично считаю, что это лишь поза.

— В своем интервью Росселлини стремится приуменьшить значение неореалистического кино. Что вы по этому поводу скажете?

— Если это действительно так, то это меня изумило бы и вместе с тем огорчило. Именно эта форма реализма, отцом и мастером которой был Росселлини, и принесла ему славу, именно она и распахнула перед ним двери тех стран и университетов, где его сегодня не случайно принимают как наставника.

— Интервью Росселлини позволяет думать, что режиссер ныне считает неореалистическое кино устаревшим, поскольку отошли в прошлое события, его вдохновлявшие.

— Я продолжаю верить в реализм, а вместе со мной — и зрители. Недавно вышли на экран и имели большой успех такие фильмы, как «Битва за Алжир» (фильм итальянского режиссера Джилло Понтекорво) и «Зет» (фильм работающего во Франции режиссера Коста-Гавраса, грека по происхождению), которые вдохновлены известными драматическими событиями. Я считаю их фильмами, которые очень успешно развивают опыт неореализма. Мир идет вперед, но постоянно, к сожалению, возникают новые конфликты и новые трагедии. Чтобы развивать реализм в киноискусстве, вовсе ни к чему повторение гитлеровской оккупации. Пока на земле есть человек, всегда найдутся темы, вдохновляющие творчество в духе неореалистического искусства...

— Некоторые полагают, что Росселлини, возможно, просто больше нечего сказать в этом смысле.

— Не думаю. Можно, наоборот, предположить, что причины, побудившие его сделать некоторые заявления, занять определенную позицию, объясняются нашими условиями, которые постоянно ограничивают свободу художника, а редкий художник способен работать, если не пользуется полной независимостью...

В заключение на вопрос, что она думает об общем тоне интервью Росселлини, актриса ответила:

— Я думаю, что это интервью огорчит бесчисленное множество людей. Если бы Росселлини и в самом деле отступился от всего своего прошлого, он все равно остался бы большим режиссером, а я надеюсь, что он таковым еще остается. Он создал большие произведения, подождем и посмотрим, что он создаст в будущем.

«Иностранная литература» уже сообщала (см. № 2, 1970) о том, что известная итальянская киноактриса Клаудиа Кардинале выступит в главной роли в новом фильме «Халифка» по роману Альберто Бевилаккуа. Здесь мы воспроизводим один из рабочих моментов съемок: Клаудиа Кардинале и писатель Бевилаккуа, который сам ставит этот фильм.

(Газета «Паэзе сера»)

ПЕСНЯ — ТОВАР

Итальянская песня превратилась на международном рынке в своего рода товар, который продается и покупается, которым спекулируют, на котором «зарабатывают» миллионные состояния,— таким комментарием снабдила газета «Унита» сообщение о так называемой Международной ярмарке легкой музыки, прошедшей в Канне. Иностранные, прежде всего американские, издатели и компании по производству грампластинок покупают права на песню, переделывают ее по своему усмотрению и в исполнении на другом языке «сбывают» за границу, в том числе в Италию.

Многие американские, английские, западногерманские исполнители добились успеха благодаря включению в репертуар итальянских песен, но почти никто из публики не знает национальной принадлежности авторов. Так, запись песни «Твои глаза» в «американизированном» исполнении Тома Джонса считается одной из лучших на международном рынке пластинок. В то же время в самой Италии мало кто помнит, что эта песня впервые была исполнена в традиционной итальянской манере Вильмой Гойч на фестивале в Сан-Ремо.

Американские монополии интенсивно проникают в итальянскую промышленность, выпускающую грампластинки. Создаются фирмы со смешанным капиталом, где американское влияние все увеличивается. В результате «с итальянских пластинок, произведенных американцами, звучит музыка, лишь отдаленно напоминающая итальянскую,— писал обозреватель газеты «Унита».— Американцы уже сейчас оказывают решающее влияние на песенный репертуар артистов, на решения жюри конкурсов, на выбор песен для записи».

«ОЛИМПИЯ ПРЕСС» — «В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ»

Среди всевозможных литературных конкурсов, подчас преследующих преимущественно коммерческие цели, конкурс, объявленный издательством «Олимпия пресс», показался необычным даже видавшим виды итальянским газетчикам. Издательство дало сообщение в печать о том, что оно проводит конкурс на... эротический роман и установило премию размером в 10 тысяч долларов. Издательство объявило, что на конкурс принимаются романы, написанные на одном из десяти указанных в сообщении языков (в том числе на турецком и японском), объемом не меньше 50 тысяч слов. Председатель «международного» жюри — глава этого издательства Морис Жироднас.

Как ни быстро растет в Италии число произведений, пронизанных «сексом» и повествующих о самых странных формах отношений между существами разных полов или даже одного пола, фантазия авторов подобных книг, видимо, истощается, если стало необходимым проведение такого рода конкурсов. Издательство «Олимпия пресс» уже имеет опыт по части распространения эротической литературы: именно оно выпустило на разных языках в свое время романы «Лолита» и «Кэнди», когда другие издательства выразили опасения относительно их влияния на читателей. Издательство заверяет авторов, желающих принять участие в конкурсе, что их произведения, если и не будут удостоены премии, имеют шансы все же увидеть свет — они будут включены в специальный каталог, публикуемый издательством на 11 языках. Насколько можно судить, деятельность «Олимпии пресс» не ограничивается Италией и носит действительно «международный» характер! Недаром премия установлена в долларах...

КАМЕРУН

ЮБИЛЕЙ АССОЦИАЦИИ ЛИТЕРАТОРОВ

Десять лет назад в Камеруне была создана Ассоциация камерунских поэтов и писателей (АПЕК). По случаю этого юбилея в Яунде собрались поэты, писатели, журналисты — члены ассоциации. С докладом выступил бессменный генеральный секретарь Ассоциации известный поэт Рене Филомбе. «Камерунская литература достигла такого уровня,— заявил он,— когда никто не осмелится больше назвать ее незначительным явлением в деле национального строительства. Число наших поэтов и писателей растет. Их произведения отныне включены в программы наших школ, колледжей, лицеев и Федерального университета».

Филомбе призвал литераторов в стране и за рубежом к солидарности в борьбе за мир и лучшую жизнь. «Мы хотим, чтобы наша литература служила народу и помогала камерунскому правительству в выполнении трудной задачи по борьбе с отсталостью и неграмотностью, — сказал он.— Мы солидарны со всеми международными и национальными ассоциациями литераторов и готовы на сотрудничество с ними в интересах обеспечения мира во всем мире».

ОАР

ПРИСУЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ ПИСАТЕЛЯМ И ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА

По сообщениям прессы арабских стран, в Каире состоялось очередное присуждение государственных премий в области литературы, искусства и общественных наук. В торжественной обстановке премии лауреатам вручил министр культуры ОАР доктор Сарват Аккаша.

Государственной премии удостоен архитектор Хасан Фатхи — автор проекта поселка аль-Курна аль-Гедида («Новая Курна») в Долине Царей к западу от гор. Луксора (Верхний Египет). Премия за творческие успехи присуждена известному писателю Яхье Хакки.

Помимо этих двух основных премий было вручено десять поощрительных.

В связи с присуждением премий египетский еженедельник «Аль-Мусаввар» опубликовал статью о лауреате государственной премии по литературе Яхье Хакки. (До него этой премии, которая присуждается за творчество в целом, были удостоены такие крупные писатели, как Таха Хусейн, Тауфик аль-Хаким, Махмуд Теймур.) Сейчас Яхье Хакки 64 года. Он выходец из турецкой семьи, родился и

вырос в старом квартале Каира — Ситт Зейнаб. В молодости около двух лет работал чиновником в провинциальном местечке Манфалют. Затем в течение 29 лет находился на дипломатической службе, что дало ему возможность побывать в Турции, Саудовской Аравии, Ливии, Италии.

Яхья Хакки написал более десяти книг. Это главным образом сборники рассказов — «Светильник Умм-Хашим», «Кровь и глина», «Антар и Джульетта» и другие. Темы для своих рассказов Хакки черпает из жизни простого народа, главным образом крестьянства. Кроме того, он — автор литературоведческих работ «Заря египетской новеллы» и «Шаги в критике». Недавно им выпущена небольшая книжка «Пойдем со мною на концерт», представляющая собой живо написанные очерки о классической и современной музыке.

НОВЫЙ ПЕРЕВОД «ИЛИАДЫ»

Еженедельник «Аль-Мусаввар» поместил рецензию на новый перевод «Илиады» Гомера на арабский язык, выполненный ныне покойным египетским поэтом и театральным деятелем Дарини Хашбой.

Впервые «Илиада» появилась на арабском языке в 1904 г. в переводе известного политического деятеля и ученого Османской империи, ливанца по происхождению, Сулеймана аль-Бустани, пишет рецензент. Над поэтическим переводом этой древнегреческой эпопеи и над комментариями к нему он работал более 17 лет. «Илиада» в переводе аль-Бустани стала событием в культурной жизни арабов тех лет.

Д. Хашба стремился, переводя «Илиаду» заново, сделать ее ближе и понятнее современному читателю, и это ему удалось, по мнению автора рецензии. «Благодаря искусству Хашбы,— пишет рецензент,— сказания Древней Греции вошли в наши сердца, он заставил нас окунуться в этот легендарный мир и полюбить его».

На экранах арабских стран с успехом демонстрируется фильм «Мирамар», созданный по одноименному роману Нагиба Махфуза (режиссер Кемаль аш-Шейх). Фильм «Мирамар» получил высокую оценку арабской критики. На снимке: кадр из фильма.

(Еженедельник «Аль-Мусаввар»)

МЕККА ДЛЯ ТУРИСТОВ

Кинематографисты стали «виновниками» возникновения «новой Мекки» близ Каира. В натуральную величину там были воссозданы священный камень аль-Кааба и расположенные вокруг 43 скульптуры мифических культовых животных — все из камня, на прочных фундаментах. Эти солидные декорации были сделаны для фильма «Зарождение ислама», который ставит режиссер Салах Абу Сейф по сценарию А. Х. Гаудата ас-Сахара. Там же будут сняты еще два египетских фильма, а также американский фильм «Мухаммед — пророк божий» и итальянский — «Ислам».

Принято решение не разрушать «новую Мекку», так как помимо кинематографистов ею наверняка заинтересуются туристы (как известно, в настоящей Мекке удалось побывать считанным немусульманам).

ПОЛЬША

«TOTENTÁNZ IN POLEN»

«Поэма, которую я отдаю на суд читателей, родилась как следствие совсем иной литературной работы. Несколько лет тому назад, вынашивая идею написать повесть-апокриф об аэсовце («Трисмус»), я начал собирать всякого рода издания и иконографические материалы, которые могли мне пригодиться. Среди них были журналы гитлеровской Германии, модные в третьей империи альбомы фотографий и даже портреты вождей и мелкие предметы...» Этими словами авторского вступления открывается книга Станислава Гроховяка «Totentanz in Polen», которую критики справедливо называют «необычной».

«В этой угрюмой куче мусора,— продолжает Гроховяк,— оказался также альбом с рисунками некоего Вильгельма Петерсена, изданный в Гамбурге в 1940 г. под зловеще претенциозным названием «Totentanz in Polen» («Танец смерти в Польше»). Петерсен—по-видимому, военный корреспондент и притом талантливый художник — вступил в Польшу вместе с немецко-фашистскими войсками в сентябре 1939 г. В результате появилось нечто вроде поэтического репортажа-дневника, который мы впервые приводим здесь в переводе на польский язык, а также более двадцати гравюр, сделанных не без таланта, с прекрасным знанием дела».

Дневник Петерсена и его рисунки показались Гроховяку настолько выразительными, что он решил написать к ним свой собственный стихотворный текст. В

таком виде эта книга и увидела свет. О рисунках Петерсена Гроховяк пишет: «Осмелюсь утверждать, что это единственное в своем роде художественное явление, когда правда изображения до такой степени противоречит намерению художника... Нет ни малейшего сомнения в том, что Петерсен своими рисунками хотел унизить поляков... Но карандаш в его руках противоречил этому замыслу, изображая недоступную гитлеровцу правду. И именно эта правда живет в глубине произведений Петерсена, точно так же, как под внешним слоем его фашистского образа мышления тлел еще слабый огонек совести».

Трагические события сентября 1939 г. в Польше оживают в дневнике гитлеровца, в его рисунках: оставленные польскими войсками позиции, разрушенные, сожженные города, изможденные лица польских женщин, солдат, крестьян; беженцы на дорогах со своим жалким скарбом, сумасшедший у телеграфного столба, умирающие и мертвые. А рядом — стихотворные строки Гроховяка, которые он сам рассматривает как своеобразные подписи к иллюстрациям. «Поэма задумана как внутренний голос Петерсена,— пишет Гроховяк,— вначале еще в нем ощущаются нотки триумфа и сарказма, затем появляются признаки усталости, которая всегда сопутствует палачам, наконец голос этот снижается до шепота, которым разговаривают кающиеся грешники».

По отзывам критиков, книга «Totentanz in Polen» значительное явление в польской литературе, посвященной событиям сентября 1939 г.

ФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ

Тема минувшей войны продолжает волновать кинематографистов, хотя еще несколько лет назад кое-кто из кинокритиков предсказывал близкий конец военной тематики в польском кино.

К 25-й годовщине освобождения портового города Колобжега на балтийском побережье Польши на экраны вышел фильм «Красная рябина» Эвы и Чеслава Петельских. В нем день за днем, час за часом воссоздается эта одна из самых ожесточенных битв на исходе войны, в которой участвовали три польские дивизии, поддержанные затем советской пехотой.

Сценарий фильма написан Э. и Ч. Петельскими по роману Вальдемара Котовича «Фронтовые дороги». Герои фильма — солдаты пехотной роты под кодовым названием «Рябина», которые, по их собственным словам, прошли «сквозь ад».

По отзывам критиков, ценность этого фильма состоит, главным образом, в великолепно выполненной «реконструкции» самого исторического события — штурма сильно укрепленной фашистской крепости Кольберг. Крепость пала 18 марта 1945 г.. — и дата эта вошла в историю как день «обручения» Народной Польши с морем.

На Лодзинской киностудии идет работа над фильмом «Лик ангела», который ставит известный режиссер Збигнев Хмелевский. В основу сценария фильма положены воспоминания Тадеуша Разневского, который во время оккупации два с лишним года провел в гитлеровском концлагере для детей в Лодзи. Через этот лагерь прошло 10—12 тысяч мальчиков и девочек. Малолетних узников отправляли туда со всей Польши и даже из других стран — за помощь родителям-подпольщикам, коммунистам, за то, что родители не захотели принять гражданство третьего рейха, за исполнение антигитлеровских песен и насмешки над оккупантами и, наконец,— за «воровство» и «бродяжничество».

Эпизод фильма «Красная рябина».

(Еженедельник «Фильм»)

Кадр из фильма «Лик ангела».

(Еженедельник «Фильм»)

Главный герой фильма — Тадек — попал в лагерь за то, что его отец был коммунистом. В лагере мальчику дали молоток и велели выпрямлять иглы — по полторы тысячи штук в день... Кто не выполнял эту адскую норму, тому урезали и без того скудный паек — хлеб и похлебку.

В одной из сцен фильма мастер бьет Тадека плеткой и кричит на него, а тот машинально повторяет: «Danke schön, Herr Meister» («Спасибо, господин мастер»).

Роль Тадека исполняет Марек Дудек, которого выбрали для съемок из 1600 кандидатов. В роли воспитателя-эсэсовца снимается актер из Чехословакии — Иржи Вршталя.

«В этом фильме,— рассказал оператор Станислав Лот,— масштабы несколько смещены: предметы и вещи кажутся несколько больше, чем на самом деле — так, как они представляются взрослым по воспоминаниям детства. К тому же мы снимаем лишь детали, запечатлевшиеся в памяти бывших узников; зритель сам воссоздаст в своем воображении весь лагерь и всю его повседневную жизнь».

РУМЫНИЯ

ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ

Состоялось присуждение литературных премий Союза писателей СРР и различных журналов — за лучшие произведения 1969 г.

Среди прозаиков первую премию получил писатель Думитру Раду Попéску за роман «Ф». Этот автор известен советскому читателю по сборнику новелл «Белый дождь» и ряду других, опубликованных в СССР произведений. Д. Р. Попеску получил также премию журнала «Театрул» — за пьесу «Эти грустные ангелы», которая с успехом идет в провинциальных театрах страны.

Вторая премия присуждена критику Матею Кэлинеску, который в последние годы стал публиковать также стихи и прозу,— за книгу «Жизнь и взгляды Захариаса Лихтера»; выход в свет этой повести вызвал многочисленные отклики в румынской прессе.

В области поэзии обе премии присуждены известным поэтам: Никите Стэнэску — за сборник «Неслова» и А. Е. Баконски — за книгу стихов «Трупы в пустоте».

Премии за лучшие пьесы получили Теодор Мазилу — за «Нежность и низость» и П. Ангел — за «Витязя».

Премии за лучшие произведения для детей и юношества СП СРР присудил поэтессе Нине Кассиан — за ее первую книжку стихов «История про двух тигрят — Нинигру и Алигру», а также Иону Хобанэ, автору популярных в Румынии научно-фантастических произведений — за книгу «Золотой век румынского предвосхищения».

Как и в прежние годы, присуждены премии за лучшие критические, литературоведческие работы. Лауреатами стали Дж. Ивашку, выпустивший в свет первый том своего обширного труда «История румынской литературы», и С. Александреску, опубликовавший монографию о Фолкнере.

Из переводчиков были отмечены Джелу Наум, давший возможность румынскому читателю познакомиться со стихами Рене Клера, а также Тяшку Георгиу, осуществивший перевод пьесы Пиранделло «Покойный Маттиа Паскаль».

Обозреватели обращают внимание на то, что недавно были учреждены новые премии Союза писателей Румынии: за переводы из румынской литературы на немецкий или венгерский языки; за лучшие произведения литературы национальных меньшинств, а также премии дебютантам или молодым писателям, впервые выступившим в другом литературном жанре.

Среди лауреатов — пять литераторов, пишущих и переводящих на языки национальных меньшинств: Дитер Рот (за переводы поэм Марина Сореску), Вереш Золтан (за переводы прозы Василе Войкулеску), а в числе авторов — Бодор Пал («Обнаженная»), Франц Шторк («На краю света») и Балинт Тибор («Плаксивая обезьянка»).

Среди молодых прозаиков премии были присуждены Сынзяне Поп за роман «Серенада на трубе» и Петру Попеску за роман «Пойманный». Премию за стихи по-

Югославия

ФИЛЬМ «КРОВАВАЯ СКАЗКА»

На экраны Югославии вышел художественный фильм «Кровавая сказка», который повествует о злодеянии немецких фашистов, совершенном 21 октября 1941 г. в небольшом югославском городе Крагуеваце (о съемках фильма «Иностранная литература» сообщала в № 11 за 1969 г.). В отместку за сопротивление оккупантам и для устрашения населения гитлеровцы согнали за город около семи тысяч ни в чем не повинных его жителей и зверски их расстреляли. В их числе было более семисот учащихся городской гимназии.

Фильм создан режиссером Бранимиром Янковичем, сценарий фильма написан им же по одноименной поэме Десанки Максимович. В фильме заняты популярные югославские актеры: Люба Тадич, Мия Алексич, Бата Живойонович, а также Янез Врховец, Мира Ступица, Васа Пантелич и другие. Фильм получил высокую оценку критики.

* * *

В беседе с корреспондентом ТАСС Десанка Максимович рассказала, как создавалась поэма «Кровавая сказка»: «В те ужасные дни я не была в том городе. Случившееся было тайной для нашего народа. Однажды вечером я шла из школы домой. Меня остановил незнакомый человек. Он был изможден, его воспаленные глаза горели. Это был учитель из Крагуеваца. Он рассказал о страшной трагедии, случившейся в этом городе: о расстреле фашистами детей.

Не помню, сколько времени длился рассказ незнакомца. Когда он ушел, я осталась наедине со страшным известием. Не было сил вернуться в школу, но и идти домой я тоже не могла. Слово за словом в голове складывались стихи. Нет, не я писала «Кровавую сказку», а мое сердце, помимо меня. Я пришла домой, записала поэму и спрятала, чтобы никто не нашел. Я извлекла ее из тайника только в год освобождения, и «Кровавая сказка» была сразу же опубликована в журнале «Наша книжевност».

На вопрос, каковы ее творческие планы, Десанка Максимович ответила, что «поэту трудно говорить, когда и о чем он будет писать. Стихи пишешь тогда, когда их чувствуешь. Книгу «Требуем помилования» я написала за три месяца, но обдумывала ее несколько лет и до первого дня работы над ней не знала, когда начну писать. Сейчас я закончила новую книгу. Это роман-легенда о любви».

Далее поэтесса рассказала, что перевела на сербский язык произведения 17 современных советских поэтов. Стихи Десанки Максимович изданы на русском языке в Советском Союзе. «Для меня это очень большая радость,— сказала в заключение поэтесса.— Я не смела и мечтать, чтобы мои книги можно было читать на языке Льва Толстого и Федора Достоевского».

ЮНЕСКО

ОБ ОХРАНЕ КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ

В коллекции «ЮНЕСКО и ее программа» вышла брошюра «Охрана культурного достояния человечества. Памятники и заповедники». В ней рассказывается о многогранной деятельности организации в этой области, об ее юридических, научных и культурных аспектах. В брошюре освещаются вопросы: международная кампания по сохранению нубийских памятников, по охране Флоренции и Венеции, проекты по туризму.

В течение продолжительного времени ЮНЕСКО ведет последовательную деятельность в трех направлениях: принятие международных конвенций и рекомендаций, призванных обеспечить общий режим охраны культурных ценностей, исследование и испытание новейших методов их сохранения и реставрации; помощь государствам — членам в разработке и выполнении программ по использованию памятников и исторических центров, в частности в целях поощрения туризма.

Кадр из фильма «Кровавая сказка».

(Газета «Политика».)

Авторы этого номера

НИКОЛАЙ ЗИДАРОВ (род. в 1921 г.).

Болгарский поэт. Первый сборник его стихов «Дороги и встречи» («Пътища и срещи») вышел в 1951 г. Затем поэт выпустил еще несколько сборников, в том числе «Воскресное солнце» («Неделно слънце», 1960), «Мы просыпаемся с улыбкой» («Ние се събуждаме с усмивки», 1963), «Праздник» («Празник», 1965). Н. Зидаров много пишет для детей, в 1967 г вышел сборник его стихов и басен «Детские небеса» («Детски небеса»), поэтическая книжка «Кому улыбаются звезды» («На кого се усмихват звездите», 1968) и др.

Публикуемые стихи взяты из газеты «Пулс» за 1969 г.

■

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС — GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ (род. в 1927 г.).

Колумбийский писатель, с творчеством которого мы впервые знакомим советских читателей, начиная публиковать его роман «Сто лет одиночества» («Cien años de soledad», 1967). Этот роман высоко оценен критикой и читателями Латинской Америки и, переведенный на многие языки мира, стал бестселлером.

Габриэль Гарсиа Маркес начинал свою литературную деятельность в 1947 г. С тех пор вышли его романы «Опавшая листва» («La hojarasca», 1955), «Полковнику никто не пишет» («El coronel no tiene quién le escriba», 1958), «Недобрый час» («La mala hora», 1962), сборник рассказов «Похороны Мама-Гранде» («Los funerales de la Mamá Grande», 1962) и др.

■

ЧИТТАДХАР ХРИДАЙЯ.

В этом номере впервые на русском языке публикуются стихи старейшего непальского поэта и философа, историка и литературного критика Читтадхара Хридайи. Многие годы своей жизни поэт посвятил сохранению и развитию родного языка, литературы и культуры Непала, являясь защитником и пропагандистом его самобытных национальных традиций.

Публикуемые стихи были напечатаны в сборнике «Пагода» (1957).

■

АНДРЕЙ ПЛАВКА—ANDREJ PLAVKA (род. в 1907 г.).

Известный чехословацкий поэт и прозаик, лауреат Государственной премии им. К. Готвальда, председатель Союза словацких писателей; был участником Словацкого национального восстания 1944 года, которое воспел во многих своих произведениях. А. Плавка — автор многих книг стихов, романов, сборников рассказов, репортажей, путевых заметок и других произведений.

Стихотворение «Ветерок с востока» было напечатано в выпущенной к 50-летию Октября книге стихов словацких поэтов «Букет цветов» («Kytica», 1967).

■

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — JAMES ALDRIDGE (род. в 1918 г.).

Английский писатель и публицист, книги которого пользуются популярностью у советских читателей В разные годы в русском переводе вышли его романы «Дело чести», «Морской орел», «Охотник», «Дипломат», «Герои пустынных горизонтов», «Последний изгнанник». В «Иностранной литературе» были напечатаны романы «Не хочу, чтобы он умирал» (№11, 1959), «Сын земли чужой» (№№ 3—5, 1968).

Рассказ «Неотвоевавшиеся солдаты» прислан автором в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 06584. Сдано в производство 3/IV 1970 г. Подписано к печати 7/V 1970 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+2 вкл. Уч.-изд. листов 28,32. Зак. 1209.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

К сведению читателей

Во второй половине 1970 года журнал «Иностранная литература» предполагает опубликовать следующие произведения:

МИШЕЛЬ БЮТОР (Франция)—
Изменение *(роман)*

А. КАМЮ—У. ФОЛКНЕР (Франция—США)—
Реквием по монахине *(пьеса)*

РЫШАРД КЛЫСЬ (Польша)—
Какаду *(роман)*

КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)—
Футбол 1860 года *(роман)*

ТО ХОАЙ (ДРВ)—
Западный край *(роман)*

ВОЛЕ ШОИНКА (Нигерия)—
Интерпретаторы *(роман)*

ЧЖАН ТЯНЬ-И (Китай)—
Записки из мира духов *(повесть)*